

Зиновьев Александр

Русская судьба, исповедь отщепенца

Моей матери Зиновьевой Апполинии Васильевне, великой русской женщине, посвящаю эту исповедь

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Эта книга была написана в 1988 году и опубликована во Франции и Швейцарии в 1990 году. Здесь она печатается с некоторыми сокращениями и исправлениями. Хотя книга писалась в то время, когда в Советском Союзе уже началась перестройка, я сознательно избегал говорить на эту тему. Цель книги была (по договоренности с издателем) описать, почему я стал писателем, автором "Зияющих высот", и почему оказался в изгнании на Западе. Фактически книга вышла далеко за рамки этой цели: она оказалась описанием того периода русской истории и тех явлений русской жизни, в которых вызревала перестройка.

Еще в довоенные годы я, скрываясь от всемогущих органов государственной безопасности, в состоянии полного отчаяния сочинил такое стихотворение:

Настанет Страшный суд. Нас призовут к ответу.

Велят заполнить за прожитое анкету.

И в пункте, из какой земли и из какой эпохи,

Двадцатый век, Россия, – будут наши вздохи.

От слов от этих Богу станет гадко.

Опять проклятая российская загадка!

Нельзя пускать их в рай, двух мнений нету тут.

Их души тяжкий грех в себе несут.

Но как же быть?! В какой впустить их край?!

После России им и ад покажется как рай.

Прошло почти шестьдесят лет после этого. Но я и сейчас взял бы это юношеское стихотворение эпиграфом к этой книге.

Мюнхен, 1998

I. ИСПОВЕДЬ ОТЩЕПЕНЦА

ИСПОВЕДЬ

Существуют различные формы мемуаров. Среди них можно выделить одну, которую можно назвать словом "исповедь". От других форм она отличается тем, что главным предметом внимания являются не приключения автора, а его размышления и переживания, и не хроникальное описание отдельных событий, а анализ потока жизни, в который был вовлечен автор.

Исповедь не есть автобиография, написанная для каких-то официальных и справочных целей. Не все, что случилось с автором, попадает на ее страницы. А то, что попадает, описывается не всегда в том виде, в каком это мог бы и хотел бы увидеть посторонний наблюдатель, и без тех пикантных деталей, какие любопытно было бы узнать читателю. Это происходит не потому, что автор хочет изобразить себя в наилучшем виде или ввести в заблуждение читателя, а в силу особенностей самой формы исповеди. В моей исповеди, в частности, сыграли роль такие сдерживающие причины.

В моей жизни случались события, о которых я не буду рассказывать никому и никогда. Часть из них касалась не только меня, но и других. Я связан по отношению к ним обетом молчания и священной тайны. О других мне больно или стыдно вспоминать. Я умалчиваю о них не из страха показаться грешником. Такого страха у меня нет. Я готов признать греховность всей моей прожитой жизни. И упоминание о нескольких мелких грехах вряд ли изменило бы общее впечатление. Я умолчу о таких грехах из чисто вкусовых соображений. Я считаю просто неприличным говорить о них, как считаю неприличным рассказывать о приключениях в туалете или в кровати. Если хотите, я просто старомоден, причем из принципа.

Мне часто приходилось наблюдать и испытывать на себе проявление самых гнусных качеств человеческой природы. Многие люди причиняли мне

зло. Я очень рано постиг, что именно имел в виду Лермонтов, когда в одно из самых прекрасных в русской литературе стихотворений включил слова "друзей клевета ядовитая". Но сам я не рассматривал в качестве личных врагов даже тех, кто по долгу службы или по призванию писал на меня доносы, клеветал, преследовал, чинил всяческие неприятности. Я никогда на личное зло не отвечал злом. Я знаю, что самим фактом своего существования и деятельности я вызывал раздражение и негативные эмоции у многих людей. Но этот аспект жизни не подлежит моральной оценке. Я всегда смотрел на зло, причиняемое мне людьми, как на проявление свойств самого строя жизни людей, использующего их лишь как свои орудия. В противоположность тем, кто персонифицирует социальные причины, я впадал в другую крайность – социализировал даже такие поступки людей, которые были продиктованы индивидуальными страстями. Моим главным контрагентом с ранней юности была социальная система моей страны. И лишь во вторую очередь моими контрагентами были люди, олицетворявшие систему.

В моих личных отношениях с людьми я стремился предоставить им все преимущества. Так и в этих мемуарах я не хочу изображать себя в качестве доброй жертвы злых людей и плохих обстоятельств. Наоборот, я готов признать себя негативным явлением в породившем меня позитивном социальном окружении. Я готов признать нормальным мое социальное окружение, а себя – отклонением от нормы. Я не горжусь этим, но и не сожалею о том, что так произошло. Как в прожитой жизни я уступал дорогу всем, кто считал, что я мешаю им идти, и избирал другой путь, на который не претендовал никто, так и в этих мемуарах я не хочу сводить счеты с теми, кто причинял мне зло. А это и означает умолчание о многом таком, что могло быть поводом для мести. Исповедь есть признание и покаяние, но не месть. Конечно, я не мог полностью избежать такого рода описания, так как без этого были бы непонятны некоторые важные явления моей жизни. Но я свел их к минимуму и лишил их драматического смысла, какой они имели в свое время.

ОТНОШЕНИЕ К ФАКТАМ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

Я никогда не думал, что факты моей личной жизни могут для кого-то представлять интерес, кроме разве что советских карательных органов и лиц, желающих причинить мне зло. Поэтому я никогда не стремился афишировать их и даже запоминать. Многие из этих фактов были такого рода, что память о них причиняла страдания, и я преднамеренно стремился забыть о них. Я избегал засорять память незначительными пустяками, какими мне казались явления моей личной жизни, полагая, что мои интеллектуальные возможности я мог использовать для дел гораздо более важных. То, что так или иначе оседало в моей памяти, касалось в основном не лично меня, а окружающих меня социальных феноменов. Постепенно это стало чертой моего литературного и вообще жизненного вкуса. Мелочный педантизм в отношении к фактам личной жизни стал вызывать у меня отвращение при чтении сочинений других авторов, и я перенес это на самого себя.

Общеизвестно, что память человека не подчиняется правилам логики. Она не классифицирует события его жизни как существенные и несущественные и не отдает предпочтения первым. Я, например, помню до сих пор номер телефона, по которому мне пришлось звонить первый раз в жизни еще в 1933 году, но не помню номер телефона своей собственной квартиры, в которой жил много лет в Москве. Я помню номер винтовки, которую мне вручили в 1940 году в армии, но не помню названия и расположения населенных пунктов, в которых мне приходилось бывать во время странствий в 1939 – 1940 годах. Я помню имя коня, которого мне дали по прибытии в кавалерийский полк. Но я не смог в течение многих месяцев, пока писал книгу, вспомнить имя парня, с которым делился куском хлеба и сокровенными мыслями и который доносил обо мне в Особый отдел полка. Так что если строго следовать тому, что застряло в памяти, то объективная картина жизни не может получиться даже при наличии искреннего намерения быть объективным. Потому систематизированный анализ прошлого с точки зрения конечных результатов жизни мне представляется более надежным средством объективности, чем фрагментарное припоминание разрозненных деталей потока жизни.

Кроме того, у меня есть и принципиальное соображение относительно отбора фактов личной жизни для предания их гласности. Оценка фактов жизни как значительных или незначительных зависит не столько от того, какую роль они на самом деле сыграли в жизни автора, сколько от того, какой вес им придается общественным мнением в нынешней ситуации. Если автор поддается влиянию общественного мнения, он так или иначе вынуждается на путь создания ложной картины своей собственной жизни. Например, я очень рано стал антисталинистом. Разумеется, мне было кое-что известно о сталинских репрессиях в то время. Но не так уж много. Основная информация об этом стала доступной лишь в послесталинские годы, когда мой антисталинизм потерял для меня смысл. Зная, какое значение сейчас придается этим репрессиям в описаниях советской истории и советского общества, я мог бы на эту тему написать много десятков страниц. И тогда для читателей мой антисталинизм сегодня показался бы совершенно обоснованным, само собой разумеющимся. Но это была бы грубая историческая ложь. В формировании моего антисталинизма факты репрессий не играли почти никакой роли. Я был сам подвергнут репрессии за мой антисталинизм, сложившийся совсем по другим причинам. Те гонения, которым я подвергался за мой антисталинизм, не добавили абсолютно ничего нового в мои умонастроения. Более того, я не воспринимал их как несправедливость. Факты личной жизни, способствовавшие формированию моих антисталинистских умонастроений, в глазах современного общественного мнения выглядели бы настолько ничтожными, что упоминание о них вызвало бы лишь недоверие и насмешку. Кто, например, примет всерьез то, что моя фамилия Зиновьев – внесла свою долю в это. Меня за нее в детской среде постоянно называли "врагом народа", вынуждая уже в детских играх на роль человека, противостоящего коллективу и всему обществу. В реальной истории порою огромные причины проявляются в ничтожных фактах, а грандиозные факты проявляют ничтожные причины.

ОТНОШЕНИЕ К БУМАГАМ

Я никогда не вел дневников и не хранил личных документов, кроме самых необходимых. Порою я оказывался в ситуациях, когда касающиеся меня документы исчезали или мне самому приходилось уничтожать их или фальсифицировать, чтобы уцелеть. Я не был уверен в том, что проживу достаточно долго. Было несколько случаев, когда моя жизнь могла оборваться помимо моей воли. Да я и сам не раз задумывался над тем, чтобы покончить с жизнью, становившейся тогда невыносимо тяжелой и терявшей всякую ценность. Мне тогда грезилась мрачная картина, как после моей смерти чужие люди выбрасывают на помойку оставшийся от меня бумажный хлам, и эта картина удерживала меня от накопления бумаг всякого рода. К тому же мне время от времени приходилось уничтожать накапливавшиеся рукописи в интересах самосохранения. Тот архив, который все-таки образовался у меня в Москве, был главным образом научного и литературного характера. Он частично пропал, частично попал в лапы органов государственной безопасности, частично оказался так хорошо спрятанным, что я лишился доступа к нему.

Моя жизнь складывалась так, что я чуть ли не до пятидесяти лет не имел не то что своего рабочего кабинета, но даже письменного стола. Принцип "все мое ношу с собой" был для меня не фигуральным латинским изречением, а практическим правилом жизни. Я воспринимал свою жизнь как непрерывный поход. Каждая вещь, которая мне не казалась жизненно необходимой, действовала на меня как излишний груз, и я безжалостно расставался с нею. Это целиком и полностью относилось и к бумагам. Порою это даже принимало патологические формы. Однажды я был в гостях у моего знакомого, опубликовавшего несколько статей и брошюру по социологии. Он мне показал шкафы, битком набитые документальными материалами, которые он собирал в течение многих лет и на основе обобщения которых сочинил свои статьи и брошюру. Вернувшись домой, я уничтожил до последнего листочка все те материалы, которые я собирал, работая над своей социологической теорией. На другой день я пожалел об этом: кое-какие материалы пришлось добывать заново, причем уже с гораздо большими усилиями.

При написании этой книги я использовал свою память и мои собственные опубликованные сочинения, написанные точно так же по памяти. Публикуя их, я никогда не претендовал на то, чтобы занять какое-то место в бесчисленной армии советологов, политологов, социологов и прочих лиц, так или иначе занятых проблемами советского общества и вообще коммунизма. Я просто сообщал моим потенциальным читателям то, что мне в течение моей жизни удалось лично узнать о советском обществе и коммунизме, наблюдая и изучая его непосредственно, как эмпирически данное явление. Поэтому в моих книгах и статьях полностью отсутствует то, что в науке принято называть "научным аппаратом" и что должно свидетельствовать об эрудиции и компетентности автора. Я это делал не из пренебрежения к другим авторам, писавшим на темы о коммунизме, а просто в силу условий моей жизни и работы, далеко не благоприятных для научного педантизма. Я просто не имел возможности обзавестись таким "научным аппаратом". Да он мне и не требовался. Во время жизни в России материал для наблюдения был в изобилии перед моими глазами. Работы других

авторов, которые мне приходилось читать, ничего не давали мне для понимания этого материала или даже мешали, отвлекая внимание в направлении проблем, чуждых изучавшемуся мною материалу.

В этой книге точно так же будут отсутствовать ссылки на источники и документы, обычные в мемуарной литературе. Это, конечно, большой недостаток книги. Но я, к сожалению, не мог его избежать. Я не смог даже воспользоваться теми, касающимися меня материалами, которые появлялись в западной прессе. Ко мне приходила лишь часть из них, а я не прилагал усилий к тому, чтобы приобретать другие. На обработку их потребовалось бы время, какого у меня не было. К тому же мое собственное понимание мотивов и характера моей деятельности лишь в исключительных случаях и лишь отчасти совпадало с тем, как об этом писали мои критики. А вступать в самозащитную полемику с ними было бы равносильно тому, чтобы заново переписать мои книги: яснее и проще писать я уже не способен.

В ГЛУБИНЕ И ЗА КУЛИСАМИ ИСТОРИИ

Моя жизнь не годится для обычных мемуаров еще и по той причине, что я никогда не занимал высоких постов. Когда мне предоставлялась возможность подняться хотя бы на одну ступеньку иерархической лестницы, я отказывался от этого сам или меня сбрасывали с нее вниз, видя во мне отсутствие некоей субстанции власти или наличие чего-то ей противоположного. В армии меня избегали повышать в должности, так как я подавал команды, как "гнилой интеллигент" (так оценил мое командование командир полка), хотя в других отношениях я был образцовым солдатом и офицером. Во мне все противилось тому, чтобы навязывать свою волю другим. Я не мог наказывать провинившихся подчиненных, скрывал их проступки и часто делал за них сам то, что они были обязаны делать. Я согласился стать заведующим кафедрой в университете лишь на том условии, что всеми административными делами будет заниматься мой заместитель. Я вздохнул с облегчением, когда меня освободили от этой должности. В начале войны случайно получилось так, что меня вытолкнули на роль командира отряда из нескольких десятков человек. Это произошло потому, что я был единственным, кто не снял знаки отличия командира (я был сержантом). Я чувствовал себя прекрасно, пока надо было решить "шахматную" задачу, т. е. наилучшим образом выполнять задание – выбить немцев с территории, где находилась база горючего, и поджечь эту базу. После выполнения задания инициативой овладел какой-то ловкий проходимец, и я не стал с ним конкурировать. Очевидно, мой индивидуализм с самого начала жизни был настолько глубоким, что исключал стремление к подчинению других людей.

Я всегда был образцовым учащимся, служащим и работником не из желания повысить мою социальную позицию, а из повышенного чувства собственного достоинства. Последнее проявлялось не только в позитивной, но и в негативной форме, например в бешеных вспышках, когда кто-нибудь пытался меня унижить или навязать мне свою волю, не связанную со служебными обязанностями или превышающую меру деловых

отношений. Эту черту моего характера замечали сразу и избегали повышать и вообще как-то улучшать мой социальный статус.

Мои встречи с историческими личностями либо не состоялись совсем, либо были до анекдотичности короткими. О Ленине я узнал, когда его уже не было на свете. О Сталине я узнал рано. К семнадцати годам у меня созрело страстное желание повидаться с ним, но с целью выстрелить или бросить бомбу в него. Но наша встреча не состоялась по причинам чисто технического порядка: не было пистолета и не было бомбы, а минимальное расстояние до Сталина, на которое я мог быть допущен, исключало возможность использования пистолета и бомбы, если бы они были. Уже после войны маршал Ворошилов пожал мне руку среди других офицеров, случайно оказавшихся на его пути. Мое лицо показалось ему знакомым, и он спросил меня, где мы встречались раньше. Я ответил, что мы вместе служили в Первой Конной армии в Гражданскую войну. Маршал сказал мне, что я – молодец, и велел и дальше служить так же. За эту шутку я получил пять суток ареста.

После демобилизации из армии я как-то помогал отцу красить здание ипподрома. Ипподром посетил другой маршал (как видите, мне везло на маршалов) – Буденный, заведовавший всем, что было так или иначе связано с лошадьми. Он тоже жал мне руку среди прочих маляров. И ему тоже мое лицо показалось знакомым. Я сказал, что до войны служил в такой-то кавалерийской дивизии, которую Буденный тогда посетил. И это было правдой. И этот маршал тоже сказал мне, что я – молодец, и велел и дальше служить так же. Маршал приказал выдать нам, малярам, водки. Выпив даровую водку, маляры добавили еще от себя. Мы с отцом в оргии не участвовали, и это нас спасло. Упившись до потери чувств, маляры устроили пожар. Здание ипподрома сгорело дотла. Виновных судили. На месте сгоревшего деревянного здания построили новое в духе "архитектурных излишеств" сталинской эпохи.

II. МИР

НАЧАЛО МИРА

Однажды вечером я проходил по улице Дзержинского мимо главного здания КГБ и чуть было не налетел на Ю.В. Андропова – его охрана почему-то проглядела меня. Андропов в испуге спрятался в свою машину. А меня потом несколько часов с пристрастием допрашивали, кто я такой и с какой целью оказался в этом месте. Один из близких людей Андропова рассказал мне уже после опубликования "Зияющих высот" и "Светлого будущего", будто Андропов читал и перечитывал мои книги и будто благодаря ему меня не посадили на двенадцать лет (семь лет

лагерей и пять лет ссылки), на чем якобы настаивал Сулов. Я допускаю такую возможность. Но я не усматриваю проявления гуманизма в том, что меня выбросили из страны и вычеркнули мое имя из советской науки и литературы.

Трижды встречался с Молотовым. После его падения, конечно. Один раз я стоял с ним рядом в очереди за молоком в продуктовом магазине на улице Волхонка, где находился мой институт. Другой раз сидел неподалеку от него в профессорском зале Библиотеки имени Ленина. Третий раз стоял в коридоре в группе других читателей, разговаривавших с ним. Разговор мне показался банальным и скучным. Я в нем участия не принял. И вообще я заметил, что лица, потерявшие свои прежние высокие позиции, становятся чрезвычайно серыми, пустыми, скучными. Вернее, не становятся таковыми, а обнаруживают себя в качестве таковых. Вот, пожалуй, самые значительные мои встречи с сильными мира сего, которыми я могу похвастаться. Были и другие встречи но менее значительные, чем эти.

Я нисколько не жалею о том, что не был близок с "королями" советского общества и не был вхож в их дома. Я всегда относился к ним с презрением, считая их лишь объектом для сатиры. Самые значительные с точки зрения ума, талантов и нравственности личности, с которыми мне приходилось встречаться в Советском Союзе, либо погибли, либо потерпели крах при попытках добиться жизненного успеха, либо сознательно и добровольно застряли на низших ступенях социальной иерархии. Те же из моих знакомых, которые там преуспели, и те преуспевшие личности, с которыми меня там сталкивала судьба, были ничтожествами в отношении именно ума, талантов и нравственности. Поэтому я не собираюсь прилагать особых усилий к тому, чтобы припомнить, когда, при каких обстоятельствах и с какими партийными и государственными чиновниками меня сталкивала судьба.

Имена многих из них стали мелькать в прессе. Но эти люди все равно не выросли в значительные личности, которым стоило бы посвятить особые главы в воспоминаниях. Они сообща дали мне много материала для обобщенных литературных персонажей. Но каждый из них по отдельности не дал мне материала даже для одной страницы индивидуализированного описания. Они суть элементы массовых явлений. И в качестве таковых они могут быть описаны лишь средствами, адекватными именно массовым явлениям. Сколько я ни приглядывался к ним, я не замечал значительной разницы между ними, как не замечал разницы между клопами, забившимися в щели деревенского деревянного дома. У меня свои критерии измерения значительности личностей, не совпадающие с общепринятыми.

В жизненном потоке есть глубинные и есть поверхностные явления, есть скрытый ход истории и есть пена истории. Волею обстоятельств я оказался погруженным именно в скрытый и глубинный поток советской истории, дающий мало красочного материала для литературы приключенческо-мемуарной. Моя жизнь оказалась настолько тесно связанной с глубинными процессами формирования коммунистического социального строя в моей стране, что я крупнейшие события советской истории переживал в гораздо большей мере как события личной жизни, чем свои собственные индивидуальные приключения. Я не играл никакой

исторической роли. Зато все, что происходило со мною, было частичкой огромной истории, причем истории настоящей, а не фиктивной, раздутой из ее пены тщеславными клоунами и интерпретаторами их клоунады. Главным в моей жизни стал не внешний ее аспект, а внутренний, т. е. осознание и переживание великого исторического процесса, происходившего на моих глазах. Мне с этой точки зрения повезло. Не стремясь и не будучи допущен на открытую арену истории, на которой кривлялись "великие" клоуны, я имел почти неограниченный доступ в закулисную жизнь и в преисподнюю истории. Я имел уникальную возможность наблюдать внутренние механизмы советского общества во всех существенных его аспектах и на всех уровнях социальной иерархии. При этом мое понимание этого общества формировалось не в результате изучения теорий, уже созданных другими авторами. Оно протекало как моя индивидуальная жизненная драма, как жизнь первооткрывателя сущности и закономерностей нового исторического феномена. Так что моя жизнь была по преимуществу интеллектуальной, более соответствующей именно форме исповеди.

Я САМ СЕБЕ ГОСУДАРСТВО

Если у меня и были какие-то возможности вылезти на сцену истории в более или менее заметной роли, я их упустил преднамеренно. Я с детства ощущал в себе что-то такое (не нахожу этому названия), что сместило мои оценки явлений жизни и мои интересы в сторону от общепринятых норм на этот счет. В юношеские годы это самоощущение я выразил для себя в формуле "Я сам себе Сталин". Перед демобилизацией из армии я имел беседу с генералом Красовским, ставшим впоследствии маршалом авиации. Он уговаривал меня остаться в армии, хотя в то время из армии увольнялись многие тысячи гораздо более заслуженных и ценных летчиков, чем я.

Уговаривал, потому что я был единственным, подавшим рапорт с просьбой демобилизовать меня, тогда как прочие летчики хотели остаться в армии. Он сулил мне в будущем чин полковника и даже генерала. Я сказал ему, что мне этого мало. Он спросил меня удивленно, чего же я хочу. Я ответил, что хочу выиграть свою собственную историческую битву. Не знаю, понял он смысл моих слов или нет, но приказ о моей демобилизации подписал тут же.

Позднее я выразил это мое самоощущение формулой "Я сам себе государство". Такая ориентация сознания, конечно, повлияла существенным образом на весь ход моей жизни, сделав главным в ней события и эволюцию моего внутреннего государства, моей внутренней вселенной. Наверняка найдутся знатоки человеческой психологии, которые усмотрят в таком "повороте мозгов" психическую ненормальность. Не буду спорить. Напомню только о том, что человек выделился из животного мира благодаря каким-то отклонениям от биологических норм. Вся история цивилизации обязана своим прогрессом людям, которые были отклонением от общепринятых норм. И все же мы не рассматриваем эволюцию человечества в понятиях медицины. Мое внутреннее государство было не плодом больного воображения, не

проявлением эгоизма и эгоцентризма. Оно было явлением социальным, а не психологическим. Оно было формой отказа от борьбы за социальный успех. Потому на этом пути меня не мог удовлетворить никакой высокий пост, включая президентов, генеральных секретарей и королей, не могло удовлетворить никакое богатство, никакая слава.

Не знаю, как у других народов, но среди русских такой тип людей, которые фактически ведут себя по формуле "Я сам себе государство", встречается довольно часто. Эти люди живут так, как будто весь остальной мир есть лишь природная среда их существования. Они в этой среде добывают средства жизни, а живут в основном в своем маленьком замкнутом мирке. В отличие от этих людей, я жил в огромном и открытом мире. Я построил целую теорию человека-государства и сделал попытку осуществить ее на уровне высших достижений цивилизации. Но начал я, как и многие другие мои соплеменники, с самого низкого уровня. Во время скитаний в 1939 – 1940 годы я мечтал поселиться где-нибудь в глуши и прожить жизнь каким-нибудь пасечником, сторожем, лесником или охотником. Такие порывы уйти от городской жизни в лесную и деревенскую глушь появлялись у меня и в студенческие годы после войны. Но уже в довоенные годы я заметил, что жизнь в уединении, о котором я тогда мечтал, возможна лишь в книгах и в кино. В реальности же она возможна только ценой полной интеллектуальной и моральной деградации. Для человека такого типа, как я, суверенное личное государство было возможно лишь в самом бурном потоке жизни. В этом состояла трудность проблемы. Я не утверждаю, что я эту проблему решил. Я лишь утверждаю, что всю свою сознательную часть жизни бился над ее решением.

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЩЕПЕНЕЦ

В Советском Союзе то положение, в котором я оказался в результате следования своим жизненным принципам, называют словом "отщепенец". На западные языки это слово переводится словами, неадекватными советскому словоупотреблению. Поэтому я поясню его новый, понятийный смысл.

Отщепенцами в Советском Союзе называют лиц, которые по тем или иным причинам вступают в конфликт со своим коллективом и даже с обществом в целом, противопоставляют себя им и оказываются исключенными из них. Социальным отщепенцем является такой отщепенец, который обрекается на эту роль по причинам глубоко социального характера, т. е. в силу его взаимоотношений с социальным строем страны, с ее системой власти и с идеологией. Социальный отщепенец является одиночкой, бунтующим против своего социального окружения. За это он наказывается либо уничтожением в качестве гражданской личности, либо подвергается остракизму. Отщепенцами люди становятся отчасти помимо воли – общество само выталкивает их на эту роль. Отчасти они становятся таковыми добровольно, в силу жизненного призвания. Общество борется с отщепенцами. Но оно вместе с тем нуждается в них и производит их более или менее регулярно. Оно производит их для того, чтобы они сыграли роль, которую не хотят и не могут играть

другие, "нормальные" люди. Эта их роль есть часть объективного механизма самосохранения общества. Обществу отщепенцы требуются, но лишь в малом количестве и лишь на короткий срок. Требуются для того, чтобы они выполнили самую опасную и неблагодарную работу. Требуются также для того, чтобы превратить их наказание за это в своего рода ритуальное жертвоприношение, имеющее целью использование результатов их деятельности и воспитание других.

Процесс превращения человека в отщепенца есть более или менее длительный процесс. Общество сначала принимает меры, чтобы помешать превращению человека в отщепенца, и это ему обычно удается. Лишь в исключительных случаях усилия такого рода оказываются тщетными, и тогда общество само провоцирует отщепенца на явный личный бунт и обрушивает на него всю мощь своей власти и ненависти.

Я рос и созревал духовно вместе с превращением коммунистического социального строя в моей стране в зрелый социальный организм. В этом процессе возник, рос и вырос мой конфликт с моим обществом, мой личный бунт в нем и против него, который привел к тому, что я был выброшен из моей страны и отторгнут от моего народа. В моей исповеди я хочу объяснить, в чем именно состоял мой бунт, как он протекал и чем кончился. Мое положение здесь подобно положению ученого-врача, заболевшего новой, еще не изученной неизлечимой болезнью и использующего представившийся ему уникальный случай описать возникновение и ход болезни на самом себе.

Общество неуклонно само выталкивало меня в отщепенцы. Но я не был пассивной игрушкой в его руках. Я, как и все, был подвержен влиянию обстоятельств. Но в гораздо большей мере я сопротивлялся обстоятельствам, всю жизнь упорно шел против потока истории. Я сам творил себя в соответствии с идеалами, которые выработал сам. И в этом смысле я есть самодельный человек. Я всю свою жизнь ставил на самом себе эксперимент по созданию искусственного человека моего собственного образца. Моя исповедь есть также отчет об этом эксперименте. Хотя я и не могу похвастаться тем, что довел мой эксперимент до успешного конца, но думаю, что для одиночки, который шел против всего и против всех, я сделал все-таки достаточно, чтобы иметь моральное оправдание для предлагаемой вниманию читателя исповеди.

III. В МЕДВЕЖЬЕМ УГЛУ

ОТ ПАХТИНО ДО НЬЮ-ЙОРКА

Находясь на Западе, мне приходилось десятки раз летать по всему белу свету. И каждый раз я подолгу разглядывал географические карты в бортовых журналах. Я находил Москву, затем города Загорск, Александров, Ростов, Ярославль, Буй, Данилов и Галич, расположенные на железнодорожной магистрали Москва – Владивосток. За Галичем расположена маленькая железнодорожная станция Антропово, которую не найдете на карте. На север от Галича на карте можно увидеть небольшое озеро. На берегу его расположен городок Чухлома, тоже не обозначенный на карте. Примерно посередине между Чухломой и станцией Антропово когда-то находилась маленькая деревушка Пахтино. В этой деревушке я родился 29 октября 1922 года. Я мучительно вглядывался в карты и видел эту деревушку так отчетливо, как будто только сейчас покинул ее. Видел дома, поля, леса, ручьи. Видел людей. Видел даже коров, овец и кур. А ведь ничего этого давно нет. И никогда не будет. В русской истории вообще мало что сохранялось. Моя жизнь в этом отношении была вполне в ее духе. Почти все, где я бывал, куда-то исчезало. Я часто мечтал вернуться в прежние места и увидеть наяву что-то знакомое и пережитое. А возвращаться было либо не к кому, либо некуда. До войны я не раз ходил пешком от станции Антропово до своего Пахтино. На пути были деревни, обработанные поля, церкви. В 1946 году после демобилизации из армии я последний раз прошел этот путь пешком. Почти ничего не осталось. На месте деревень – развалины домов. Как будто именно тут была война. Поля заросли лесом. И не встретил ни одного знакомого человека. Ни одного!

Я вглядывался в то место на картах, где когда-то находилось мое Пахтино, и удивлялся тому, что меня не удивлял скачок из малюсенькой русской деревушки в многомиллионные современные города Париж, Лондон, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Токио, не удивлял скачок от старой клячи по имени "Соколка", на которой я ездил верхом мальчишкой и возил навоз в поле в колхозе, к современному самолету "Боинг-747", который переносил меня за несколько часов с одного континента на другой.

– Вот ты летишь из Мюнхена в Нью-Йорк, – говорил я себе. – Прекрасный самолет. Прекрасное обслуживание. Вино. Фильм. Музыка. Еда такая, какая тебе не снилась в молодые годы. И такой порции тебе тогда хватило бы на неделю. Несколько часов, и ты – на другом континенте. Поразись этому чуду прогресса!

– А зачем мне Нью-Йорк? – возражал я сам себе. – Какая нелегкая сила несет меня туда? Посмотреть на статую Свободы, которая, на мой взгляд, есть верх безвкусицы? Побродить по Манхэттену? Побывать на Уолл-стрит? Как говорят в России, видал я это все в гробу в белых тапочках. Несет меня в Нью-Йорк не любопытство к нравам и обычаям на другом континенте и не интерес к красотам "каменных джунглей", а обыкновенная нужда: прочитать какие-то лекции и заработать на жизнь.

– Но все-таки чудо прогресса то, что европеец может слетать в Америку, прочитать лекцию и получить за это какие-то деньги. Потом ты полетишь с такими же лекциями в Чили и Бразилию. Весь мир в твоём распоряжении.

– Пусть так. Но ведь у всего этого есть и обратная сторона. А почему я не могу заработать на жизнь там, где живу, а должен тащиться за тридевять земель, где я не живу и жить не хочу? А "весь мир" теперь стал маленьким и тесным.

– Но не будешь же ты отрицать технический прогресс! Возьми те же компьютеры...

– Мир не стал от них умнее. Прошлый век был умнее нашего, а будущий будет еще глупее. Ребенок, умеющий обращаться с компьютером, но не знающий таблицу умножения, есть признак деградации. Ко всему прочему в мире исчезла тайна и святость. Мы превращаемся в умную машину, состоящую из глупцов и служащую еще более глупым ловкачам.

– Что поделаешь! Прогресс в одних отношениях всегда сопровождается регрессом в других отношениях. За прогресс приходится расплачиваться. Вот ты сейчас отказался бы от результатов прогресса, которыми ежедневно пользуешься? Сменял бы ты этот "Боинг-747" на своего пахтинского Соколку? Если мне не изменяет память, ты еще в 1941 году начал летать на самолетах предшественниках современных. Будущее все равно принадлежит Нью-Йорку, а не твоему исчезнувшему Пахтино. Ты просто к старости становишься консерватором.

– Ты меня словом "консерватор" не обидишь. Когда в мире все становятся сторонниками прогресса, то самым прогрессивным становится тот, кто протестует против безудержного прогресса, ведущего к невосполнимым потерям. Между прочим, мое малюсенькое и навечно исчезнувшее с лица земли Пахтино существовало (по словам стариков) еще до того, как появился Нью-Йорк. И хотя последний стал городом-исполином, он также исчезнет в Небытие, как и Пахтино. С точки зрения Вечности даже миллион лет есть мгновение. А с точки зрения бесконечности пространства Нью-Йорк есть такая же мизерная точка, как и Пахтино. Я не хочу возвращаться в прошлое, но меня не удовлетворяет и настоящее.

– Есть будущее!

– Но я не принимаю то направление, в которое покатился мир.

Такого рода разговоры я не раз вел с самим собой, переносясь с огромной скоростью из одного города в другой, из одной страны в другую, с одного континента на другой. Но в глубине души шевелилась тревога от мысли о том, что кто-то из нас двоих – я и остальной мир – совершил изначальную ошибку и пошел в ложном направлении. Но кто? Если я, то это – пустяк. А если не я?!

Во время одного из таких опостылевших мне полетов я сочинил такое стихотворение, которое я потом включил в книгу "Евангелие для Ивана":

Бесконечная череда

Поезда, самолеты,

отели.

Промелькнули, прошли,

пролетели

Города, города,

города.

Убеждаемся скоро мы,

Что тоскливо в них так,

хоть вой,

Что хватило бы нам с лихвой

Костромы, Костромы,

Костромы.

РОССИЙСКАЯ ГЛУШЬ

Наша Костромская область считалась самой глухой в России. Наш Чухломской район считался самым глухим в области. А наша деревушка Пахтино считалась самой глухой в районе. В самую цветущую пору ее существования в ней было не более десяти домов. Представьте себе: проходили столетия, а в деревушке не прибавлялось ни одного дома! Люди рождались, совершали привычный жизненный цикл и исчезали бесследно. Как будто их вообще никогда не было. Такие деревушки назывались "медвежьими углами". Так что можно сказать, что я родился в самой что ни на есть дремучей русской глуши – в "медвеьем углу".

Но уже самым местом моего появления на свет мне пришлось вступить в конфликт с общепринятыми мнениями. У тех, кто не знает фактического положения вещей, слова "глушь" и "медвежий угол" вызывают в воображении образ оборванных и грязных людей в лаптях, не умеющих читать и писать, живущих в тесных, темных и грязных клетях вроде медвежьих берлог. Мне в жизни много раз приходилось убеждаться в том, что общепринятые мнения часто являются совершенно ложными, а в прочих случаях содержат большую долю лжи. Таким ложным было и широко распространенное мнение о наших чухломских краях. Хотя земля там была неурожайной, хотя ее было немного, хотя хозяйство было довольно примитивным и непродуктивным, наш район был одним из самых культурных и зажиточных в России. Причем это явилось следствием его бедности. Дело в том, что в наших краях было невозможно прокормиться за счет земледельческого труда и мужчины испокон веков уходили на

заработки в города – в Москву, Кострому, Ярославль, Иваново, Вологду. Там они становились мастеровыми – плотниками, столярами, малярами, портными, сапожниками. Становились не заводскими рабочими, а именно мастеровыми. Они работали индивидуально или образовывали артели из нескольких человек, иногда из нескольких десятков. Артели были временными. Некоторые из таких мастеровых становились во главе артелей, создавали свои мелкие предприятия, богатели, становились домовладельцами в городах, сохраняя дома в деревнях и строя тут новые. Некоторые насовсем оседали в городах, изредка наезжая в деревни в гости к родственникам. Но основная масса мужчин, работавших в городах, считала городскую жизнь лишь подспорьем в содержании семей, остававшихся в деревнях. А семьи были большие. Семья с пятью или даже с десятью детьми была обычным явлением. Плюс к тому – старики. На старости мужчины навсегда возвращались в свои деревни. Земля не могла прокормить, но и в городах с такими семьями прожить было невозможно. Когда в деревнях была самая напряженная пора, мужчины возвращались домой. Все, что они зарабатывали в городах, они использовали для деревенской жизни: строили дома, покупали дорогую одежду, посуду, драгоценности. Так поступали прежде всего преуспевавшие, а за ними тянулись и остальные. Вместе с деньгами и вещами в деревню привозилась и культура – городской язык, городская одежда, украшения, книги. Деревенские дома строились под влиянием городских квартир, красились снаружи и внутри, обставлялись городского типа мебелью. Я бывал во многих районах России, но нигде не видал таких больших и красивых домов, как в нашем районе.

Приведу два примера, иллюстрирующие уровень культуры нашего "медвежьего угла". Чухломской купец Юдин, выходец из крестьян, был одним из богатейших купцов России уже в середине прошлого века. Слово "купец" тогда обозначало не торговцев, а предпринимателей, предшественников капиталистов в европейском смысле. Наш Юдин имел несколько фабрик, доходных домов, трактиров и даже кораблей на Волге и в Черном море. Он основал одну из первых в России фотографий, основал ряд школ и профессиональных училищ. Его страстью было коллекционирование книг. Он собрал колоссальную по тем временам библиотеку в несколько десятков тысяч томов, самую богатую в России частную библиотеку. Во время Крымской войны он понес большие потери и был вынужден продать библиотеку. Ее купило правительство США, и она послужила одной из основ библиотеки конгресса США.

Другой пример. Когда началась коллективизация, многие жители района бросили дома и бежали в города. На время школьных каникул я приезжал в деревню из Москвы. Мы, мальчишки, лазили в брошенные дома. На чердаках и в чуланах я находил книги и журналы, попавшие сюда еще до революции. И какие! О таких книгах мои соученики по московской школе еще понятия не имели, а я их уже прочитал в моем "медвеьем углу". В качестве примера назову сочинения Гете, Гюго, Гамсуна. Сочинения классиков русской литературы можно было найти в любом доме. Особенно сильно я тогда увлекался сочинениями Лермонтова, Гамсуна и Гюго. Они в огромной мере способствовали развитию во мне склонности к трагическому романтизму.

Та часть населения района, которая задавала тон, одевалась по-городскому и по-городскому обставляла свои дома. Широко и щедро

праздновались религиозные праздники, крестины, именины, свадьбы. Сложилась своеобразная культура общения, местный этикет, иерархия родов. Описания купеческой жизни в городах, которые мне приходилось читать, во многом приложимы к нашему району. В меньших масштабах, конечно. И с одним коррективом: отрицательные явления этого строя жизни, прекрасно описанные в классической русской литературе, оставались там, где люди добывали богатства, – в городах. В самом же нашем районе просто не было базы для социальных конфликтов и страстей.

Разумеется, уровень культуры в нашем районе был высоким лишь в сравнении с другими местами провинциальной России. Образование большинства людей ограничивалось церковно–приходской школой. И культура была приносной, а не результатом имманентного развития района. Это было отражение столичной культуры в глухой провинции, оказавшейся в непосредственной сфере влияния столицы.

НЕАДЕКВАТНОСТЬ ЭПОХЕ

Отмечу еще одну черту нашего "медвежьего угла": это высокий уровень нравственности. Причем этот уровень был следствием недоразвитости, а не прогресса. Все те блага, которые люди имели, добывались не путем обмана и эксплуатации других людей, а благодаря усердию и личным способностям. В наших краях вообще не было воров. Моральная деградация началась лишь в советское время. Первый случай, когда девушка "согрешила" до замужества, произошел уже в начале коллективизации. Инерция старой жизни была настолько сильна, что этот случай произвел впечатление конца света. В такой атмосфере нравственных ограничений выросли все дети в нашей семье. Преодолеть наш нравственный примитивизм (так оценивали этот феномен мои друзья) нам так и не удалось. Попав из мира примитивной нравственности в мир высокоразвитой распущенности, я всегда ощущал себя пришельцем из другой эпохи и много страдал из–за этого.

Неадекватность эпохе я ощущал не только в бытовой нравственности. Несмотря на то, что я получил современное образование и выбрался на высоты современной культуры, в глубине души я так и остался человеком из "медвежьего угла". Мои претензии к жизненным благам остались примитивными, неадекватными внутреннему развитию и социальным потенциалам. Потому я не испытывал никакой радости и гордости по тому поводу, что приобрел какую–то известность. Скорее, я испытывал горечь от мысли о том, что стал вести образ жизни, о котором мог бы сказать словами из Библии: суета, суета сует и всяческая суета.

ТРУД

Жизнь у нас была все же совсем не райской. Относительное

благополучие достигалось тяжким трудом. Работали с рассвета до заката солнца. А иногда и по ночам. Работали не покладая рук. Работали все – взрослые, дети, старики. Работали, несмотря на болезни. Болезнью считалось такое состояние, когда человек сам не мог встать на ноги. Главная тяжесть труда выпадала на долю женщин. Помимо полевых работ, на их плечах была работа по дому и забота о семье. Женщины учились три–четыре года и уже в одиннадцать – двенадцать лет начинали работать наравне со взрослыми. Мужчины, работавшие в городах, жили в скверных бытовых условиях, без семей, экономя на всем. Я, как и мои братья и сестры, был настолько глубоко с детства приучен к труду, что труд, как таковой, стал навсегда содержанием всей моей жизнедеятельности. Я никогда не уставал от труда. Уставал от безделья и отдыха. Если бы был Бог и в час Страшного суда спросил бы меня, что я делал при жизни, я ответил бы одним словом: работал. Особенностью нашего района было общинное землевладение.

Крестьяне не обладали землей как частной собственностью. Земля делилась на участки в зависимости от состава семей и предоставлялась во временное пользование им. Земли было мало. Разбогатеть за ее счет было невозможно. Был исключен наемный труд в больших масштабах. Самое большее, что можно было себе позволить, – это один или два наемных работника. Обычно это были женщины. Нанимались они не с целью эксплуатации, а в качестве помощников остающимся в деревнях женщинам с детьми. Такие работники не приносили прибыли нанимателям. На них приходилось тратиться. Жили они в чужих семьях на правах членов этих семей. Нанимала таких работников и моя мать. Они потом навсегда становились чем–то вроде родственников для нас.

РЕВОЛЮЦИЯ

В русском дореволюционном обществе сосуществовали следующие три социальных фактора: отмирающий дворянский строй, нарождающийся капитализм и государственно–бюрократическая система. В нашем "медвежьем углу" доминировал третий. Доминировал настолько, что основная масса населения два первых уже почти не ощущала. Поэтому Февральская революция прошла тут незаметно. Люди констатировали факт, что "сбросили царя", и продолжали жить по–прежнему. Известие об Октябрьской революции принесли солдаты, дезертировавшие из армии. Старые учреждения власти переименовали. К ним добавили новые. Изобрели новые печати. Произошла замена лиц у власти. Но власть, как таковая, осталась. Остались и расширились ее полномочия. Исчезли куда–то известные богачи, бросив недвижимую собственность в распоряжении новой власти. Основная же масса населения продолжала жить так, как будто ничего особенного не случилось. Ленина, а потом Сталина восприняли как нового царя. В слово "царь" при этом не вкладывали того феодального смысла, в каком его употребляли марксисты. Царь считался самым высшим начальником, а не главой помещиков и капиталистов.

Население нашего района приняло революцию как нечто само собой

разумеющееся, как распоряжение высшего начальства. Последствия ее, сказавшиеся в последующие годы, в какой-то мере вызвали недовольство. Но в гораздо большей мере они совпали с тягой людей к городскому образу жизни. Как бы благополучно ни жили в деревнях, жизнь эта была заполнена каторжным трудом, заботами и тревогами. Нельзя сказать, что революция сразу же принесла ощутимые выгоды массам людей. Но она принесла нечто более важное, а именно принуждение к изменению всего образа жизни и возможность осуществить это на деле в огромных масштабах. Новый социальный строй выжил главным образом благодаря тому, что расчистил дорогу для объективной тенденции и поощрил ее.

НАША РОДСТВЕННАЯ ГРУППА

Я расскажу о нашей родственной группе, поскольку ее судьба характерна. Я считаю полезным писать об этом хотя бы потому, что читатель вряд ли найдет такой подход к русской революции в сочинениях других авторов.

Родители моей матери (Василий и Анастасия Смирновы) были довольно богатыми людьми. Помимо дома в деревне, самого богатого в округе, у них были дома в Петербурге. Дед был предпринимателем, какие тогда в большом количестве появлялись в России. Не знаю точно, в чем состояло его дело. Знаю только, что он сам был мастером на все руки и работал вместе со своими рабочими. О размерах его богатства можно судить по тому факту, что в результате революции у него пропало двести тысяч рублей наличными. Сумма по тем временам немалая. Факт этот характерен для состояния капиталистических отношений в России перед революцией. Хотя в России уже существовали капиталисты европейского типа, капиталистические отношения в целом оставались еще примитивными. Основная масса предпринимателей, образующих потенциальный класс капиталистов, который мог бы стать основой общества, находилась психологически, идеологически и организационно еще на стадии накопительства. Они имели большие доходы. Но держали деньги не в банках, а в сундуках. И вкладывали их не в расширение и модернизацию бизнеса, а в недвижимость (дома), в дорогие вещи (одежда, драгоценности, посуда) и предметы быта (лошади, санки, тарантасы). Мой дед был типичной фигурой на этот счет.

Ленинские выводы относительно развития капитализма в России, основанные на впечатляющей статистике, были, однако, сильным преувеличением. Ленин не располагал другой статистикой, более важной с социологической точки зрения. Он отбирал для аргументации лишь то, что соответствовало априорной марксистской доктрине, и игнорировал то, что не подкрепляло ее. Он игнорировал то, что действительно способствовало реальной социалистической революции, и преувеличивал то, что способствовало ложной идеологической концепции этой революции. Диалектическая парадоксальность истории тут состояла в том, что именно ложная идеология оказалась наиболее подходящей идеологией революции, а не некая объективная научная истина, которая была тогда непостижима и которая до сих пор кажется чепухой тысячам

"специалистов".

У родителей моей матери было семь дочерей и один сын. Все дочери были выданы замуж за уважаемых людей, по традиции, в нашем же районе или за выходцев из наших мест. Одна из дочерей была выдана замуж за молодого человека из зажиточной семьи, офицера царской армии; во время революции он перешел на сторону большевиков, был политическим комиссаром дивизии в Гражданскую войну. После войны он стал профессиональным партийным работником среднего ранга – был одним из секретарей областного комитета партии и членом ЦК союзной республики. Его звали Михаил Маев. По рассказам жителей наших мест, после Октябрьского переворота он приехал в нашу Чухлому, объявил об образовании новой власти, забрал жену с детьми и насовсем покинул наши края.

Мой родной дядя по материнской линии, Александр Смирнов, получил хорошее образование в Петербурге. Жил и работал в Ленинграде. Перед войной с Германией он был заместителем директора одного из научно-исследовательских институтов. Эти два человека были гордостью в нашей родственной группе.

Я помню деда и бабуку по матери весьма смутно. Жили они в основном в Ленинграде. В революцию дед потерял капитал, дело и дома в Петербурге. Но дом в деревне у них сохранился. Уже после смерти деда бабушка отдала дом под медицинский пункт. Когда в доме хотели разместить сельский совет, она погрозилась его сжечь. И ее волю выполняли вплоть до исчезновения деревни вместе с десятками других деревень в результате коллективизации. Такая ситуация кажется неправдоподобной, но это факт. Объясняется он тем, что в силу условий землевладения, о которых я говорил выше, такие люди не рассматривались как эксплуататоры и собственники. Кроме указанной причины, я могу упомянуть также усилившееся сразу же после революции бегство людей из деревень в города. Многие дома оставались стоять пустыми. Продажа дома мало что приносила, а конфискация была бессмысленной – домов и без того было в избытке. Люди бежали в города, просто бросая землю в распоряжение общины. И претендентов на нее не было.

Выходцы из наших мест в городах, на каких бы ступенях иерархии они ни находились, отнеслись к революции без особых эмоций. Они жили в таком разрезе общества, который был затронут революцией в самой малой степени. Наши родственники, за исключением Маева, не имели никакого отношения к подготовке и проведению революции. Но они и не стали врагами революции. Не стали и жертвами. Их не тронули в городах. Естественно, их не тронули и в деревне.

Во время НЭПа мой дед снова стал частником. Будучи сам хорошим мастером и организатором дела, он стал сравнительно зажиточным снова. Годы НЭПа вообще были годами вспышки того образа жизни, какой доминировал в наших краях. Но он уже был обречен. Люди не верили в устойчивость этого состояния. Дед и бабука уже не копили деньги, как перед революцией, а проживали их. Они вели широкий образ жизни. Когда они приезжали в деревню, то устраивали пиры с участием десятков людей. У бабушки развилась страсть раздавать вещи всем кому

попало. Эта страсть, по всей вероятности, была врожденной в нашем роду. Она перешла и к моей матери. Хотя раздавать практически было почти нечего, она как-то ухитрялась все же собирать какие-то вещи для раздачи нуждающимся. Дед и бабка умерли еще до войны с Германией. Их единственный сын и все дочери, за исключением моей матери и той, которая была замужем за партийным работником Маевым, с их семьями погибли во время блокады Ленинграда.

Мой дед по отцу и другой "богатеи" из наших мест были женаты на сестрах. Этот человек был богатым домовладельцем в Москве, содержал большую артель (до ста человек). Как и другие, он имел дом в деревне. Мой дед и отец до революции были мастеровыми в его артели и жили в его доме. Хотя они и были близкими родственниками хозяина дома, они жили в самой плохой комнатухе в сыром подвале. Это объясняется отчасти тем, что дед и отец не помышляли насовсем поселяться в Москве, а отчасти личными качествами деда и отца, которые были беспомощными в житейском отношении чудаками и не умели постоять за себя. Их спасала только высокая квалификация в их деле, их золотые руки. У этого нашего родственника судьба была сходна с судьбой моего деда по матери. В революцию он потерял капитал, дело и собственность. Но он до смерти жил в лучшей квартире своего бывшего дома. Его дети, получившие образование, стали советскими служащими. Одного из его внуков в чине майора я встретил случайно во время войны с Германией.

Упомяну еще об одном родственнике – о брате деда по матери. Он насовсем переселился в Москву, имел текстильную фабрику около Москвы. Его дети после революции стали инженерами, один сын стал морским офицером. Внуки вообще уже были вполне советскими людьми. Одним словом, вся наша родственная группа без особых потерь перенесла великий перелом в русской истории и включилась в историю советскую. Этот факт заслуживает внимания хотя бы уже потому, что никто из наших родственников не скомпрометировал себя недостойным поведением во все трудные и сложные годы послереволюционной русской истории. Я был первым и единственным изо всех, кто имел шансы быть уничтоженным в качестве "врага народа", да и то по причинам качественно иного рода.

РОД ЗИНОВЬЕВЫХ

Родители моего отца Яков Петрович и Прасковья Прокофьевна Зиновьевы считались в наших краях, с одной стороны, своего рода аристократией и, с другой стороны, странными людьми. Насчет происхождения деда ходили всякие слухи, достоверность которых проверить уже невозможно. Лет двадцать назад один из моих родственников обнаружил какие-то документы, касающиеся нашей родословной. Но я не берусь высказывать какие-то суждения на этот счет. И теперь эти документы, если они на самом деле существовали, вряд ли доступны для любопытных. Дедушка пришел в нашу деревню из другого района. Как тогда говорили, он "пришел в дом", т. е. стал жить в доме жены. Он очень мало говорил о своем прошлом и о предках.

После женитьбы и рождения отца бабушка тяжело заболела неизлечимой экземой ноги и осталась инвалидом на всю жизнь. Ее жизнь превратилась в сплошное страдание, но она так и не позволила ампутировать ногу. Боли в ноге были особенно сильными по ночам, так что в течение более чем пятидесяти лет у нее не было ни одной ночи, когда она спала бы. Весьма возможно, что это непрерывное страдание, происходившее на наших глазах, и терпение, с каким это страдание переносилось, внесло свою долю в развитие психологии и даже идеологии обреченности на страдания в нашей семье.

Дедушка Яков, насколько я его помню, был очень добрым и задумчивым человеком, как говорится, "человеком не от мира сего". Он боялся даже голос повысить на бабушку. Надо отдать ей должное, она никогда не злоупотребляла своей властью. Она тоже была очень доброй и отходчивой. Еще более мягким человеком был мой отец. Я за всю жизнь ни разу не слышал, чтобы он кого-нибудь обругал или вообще как-то обидел. Даже в те периоды, когда дед и отец подолгу жили в деревне, наказание детей (а нас было за что наказывать) было функцией бабушки и матери. Вместе с тем эта их мягкость сочеталась с поразительной стойкостью в некоторых ситуациях. Например, дед и отец категорически отказались вступить в колхоз. Отец просто уехал в Москву. А дед так и дожил жизнь в деревне, не будучи колхозником. Или другой пример. После расстрела "врага народа" Зиновьева отцу предложили поменять фамилию. Он наотрез отказался, мотивируя отказ тем, что наш род Зиновьевых является древним русским родом, а тот "Зиновьев" был вовсе даже не Зиновьевым, а каким-то Апфельбаумом. Это качество деда и отца быть мягкими и уступчивыми, но в критические и важные моменты проявлять непоколебимую стойкость (даже упрямство) перешло ко всем моим братьям. Сестры унаследовали способность бабушки и матери доминировать в семьях.

Дед был совершенно неприспособлен к деревенским работам. Зато дом наш он отделал так, что смотреть на него приходили из отдаленных деревень. Он был хорошим столяром и маляром. Всю мебель в доме он сделал сам, причем по городским образцам. Все комнаты обшил фанерой и покрасил. Из Москвы он привозил книги, картины, иконы. Икон в доме было очень много. Священник отец Александр, часто бывавший у нас, говорил, что такие иконы могли бы быть украшением его церкви.

Дедушка и бабушка много читали и пересказывали нам, внукам, прочитанное. Они были религиозными, но без фанатизма, в каком-то романтическом, сказочном и даже детском смысле. Бабушка перенесла непрекращающиеся физические страдания в течение стольких лет лишь благодаря вере и постоянным молитвам. Я много раз слушал ее разговоры с Богом и со своей ногой. Впоследствии я замечал, что непроизвольно следовал ее примеру. Изобретая свою систему жития, я припоминал кое-что из того, что усвоил в детстве. Например, я разговаривал с болевшими частями тела как с особыми существами. Я старался убедить их в том, что их болезненное состояние вредит нам обоим. Когда нападала бессонница, я коротал время изобретенными мною молитвами, похожими на те, которые бабушка твердила в течение более чем пятидесяти лет бессонной жизни. Многие из этого я приписывал моим литературным персонажам. Например, бабушка каждую ночь

благодарила Бога за то, что он дал ей жизнь, говорила, что другим живется еще хуже, что страдания суть тоже жизнь. В книге "Живи" эта мысль стала лейтмотивом жизни главного ее героя. Только, в отличие от бабушки, он был атеистом и не выдержал испытания до конца. Между прочим, идея сделать этого героя безногим возникла под влиянием воспоминаний о болезни бабушки. То, что я сделал причиной несчастья моего героя атомные эксперименты, было делом второстепенным.

Бабушка ни разу не видела железную дорогу. Дедушка еще мальчиком ходил в Москву пешком. Я был пилотом на первом классе для своего времени самолете и регулярно летаю пассажиром на таких самолетах, о каких даже подумать не смели еще несколько десятилетий тому назад. И все же есть вневременной разрез бытия, в котором мы остаемся равноправными партнерами. Пройдут новые века и тысячелетия, и все-таки будут появляться люди вроде нас.

Они вновь откроют и переоткроют старую как мир истину: ничто не ново под луной, новое есть лишь хорошо забытое старое. А если такие чудачки не появятся, на будущем человечества можно будет поставить крест.

Дедушка был не прочь выпить. И был довольно крепким на этот счет. По рассказам знакомых, в молодости он мог выпить целый литр водки и оставаться на своих двоих. Мастерские устраивали "спортивные" соревнования: кто больше затащит кирпичей в мешке на третий этаж, держа мешок в зубах. Дед часто выходил победителем, хотя внешне выглядел щуплым. По всей вероятности, я в этом отношении пошел в деда. Мне тоже приходилось выпивать огромное количество спиртного и оставаться на ногах. После войны, например, я выпил в кафе в Вене один больше, чем десять австрийцев вместе. И после этого я добрался до своей части, избежав подозрений патрулей. Мне тоже приходилось выигрывать соревнования, хотя мои конкуренты внешне выглядели гораздо сильнее меня. Иногда это случалось в пьяном состоянии. На спортивных соревнованиях в Братиславе в 1946 году меня буквально приволокли на беговую дорожку бежать на три или даже пять километров. Я прибежал первым. Правда, в объяснение моего "успеха" можно сказать, что мои конкуренты тоже были хороши: всю предшествующую ночь мы пьянствовали вместе.

НАШ ДОМ

К женитьбе отца дед построил новый дом. По размерам и удобствам он стал одним из лучших в округе. Жилая часть дома была сделана по образцу городских квартир. Отдельная кухня, спальня для отца и матери, спальня для дедушки и бабушки, спальня для старших детей, горница. Горница – это большая комната для приема гостей. В ней стоял посудный шкаф, комод, стол человек на двадцать, диван, венские стулья, цветы. Висело большое зеркало, иконы, картины. Одна из картин – портрет царя Александра Второго. Он висел вплоть до отъезда всей семьи в Москву в 1946 году. И никто и никогда не сделал по этому поводу ни одного замечания, хотя у нас часто бывали начальники

из Чухломы и даже Костромы.

Дом был окружен садом. К саду примыкал огород. В нем был пруд и баня. Баня была с печкой, парилкой и раздевалкой. Такая баня была единственной во всей округе. За огородом находилось гумно – участок, где росла трава на корм скоту и располагались различные хозяйственные постройки. Вся земля, на которой находились дом, сад, огород, гумно, сараи и другие постройки, принадлежала общине. Но община не была собственницей земли. Она не могла продать ее. После революции это отношение к земле сохранилось. Передача земли в "вечную собственность" колхозам при Сталине была лживой пропагандой по форме и новым закрепощением крестьян по существу.

Такой дом сыграл свою роль в формировании нашей психологии. Деревня для нас выглядела не как нечто противоположное городу, а как некое ответвление города. Мы вырастали не с сознанием людей, обреченных вечно копаться в земле, а со стремлением оторваться от нее и подняться на более высокий, городской уровень. Последний нам казался более высоким в любом варианте. Революция и коллективизация лишь ускорили процесс, который без них мог затянуться на много десятилетий, и придали этому процессу черты трагичности.

ОТЕЦ

Мой отец, Зиновьев Александр Яковлевич, родился в 1888 году. Из-за болезни бабушки он остался единственным их ребенком. Это произошло не из-за неспособности их иметь других детей, а из-за сознательного воздержания. Для современного человека такое явление немыслимо. Отец окончил трехлетнюю школу и уже с двенадцати лет пошел по стопам деда. Тот стал брать отца с собой в Москву и приучать к ремеслу.

Не знаю, как протекала жизнь отца в годы мировой войны, революции и Гражданской войны – он никогда об этом не рассказывал. Я видел его фотографии в солдатской форме. Слышал разговоры, будто он был тяжело ранен или контужен. Я его знаю и помню только в одном качестве: работа. Работал он, не считаясь со временем, не зная праздников, лишь бы заработать что-то для семьи. Мастер он был первоклассный, но на редкость непрактичный человек. Его постоянно обманывали. Он плохо одевался, плохо питался, мало общался с людьми вне работы. У него было две страсти: изготовление трафаретов и чтение. Работал он до последнего дня жизни. По дороге с работы домой он потерял сознание и на другой день умер в возрасте семидесяти шести лет.

Отец неплохо для самоучки рисовал. Когда он приезжал в деревню, он привозил нам цветные карандаши, краски и бумагу для рисования. Мои братья и сестры были равнодушны к рисованию. Я же начал рисовать, как только обрел способность держать в руках карандаш. Отец хотел, чтобы я стал художником. В юности он имел возможность поступить в художественно-промышленное училище, несмотря на недостаток общего образования. Но он эту уникальную по тем временам возможность упустил. Почему-то воспротивились все родственники. И деньги надо

было зарабатывать на новый дом. Я тоже художником не стал, но уже по другим причинам.

МАТЬ

Главой нашей семьи была моя мать Апполинария Васильевна, урожденная Смирнова. Родилась она в 1891 году в деревне Лихачеве в четырех километрах от Пахтино. Деревня была большая сравнительно с нашей и очень красивая. Расположена она была на крутом берегу реки Черт. Почти все дома в ней были крашеные, многие двухэтажные. В двух километрах от деревни протекала большая река Вига, которую можно даже найти на географических картах. Я видел сотни всяких рек. Но должен сказать, что ни одну из них, кроме старой Волги, не могу сравнить с ней по красоте. Если хотите познать подлинную красоту русской природы, поезжайте в те края. Я выше сказал о старой Волге, какой я ее видел до войны и во время войны. Потом ее загубили плотинами и водохранилищами.

Мне не раз приходилось читать, будто русское общество держалось на женщинах. В применении к нашим краям это мнение более чем верно. Женщины выполняли самую тяжелую и грязную работу. На них держался дом. На них держалась семья. Роль женщины в обществе наложила свою печать на национальный русский характер. Русская нация складывалась как нация женственная. Начала было складываться. Революция оборвала этот процесс.

Моя мать была типичной русской женщиной в указанном выше смысле. Но как индивидуальная личность она была явлением исключительным. Я утверждаю это не по долгу сына и не в силу причин, какие тут сразу же примыслят презируемые мною психоаналитики фрейдистского толка. Я это утверждаю с целью воздать должное замечательной русской женщине, которая не имела никакой возможности развить данный ей от природы дар и сделать его достоянием общества.

Два человека в наших краях, не занимавшие никаких постов и не имевшие специального образования, имели всеобщую известность и пользовались всеобщим уважением. Один из них был лекарь-самоучка Толоконников. Он одному ему известными способами лечил всякие болезни, включая рак. Одним из его пациентов был Главный маршал авиации Новиков, уроженец наших мест. Он заболел раком. В Москве лучшие специалисты сочли его обреченным. Тогда-то он вспомнил о Толоконникове. Чуть живого маршала отвезли в Чухлому. В течение нескольких недель Толоконников поставил его на ноги. После этого маршал прожил еще много лет. Он добился создания специальной комиссии по изучению опыта Толоконникова. Но пока длилась бюрократическая волокита, Толоконников умер, не оставив никаких записей.

Второй из упомянутых выше личностей была моя мать. Если Толоконников лечил недуги тела, то моя мать лечила недуги душевные. Она обладала удивительной способностью притягивать к себе людей. В ее присутствии

мир становился светлее, солнечнее. Людям становилось легче на душе уже от одного того, что они находились с нею рядом. Она никогда не кричала, как другие бабы. Никогда не ругалась. В самые тревожные минуты от нее исходило спокойствие и умиротворение. Побывать с ней и поговорить приходили люди из отдаленных деревень. Священник Александр, знавший ее с детства, называл ее солнечным человеком. Он считал, что ей от Бога был дан дар облегчать душевные страдания людей.

На долю моей матери выпала тяжелая, мученическая жизнь. Непутевый муж, которого она видела самое большее две-три недели в году, да и то не каждый год. Больная свекровь и затем неспособный к деревенской работе свекор. Орава детей. Дети рано отрывались от дома, и им приходилось несладко. Остававшихся с нею детей надо было одеть, обуть, накормить. С ними вечно случались какие-то неприятности. Болезни, ссоры, драки, увечья были обычными явлениями житейских будней. Добродетели вырабатывались лишь как черты характера, а не как ежеминутная идиллия. Последних два ребенка родились больными. У младшего брата были больные ноги, а у сестры глаза. Такие болезни требовали многих лет лечения. Больше пяти лет мать сражалась за то, чтобы брат стал нормально ходить. Она выиграла это сражение. Брат вырос здоровым, стал спортсменом, отслужил в армии. Больше десяти лет ушло на то, чтобы сделать сестру зрячей. Она выросла очень красивой и умной девушкой. Она умерла из-за преступной халатности бесплатной советской медицины в Москве.

Годы и годы бессонных ночей и тревог. А ведь все эти годы надо было заботиться о других членах семьи, работать в колхозе и на своем индивидуальном участке. Что такое тревоги и хлопоты о детях, я понял, когда родилась моя первая дочь с дефектами ног и позвоночника. Я потратил двенадцать лет на то, чтобы сделать ее здоровой. Я, как и моя мать, добился успеха. Но чего это мне стоило! А ведь у меня тогда на руках был всего один ребенок.

И главное – колхоз. Год колхозной жизни в наших местах я приравниваю по крайней мере к году исправительных лагерей строгого режима. Моя мать проработала в колхозе шестнадцать лет.

Колхоз не сразу обнаружил свою сущность. А когда обнаружил, было уже поздно. Оставался один выход: бегство. Бегство нашей семьи растянулось на шестнадцать лет. Для истории такой срок – миг. А для страдающих индивидов вечность. Для матери эти годы были непрерывной пыткой. Она работала больше других, так как семья была больше. Оплата труда была издевательская. Но даже несколько дополнительных килограммов зерна были спасительными. На ее глазах происходило крушение всего прежнего уклада жизни. Закрыли церковь. Стремительно рушились моральные устои тех, кто остался в деревнях. Пьянство. Воровство. Обман. Лодыри, жулики и дураки на короткое время вылезали в начальство и скоро исчезали в тюрьмах, уступая место таким же несчастным ничтожествам. Мать не принимала участия в махинациях местных начальников. Но было просто невозможно жить, не нарушая законов. И мать жила постоянно в страхе быть арестованной за какое-нибудь мелкое преступление, изобретенное новым строем. Например, я мальчишкой ходил далеко в лес за грибами, брал с собой маленькую

косу, прятал ее, чтобы не увидели соседи, в лесу прикреплял ее к палке и косил на полянках траву. Ночью мы с матерью приносили скошенную траву домой и прятали. Если бы соседи увидели это, то непременно донесли бы. За охапку сена на первый раз конфисковали бы целый воз, а то могли и посадить в тюрьму. Такое чуть было не случилось, когда мать покосила осоку в болоте для того, чтобы набить ею матрац для меня. Осоку пришлось выбросить на глазах у односельчан, а у матери вычли в наказание десять трудодней (трудодень – форма учета труда в колхозе).

Мать обладала способностью ясновидения и изначального понимания сущности явлений жизни. Она понимала все сразу и правильно, без всяких иллюзий. Она, например, сразу поняла суть колхозов, предвидела опустошение района и последующие кошмарные годы. Но что она могла сделать? Легко давать умные советы, глядя на историю со стороны и живя в комфортабельных условиях. Люди реагировали на происходящее единственно доступным для них способом: бегством от колхозных ужасов. Это делала и моя мать, постепенно отправляя детей в город и готовясь к будущему разрыву с деревней вообще. Она в это верила и предвидела это. По ее советам несколько семей из нашей и соседних деревень срочно уехали в города ("завербовались") еще до начала коллективизации.

ДЕТИ

Моя мать родила одиннадцать детей. Первого в 1910-м, а последнего в 1935 году. Двое детей умерли маленькими в годы войны и голода. Младшая дочь умерла в двадцать лет из-за халатности врачей. Старший сын умер в пятьдесят шесть лет от рака. В момент написания этой книги в живых оставалось семеро. Все дети моих родителей вместе произвели на свет лишь пятнадцать детей, т. е. почти два ребенка на семью. А у внуков эта величина и того меньше. Факт характерный. Хочу заметить к сведению теоретиков, увидевших причину снижения рождаемости в России в пьянстве: все мои братья и сестры были трезвенниками, пьянствовал один я, что не помешало мне произвести на свет троих детей. Я мог бы произвести тридцать, но этому воспрепятствовали соображения социального расчета и морали, а не водка.

Мой старший брат Михаил (1910 – 1966) в двенадцать лет уехал с дедом и отцом в Москву. Сначала работал подмастерьем с ними. Потом стал учиться в вечерней школе и одновременно в профессиональной школе при мебельной фабрике. Вступил в комсомол. Добровольно работал два года на строительстве Комсомольска-на-Амуре. Учился в вечернем техникуме без отрыва от работы. В 1933 году женился. Имел четверых детей. По окончании техникума стал мастером, техником, инженером на мебельной фабрике. Во время войны был сержантом и младшим офицером. Награжден орденами и медалями. После войны работал начальником цеха и затем

директором фабрики. Избирался депутатом районного и областного советов. За трудовую деятельность награждался орденами и медалями. Был членом партии.

Чтобы предотвратить аварию на фабрике, бросился в опасное место, получил сильный удар в грудь. Как это и бывало с русскими людьми, не обратился сразу к врачу. Когда почувствовал себя плохо, было уже поздно. Вскоре он умер, на его похороны пришли сотни людей. Один из выступавших сказал, что в России только после смерти настоящего человека мы узнаем, кого мы потеряли.

Жизненный путь брата Михаила характерен. Таких людей в народе считали настоящими коммунистами, вкладывая в это слово самое идеальное нравственное содержание. Уже будучи начальником цеха, он жил с женой и четырьмя детьми в одной комнате. Лишь став директором фабрики, он получил двухкомнатную квартиру.

Обе мои старшие сестры были тоже типичными русскими женщинами того периода. Образование их ограничилось четырьмя классами деревенской школы. Они рано начали работать в поле. Прасковья (1915) в шестнадцать лет вышла замуж за семнадцатилетнего парня из соседней деревни, жившего в городе. Сделав что-то с документами, чтобы увеличить возраст, они сразу же уехали в Ленинград. Конечно, пришлось дать взятку кое-кому. Муж сестры был рабочим. И сестра всю жизнь до выхода на пенсию была работницей. Другой сестре, Анне (1919), тоже не без труда и взяток удалось вырваться из колхоза. Она уехала в Москву, работала нянкой, домашней работницей, чернорабочей на заводе. Окончила курсы шоферов. Много лет работала шофером. После аварии стала инвалидом. Работала лифтершей и уборщицей. Участвовала в обороне Москвы. Имела награды.

Типична и судьба младших братьев. Николай (1924) в 1936 году переехал в Москву. Учился в школе. В начале войны стал работать на заводе. За получасовое опоздание был осужден на пять лет заключения. Был направлен в штрафную часть на фронт. Несколько раз ранен. Отличился в боях. Реабилитирован. Награжден многочисленными орденами и медалями. После войны окончил вечерний техникум. Стал замечательным специалистом по тонким приборам. Брат Василий (1926) окончил офицерскую школу, затем заочный юридический институт. Служил в Сибири, в Средней Азии, на Дальнем Востоке. Стал полковником, военным юристом. В 1976 году был назначен на генеральскую должность в Москве. Но в это время на Западе появилась моя книга "Зияющие высоты". От Василия потребовали, чтобы он публично осудил меня. Он отказался это сделать. Заявил, что он гордится мною. Его немедленно уволили из армии и выслали из Москвы. Но он никогда не упрекал меня за то, что пострадал из-за меня, и не порывал со мной контактов. Он был членом партии, как и другие братья, прекрасным специалистом и на редкость хорошим человеком. Братья Алексей (1928) и Владимир (1931) учились в деревенской школе, служили в армии, работали рабочими, заочно учились в техникумах и институтах, оба стали инженерами.

Ни у кого из моих братьев и сестер не было никаких карьеристических амбиций. Если кто-то из нас немного преуспел, так это исключительно благодаря труду и способностям. Но я бы не сказал, что наша семья

поднялась слишком высоко. Должность инженера немногим выше уровня квалифицированного рабочего и мастера. На самый высокий уровень поднялся я, став профессором и заведующим кафедрой университета, и Василий. Да и то на короткий срок. Так что "карьера" нашей семьи не превысила "карьеру" всей страны в результате социальной и культурной революции.

ВНУКИ

Мои воспоминания поневоле превращаются в социологический анализ советской истории не столько из-за моего пристрастия к социологии, сколько из-за того, что наша жизнь шла в удивительном соответствии с закономерностями исторического процесса. Эволюция нашего рода может служить примером тому. Из внуков никто не стал рабочим, но никто не поднялся выше уровня мелкого служащего. Общество вступило в стадию зрелости. Стало труднее подниматься в более высокие слои, но люди стали прилагать больше усилий, чтобы их дети не опускались в низшие слои.

СЕМЕЙНЫЙ КОЛЛЕКТИВИЗМ

Бабушка и мать, не подозревая того, "открыли" принципы педагогики, которые потом принесли мировую славу А. Макаренко: воспитывать не каждого ребенка индивидуально, а как членов коллектива, причем коллектива трудового. Как только мы чуть-чуть подрастали и были в состоянии что-то делать, мы включались в трудовую жизнь семьи. Носили дрова и воду, пололи и поливали овощи, сушили и убирали сено. Походы за ягодами и грибами тоже превращались в работу; мы собирали их для семьи. Это было серьезным подспорьем в нашем питании. Сушеные грибы и ягоды сдавали на заготовительные пункты, получая за них мануфактуру, мыло, сахар и другие предметы, которые нельзя было купить в магазине. Драли и сушили ивовую кору. Она шла на выделку кож. Ее возили в Чухлому и получали за нее тоже дефицитные предметы. Ловили кротов. Разводили кроликов. Короче говоря, в нас с первых же дней жизни вселяли чувство ответственности за судьбу ближних и чувство принадлежности к единому коллективу.

Стремление сделать вклад в общее семейное благополучие подавляло прочие желания. Собирая, например, ягоды, которые водились вокруг в изобилии, мы лишь изредка позволяли себе съесть несколько штук. Мы приносили их домой и получали свою долю из собранного нами же. Доли одинаковые, независимо от различий наших вкладов. Наградой за лучшие результаты была похвала. Мы вообще старались все делать так, чтобы заслужить похвалу со стороны взрослых. Но похвалу справедливую. Тем самым нам прививался один из самых фундаментальных принципов идеального коллективизма: принцип справедливой оценки способностей и трудового вклада в общее дело. Когда я вырос, я увидел, что в реальном советском коллективе декларированный марксизмом принцип

"Каждому – по труду" чаще нарушался, чем соблюдался. Я тогда не знал, что именно следование этому принципу является причиной его нарушения, и реагировал на сам факт нарушения как на несправедливость.

Одной из особенностей коллективистского образа жизни является то, что человек всегда на виду у других.

Всем видно, что из себя представляет человек. Нас с рождения приучали к тому, чтобы мы выглядели хорошими людьми в глазах окружающих, чтобы завоевывали их уважение исключительно положительными качествами. Нам предстояло жить в коллективах иного рода, чем тот, в котором мы росли. Но наше положение в них как добросовестных работников, лишенных карьеристических устремлений, не способных к интригам, к халтуре, к обману и к холуйству, было предопределено воспитанием в семье. Это имело свои недостатки и свои достоинства. С такими качествами можно было жить достойно, но нельзя было преуспеть в смысле карьеры и материального благополучия. Я думаю, что в нашей семье никто не попал в волну сталинских репрессий (случай с братом Николаем и со мной совсем иного рода) в значительной мере благодаря тому, что никто из нас не был карьеристом и стяжателем, зато все были хорошими работниками, какие тогда требовались стране и всячески поощрялись.

ЧИСТОПЛОТНОСТЬ

Не обязательно нужно делать нечто грандиозное, чтобы привить человеку высокие моральные принципы и хорошие бытовые привычки. Нас приучали к бытовой чистоплотности на самых простых мелочах. Нас педантично заставляли мыть руки и ноги, стригли ногти и волосы, беспощадно воевали с соплями и вообще с неопрятностью. Тем, кто вырос и живет в современных гигиенических условиях, это покажется смешным или вообще не заслуживающим внимания. Но давно ли то время, когда в королевских дворцах водились вши, когда придворные красавицы не могли раскрывать рот из-за гнилых зубов, когда королевские парки были загажены из-за отсутствия уборных? В наших деревенских условиях и с большой семьей борьба за бытовую чистоплотность играла не менее важную роль, чем борьба прусского наследного принца за признание ночного горшка при королевском дворе. Мы понятия не имели о простынях. Но матрацы, на которых мы спали, регулярно мылись и набивались свежим сеном. То, что Зиновьевы были "помешаны" на чистоте, было известно во всем районе. Потому районное и областное начальство, уполномоченные, агитаторы и другие визитеры обычно ночевали у нас.

Не менее педантично нам прививали моральную чистоплотность. Нам постоянно внушали, что греховно не только совершать плохие поступки, а даже про себя думать о них. Нас наказывали самым беспощадным образом, если мы делали что-либо недостойное репутации нашей семьи. Что о нас подумают люди – это действовало на нас как удар хлыста.

Нам категорически запрещалось употребление бранных слов и скабрзностей. Я не помню ни одного случая, чтобы дедушка, бабушка и родители ругались матом. Считалось, что чистота речи есть выражение чистоты души. Это прочно въелось в натуру. Я потом служил в кавалерии и в авиации, где на каждое нормальное слово употреблялось два похабных. Я же никогда таких слов не употреблял. В Москве после войны я постоянно вращался в интеллектуальных кругах, в которых все более входил в моду мат. Я не поддался этой эпидемии. Некоторые мои критики без всяких оснований приписали мне употребление мата в моих романах. Я описал и высмеял это явление, но никогда не использовал мат как литературное средство. Я считаю это признаком культурной и моральной деградации, а не прогресса.

ВЕСЕЛАЯ БЕДНОСТЬ

Хотя мы все усердно работали, я не могу сказать, что мы имели в достатке еду и одежду. Одежду нам перешивали из старых вещей. Мы донашивали то, что оставалось от старших братьев и сестер. Обновы нам делали только в крайних случаях и к праздникам. Обычно мы недоедали и постоянно испытывали голод. Мясо ели редко и мало. Физическая усталость и скромное питание задерживали наше формирование. Я начал регулярно бриться лишь после того, как мне исполнилось двадцать лет. Моей первой женщиной стала моя первая жена. Мне тогда было двадцать один год.

Несмотря на бедность в современном смысле слова, жили мы весело. Мы не воспринимали свое положение как бедность. Мы вообще не оценивали его в этом плане. Я не помню ни одного случая, чтобы в нашем доме говорили о богатстве и бедности как о чем-то таком, что касалось нас лично. Достижение богатства не входило в круг наших интересов. Наше сознание имело иную ориентацию. В нашем доме всегда было много народу. Зимой у нас подолгу жили портные, сапожники, валяльщики валенок. Они делали одежду не только для нашей семьи, но и для всей деревни. Они были веселыми шутниками и рассказывали много интересного. Особенно веселое время наступало, когда из Москвы приезжали дед, отец и брат. Они привозили сахар, конфеты, белый хлеб, городские вещи, книги с картинками, цветные карандаши, резиновые мячи. В гости к нам приходили многочисленные родственники и друзья. Жизнь становилась яркой и праздничной.

Я

Я родился шестым по счету ребенком в семье. По рассказам бабушки, мать работала весь день, как обычно, в поле. Вечером родила меня. Через три часа она уже доила корову. На другой день работала так, как будто ничего особенного не случилось. Лишь прибежала домой на минутку покормить меня. Ничего из ряда вон выходящего в этом действительно не было. Детей тогда рождалось необычайно много. А

заменить баб на работе было некому.

Время было голодное. Я был очень слаб. Все были уверены, что я не выживу. Дед заблаговременно заготовил гробик. Гробик потом долго валялся на чердаке.

Целый год я плакал беспрерывно. Потом вдруг перестал плакать, причем насовсем. Ничто не могло выдавить из меня ни слезинки. Однажды бабушка застала меня за попыткой курить. Она основательно побила меня за это. Но ее попытка заставить меня плакать не удалась, и она сама из-за этого заплакала. За это я получил взбучку от матери: я должен был пожалеть бабушку и сделать вид, будто плачу. Что касается курения, то бабушка устроила мне такое лечение, что я после него двадцать лет не мог выносить одного запаха табака. С большим отвращением начав курить, я так и не стал заядлым курильщиком и без особых усилий бросил курить насовсем. Бабушкин метод заключался в следующем. Она свернула самокрутку из махорки длиной сантиметров двадцать, заставила меня выкурить ее, а потом заставила съесть чашку сливочного масла. После такого "лекарства" меня выворачивало наизнанку два дня.

По рассказам взрослых, я рано начал говорить и был острым на язык. В округе долго вспоминали, например, такой случай. В гости к нам приехал дальний родственник, у которого были необычайно большие уши. Они произвели на меня сильное впечатление. Я сказал ему, что такие красивые уши есть еще только у нашего Соколки. Соколка был наш мерин, известный во всей округе огромными ушами. После этого о нашем злосчастном родственнике стали говорить как о человеке, у которого уши как у зиновьевского Соколки. Он обиделся и у нас больше никогда не появлялся.

Я рано начал осознавать себя. Одно из самых ранних воспоминаний – о том, как я выпил глоток водки из рюмки зазевавшегося гостя и изображал пьяного. Мне было два года. Я также очень рано научился читать и писать, глядя на старших сестер. Кроме того, у нас квартировала учительница. Она ради забавы начала обучать меня письму, чтению и счету. В школу я пошел сразу во второй класс. Учительница хотела перевести сразу в третий, но воспротивилась мать по очень простой причине: моя сестра ходила во второй класс. Если бы я пошел в третий класс, на следующий год мне пришлось бы одному ходить в школу за восемь километров от нашей деревни, где было четыре класса.

УЧЕБА

Учился я охотно и легко. Способность к обучению я сохранил до сих пор. Если бы существовала профессия вечного ученика, дающая средства существования, я, скорее всего, избрал бы ее. Когда человек перестает учиться, он вступает в стадию старости. А это я не могу себе пока позволить.

Бумаги в то время было мало. Нам выдавали маленькие кусочки на целый день. И учебников было мало. Поэтому приходилось развивать способности делать упражнения в голове и запоминать материал наизусть. Я в этом отношении достиг виртуозности, запоминая с одного раза целые страницы учебников и умножая в уме многозначные числа. В четвертом классе я выступал с такими "номерами" в школьной самодеятельности. На наши "концерты" приходили взрослые из окружающих деревень. Мои "фокусы" с запоминанием и с числами производили на них потрясающее впечатление. Способность запоминать длинные тексты и проделывать в уме сложные вычисления и вообще логические операции я укрепил и развил затем специальными упражнениями. Благодаря этой способности я никогда не пользовался записными книжками. Вместе со способностью запоминать я развил также способность забывать то, что не надо было помнить.

Постепенно я выработал свои приемы запоминания, избавляющие от необходимости запоминать все. Я запоминал минимум, но такой, по которому мог восстановить остальное. Став профессиональным логиком, я идентифицировал свои приемы как логические правила организации множеств понятий и суждений. Эта способность логически организованного запоминания пригодилась мне в аккумулировании в голове огромного материала, что было чрезвычайно важно в ненормальных условиях моей жизни. Я до сих пор держу в голове большие резервы для литературной, публицистической и научной работы. Один журналист спросил меня, когда я оказался на Западе, как мне удалось вывезти из России мои архивы. По его мнению, это должны были быть вагоны бумаг. Я сказал ему, что вывез все мои архивы в голове. Он не поверил. Но я сказал правду. С той лишь разницей, что в голове я вывез не множество слов, фраз и текстов, а способность восстанавливать слова, фразы и тексты определенного рода и в зависимости от определенной цели.

ЗАДАТКИ

От отца я усвоил страсть к рисованию. Я зарисовывал все, что попадалось под руки, даже книги и тетради. За это мне не раз попадало. Причем я рисовал по памяти, а не срисовывал с натуры, и выдумывал. Потом я стал изображать людей. И не просто абстрактных людей, а знакомых.

Хотя о портретном сходстве и речи быть не могло, почему-то все сразу узнавали, кого я изобразил. Я выбирал какую-то характерную черту изображаемого и рисовал не столько человека, сколько эту черту. Обычно это была черта характера, а не внешности. Забавно, что взрослые побаивались моих рисунков, дети часто плакали и жаловались родителям. Способность изображать характеры людей я потом дополнил способностью схватывать внешнее сходство. Много лет спустя мой знакомый врач-психиатр иногда просил меня рисовать его пациентов, так как мои рисунки помогали ему устанавливать диагноз.

Отсутствие способностей тоже играет важную роль в формировании

характера человека. Наша семья была на редкость немзыкальна. Старший брат пикиал на гармони, как это было принято в среде молодых людей его поколения. Один из братьев играл на балалайке, но немногим лучше Михаила. Старшая сестра обладала необычайно сильным, но совсем немзыкальным голосом. И слуха музыкального у нее не было никакого. Впрочем, это и не требовалось. Лучшей певицей считалась та, которая громче всех кричала песни. И в этом смысле моя сестра считалась лучшей певицей округа. Когда она с другими девчонками вечерами запевала частушки, ее было слышно за десять километров. Даже лошади вздрагивали, а куры просыпались на насесте.

Когда мне было пять лет, крестная мать привезла мне из Москвы гармони. Несколько дней я отравлял жизнь семьи музыкальными упражнениями. Но, к счастью, мне это скоро надоело. Вооружившись ножницами, я уединился и разрезал гармони на части, чтобы познать секрет музыки. Но никакого секрета внутри гармони не оказалось. Мать не наказала меня за то, что испортил ценную вещь. Она лишь сказала слова, которые врезались мне в память на всю жизнь: все секреты надо искать прежде всего в своей голове.

РОЛЬ В КОЛЛЕКТИВЕ

Детей в деревне было много. В течение многих лет они проводили время вместе. Так что тут образовывался более или менее устойчивый детский коллектив из детей различных возрастов и характеров. В детском коллективе в значительной мере выяснялось и предопределялось то, каким становился человек в социальном, психологическом и моральном отношении. Есть общие законы коллективной жизни, имеющие силу и для детских коллективов. Порою они тут действуют с большей ясностью и откровенностью, поскольку дети еще не умеют так притворяться и маскировать свою натуру, как взрослые.

В нашем детском коллективе мне постепенно навязали роль, соответствующую моим природным склонностям. Мы играли, конечно. Я играл с азартом, добросовестно, неутомимо. При этом я никогда не претендовал на роль вождя или начальника. Я выдумывал игры, увлекал других. Но всегда уступал формальное руководство тем, кто стремился к этому. Я выполнял самые трудные задачи, требовавшие индивидуальной ловкости, изобретательности, смелости и самоотверженности. Но повторяю, я никогда не был вожаком коллектива и не стремился командовать другими. Во взрослом состоянии мне выпадала возможность сыграть роль вожака или начальника, но я от этого уклонялся или стремился поскорее избавиться. В армии, став сержантом и затем офицером, я так и не научился командовать подчиненными. У меня не было командирского голоса, как не было голоса музыкального. Я обычно становился инициатором и фактическим организатором дела группы, но всегда оставался в тени и предоставлял возможность выглядеть руководителями тем, кто подходил для этой роли формально.

Физически я был очень вынослив. Хорошо бегал, ездил верхом, нырял, лазил по деревьям. Неплохо дрался и никогда не уклонялся от драк,

если даже противники превосходили меня по силе. Более того, именно в таких случаях я дрался с особым остервенением. Я первым прыгал в речку, когда на полях еще лежал снег. Первым шел в темное место, где чудилась нечистая сила или опасность. Первым брал на себя вину за общие проказы. Эта роль порою дорого обошлась мне, но я все же играл ее охотно. Я вовсе не горжусь ею сейчас. Я лишь описываю ее как одну из ролей индивидов в коллективе, доставшуюся мне по ряду причин, от меня не зависевших. И среди этих причин власть коллектива была далеко не на последнем месте. Роль отщепенца, которую мне предстояло сыграть ценою целой жизни, тоже была в какой-то мере навязана мне обществом.

Я всегда с увлечением принимал участие в коллективных мероприятиях. Наградой за мою роль в них было сознание того, что я делал больше и лучше других, и другие члены коллектива видели это и ценили. Ничего, кроме признания и справедливой оценки сделанного мною, я не хотел для себя. Желание, чтобы кто-то видел, что я делаю, что я на самом деле из себя представляю, чтобы кто-то справедливо оценил мое поведение и результаты моей деятельности, стало одной из основных черт моего характера. В книге "Зияющие высоты" я выразил это в "Молитве верующего безбожника". Тот факт, что в реальности общественная оценка человека, как правило, не совпадает с его сущностью, постоянно причинял мне страдания. Сначала я недоумевал по этому поводу. Потом понял, что это есть закономерное явление. Но легче от такой мысли не стало.

САМОВОСПИТАНИЕ

Я очень рано начал заниматься самовоспитанием. Разумеется, сначала я не осознавал его, как таковое. Это было мальчишеское поведение, переросшее в сознательное делание себя по определенным образцам. Приведу несколько примеров. Мы устраивали соревнования, кто дольше выдержит щекотку или боль. Я заставил себя держаться дольше других. Такая необычная тренировка пригодилась мне впоследствии не раз. Однажды мы забрались в помещение, где хранилась колхозная сметана и сливки, и съели чуть ли не все запасы, предназначенные для сдачи государству. Нас, конечно, разоблачили. Родителей оштрафовали, а нам устроили коллективную порку. Меня порол сам председатель колхоза, считавший меня зачинщиком. Порол вожжами. Порол убежденно и, можно сказать, с душой. Но я решил вытерпеть во что бы то ни стало, не просить пощады и не выдавать настоящего зачинщика. И вытерпел. Из этого я извлек урок: боль ощущается не так остро, если имеешь твердое решение выстоять.

В полях вокруг наших деревень построили вышки для геодезических измерений. Подниматься на них можно было по лестницам, доступ к которым был закрыт запертыми на замок дверями. Но на одной из "ног" вышек снаружи были приколочены перекладки, по которым можно было забраться наверх. Мы поспорили, что я смогу это сделать. Когда я начал подниматься, меня охватил ужас. Но отступить было поздно. Внизу стояли ребята и девчонки. Если бы я не полез до самого верха,

меня засмеяли бы. Рухнула бы моя репутация. Пришлось лезть до конца. Потом я лазил на все вышки в округе уже без особых усилий над собой. Другой случай преодоления страха произошел, когда я учился в четвертом классе. Точно так же на спор я ночью один пошел на кладбище. Хотя я уже знал, что никакого Бога нет, было все равно жутко. Страшнее, чем лезть на вышку. Я и на сей раз пересилил страх. С тех пор у меня не было ни одного случая в жизни, чтобы я не преодолел чувство страха. И не было ни одного поступка, который я совершил бы под влиянием страха.

С годами я стал заниматься самовоспитанием вполне сознательно, стараясь следовать нравившимся мне литературным образцам. При этом моими героями никогда не были дети. Это были всегда взрослые. И среди живых я не видел образцов для подражания. Любопытно, что у меня никогда не появлялось желания что-то иметь только по той причине, что это имел кто-то другой. Со временем я возвел это в принцип: не подражать никому, не хотеть того, что имеют другие, но что не есть необходимый элемент твоей имманентной жизни.

Я не считаю, что делал себя по наилучшим образцам и наилучшим образом. Я не собираюсь конкурировать с другими в этом отношении. Я лишь констатирую как факт, что имел перед собой какие-то образцы человека и начал делать себя по ним еще в детстве. Потом и образцы эти отпали. И к проблеме самосоздания я стал подходить творчески: я решил сотворить существо, какого не было ни в реальности, ни в литературе.

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ

Самым значительным событием в деревне в период моего детства была коллективизация. В моем формировании и в моей судьбе она сыграла роль огромную. Потому остановлюсь на ней несколько подробнее.

Когда число людей, занятых поисками истины, превышает некий допустимый максимум, то в силу вступает закон: чем больше искателей истины, тем более чудовищные заблуждения порождают эти поиски. В таких случаях люди стремятся не столько к истине, сколько к удовлетворению своих личных целей за счет темы. Истина оказывается делом второстепенным. Тема советской коллективизации дает классический пример на этот счет. На эту тему написаны тонны слов. Найти в них крупицу истины еще труднее, чем найти жемчужину в навозной куче. Уже находясь в эмиграции, я пытался высказать о коллективизации то, что пережил сам и видел своими глазами, на меня обрушили самые нелепые и несправедливые обвинения, в их числе – обвинения в защите сталинизма. И это делали в отношении человека, который в семнадцать лет встал на путь антисталинизма и пострадал из-за этого! Хотел бы я знать, как бы вели себя нынешние храбрые критики Сталина, если бы оказались в Советском Союзе в 1939 году!

В силу особенностей, о которых я говорил выше, наш район был всей предшествующей историей подготовлен к коллективизации. Думаю, что в

этом отношении он был типичен для России. Крестьяне не были собственниками земли. Единоличность хозяйства заключалась лишь в том, что семья индивидуально использовала отведенные ей участки земли. Землю нельзя было продать и даже передать другим во временное пользование за плату. Революция ликвидировала помещичье землевладение. Производительность крестьянского труда была низкая. Продукты труда продавались лишь в исключительных случаях. Это не было источником регулярного дохода. Многие работы выполнялись коллективно (починка дорог, рытье прудов, сенокос). Коллективизация не была для крестьян чем-то абсолютно новым и неожиданным.

О колхозах стали говорить еще до того, как коллективизация началась практически неподалеку от нашей деревни возникла коммуна в духе идей социалистов-утопистов. Она стала предметом насмешек и скоро развалилась. Так что не любое насилие сверху могло быть принято массами крестьян. Если колхозы и были насилием, как принято теперь думать, то это было насилие особого рода: оно было формой организации добровольности. Иначе колхозы не уцелели бы, несмотря ни на какие репрессии. Ведь и в основе закрепощения крестьян в России в шестнадцатом и семнадцатом веках лежала добровольность. Суть проблемы рабства состоит не в том, почему людей заставляют становиться рабами, а в том, почему они позволяют превращать себя в рабов.

О колхозах говорили с насмешкой. Особенно потешались над тем, что якобы вся деревня будет спать под одним одеялом и есть из одной чашки. Одна доверчивая, но очень жадная старуха приобрела огромную ложку, дабы "не упустить своего" из общей чашки. Но насмешки не помешали юмористам единодушно и без эксцессов вступить в колхоз. Лишь немногие отказались. Отказалась та жадная старуха, узнав, что общей чашки не будет. Отказался мой дед и один из односельчан. Последний собрал пожитки, забрал семью и уехал в Ленинград. Дом со всем хозяйством он просто бросил. Лошадь привязал на станции к столбу. Такие поступки стали возможными потому, что потеря хозяйства не превращалась в катастрофу, а при наличии возможности иметь работу в городе не переживалась очень сильно.

Крестьяне отдали в колхоз лошадей, часть коров и овец, инвентарь, хозяйственные постройки. Они продолжали пользоваться ими, но уже как достоянием колхоза. Ликвидировали межи. Колхозу дали кое-какие машины. Появились трактора. Одна из идей колхозов и состояла в том, что в условиях единоличного хозяйства было невозможно использование машин. Хотя в конечном итоге производительность колхозов оказалась низкой, государство получило дешевую рабочую силу в городах за счет бегства и вербовок крестьян в города и на стройки в отдаленных районах страны. Кроме того, государство получило возможность выжимать из деревень организованно и почти даром продукты питания для городов и армии.

Существует устойчивое мнение, будто колхозы были выдуманы сталинскими злодеями из чисто идеологических соображений. Это чудовищная нелепость. Идея колхозов не есть идея марксистская. Она вообще не имеет ничего общего с классическим марксизмом. Она не была привнесена в жизнь из-за теории. Она родилась в самой практической

жизни реального, а не воображаемого коммунизма. Идеологию лишь использовали как средство оправдания своего исторического творчества. Сейчас, когда история сделала свое дело, даже советские вожди рассматривают сталинскую колхозную политику как ошибочную и противопоставляют ей некий ленинский (и бухаринский) кооперативный план. Не знаю, чего в этом больше – идиотизма или подлости. Ленинский кооперативный план был совершенно невразумительный и нелепый. Ленин просто понятия не имел о реальности коммунизма. Сталин уже не имел ленинских иллюзий. Он был циничен. Но именно его цинизм больше отвечал исторической неизбежности, чем все прочие программы. Одно дело – бумажные проекты. И другое дело – реальные проблемы реальной страны. Я утверждаю, что низкая производительность труда и другие критикуемые теперь явления колхозов были проявлением общих закономерностей коммунистического социального строя, а не специфически колхозных недостатков. Последние лишь усилили действие общих причин. В колхозах сущность коммунизма обнаружилась в наиболее острой и заметной форме. Дело не в ошибках Сталина. Дело в самом существовании той реальности, в которой действовал Сталин. Сталин делал ошибки, но не больше, чем Хрущев или Брежнев.

Все "прелести" колхозной жизни сразу же обнаружили себя в жестокой и вместе с тем в карикатурно усиленной форме: обезличка, бесхозяйственность, моральная деградация, преступления, ничтожная плата за труд и прочие общеизвестные явления привычного теперь советского образа жизни. Началось такое бегство людей из деревень, какого еще не знала русская история. Многие завербовывались на стройки на север и в Сибирь, лишь бы избавиться от колхозов. Призванные в армию ребята почти совсем не возвращались домой. Деревни стали пустеть и исчезать с лица земли. В деревнях остались лишь старики и семьи, которым некуда было бежать. В район стали переселяться люди из других мест, в основном нищие и малограмотные. От прежней культуры не осталось и следа. Началось безудержное пьянство и примитивное воровство. Почти все оставшиеся в наших местах мужчины побывали председателями колхозов и другими "начальничками", спились, попали в тюрьму. Когда я в 1946 году попал в наш "медвежий угол", там почти совсем не осталось мужчин – погибли в тюрьмах или на войне. Исторический скачок обошелся России дорого.

Мать вступила в колхоз по очень простой причине: с такой семьей жить в городе было бы невозможно. Она избрала единственно правильную тактику: растить детей и постепенно отправлять в Москву. Отец в колхоз не вступил, поскольку считался постоянным жителем Москвы (имел московскую прописку и жилплощадь). Матери пришлось проработать в колхозе шестнадцать лет. Только русская женщина могла выдержать эти каторжные годы. Потому описания сталинских лагерей на меня не произвели сильного впечатления: я видел и пережил сам кое-что похуже.

Сестра Анна с двенадцати лет начала работать в колхозе наравне со взрослыми. Я работал в колхозе каждое лето во время школьных каникул. Летом 1938 года я за два месяца заработал столько трудодней, сколько взрослые зарабатывали за полгода. За это мне выдали два пуда овса. Но и это было серьезным подспорьем семье.

ДОСТОИНСТВА КОЛХОЗОВ

Стоило мне только заикнуться о достоинствах колхозов, как мои слушатели и читатели, привыкшие делить все на абсолютное зло и абсолютное добро, сразу же усмотрели в этом апологетику сталинизма. Но реальный процесс жизни многосторонен и противоречив. Его не сведешь к одной простой формуле. В нем участвуют многие люди, имеющие различные интересы и находящиеся в различных отношениях к происходящему. Колхозная жизнь имела не только недостатки, но несомненные достоинства. Достоинства не абсолютные, а относительные. И временные. Но все-таки достоинства, с точки зрения охваченных колхозами людей. Люди освободились от тревог за хозяйство. Раньше они ночей не спали в страхе, что из-за плохой погоды пропадет урожай. Теперь им стало наплевать на погоду и на урожай. Они даже стали радоваться плохой погоде. Когда начинался дождь, бросали дела, собирались в сарае и часами точили лясы, т. е. болтали и смеялись. Появилось полное безразличие к тому, что делалось в колхозе. Все усилия сосредоточились на приусадебных участках, оставшихся в индивидуальном пользовании. Множество людей превратилось в начальничков, что позволяло им жить безбедно и легко. То, что их регулярно сажали в тюрьму, не сокращало числа желающих занять их место. Внутри колхозов появились должности, позволявшие их обладателям безнаказанно воровать колхозное добро. Молодые люди получили возможность становиться трактористами, механиками, учетчиками, бригадирами. Вне колхозов появились "интеллигентные" должности в клубах, медицинских пунктах, школах, машинно-тракторных станциях. Совместная работа многих людей становилась общественной жизнью, приносящей развлечение самим фактом совместности. Собрания, совещания, беседы, пропагандистские лекции и прочие явления новой жизни, связанные с колхозами и сопровождавшие их, делали жизнь людей интересней, чем старая. На том уровне культуры, на каком находилась масса населения, все это играло роль огромную, несмотря на убогость и формальность этих мероприятий. Эти факторы постепенно теряли значение по мере обезлюдивания деревень. Но они сохраняли значение в тех местах, которые становились точками концентрации оставшегося и вновь прибывавшего населения.

ОТНОШЕНИЕ ЛЮДЕЙ К КОЛХОЗАМ

Чтобы правильно оценить суть дела, надо встать на позиции тех людей, которые были участниками исторического процесса. С нынешними мерками посторонних морализаторов в нем ничего не поймешь. Я неоднократно спрашивал мать и других колхозников во время приездов в деревню и позднее о том, согласились бы они снова стать единоличниками, если бы такая возможность представилась. Все они наотрез отказались. Старый строй жизни рухнул безвозвратно. Простые люди на уровне здравого смысла понимали, что возврат в прошлое невозможен. Колхозы им казались если не мостиком в будущее, то принудительной силой,

толкавшей их в будущее. Массы населения понимали, что об улучшении условий жизни надо было думать уже на основе произошедшего перелома. Лишь высокообразованные мудрецы, не имеющие ни малейшего понятия о сущности реального процесса жизни и равнодушные к судьбам участников этого процесса, до сих пор занимаются суемудрием по принципу "что бы было, если бы было не так, как было".

В проблеме отношения людей к коллективизации интереснее другое. Традиционный коллективизм жизни делал людей неспособными именно к коллективным формам протеста. Люди реагировали на удары судьбы индивидуально, причем не в форме активного протеста, а в форме пассивных поисков выхода. Люди уклонялись от социальной борьбы, устраиваясь поодиночке. Они воспринимали происходящее как должное, как природную катастрофу. Думали лишь об одном: выжить. Проблема заключалась не в том, чтобы избрать лучшую форму жизни – никакого выбора не было, – а в том, чтобы выжить в любой форме, предоставляемой обстоятельствами.

Не раздался ни один голос протеста. Я знаю лишь об одном случае, отдаленно напоминавшем протест. Вышло постановление высших властей о передаче земли "в вечную собственность колхозов". Одна женщина, мать пятерых детей, сказала, что лучше бы в собственность людям отдали то, что вырастает на земле. Ее арестовали за "антисоветскую пропаганду". Никто не протестовал против этого.

Советские "прогрессивные" идеологи, готовые оправдать любую подлость и глупость властей, выдвинули "свежую" идею сделать сотрудников предприятий совладельцами этих предприятий – передать предприятия в собственность трудовых коллективов. Цель такой реформы они видели в повышении экономической эффективности предприятий. Они при этом забыли о том, что эта мера уже была испробована в деревне и обнаружила свою сущность: зверскую эксплуатацию людей, прикрываемую лицемерными словами. Один из соблазнов и одно из достижений реального коммунизма состоит в том, что он освобождает людей от тревог и ответственности, связанных с собственностью. Передача средств производства в собственность коллективов есть лишь лживая маскировка закрепощения людей.

ВЕРУЮЩИЙ БЕЗБОЖНИК

В двадцатые годы вера и неверие в наших краях мирно уживались друг с другом не только в отношениях между людьми, но и в душах отдельных людей. Верующие терпимо относились к проповеди атеизма. Неверующие столь же терпимо относились к верующим. Мои дедушка, бабушка и мать были религиозными. Отец стал атеистом еще в молодости. Бабушка по матери была верующей, а дедушка нет. У нас в доме иногда за столом рядом сидели священник и члены партии. Вся изба была увешана иконами. Порою представители власти сидели на почетном месте под главной иконой. Церкви начали закрывать в начале тридцатых годов, т. е. одновременно с коллективизацией. Население отнеслось к этому довольно равнодушно. Деревни начали пустеть, резко сокращалось число

верующих, бывших опорой церкви. Наш священник некоторое время жил как рядовой гражданин. Что с ним стало потом, не знаю.

Население района было религиозным, но поверхностно, без фанатизма. В семье нам прививали религиозные убеждения не столько в смысле мировоззрения, сколько в смысле моральных принципов. Даже бабушка не верила в то, что Бог сделал Адама из глины, а Еву из ребра Адама. Бог выступал в роли высшего судьи поведения человека, причем всевидящего и справедливого. Бабушка и мать и не думали конкурировать с просветительской и идеологической деятельностью властей и школы. Они имели достаточно здравого смысла, чтобы понимать невыгодность для детей противиться атеистическому духу эпохи.

Убеждение, что Бога нет, проникало и в детскую среду. Взрослые верующие не наказывали маленьких безбожников. Вера становилась все более неустойчивой, а неверие набирало силу. В четвертом классе школы нам впервые устроили гигиенический осмотр. На мне был нательный крест. Я не хотел, чтобы его увидели, снял его и куда-то спрятал. Так я стал атеистом. Сестра рассказала об этом матери. У нас состоялся разговор, суть которого заключалась в следующем.

"Существует Бог или нет, – говорила мать, – для верующего человека этот вопрос не столь уж важен. Можно быть верующим без церкви и без попов. Сняв крестик, ты тем самым еще не выбрасываешь из себя веру. Настоящая вера начинается с того, что ты начинаешь думать и совершать поступки так, как будто существует. Кто-то, кто читает все твои мысли и видит все твои поступки, кто знает подлинную цену им. Абсолютный свидетель твоей жизни и высший судья всего связанного с тобою должен быть в тебе самом. И Он в тебе есть, я это вижу. Верь в Него, молись Ему, благодари Его за каждый миг жизни, проси Его дать тебе силы преодолевать трудности. Старайся быть достойным человеком в Его глазах".

Я усвоил эти наставления матери и всю жизнь прожил так, как будто Бог существует на самом деле. Я стал верующим безбожником. Я выжил в значительной мере благодаря тому, что неуклонно следовал принципам, упомянутым выше. Великий русский поэт Есенин писал: "Стыдно мне, что я в Бога верил, жалко мне, что не верю теперь". Этими словами он выразил сложность и болезненность той ситуации, которая сложилась после революции для выходцев из русских деревень вроде моего "медвежьего угла". Я родился за три года до смерти Есенина. Но эта сложность и болезненность сохранила силу и для меня. Более того, я оказался в еще худшем положении. Отказавшись от исторически данной религии, я был вынужден встать на путь изобретения новой. На эту тему я много писал в моих книгах, в особенности в книгах "В преддверии рая", "Иди на Голгофу", "Евангелие для Ивана". Я совместил в себе веру и неверие, сделал из себя верующего безбожника.

Те религиозно-моральные принципы, которые я усвоил от матери, имели примитивную языковую форму. Однако по сути они отвечали самому высокому интеллектуальному уровню. Приведу несколько примеров. Даже малое зло есть зло, говорила нам постоянно мать. Даже малое добро

есть добро. Проси у Бога сил для преодоления трудностей, а не избавления от них. Благодарю за то, что есть, и за то, что избежал худшего. Не используй труд других. Всего добивайся своим трудом, своими способностями. Не будь первым при дележе благ – наград. Бери последним то, что осталось после других. Не сваливай на других то, что можешь сделать сам. Не сваливай вину на других и на обстоятельства. Высшая награда за твои поступки – твоя чистая совесть. Конечно, многие из таких принципов взяты из христианства. Но многое открывалось в самой жизни в качестве средств моральной самозащиты.

Несмотря на атеизм, проблемы религии остались жизненно важными для меня во все последующие годы. Не в смысле наивной веры в библейские сказки, а в смысле отыскания средств самосохранения в качестве нравственной личности в условиях крушения прежних моральных устоев. Я оказался в положении, сходном с положением первых христиан. Но в отличие от них, я должен был сам сыграть роль моего Бога и Христа. Это не мания величия, как может показаться на первый взгляд, а прозаическая необходимость. Если бы на моем пути встретился Христос двадцатого века, отвечающий моему менталитету, вкусам и претензиям, я стал бы его беззаветным учеником и последователем. Но мне встретить такую личность не удалось.

Приведу упомянутую выше "Молитву верующего безбожника", поскольку она в концентрированной форме выражает целый ряд черт моего характера и принципов жизни. "Молитва" – мое обращение к Богу.

Установлено циклотронами

В лабораториях и в кабинетах

Хромосомами, электронами

Мир заполнен.

Тебя в нем нету.

Коли нет, так нет. Ну и что же?!

Пережиток. Поповская муть.

Только я умоляю: Боже!

Для меня ты немножечко будь!

Будь пусть немощным, не всемогущим,

Не всеведущим, не всеблагим,

Не провидцем, не любвеобильным,

Толстокожим, на ухо тугим.

Мне–то, Господи, надо немного.

В пустяке таком не обидь.
Будь всевидящим, ради Бога!
Умоляю, пожалуйста, видь!
Просто видь. Видь, и только.
Видь всегда. Видь во все глаза.
Видь, каких на свете и сколько
Дел свершается против и за.
Пусть будет дел у тебя всего-то:
Видь текущее, больше – ни-ни. Одна пусть будет твоя забота:
Видь, что делаю я, что – Они. Я готов пойти на уступку:
Трудно все видеть, видь что-нибудь.
Хотя бы сотую долю поступков.
Хотя бы для этого,
Господи, будь!
Жить без видящих нету мочи.
Потому, надрывая грудь,
Я кричу, я воплю:
Отче!!
Не молю, а требую:
Будь!
Я шепчу, я хриплю:
Будь же, Отче!!
Умоляю,
Не требую:
Будь!

ЭВОЛЮЦИЯ ДЕРЕВНИ

В 1933 году я окончил начальную школу. Большинство детей, с которыми я учился, либо вообще закончили на этом образование, либо продолжили учебу в семилетней школе в большом селе, где находился сельский совет. После окончания этой школы часть детей поступала в местные техникумы и профессиональные училища, готовившие ветеринаров, агрономов, механиков трактористов, бухгалтеров и прочих специалистов в новом сельском хозяйстве. В Чухломе была десятилетняя школа. Ее выпускники имели лучшие перспективы. Все эти учебные заведения и профессии возникли после революции как часть беспрецедентной культурной революции. Кстати сказать, коллективизация способствовала этому процессу. Помимо образования большого числа сравнительно образованных специалистов из местного населения, в деревни устремился поток специалистов из городов, имевших среднее и даже высшее образование. Социальная структура деревенского населения стала приближаться к городской в смысле разделения людей на социальные категории, характерные для нового общественного устройства.

Стала складываться иерархия социальных позиций и разделение функций. Подобно тому, как понятие "рабочий класс" теряло социальный смысл в городах, понятие "крестьянство" теряло социальный смысл в деревнях. Эта тенденция мне была известна с детства. Разговоры на эти темы постоянно велись в нашей семье и в нашем окружении. Именно стремительное изменение социальной структуры деревни обеспечило новому строю колоссальную поддержку в широких массах населения, несмотря ни на какие ужасы коллективизации и индустриализации.

НОВЫЙ ЛОМОНОСОВ

Матери хотелось, чтобы какой-то из сыновей остался в деревне и стал для нее опорой. Один из наших родственников стал ветеринаром. Хорошо зарабатывал. Пользовался уважением. Вот если бы я стал ветеринаром или агрономом, это была бы такая поддержка семье! Но установка на Москву все же пересилила. Школьный учитель настаивал на том, чтобы меня отправили в Москву. Он считал меня лучшим учеником за всю его учительскую деятельность. Он уверял мать, что я буду новым Ломоносовым. И наш священник говорил о том же. Он простил мне грех с крестиком. Он говорил матери, что во мне есть "искра Божия" и ее не загасит никакой атеизм. Скрепя сердце, мать согласилась отправить меня в Москву. Она знала, что меня ожидало там.

Всю ночь перед отъездом мать плакала и молилась. Я тоже не спал, тоскуя от предстоящей разлуки с близкими и грезя сказочной Москвой. О Москве в наших краях говорили много и постоянно, а в нашем доме особенно. О Москве часто рассказывал дедушка Яков. Мы слушали его рассказы с захватывающим интересом, как сказки. Послушать его

приходили дети и даже взрослые со всей деревни. Обычно это бывало зимними вечерами, когда люди имели немного свободного времени. Отец тоже кое-что рассказывал, но меньше, чем дед. Да и появлялся он в деревне очень редко. Кроме того, у нас в доме были книги и кипы старых журналов с иллюстрациями Москвы. В частности, было много не то журналов, не то альбомов с изображениями московских фабрик и заводов. Скорее всего, это были справочники-рекламы. Мой зрительный образ Москвы сложился в значительной мере под их влиянием. Я просматривал их постоянно. Фабрики и заводы до революции строились из красного кирпича и в стиле замков и крепостей, как мне казалось. Я воображал Москву в виде огромного скопления таких красных зданий. Этот образ до сих пор жив в моем художественном воображении.

Чуть свет проснулась вся семья. Перед дальней дорогой по старому русскому обычаю мы молча посидели несколько минут. И я с чужими людьми покинул дом. Это была не просто временная поездка в чужие края. Это был переход в иное измерение бытия. И это было не просто переходом деревенского парня к городскому образу жизни – такой переход не был чем-то новым для наших мест. Это было началом скачка от самых глубоких основ разрушенного уклада народной жизни сразу на вершину современной тенденции человечества – скачка из прошлого в будущее. Сказанное не есть лишь сегодняшняя интерпретация прошлого события. Мы все на самом деле чувствовали тогда какой-то символический и даже мистический смысл происходившего. Предчувствие какого-то великого перелома было уже подготовлено долгими годами предшествующей истории.

В нашем веке многим миллионам людей, находившихся на низком уровне социального развития, приходилось и приходится приобщаться к современной цивилизации. Но в моем случае имелось то, чего нет в судьбе этих миллионов. Россия оказалась историческим новатором в прокладывании путей в будущее, а мне было суждено стать мыслителем этого исторического творчества. Мы были первооткрывателями, колумбами исторических поисков человечества. На Западе прилагаются титанические усилия к тому, чтобы не заметить, занизить и исказить это историческое творчество русских людей. Чтобы какие-то лапотники делали исторические открытия – такого не должно быть! Но это все-таки произошло, и с этим, так или иначе, придется считаться.

Когда я немного подрос, я прочитал книгу Эжена Сю "Агасфер". Одна идея книги поразила меня тогда. Она много раз повторялась. Выразалась она одним словом: "Иди!" Я припомнил свой отъезд из деревни. Мать проводила меня до околицы, благословила и сказала на прощанье лишь одно слово: "Иди!"

IV. В СТОЛИЦЕ ИСТОРИИ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРЕТЕНЗИЯ

Москва – столица истории? – наверняка удивится и, может быть, даже возмутится читатель. Вашингтон, Лондон, Париж, Рим, на худой конец, Нью-Йорк – это еще куда ни шло. Но Москва?! Так ведь там в магазинах пусто! Демократических свобод нет! Гомосексуалистов преследуют! Оппозиционные партии не разрешаются! О какой тут столице истории может идти речь?! Москва – это провинциальное захолустье сравнительно с Западом!

Не спору, можно рассуждать и так. Но можно и иначе, причем с не меньшими основаниями. В начале 1979 года я написал статью о Москве. Сейчас я уже не могу сказать о ней так, как тогда, – исчезло эмоциональное отношение к ней. Поэтому я кратко перескажу то, что писал тогда.

Москва есть воинствующая провинциальность, буйствующая бездарность, одуряющая скука, поглощающая все прочие краски серость. Это относится не только ко внешнему виду города, но и ко всему его образу жизни. Серые унылые дома. Почти никакой истории – она стерта и сфальсифицирована. Тошнотворные столовые и кафе. Да и то изредка, с очередями, грязью, хамством. Убогие магазины. Многочасовые очереди. Толпы ошалелых баб с авоськами, мечущихся в поисках съедобного. Негде приткнуться и посидеть просто так. Тесные квартиры. И то хорошо, что такие квартиры появились. Раньше ютились в коммуналках. Что это такое, западный человек вряд ли способен вообразить. В Москве все до такой степени серо и уныло, что становится даже интересно. Это особая интересность, чисто негативная, разъедающая, лишаящая воли к действию. Здесь отсутствие того, что делает человека личностью, достигает чудовищных размеров и становится ощутимо положительным. Здесь "нет" превращается в основное "да". Здесь бездарность есть не просто отсутствие таланта, но наличие наглого таланта душить талант настоящий. Здесь глупость есть не просто отсутствие ума, но наличие некоего подобия ума, заменяющего и вытесняющего ум подлинный. Цинизм, злоба, подлость, пошлость, насилие здесь пронизывают все сферы бытия и образуют общий фон психологии граждан.

Москва мыслилась как витрина нового коммунистического общества. С колоннами, фронтонами и прочими "завитушками", которые в послесталинские годы стали называть архитектурными излишествами. Образ отвергнутого Петербурга владел подсознанием хозяев новой столицы. Тщательно сносились с лица земли старая, т. е. русская Москва. Безжалостно ломались церкви. Спряжались кривые улочки. Загоняли в трубы речки. Срезали возвышенности. Новая Москва мыслилась как идеальная плоскость, застроенная так, что теперь трудно поверить в здравый ум ее проектировщиков. Был отвергнут проект Корбюзье строить новую Москву в Юго-Западном районе, а старую Москву сохранить как исторический памятник. После войны Москва сама устремилась в этом направлении, но не на уровне проекта Корбюзье, а во вкусе советских академиков архитектуры и партийных чиновников.

Москва – это многие миллионы людей. Сотни тысяч из них суть процветающие партийные и государственные чиновники, министры, генералы, академики, директора, артисты, художники, писатели, спортсмены, попы, спекулянты, жулики и т. д. Сотни тысяч выходцев из разных районов страны ежегодно вливаются в Москву, несмотря ни на какие запреты, – за взятки, по блату, на законных основаниях. Очень многие из них добиваются успеха. В Москве убогие магазины. А одеты москвичи в среднем не хуже, чем в западных городах. Продовольственные магазины пусты. А привилегированные слои имеют все по потребности. В Москве можно посмотреть любой западный фильм, прочитать любую западную книгу, послушать любую западную музыку. Здесь много возможностей пристроиться к лучшей жизни и сделать карьеру. Каналы карьеры здесь неисчислимы. Здесь с продовольствием лучше, чем в других местах. Здесь есть виды деятельности, каких нет нигде в стране. Здесь Запад ближе, культуры больше. Здесь свободнее в отношении разговоров. Здесь можно делать такое, что запрещено в других местах. Массе советского населения Москва кажется почти Западом.

Но кому достаются упомянутые выше блага и какой ценой? Чтобы пробиться к этим благам, нужно сформироваться так и вести такой образ жизни, что вся кажущаяся яркость и интересность жизни оказываются иллюзорными. Они постепенно пропадают, уступая место серости, пошлости, скуке, бездарности. Человеческий материал, по идее наслаждающийся жизнью в Москве, отбирается и воспитывается по законам коммунистического образа жизни так, что о наслаждении жизнью тут приходится говорить лишь в примитивном и сатирическом смысле. Московское наслаждение жизнью в большинстве случаев и в целом достигается ценой морального крушения и приобщения к мафиозному образу жизни. Любыми путями вырваться из житейского убожества и урвать какие-то преимущества перед другими – таков стержень и основа социальной психологии Москвы.

Столицы бывают разные. Я употребляю слово "столица" не в обиходном, а в социологическом смысле: это та точка на планете, из которой исходит инициатива исторического процесса, через которую в мир исходит влияние доминирующей тенденции эволюции. Именно в этом смысле Москва превратилась в столицу мировой истории. Москва стала базисом, центром, острием, душой и сердцем роковой тенденции человечества – коммунистической атаки на весь мир. Я пишу об этом не с гордостью русского человека, а с тревогой гражданина планеты за ее будущее.

В тридцатые годы, когда я приехал в Москву, до этого еще было далеко. Но будущая роль Москвы уже ощущалась, по крайней мере как претензия. Нам внушали, что Москве предстоит сыграть роль маяка исторического процесса на предстоящие столетия. Эта претензия имела ничуть не меньше оснований, чем намерение дикого (с европейской точки зрения) монгола Темучина (Чингисхана) покорить весь тогдашний цивилизованный мир. Сколько столетий русские князья бегали на поклон в Золотую Орду?! Яркий, богатый и высококультурный Рим был разгромлен и покорен безграмотными варварами.

Разумеется, такого рода мысли не могли прийти мне в голову в конце августа 1933 года, когда я лежал на багажной полке дореволюционного вагона, положив под голову мешочек с жалкими пожитками, куском хлеба, бутылкой молока и парой круто сваренных яиц. Я не спал, опасаясь, как бы у меня во сне не украли мое имущество, и думая о том, что меня ожидало в сказочной Москве – будущей столице мировой истории.

В МОСКВЕ

Реальная Москва удивила меня несоответствием тому образу ее, какой у меня сложился в деревне. Я увидел, конечно, и такие здания, какие воображал до этого. Таким был, например, весь комплекс Казанского вокзала, расположенного напротив Ярославского вокзала, на который мы прибыли. Я этот вокзал видел много раз на картинках и сразу узнал его. Но в целом город выглядел совсем иначе. Он мне показался серым и враждебным. И мокрым: шел дождь. По тротуарам и мостовой бежали ручьи. Меня встретил старший брат Михаил. Мы пошли на Большую Спасскую улицу, где мне теперь предстояло жить в доме номер 11 в квартире номер 3. Это было недалеко от вокзала, минутах в двадцати ходьбы. А вещей у меня – запасная рубашка и штаны да свидетельство о рождении и об окончании начальной школы. Забегая вперед, скажу, что я так и прожил всю жизнь в Советском Союзе с минимумом вещей, возведя это даже в принцип жития.

Мы подошли к приземистому дому. Над воротами была вделана плита с именем бывшего владельца дома, моего двоюродного деда Бахвалова. Эта плита сохранялась еще и в послевоенные годы. Мы вошли во двор, похожий на каменный колодец, и спустились в глубокий подвал. На кухню высыпали все жильцы подвала поглядеть на новое пополнение. Потом я узнал, что в подвале было пять комнат-клетушек, в которых жило пять семей. На общей площади менее 70 кв. м. обитало более двадцати человек, кроме нашей семьи. Никакой ванны. Допотопный туалет. Гнилые полы. За то, чтобы починить канализацию и настелить новые полы, жильцы квартиры сражались потом до 1936 года. Писали жалобы во все инстанции власти. Писали письма Ворошилову, Буденному и самому Сталину. Просьбу удовлетворили лишь в связи со "всенародным обсуждением" проекта новой Конституции.

Представив меня жильцам квартиры, брат ввел меня в маленькую комнатку, вид которой поверг меня не то что в состояние уныния, а в окаменение. Комната была узкая, два с половиной метра, и длинная, четыре метра, темная и сырая. На одной стене, густо покрашенной зеленой масляной краской, выступали большие капли воды, стекавшие тонкими струйками на пол. Небольшое, вечно грязное снаружи окно выходило прямо на тротуар. За ним мелькали ноги, топали каблучки. Слышно было, как по булыжной мостовой грохотали грузовики. Протопали солдаты, горланя строевую песню: на той стороне улицы находились Красно-Перекопские казармы. Под окном был шкаф для продуктов. Внутри его было сыро, пахло плесенью. Под шкафом стоял сундук. На нем мне предстояло спать. В комнате стоял шкаф, стол и два стула. Все это

было сделано самим братом. Стояла железная кровать с медными шарами. На ней спали брат и отец. Под потолком висела тусклая электрическая лампочка. На тонкой перегородке, отделявшей нашу комнату от соседей, висела черная тарелка радиорепродуктора. В комнате была также печка. Железная труба от печки тянулась по каменной стене до потолка и уходила на кухню в общий дымоход.

Брат дал мне кусок хлеба с колбасой и стакан чаю. Колбаса была самая дешевая. Потом я узнал, что ее называли "собачьей радостью". Колбасе и чаю я обрадовался: чай был не по-деревенски сладким, а колбасу я вообще ел впервые в жизни. Потом брат ушел на работу, оставив меня одного до вечера. Отец в это время работал где-то за городом и ночевал там. Я остался один. На меня накатила невыносимая тоска. Мне захотелось немедленно бежать обратно в деревню. К счастью, прекратился дождь. Во двор высыпала целая орава детей. Сосед по квартире моего возраста зашел ко мне и позвал во двор. Во дворе меня окружили ребята. Смеялись над тем, как я одет. Называли "Ванькой". Один парень по виду старше меня года на два и на голову выше ростом толкнул меня. Не задумываясь, я ударил его в нос. Нос я ему разбил до крови. Он заплакал и убежал жаловаться. А я сразу же завоевал уважение – этого парня во дворе не любили. Так я нарушил евангельскую заповедь непротивления злу насилием. Вместо заповеди "Если тебя ударили по одной щеке, подставь другую" я встал на путь выработки своей: "Спротивляйся насилию любыми доступными тебе средствами". Началась новая эпоха в моей жизни.

ГОД УЖАСА

Время с сентября 1933-го до июня 1934 года (т. е. до летних каникул) было самым трудным в моей жизни до 1939 года. Я называю этот период первым годом ужаса. Отец был человеком совершенно непрактичным в бытовом отношении. Он варил гигантскую кастрюлю супа на целую неделю. При одном воспоминании об этом супе меня до сих пор тошнит. Один раз он где-то приобрел курицу и сварил ее с потрохами и перьями. Над этой историей потом потешались много лет наши соседи и знакомые. Уже после войны, когда мы жили в Москве, мать послала отца в больницу, чтобы оттуда присылали медицинскую сестру делать ей уколы. В больнице не поняли, в чем дело, и уколы стали делать отцу. Так продолжалось несколько дней. И опять-таки была большая потеха, когда обнаружили ошибку... И вот этому человеку надо было заботиться о ребенке, которому еще не исполнилось одиннадцати лет. Но скоро наши роли переменялись, и я сам стал заботиться о нем.

Брат в эту зиму женился и привез из деревни молодую жену. Она немедленно установила "новый порядок". В комнате стало чище и наряднее. Но на шкафах появились замочки. Нам с отцом остался общий шкаф на лестничной площадке, где мы хранили наш спасительный суп, и маленькое отделение в шкафу под окном. Отец стал спать на сундуке под окном. А мне жильцы квартиры разрешили спать на ящике для картошки, расположенном в промежутке между стенкой нашей комнаты и уборной. На этом ящике я спал почти до самого конца 1939 года. После

войны, написав десятки прошений, мы добились того, что эта территория отошла к нашей комнате. Это была первая крупная победа нашей семьи в борьбе за улучшение жилищных условий.

Я быстро освоился с новой жизнью, и отец передал в мое ведение хозяйственные дела. Он отдавал мне продуктовые карточки и давал деньги. Их было совсем немного. Мне приходилось выкручиваться. Мои математические способности и природная смекалка оченьгодились. Я покупал керосин для примуса и продукты. Носил белье в прачечную. Тогда в Москве было много китайских прачечных. Потом китайцы все вдруг исчезли. Говорили, что их всех арестовали как японских шпионов. Отец часто уезжал на несколько дней, и у меня тогда образовывались "избытки" хлеба. Хлеб я продавал, а на вырученные деньги покупал тетради или какие-либо вещи. Один раз я таким путем приобрел тапочки для занятий по физкультуре, другой раз – трусы для тех же целей. Короче говоря, вплоть до приезда в Москву сестры Анны с братом Николаем (осенью 1936 года), я сам вел все хозяйственные дела, касающиеся меня и отца. Даже большие покупки, например ботинки, пальто, я делал сам. Отец иногда брал меня с собой на работу, где подкармливал в столовой, или приносил что-нибудь с собой. Сам он ел необычайно мало, никогда не употреблял алкоголь, не курил, носильные вещи приобретал только тогда, когда старые носить было уже совсем невозможно. Мы с ним довольно часто ходили в гости, где нам тоже перепало кое-что из еды. Но вообще этот год был довольно голодный для всех, и наш образ жизни не выглядел таким кошмарным, каким он кажется сейчас. На фоне всеобщей бедности наше положение не казалось сверхбедностью.

Устроить меня в школу поблизости от дома не удалось: они все были переполнены. Но нет худа без добра. Меня приняли в школу далеко от дома, на Большой Переяславской улице, зато лучшую в нашем районе. Сначала меня братья не хотели, так как я был из деревни. Я сказал, что у нас в деревне была хорошая школа. Женщина в канцелярии школы, разговаривавшая со мной, обратила внимание на то, что я говорил совсем не по-деревенски и грамотно для такого возраста. Она решила принять меня, но не в пятый, а в четвертый класс. Я отказался. Я предложил ей дать мне математическую задачу на умножение или деление больших чисел. В это время в канцелярию зашли другие люди, возможно учителя. Один из них предложил мне умножить четырехзначное число на трехзначное. Я молниеносно сделал это в уме. Мой трюк произвел впечатление. Меня приняли в пятый класс. Начались занятия. Выяснилось, что я был подготовлен лучше, чем большинство учеников класса. Появилась уверенность в том, что я и тут буду учиться хорошо. Это уменьшило тоску по деревне и сгладило остроту переживаний из-за бытовой неустроенности. Появилась большая цель – хорошо учиться, несмотря ни на что. Потребность куда-то идти дополнилась двигателем движения – всепоглощающей целью набраться знаний, чему-то научиться и проявить себя для окружающих.

ПРОБЛЕМА САМОЗАЩИТЫ

Мой первый день жизни в Москве начался с драки. Это было только начало. Тогда еще встречались беспризорники. Во многих семьях родители либо вообще не заботились о том, как ведут себя дети на улице, либо не имели возможности контролировать их. Разделение на "улицу" и "школу" было еще очень резким. Дети образовывали дворовые банды. Верховодили в них ребята, которые были старше и физически сильнее других, плохо учились, оставались на второй год или совсем бросали школу, курили, ругались матом, хулиганили и пили водку. Банды враждовали друг с другом. Иногда драки кончались увечьями. Ловили детей из враждебных банд или случайных одиночек, обыскивали, отнимали деньги и вообще все, что находили в карманах, избивали.

Существовала такая банда и в нашем дворе. И меня, конечно, попытались в нее вовлечь. Я был фактически безнадзорным, и ребятам казалось, что я предназначен быть с ними. И соседи по дому все были убеждены в том, что я стану жертвой улицы. Более того, им даже хотелось, чтобы это случилось. Слух о том, что я хорошо учусь, дошел до них. Это вызывало раздражение.

Я, однако, был воспитан в нашем "медвежьем углу" так, что уличные ребята не могли стать моими друзьями, а их поведение вызывало у меня лишь протест и отвращение. К тому же я, избегая командовать другими, сам противился попыткам других командовать мною. А заправила банды навязывали младшим и более слабым ребятам свою беспрекословную власть. Причем это порою принимало такие формы, что мне до сих пор стыдно вспоминать и тем более писать об этом. Но остаться независимым одиночкой было не так-то просто. Мне некому было жаловаться, да я и не был к этому приучен. Мне пришлось передрачиться со всеми ребятами из дворовой банды, чтобы доказать свое право на независимое положение. Драки проходили с переменным успехом. Я дрался с остервенением, и меня стали побаиваться даже более сильные ребята. Когда на нашу банду делали налеты другие банды, меня обычно звали на помощь. И я никогда не уклонялся от этого. Это тоже способствовало укреплению моей позиции. Стремление к завоеванию индивидуальной независимости стало одним из качеств моего характера, а со временем одним из принципов моей жизненной системы. Обычно я добивался успеха, не считаясь с потерями.

Однажды произошел такой случай. Я после школы пошел в булочную. Чтобы сократить путь, я пошел через проходной двор и столкнулся с ребятами из банды с соседней улицы. Они окружили меня с явным намерением обыскать, отнять карточки и деньги, а затем избить. И тут во мне сказался "зиновьевский" характер. Я предупредил, что первому, кто коснется меня, я выткну глаз, а потом пусть со мной делают что хотят. Я действительно был готов на это. Ребята поняли это, испугались, расступились, и я ушел своей дорогой. После этой истории обо мне распространился слух, будто я – на все способный бандит, будто связан с шайкой взрослых профессиональных грабителей. Слух дошел до школы. Не в меру усердный комсорг школы по имени Павлик решил устроить из этого "дело". Однажды меня с урока вызвали в кабинет директора. В кабинете, помимо директора и заведующего учебной частью, был тот самый Павлик. На столе лежал финский нож. Павлик заявил, что этот нож был найден в кармане моего пальто – тогда в раздевалке регулярно делали обыски нашей одежды. Я сказал,

что у меня в пальто вообще нет карманов. Принесли мое пальто, перешитое еще в деревне из какого-то старья. В нем действительно не было карманов. Историю замяли. Павлик потом куда-то исчез, но конечно, не из-за меня. Эта история принесла мне также и пользу. После этого было еще несколько мелких стычек, но я до окончания школы чувствовал себя в безопасности.

Стремление занять такое особое положение в коллективе, какое соответствовало моему еще только складывающемуся тогда характеру, не имело абсолютно ничего общего со стремлением приобрести какие-то привилегии и преимущества сравнительно с другими людьми. Мое стремление как раз вредило мне, приносило неприятности, лишало возможности приобрести упомянутые привилегии. Из-за него мне потом не раз приходилось выслушивать упреки в противопоставлении себя коллективу, в "буржуазном индивидуализме" и даже в "анархизме". Но мой индивидуализм не имел ничего общего с "буржуазным". Он был результатом идеального коллективизма. Он был протестом против нарушения норм идеального коллективизма в его реальном исполнении. Он был формой самозащиты индивида, принимающего достоинства коллектива, но восстающего против стремления коллектива низвести индивида до уровня безликой его частички. Некоторые идеи на этот счет читатель может найти в конце книги "Желтый дом".

Не могу сказать, что я легко отделался от влияния улицы. Мне было все-таки одиннадцать лет. Надо мною не было повседневного контроля семьи. Я порою находился на грани падения. Причем мое падение могло произойти из-за пустяка. Достаточно было оказаться замешанным в какую-нибудь хулиганскую или воровскую историю, чтобы попасть в детскую исправительную колонию. Тогда, в начале тридцатых годов, не очень-то церемонились. Однажды старшие ребята из дворовой банды подговорили нас украсть коляску с мороженым. Операция прошла успешно. В другой раз нас спровоцировали на нападение на пивной ларек. На этот раз нас забрали в милицию. Брату Михаилу пришлось приложить усилия, чтобы выволочь меня домой. Я оказался вовлеченным в такие дела не в силу некоей испорченности, а просто из мальчишеского желания показать, что не являлся трусом. Я решительно порвал близкие контакты с улицей после того, как вожаки дворовой банды попытались склонить меня к сексуальным извращениям. Это вызвало у меня глубочайшее отвращение. После этого я вообще перестал проводить время в нашем дворе и в соседних.

ПЕРЕОДЕТЫЙ ПРИНЦ

В школе мне дали кличку "Зиночка", так как я носил волосы длиннее, чем у других мальчиков, и лицом был похож на девочку. Меня эта кличка не обижала: она была доброй. У меня сразу же установились дружеские отношения со всеми учениками. За все время учебы в школе у меня не было ни одной ссоры с другими учениками на личной основе. Все конфликты возникали на социальной основе – мне с детства было суждено стать объектом именно социальных отношений. Мы, например, по истории изучали ("проходили") восстание Спартака. Учительница

спросила нас, кем бы мы хотели быть в те годы. Все сказали, что хотели бы быть рабами, чтобы вместе со Спартаком бороться за освобождение рабов. Я же заявил, что рабом быть не хочу. Это произвело на всех дурное впечатление. Меня прорабатывали на сборе пионерского отряда и на классном собрании. В конце концов мне пришлось уступить, но лишь частично: я согласился бороться за ликвидацию рабства вместе со Спартаком, но не в качестве раба, а в качестве свободного римлянина, перешедшего на сторону рабов. Я аргументировал свою позицию тем, что Маркс и Энгельс были выходцами из буржуазии, но перешли на сторону пролетариата. И меня простили. В этом случае весь класс обрушился на меня по причине чисто идеологического характера.

В нашем классе были ученики всех социальных категорий – подхалимы, карьеристы, ябедники, старательные, индифферентные и т. д. Чем взрослее становились мы, тем отчетливее проявлялись эти качества. Но эти различия не играли существенной роли и не разрушали дружеских отношений. Я скоро приобрел репутацию самого способного ученика, не заботившегося об отметках, не заискивавшего перед учителями, не вылезавшего на вид. И потому ко мне хорошо относились даже самые карьеристически ориентированные ученики – я им не мешал и не конкурировал с ними. Никаких карьеристических качеств у меня так и не появилось. Не развилось и стремление конкурировать с другими. Успехи других никогда не вызывали у меня чувства зависти. Я остро ощущал и переживал лишь случаи несправедливости (да и то внутренне, про себя), причем гораздо болезненнее, когда они касались других.

Такой тип поведения я выработал для себя отчасти вследствие воспитания в семье, отчасти же как самозащитную реакцию в тех условиях, в каких я оказался. Я был одиноким, не имел опоры в семье, к тому же лишенный социальных амбиций, не имел никакой склонности к доминированию над другими. К этим причинам в результате чтения и размышлений присоединилась затем еще одна – сознательная склонность играть роль "лишнего человека" и выпадающего из общей массы исключительного одиночки. Я очень рано открыл для себя Лермонтова, и он стал моим любимым писателем на всю жизнь. Лермонтовский психологический тип удивительным образом совпал с моими наклонностями. Сделал свое дело и врожденный психологический аристократизм, перешедший ко мне (и к другим моим братьям и сестрам в той или иной мере) как по отцовской, так и по материнской линии. По всей вероятности, это качество, хотя и встречающееся довольно редко, является общечеловеческим. Таким природным психологическим аристократизмом в очень сильной степени обладает моя жена Ольга, которая родилась уже после войны также в обычной многодетной русской семье. В 1933 году я попал в гости к девочке из нашего класса, принадлежавшей к очень интеллигентной семье. Звали ее Наташей. Ее отец был крупным авиационным инженером, а мать – актрисой, вышедшей из дворянской среды. И я, деревенский Ванька, повел себя так, что мать этой девочки назвала меня "переодетым принцем". Забавно, что такое мое поведение было обусловлено психологически лишь крайней растерянностью, стеснительностью и испугом. Кроме того, прочитав какую-то книгу, про индейцев, я усвоил правило: никогда ничему не удивляться, делать вид, что для тебя ничто не ново. Я начал играть в такого благородного "индейца". Игра перешла в привычку. Я стал

смотреть на все человеческие слабости и соблазны свысока, с позиции "переодетого принца". Эта позиция оказалась очень эффективной в преодолении всех тех неприятностей, с которыми мне предстояло иметь дело в жизни.

В первые годы жизни в Москве я прочитал рассказ Лавренева "Сорок первый". По этому рассказу уже в послевоенные годы мой друг Григорий Чухрай поставил замечательный фильм. В этом рассказе красные партизаны взяли в плен белого офицера. Им пришлось идти через пустыню. Партизаны выбились из сил, а белый офицер шел как ни в чем не бывало (так казалось партизанам). Командир партизан спросил его, чем объясняется такое его поведение. Офицер ответил: преимуществом культуры.

Прочитав рассказ еще мальчиком, я решил идти по пустыне жизни так, как этот офицер, – не показывая вида, что мне было плохо, и сохраняя достоинство при всех обстоятельствах.

Должен сказать, что я не был абсолютным исключением на этот счет. В годы моего отрочества и юности идеи духовного и поведенческого аристократизма в той или иной форме бродили в нашей среде. Они совпадали с принципами морали идеалистического коммунизма. С первых же дней учебы в московской школе я подружился с мальчиком, жившим через несколько домов от моего дома на нашей улице. Звали его Валентином Марахотиным. Он стал одним из самых близких моих друзей на всю жизнь. Он был чрезвычайно красив в русском стиле, атлетически сложен, смел, до болезненности честен и самоотвержен. Он покровительствовал всем в округе, кого могли обидеть уличные ребята. Я ему тоже был обязан многим. Отец у него умер от пьянства, а мать скоро заболела. Валентину пришлось бросить учебу и начать работать. Уже с четырнадцати лет он подрабатывал водолазом на водной станции и тренером по плаванию. Хотя он не получил хорошего образования, он имел все основания считаться "переодетым принцем". Я его очень любил и относился к нему как к брату. Людей такого типа мне посчастливилось встретить много, особенно во время войны. Тогда происходила своеобразная поляризация человеческих типов.

ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ

Мои первые творческие открытия не имели ничего общего ни с наукой, ни с искусством. Они были бытовыми. В Москву меня отправили в ботинках. Но ботинки были женские. Чтобы меня не дразнили за это, я догадался заворачивать верх ботинок внутрь так, что получались мужские ботинки. Носков в деревне не было. Мать снабдила меня портянками. В Москве отец купил мне носки. Носил я их не снимая, пока пятка не протерлась. Я перевернул носки на сто восемьдесят градусов, так что дыра оказалась сверху. И носил опять до новой дыры. Потом я повернул носки на девяносто градусов к дырам. Когда образовалась третья дыра, перевернул еще раз на сто восемьдесят градусов. Потом я спустил носки так, что дыры сдвинулись с пятки, и носил еще до тех пор, пока не образовались еще четыре дыры. Носки

стирал с мылом под краном, делал это вечером, чтобы они высохли к утру, к школе. Наконец я стал штопать дыры. Сколько времени я проносил те мои, первые в жизни носки, не помню даже.

Аналогично приходилось выкручиваться с другими предметами одежды. С едой. С книгами и тетрадями. Я научился сам ремонтировать ботинки, штопать дырки на брюках так, чтобы не было видно штопку, и готовить самую примитивную еду – варить картошку, макароны, кашу. Но величайшим моим открытием того времени я считаю успешную борьбу со вшами. Они, конечно, завелись. А в школе каждый день устраивали проверку на гигиену, имелись прежде всего в виду вши. Я боялся, что меня выгонят из школы из-за грязи и вшей, и потому с первых же дней начал тщательно мыться под краном и уничтожать насекомых, чтобы они, по крайней мере, не выползали на воротник рубашки. Потом мне пришла в голову идея – проглаживать все швы рубашки и нижнего белья раскаленным утюгом. Успех был полный, но зато я пожег рубашки. Впрочем, это было уже не столь опасно. Наконец я попробовал смачивать швы одежды денатуратом, использовавшимся для примусов. Результат был тоже хороший, но от меня стало пахнуть, как от заядлого алкоголика, и от денатурата пришлось отказаться. Такого рода открытиями был занят у меня весь год. Думаю, что эта вынужденная бытовая изобретательность послужила первой школой изобретательности исследовательской.

ШКОЛА ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ

Мне в детстве в семье привили представление о том, что в мире существует нечто чистое, светлое, святое. Сначала воплощением этих представлений был некий религиозный Храм. Но религия была смертельно ранена. Храм был разрушен. А потребность в таком Храме осталась. Атакой Храм для меня нашелся сам собой: школа.

Школа, в которой я проучился с 1933-го по 1939 год, была построена в 1930 году и считалась новой. Она не была исключением в то время. Но таких школ было еще немного. Она не была привилегированной. Но вместе с тем она была одной из лучших школ в стране. Она еще не успела стать типичной, но была характерной с точки зрения отношения к школе в те годы и с точки зрения основных тенденций в образовании и воспитании молодежи. В большинстве школ дело обстояло хуже, в некоторых школах – лучше. Но если бы нужно было описать самое существенное в советской школьной системе тридцатых (т. е. предвоенных) годов, я бы выбрал именно нашу школу как классический образец. Это дело случая, что я оказался в ней. Но думаю, что я стал тем, чем я стал, в значительной мере благодаря тому, что учился именно в такой школе.

Прежде всего – само здание школы. В предвоенные и особенно в послевоенные годы в Москве были построены сотни новых прекрасных школ. Но моя школа, ставшая к тому времени старой, осталась непревзойденной – так мне показалось, когда я перед эмиграцией на Запад пришел на Большую Переяславскую улицу в последний раз

посмотреть на нее. Посмотреть на сохранившееся здание, в котором теперь помещалась школа, абсолютно ничего общего не имевшая с той, в которой я учился. Та школа исчезла навсегда в прошлое. Если здание школы прекрасно выглядело в 1978 году среди новых высоких домов, то как же она должна была восприниматься в тридцатые годы в окружении жалких домишек (в основном деревянных и полуразрушенных), построенных еще задолго до революции?! В особенности для тех из детей, кто жил в тесных и мрачных комнатухах в сырых подвалах и деревянных развалюхах, школа казалась прекрасным дворцом будущего коммунистического общества.

1933-й и 1934 годы были голодными. Минимум продуктов питания можно было получить только по карточкам. В школе дети из самых бедных семей получали бесплатный завтрак, а прочие могли кое-что покупать по сниженным ценам в буфете. Для меня эти школьные завтраки в течение трех лет были весьма серьезным подкреплением. Были они, конечно, убогими. Но в дополнение к тому, что мне удавалось съесть дома, они сохранили мне жизнь. В школе мне также выдавали иногда ордера на одежду и обувь – особые бумажки с печатями, по которым я мог очень дешево купить рубашку, ботинки или брюки в особых магазинах. Несколько раз мне выдавали рубашки и обувь бесплатно. Для этого требовалось особое решение родительского и педагогического совета. Физически слабых от недоедания детей иногда направляли в однодневные дома отдыха, где можно было получить еду. Бывал в таких домах и я. В школе постоянно организовывали всякого рода экскурсии – в зоопарк, в ботанический сад, в планетарий, в многочисленные музеи. Часто во время таких экскурсий нас поили чаем с сахаром и давали бутерброды с сыром или колбасой.

Уровень преподавания в школе был чрезвычайно высоким. Я думаю, что к концу тридцатых годов советская школа в той ее части, в какую входила наша школа, достигла кульминационного пункта. В послевоенные годы во многих отношениях началась деградация школьной системы образования и воспитания. В тридцатые годы школьный учитель еще оставался по традиции одной из самых почетных фигур общества. Учителя были высококвалифицированными и энтузиастами своего предмета. И нравственный их уровень был очень высоким: они служили образцом для молодежи.

Приобщение к культуре на первых порах происходило для меня также через школу. Это упоминавшиеся выше экскурсии, различного рода кружки, коллективные походы в музеи, в кино и в театры. В нашей школе был драматический кружок. Руководил им профессиональный артист одного из московских театров Петр Крылов. Кружок был очень серьезный. На смотрах художественной самодеятельности Москвы он систематически занимал призовые места. В его репертуаре были такие пьесы, как "Борис Годунов" Пушкина и "Горе от ума" Грибоедова. Но преобладали пьесы советских драматургов. Очень успешно была поставлена "Любовь Яровая" Тренева. Одна постановка (называлась пьеса "Ошибка инженера Кочина") сыграла роковую роль в моей жизни, о чем я расскажу потом. В школе часто устраивались концерты самодеятельности. Помимо членов драматического кружка, в них принимали участие дети, обучавшиеся искусству в других местах – в кружках при музыкальных и танцевальных школах, в Доме пионеров

(предшественнике Дворца пионеров). На уроках литературы уделялось серьезное внимание художественному чтению. Некоторые ученики хорошо читали Пушкина, Лермонтова, Блока, Маяковского. Один парень из соседнего класса прекрасно сыграл роль Гулливера в кинофильме. Он был убит во время войны. Другой потрясающе играл комические роли в инсценировке чеховских рассказов. Он поступил потом в театральное училище. Но во время войны умер от туберкулеза.

Я тоже попробовал артистическую карьеру, но неудачно. Я принимал участие в постановке пьесы про классовую борьбу в США. Пьеса называлась "Бей, барабан!". Моя роль была без слов: я изображал пионера, которого убивал полицейский. Над моим телом американские юные революционеры произносили речи. Затем меня укладывали на импровизированные носилки и торжественно уносили со сцены под грохот барабана. Однажды я схватил насморк. В тот момент, когда я лежал якобы мертвый и в зале и на сцене наступила гробовая тишина, я громко шмыгнул носом. В зале начался смех, а когда меня уносили, я громко чихнул. На этот раз рассмеялись и артисты. Меня уронили, и я сам ушел со сцены под общий хохот в зале. На этом моя артистическая карьера закончилась.

В школе был кружок рисования. Руководил им студент какого-то художественного училища (по имени Женя). Была специальная комната для занятий кружка. В обязанности этого студента входило также художественное оформление школы – лозунги, плакаты, стенды к важным датам с композициями фотографий и вырезок из журналов и газет. У нас были также уроки рисования. Учитель рисования также принимал участие в художественном оформлении школы. Наша школа с этой точки зрения была лучшей в районе и одной из лучших в Москве. Десятки способных к рисованию учеников были вовлечены в это дело. В школе, кроме того, была Ленинская комната – небольшая комната, в которой собиралось все, что касалось Ленина. Оформлением ее заведовал также упомянутый студент. Меня в кружок рисования не взяли, так как я не стремился к точному изображению предметов. У меня получались скорее карикатуры на предметы и на людей.

У нас были даже уроки музыки. Учитель, заметив, что у меня не было ни голоса, ни слуха, но что я что-то постоянно рисовал, предложил мне "рисовать музыку", т. е. изображать в рисунках то, как я воспринимал музыку. Я целый учебный год усердно занимался этим. Учитель коллекционировал мои рисунки и рассказывал нам непонятные вещи о соотношении звуковых и зрительных образов. Учитель был стар. На следующий год он умер и уроки музыки прекратились, но появился музыкальный кружок. В него я, конечно, не записался по причине, о которой уже говорил выше.

Наконец, в школе были прекрасно организованы спортивные уроки и спортивные внеурочные секции. Ученики нашей школы неоднократно становились чемпионами страны по гимнастике среди юношей. Я еще в деревне здорово бегал, прыгал и плавал. И в Москве я обнаружил хорошие спортивные способности в легкой атлетике, а также в бегании на лыжах на большие дистанции. Но заниматься в спортивных секциях не стал из отвращения к соревнованиям всякого рода.

Большинству учеников школа давала то, что они не имели в семьях. Родители их были, как правило, плохо образованными. Они испытывали уважение к своим более культурным детям, надеялись на то, что образование выведет их детей на более высокий социальный уровень. Тогда многие делали стремительные взлеты на вершины общества в самых различных сферах. Казалось, что это становится общедоступным. Выпускники школ практически все (за редким исключением) могли поступить в институты. Для них проблемой был выбор института, соответствующего их способностям и желаниям. Хотя нам всячески прививали идеологию грядущего равенства, большинство учеников воспринимали школу как возможность подняться в привилегированные слои общества. Хотя все с почтением говорили о рабочем классе как о главном классе общества, рабочими мало кто хотел быть. Лишь самые неспособные и испорченные улицей дети шли в рабочие. Эта возможность подняться в верхи общества в гораздо большей степени делала жизнь радостней и интересней, чем идеи всеобщего равенства, в которые мало кто верил.

В 1933 году еще существовала педология, разгромленная вскоре как "буржуазная псевдонаука". Педологи изучали наши способности и предсказывали наше будущее, вернее, зачисляли нас заранее в какую-то социальную категорию. Одним из тестов было продевание ниток через дырочки в палках. Я это делал очень быстро, и меня педологи зачислили в рабочие, причем в текстильщики. Большинство других учеников класса педологи зачислили в категорию инженерно-технических работников. Некоторое время все они смотрели на меня свысока, как будущие инженеры должны были бы смотреть на простого работягу. Но вот педологию ликвидировали, их выводы о нас объявили ложными и даже враждебными. Будущие инженерно-технические работники приуныли. Я их успокаивал, обещая стать рабочим-текстильщиком.

МОИ ШКОЛЬНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ

У нас в школе особенно хорошо преподавали математику и литературу. И очень многие ученики стали одержимы ими. Я был в их числе. С первого года учебы в этой школе (с пятого класса) я стал первым учеником в классе по математике и до конца был одним из лучших математиков школы среди учеников. Я принимал участие в математических олимпиадах, причем успешно. Но я не отдавал предпочтения математике перед другими увлечениями, и потому я не был в числе любимых учеников учителей математики. И потому они не проявляли особой заинтересованности во мне как в математике. Впоследствии я убедился в том, что для успеха в какой-то сфере человеческой деятельности мало иметь способности к этой деятельности. Даже при выдающихся способностях, но при отсутствии тех, кто способен тебя поддержать и отстаивать признание твоих способностей, успех невозможен. В одной математической олимпиаде я на двадцать минут раньше всех решил все задачи, причем кратчайшим способом, но не был даже упомянут в числе лучших. Я потом поинтересовался, в чем дело. Один из членов комиссии сказал мне, что мои решения были действительно самыми простыми. Но требовалось не это. Требовалось продемонстрировать более широкие

познания. Кроме того, я не имел никакой поддержки и известности, я был тут человеком случайным. Впоследствии, став известным логиком и решив ряд важнейших проблем, я столкнулся с той же ситуацией. Мое решение проблем оказалось слишком простым в наш век, стремящийся к возможно сложному решению пустяковых проблем. И у меня не оказалось никакой серьезной социальной поддержки, т. е. не оказалось людей и организаций, заинтересованных в признании сделанного мною. Тогда, в юности, я испытал первую горечь от фактической несправедливости людей и организации человеческой жизни вообще. Потом я с проявлениями такой несправедливости сталкивался постоянно и вроде бы привык к ним. Я сделал принципиальные выводы из этого, но боль от них осталась. К несправедливости вообще привыкнуть нельзя. Ее можно лишь терпеть в силу невозможности преодолеть ее.

Другим моим увлечением была литература. Литература, наряду с математикой, считалась у нас основным предметом. И преподавалась она очень хорошо. Помимо произведений, положенных по программе, учителя заставляли нас читать массу дополнительных книг. Да нас и заставлять не надо было; чтение было основным элементом культурного и вообще свободного времяпровождения. Мы читали постоянно и в огромном количестве. У нас было своеобразное соревнование, кто больше прочитает, кто оригинальнее ответит на уроке или напишет сочинение. Сочинения мы писали довольно часто. И опять повторилась ситуация, подобная математике. Я получал отличные отметки. Сами ученики признавали во мне лучшего в классе знатока литературы, а мои ответы и сочинения самыми оригинальными. Но учителя почему-то избегали признавать это вслух. В качестве лучшего ученика по литературе официально признавался парень, который усердно и хорошо учился, но никакими особыми способностями не обладал. Зато он подходил по другим критериям на роль образцово-показательного ученика. Впоследствии он оказался в числе тех, кто писал на меня донос в органы государственной безопасности (нынешнее КГБ). Его звали Проре. Это имя было образовано как сокращение для слов "пролетарская революция". В двадцатые и тридцатые годы было изобретено множество имен такого рода, например Владилен (от Владимир Ленин), Марлен (от Маркс и Ленин), Сталинир.

Как в математике, так и в литературе во мне было что-то такое, что не укладывалось в рамки принятых представлений и стандартов, что настораживало окружающих, заставляло проявлять сдержанность и даже препятствовать мне в проявлении моих потенций. Они чувствовали во мне что-то чужеродное их собственной натуре. Любопытно, что уже после войны мы, выпускники школы, как-то собрались на традиционную встречу. Пришла наша учительница литературы. Принесла наши лучшие работы, которые она сохранила, несмотря ни на что. И в качестве лучших литературных сочинений учеников за всю ее педагогическую практику она показала мои сочинения о Маяковском и Чехове. Но почему она не высказала свое мнение тогда, когда это было актуально важно для меня?

Я уже тогда замечал, что у людей вызывали раздражение мои успехи. Они реагировали на них так, как будто я претендовал на то, что мне не положено. В самом деле, какой-то деревенский Ванька, живущий впроголодь в сыром подвале, причем без нормальной семьи, тощий и

плохо одетый, – и вдруг позволяет себе без особых усилий проявлять лучшие способности, чем дети из благополучных, уважаемых и интеллигентных семей! Других раздражало то, что я мог оторваться от их уровня и возвыситься за счет этих способностей. Третьих раздражало то, что я сам с пренебрежением относился к своим успехам. Я никогда не интересовался тем, какую отметку мне ставили в дневник. И проявлял внешнее безразличие в случаях, когда мне явно несправедливо занижали отметки или умалчивали о том, что я что-то сделал лучше других. Короче говоря, готовность общества отторгнуть меня от себя как нечто не отвечающее его требованиям я ощущал уже в школьные годы.

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА

В 1934 году Ленинскую комнату переименовали в Сталинскую комнату и, естественно, изменили ее задачу. Это была первая, а может быть, единственная в стране школьная Сталинская комната. Высшее начальство высоко оценило инициативу школы. На нее выделяли дополнительные средства. Так что художественно-оформительская деятельность стала в школе очень активной. Вовлекли в нее и меня, поскольку стало известно о моей склонности к рисованию. Но мое участие в этом деле чуть было не стало для меня катастрофой. Мне поручили нарисовать (вернее, перерисовать из журнала) портрет Сталина для стенной газеты. Я это сделал весьма старательно, но когда мое творчество увидели, то в школе возникла паника. Хотели было портрет уничтожить сразу, но о нем донесли директору и комсorghу школы. До войны в некоторых школах Москвы были особые комсомольские организаторы (комсорги) от ЦК ВЛКСМ. Был такой комсорг и у нас, который заодно выполнял функции представителя органов государственной безопасности. Он решил изобразить мой портрет Сталина как вражескую вылазку – так, очевидно, ужасно он был сделан. Меня спас руководитель рисовального кружка, сказав, что я прирожденный карикатурист, не сознающий еще своей способности воспринимать все в карикатурном виде. Меня простили. Вождей рисовать мне запретили. Меня включили в отдел сатиры и юмора стенной газеты. И я начал рисовать карикатуры и придумывать к ним подписи.

Работа в отделе сатиры и юмора стенных газет стала моей общественной работой на всю мою последующую жизнь в Советском Союзе. Меня заставили ею заниматься, учтя мою склонность к карикатурам и шуткам. Но она, в свою очередь, способствовала развитию у меня критического отношения к окружающей действительности. Я стал все больше и больше обращать внимание на отрицательные явления, причем не на из ряда вон выходящие, а заурядные, являющиеся нормой жизни.

ВНЕШКОЛЬНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ

В 1936 году я стал посещать архитектурный кружок Дома пионеров, хотя уже вышел из пионерского возраста. Я был не один такой перезревший "пионер". Все члены кружка были моего возраста, а некоторые даже старше. Дом пионеров сыграл огромную роль в жизни московских детей в тридцатые годы. Мне потом многие говорили, что эту роль он продолжал играть и в послевоенные годы. Моя жена Ольга и ее сестра Светлана занимались в музыкальном кружке Дома пионеров и всегда с восторгом вспоминали о нем. Вместо него потом построили Дворец пионеров. Моя дочь Тамара посещала кружок рисования в нем. Но ее отношение к нему было уже иного рода, чем мое. Советское общество стало богаче, советские люди стали прагматичнее. Пропало ощущение сказочности и праздничности, какое у нас было связано с таким исключительным по тем временам явлением, каким был Дом пионеров.

Руководителем нашего кружка был М.Г. Бархин, ставший впоследствии известным теоретиком архитектуры. С этим кружком я объездил все архитектурно интересные места Подмосковья. Не раз бывал в Ленинграде.

В этом, 1936 году в газете "Пионерская правда" была напечатана моя статья (совместно с моим соучеником и тогдашним другом Р. Розенфельдом) о поездке во Владимир. Статья была снабжена моими рисунками. Это была моя первая публикация. Р. Розенфельд стал со временем известным археологом.

Очень основательно мы изучали план реконструкции Москвы, одобренный (как нам говорили) Сталиным, и его осуществление в реальности. Обсуждали и план Корбузье, причем весьма уважительно. Развивал свои идеи Бархин. Незадолго до эмиграции я прочитал в каком-то журнале статью Бархина о градостроительстве. В ней он высказал идеи, которые мы от него слышали в нашем кружке еще пятьдесят лет назад.

Мне было жаль старую Москву, на моих глазах сносившуюся с лица земли. До революции Москву посетил К. Гамсун. Он считал ее одним из самых красивых городов мира. Об этом я прочитал еще в деревне. Люди, разрушившие старую Москву, думали, что они это сделали в интересах бытовых удобств и транспорта. Теперь это считают преступлением. Мне одинаково отвратительно как то, так и другое. Советская история выглядит одинаково гнусно как в совершении гнусностей, так и в их осуждении.

ИДЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Тридцатые годы были самыми мрачными и, одновременно, самыми светлыми в советской истории. Самыми мрачными в смысле тяжелых условий жизни масс населения, массовых репрессий и надзора. Самыми светлыми по иллюзиям и по надеждам. Мы получили широкое общее образование, включившее знакомство с мировой историей и достижениями мировой культуры. Нас воспитывали в духе гуманизма и идей лучших

представителей рода человеческого в прошлом. Нам старались привить высокие нравственные принципы. Что из этого вышло на деле – другой вопрос. Реальность оказалась сильнее прекраснотушных пожеланий и обещаний. И из смещения благих намерений и их воплощения в жизнь родились чудовища и уроды, герои и страдальцы, палачи и жертвы.

Многие представители моего поколения восприняли обрушенный на них поток высоконравственных наставлений и многообещающих идей вполне искренне и серьезно. Большинство идеалистов такого рода погибло на войне или в сталинских лагерях. Кое-кто превратился в бунтаря против той реальности, которая оказалась в вопиющем противоречии с его нравственными и социальными идеалами. Я оказался в числе этих немногих чудом уцелевших бунтарей.

Значительную часть нашего образования составляло изучение революционных идей и событий прошлого, вольнодумства, протестов против несправедливости, бунтов, восстаний, борьбы против мракобесия и т. д., короче говоря – всего того, что было проявлением восстания против существовавшего порядка вещей. Героями нашей юности становились люди вроде Спартака, Кромвеля, Робеспьера, Марата, Пугачева, Разина, декабристов, народников и, само собой разумеется, большевиков. Вся история человечества во всех ее аспектах преподносилась нам как борьба лучших представителей рода человеческого против неравенства, эксплуатации, несправедливости, мракобесия и прочих язв классового общества, как борьба их за претворение в жизнь самых светлых и благородных идеалов.

Нам рекомендовали книги, героями которых были борцы против язв прошлых общественных устройств. И мы читали эти книги с удовольствием. Даже книги о революции, Гражданской войне и о последующей советской истории были построены так, что герои их выдерживали борьбу против каких-то темных сил и вообще морально порицаемых явлений. Эти герои создавались по образу революционеров прошлого. Поскольку советское общество считалось конечным результатом всей прошлой борьбы за счастье человечества и высшим продуктом всей предшествовавшей истории, нашим воспитателям даже в голову не приходила мысль о том, что все революционные идеи прошлого могут быть обращены на советское общество, что последнее может само стать предметом протеста и источником бунта. Так что когда я во время допроса на Лубянке в 1939 году высказал следователю, допрашивавшему меня, эту мысль, он просто оторопел от неожиданности.

Легко быть умным и смелым задним числом, глядя на прошлое с высоты наших дней. Теперь многие удивляются, как это люди в те годы позволили себя обмануть. При этом эти умники и смельчаки не замечают того что сами по уши погрязли в обмане и самообмане иного рода, в современном обмане. И одним из признаков современного самообмана является то, что идейное состояние советских людей прошлого рассматривается ими как обман и самообман. Я утверждаю категорически, что в таком грандиозном процессе, какой пережила страна, имели место бесчисленные случаи обмана и самообмана, но процесс в целом не был обманом и самообманом. Дело обстояло вовсе не так, будто какая-то кучка людей на вершине общества хорошо понимала реальность и преднамеренно вводила людей в заблуждение, будто среди

обманываемых было много таких, которые тоже все понимали, но принимали участие в обмане, извлекая для себя выгоду. Реальная история огромной страны не имеет ничего общего с таким взглядом на нее как на результат интрижек, своекорыстных махинаций и криминальных действий.

В реальности происходило формирование нового человека, адекватного новым условиям существования. Когда речь идет о многомиллионных массах людей, бессмысленно рассчитывать на то, что идеологическое воспитание сделает людей именно такими, как хочется воспитателям, и сделает такими всех. В воспитании масс людей принимает участие множество факторов. Их воздействие на людей различно, порою противоположно по результатам. И лишь какая-то часть людей поддается обработке в желаемом духе. Если не все в людях становится таким, как хотелось бы, и если не все люди становятся такими, как хотелось бы, это не означает, что система воспитания потерпела крах. Эффективность системы воспитания масс оценивается по тому, что она все-таки внесла в общий процесс формирования сознания людей и какую роль этот вклад сыграл в историческом процессе в данную эпоху. Я утверждаю, что система идейного воспитания, сложившаяся в стране после революции и достигшая расцвета в тридцатые годы, блестяще выполнила ту историческую задачу, которая на нее и возлагалась объективно. Благодаря этой системе достаточно большое число людей было сделано таким, как требовалось обстоятельствами, и массы людей были приведены в такое состояние, какое требовалось этими обстоятельствами. То, что в стране было сделано в смысле социальной, экономической и культурной революции, было бы невозможно без идейного воспитания масс людей. И что бы ни говорили о поведении миллионов людей в период войны, якобы свидетельствовавшим о крахе советской системы и идеологии, на самом деле именно война была самой показательной проверкой эффективности мощнейшей системы идейного воспитания тех лет.

Говоря так, я вовсе не хочу петь дифирамбы этой системе. Я хочу лишь обратить внимание на то, с каким могучим механизмом обработки сознания людей я имел дело в те годы. Легко быть критически настроенным теперь, когда годы миновали и даже сами советские лидеры заговорили как диссиденты. А перенеситесь мысленно в прошлые годы, в условия тридцатых годов! И представьте себя мальчишкой, живущим в массе людей, охваченным грандиозными иллюзиями и столь же грандиозным страхом усомниться в них, испытывающим на себе ежечасно и ежедневно действие гигантского механизма идеологической обработки! Это теперь, когда лавина истории уже пронеслась и вы смотрите на прошедшее, находясь в полной безопасности и имея сведения о том, что причинила лавина, можно позволить себе смотреть на все свысока и с насмешкой. А что было бы с вами, если бы вы, ничтожная песчинка, оказались на пути великой лавины истории?! Я был такой ничтожной песчинкой. Я еще не знал, что я сам есть такое, в какой исторической ситуации оказался, что из себя представлял исторический поток, захвативший меня, я был одним из бесчисленных объектов воздействия общества – объектом воспитания и самовоспитания гигантского социального организма с гигантской системой обработки сознания людей.

Механизм идейного воздействия на человека не сводился к специальным учреждениям и людям, к специальным урокам и словам. Дело в том, что он пронизывал все мое социальное окружение, организовывал буквально всех людей на это дело. Этим была пронизана вся жизнь, и уклониться от этого было невозможно даже при желании. Но и желания этого не было. Когда у меня созрело желание пойти против этого всеобщего потока, я все-таки сумел чего-то добиться. Но тогда, в 1933 году и первые годы жизни в Москве, я, как и все, был во власти этого потока. Более того, я был захвачен, может быть, даже сильнее других из-за того тяжелого положения, в каком оказался в Москве. Психологически коммунизм есть идея нищих, не способных избавиться от своей нищеты. А я был нищим среди нищих.

Новое коммунистическое общество мыслилось как воплощение всех мыслимых добродетелей и полное отсутствие всех мыслимых зол. И адекватный этому общественному раю человек представлялся неким земным святым, неким коммунистическим ангелом. Из нас на самом деле хотели воспитать таких коммунистических ангелов. Кто мог тогда знать, что реальностью таких ангелов являются дьяволы?! Кто мог тогда думать о том, что существуют объективные законы социальной организации, независимые от воли и желания высших руководителей?! Их и сейчас-то не хотят признать даже специалисты. Так что уж говорить о миллионах людей, имеющих для этого слишком слабое образование, и об их вождях, не заинтересованных в познании этих законов! А объективные законы жизни коммунистического общества делали свое неумолимое дело, внося свою долю в воспитание людей. Они вынуждали миллионы людей приспосабливаться к новым условиям бытия, игнорируя призывы вождей и идеологических наставников становиться коммунистическими ангелами. Лишь чудом выживавшие одиночки становились жертвами конфликта между прекрасными идеями и жуткой реальностью, вынуждались на бунт, бунт иррациональный, бунт отчаяния. Таким одиночкой волею судьбы оказался я.

МОЙ ДЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Идейное формирование человека не есть некий гармоничный, упорядоченный процесс, подобный регулярному и последовательному изучению учебного материала. На самом деле оно есть хаотическое брожение, до поры до времени остающееся скрытым от внешних наблюдений и обнаруживающее себя порою в нелепой и неадекватной форме. Ниже я опишу лишь отдельные стороны и эпизоды моего формирования, не претендуя на психологическую глубину и систематичность.

Я был бездомным и потому ходил по домам школьных товарищей. Со мной почему-то стремились дружить почти все – я был удобен для дружбы. Естественно, я имел возможность наблюдать, как живут различные люди, и сравнивать. В одних домах я видел нищету, сопоставимую с моей собственной, в других – сказочное (для меня) изобилие. В одних домах я видел циничный практицизм и расчетливость, в других – романтический идеализм и бесшабашность. Короче говоря, хотел я того

или нет, а факты лезли сами в голову, и сравнений невозможно было избежать. Ничего удивительного в такой разнообразии уровня и стиля жизни людей, казалось бы, нет. Но нам об этом никто и нигде не говорил. Это признавалось в отношении дореволюционной России и в отношении капиталистических стран. Но когда речь заходила о нашем обществе, то подчеркивалось то положительное, что было сделано, и будущее изобилие. Я замечал бытовые контрасты сам. Это были мои личные открытия. Сегодня эти "открытия" кажутся наивными и смешными. И я говорю о них не с намерением сделать вклад в социологию коммунизма, а с намерением указать на один из факторов формирования сознания одиннадцатилетнего деревенского мальчишки, оказавшегося в самом центре нового общества.

Когда я начал учиться в Москве, в нашем классе было тридцать шесть учеников. Жизненный уровень по крайней мере двадцати из них был нищенским, десяти – средним, пяти или шести – выше среднего. Эти привилегированные ученики ("аристократы"), за исключением одной девочки, о которой я расскажу специально потом, жили в "новых домах" – в квартале новых домов, построенных в начале тридцатых годов по немецким образцам. Квартиры в этих домах по тем временам были огромными и имели все современные бытовые удобства. Однажды нас водили на экскурсию в этот квартал. Нам сказали, что при полном коммунизме все граждане общества будут жить в таких домах. Наши "аристократы" смеялись; они, выходит, уже жили в полном коммунизме. Их за это не бранили – боялись, что они пожалуются своим важным родителям. Отец одного из этих "аристократов" был важным начальником не то в ЦК, не то в НКВД. И парень в школе тоже чувствовал себя начальником. Отец другого "аристократа" (звали его Игорь) был журналистом, неоднократно ездил за границу, и сам Игорь родился в Париже. Кто были родители других "аристократов", живших в "новых домах", я не помню.

С Игорем я дружил и довольно часто бывал у него дома. Он хорошо учился и хорошо рисовал. Мы вместе делали стенные газеты и писали лозунги для оформления класса – У семьи Игоря на четырех человек была квартира гораздо большего размера, чем на все шесть семей в нашем подвале, не говоря уж об удобствах. С таким бытовым уровнем я столкнулся впервые в жизни. Я был потрясен, я не позавидовал – чувство зависти мне вообще никогда не было свойственно. Я был потрясен контрастом со своей квартирой. Потрясение это было усилено (и может быть, даже чрезмерно) тем, что идеи коммунистического общества как общества всеобщего равенства и справедливости уже запали в мою душу. Обстановка квартиры, одежда родителей Игоря, отношения в семье, еда все это настолько сильно подействовало на меня, что несколько дней я был вне себя. Но скоро я выработал в себе защитную реакцию. Я начал делать вид, будто мне все это великолепие безразлично. И поразительное явление: мне скоро это на самом деле стало безразличным. Потом я бывал и в других зажиточных домах. Иногда мои знакомые и их родители хотели похвастаться передо мной своим благополучием. Они даже обижались на то, что я это игнорировал. Сначала они приписывали мне равнодушие "деревенской тупости", "недоразвитости". Но, прислушавшись к нашим разговорам, они видели, что дело в чем-то другом. А в чем именно, они не понимали. Да и я сам тогда еще не сформулировал для себя свои

жизненные принципы сознательно.

Такое отношение к благополучию других было первым шагом на пути к обобщенному отношению к феноменам наблюдаемой жизни. У меня никогда не возникала мысль, будто эти люди не заслужили свое благополучие или приобрели его какими-то нечестными путями. Меня поразил сам факт вопиющего неравенства людей, причем неравенства, являвшегося продуктом уже нового общества, а не пережитком прошлого.

После седьмого класса все наши "аристократы" исчезли. В Москве в это время создали специальные военные школы-десятилетки. Двое из "аристократов" поступили в специальную артиллерийскую школу, в которой учился Василий Сталин. Остальные перевелись в образцово-показательную школу, в которой учились дети высших партийных работников, министров (тогда – народных комиссаров), генералов, знаменитых деятелей культуры. В этой школе училась Светлана Сталина. В тридцатые годы социальное неравенство в системе образования еще не было таким резким, каким оно стало в послевоенные годы. Но оно уже наметилось. Во всяком случае, я обратил на него внимание. Несколько моих школьных друзей, живших в привилегированных условиях, стали учиться в привилегированных учебных заведениях – факт, не предусмотренный в марксистском учении о коммунизме.

Одной из "аристократок" была девочка по имени Наташа Розельфельд. Ее отец был обрусевшим немцем. По профессии он был летчиком (в Первую мировую войну), затем стал авиационным инженером. Был одним из сотрудников знаменитого авиационного конструктора Туполева. Принимал участие в создании самолета, на котором Чкалов, Байдуков и Беляков перелетели в США. Еще до войны награждался орденами, что тогда имело неизмеримо более важное значение, чем теперь. Беляков (впоследствии генерал-лейтенант авиации) был его личным другом. Мать Наташи бросила сцену, посвятив всю жизнь воспитанию двух дочерей. Родители Наташи были людьми совсем иного рода, чем родители Игоря. Квартира в Москве у них была довольно плохая, в деревянном доме без удобств. Была дача под Москвой, но тоже довольно убогая. Но, несмотря на это, в их доме постоянно бывало множество людей. Мать Наташи, увлекавшаяся педагогическими экспериментами, окружала своих дочерей десятками детей, устраивала концерты, спектакли, маскарады. Отец Наташи зарабатывал по тем временам много. Но все средства уходило на "педагогическую" и "театральную" деятельность матери. Она сама сочиняла пьесы и участвовала в представлениях. Первые роли, конечно, всегда играли ее дочери. Обе они были очень красивыми, особенно Наташа. У них всегда была туча поклонников. В доме у них бывали взрослые и дети, ставшие впоследствии известными. Я уже упоминал Белякова. Упомяну еще Игоря Шафаревича, ставшего одним из крупнейших советских математиков, и Сергея Королева, ставшего знаменитым генеральным конструктором. Он даже собирался жениться на Наташе, но она отказала ему, так как собиралась выйти замуж за летчика-испытателя, полковника, Героя Советского Союза. Ей не повезло: ее жених скоро погиб во время испытания нового самолета.

Мать Наташи была председателем родительского комитета школы. Она много раз помогала мне. В частности, благодаря ее усилиям я получал бесплатные завтраки в школе и ордера на одежду и обувь. Она

приглашала меня бывать у них дома. Но я чувствовал себя чужим в сборище талантов, какими считались, а отчасти были и на самом деле дети, наводнявшие их квартиру и дачу. Тем более я был моложе всех, не принимал участия в спектаклях и маскарадах.

Свидетельством неравенства стала для меня и система "закрытых" распределителей продуктов, магазинов, столовых, санаториев, домов отдыха. Эта система возникла сразу же после революции в условиях дефицита. Ее назначением было обеспечение более или менее терпимых условий жизни для чиновников высокого уровня и вообще важных личностей. Но она переросла в специфически коммунистическую форму распределения жизненных благ. В этой системе происходили какие-то изменения, но она как таковая сохранилась до сих пор и сохранится навечно, пока существует коммунизм. В этой системе существовали особые привилегированные магазины "торгсины" (слово "торгсин" есть сокращение для "торговли с иностранцами"). В них продавались продукты и вещи, каких не было в обычных магазинах. Продавались на иностранную валюту, за драгоценности и вообще ценные вещи (фарфоровую посуду, меха, произведения искусства). Эти "торгсины" скупали ценные вещи и за обычные деньги. Опять-таки и эта форма привилегированных магазинов сохранилась до сих пор, правда в несколько иной форме (магазины "Березка", например).

В семьях моих соучеников, живших на нищенском уровне, постоянно говорили о жизненных трудностях. Тот факт, что какая-то категория людей живет "богато" ("как капиталисты и помещики"), был общеизвестен. К нему относились как к чему-то само собой разумеющемуся, т. е. не как к несправедливому отклонению от норм и не как к преходящему явлению на пути ко всеобщему равенству, а как к естественному явлению. Отец одного из таких моих соучеников постоянно утверждал, выпив чекушку водки, что "бедные и богатые всегда были, есть везде и всегда будут". Мы с ним спорили, аргументируя тем, что узнали в школе о будущем обществе изобилия. Ситуация для меня складывалась такая. С одной стороны, я видел факт неравенства. С другой стороны, на меня сильнейшее впечатление производили идеи будущего коммунизма. Я страстно жаждал, чтобы это произошло.

Каждое лето я ездил в деревню к матери и видел, какой кошмарной становилась там жизнь. Это добавляло свою долю в понимание фактических социальных различий людей и вместе с тем усиливало желание, чтобы общество изобилия, равенства и справедливости осуществилось на самом деле. Надежда на такое общество подкреплялась не только желанием, но и реальными улучшениями условий жизни и интересностью жизни.

ЖИЗНЬ СТРАНЫ

Отменили карточную систему. Регулярно снижались цены на продукты питания. Появились предметы ширпотреба (одежда, обувь, кухонная утварь и т. д.). Жизнь становилась интересной и насыщенной. Мы

ходили на демонстрации, участвовали в пионерских сборах и во всякого рода общественных мероприятиях (сбор металлического лома и макулатуры, посадка деревьев). Нам показывали новые фильмы, которые с пропагандистской точки зрения были сделаны превосходно. Они производили впечатление даже на Западе. А для нас они были праздниками. Я сам посмотрел раз двадцать фильм "Чапаев" и десять раз "Мы из Кронштадта". Нам устраивали чтение новых книг советских писателей. Книга Николая Островского "Как закалялась сталь" стала своего рода учебником коммунистического воспитания молодежи. Все важнейшие события в жизни страны становились событиями нашей личной жизни. Начавшаяся реконструкция Москвы воспринималась нами не как разрушение памятников старины и архитектурное обезображивание города, а как явное улучшение вида города и условий жизни в нем. При мне снесли знаменитую Сухареву башню и башни водопровода у Рижского вокзала, уничтожили бульвары Садового кольца и Первой Мещанской улицы. И даже это мы воспринимали как неслыханный прогресс. Около нашего дома сломали церковь. На ее месте построили здание художественно-промышленного училища. Одним словом, жизнь страны, преподносимая нам в героически-романтическом духе, становилась важнейшим элементом нашей личной жизни и оттесняла куда-то на задний план все реальные ужасы и трудности. И сталинские репрессии мы воспринимали как продолжение революции и Гражданской войны. Впрочем, моего окружения они тогда не коснулись почти совсем. В соседнем доме арестовали инженера, затем – его преемника. Но это никакого эффекта не имело. Политические процессы после убийства Кирова мы воспринимали как спектакли и ждали новых представлений такого рода.

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ

Несмотря ни на что, внешне я выглядел энергичным, веселым и жизнерадостным. Такую форму отношения к невзгодам нам прививали в семье с рождения. У нас в семье много смеялись. Смех был в некотором роде защитной реакцией от убожества и жестокости бытия. В школе благодаря стенной газете я стал считаться прирожденным юмористом, и я воспринял эту роль. Иногда она меня заносила слишком далеко. В 1935 году был опубликован проект новой Конституции. Опубликован для всеобщего обсуждения. И его, конечно, обсуждали повсюду. Считалось, что его сочинил лично Сталин. И мы обсуждали его на уроках и на всякого рода собраниях. Я и еще двое моих товарищей затеяли игру в конституцию – сочинили свою шуточную конституцию. Согласно нашей конституции, лодыри и тупицы имеют право на такие же отметки, как и отличники. Самые плохие ученики имеют право поступать без экзаменов в самые лучшие институты. Самые глупые и безнравственные люди имеют право занимать самые высокие должности. Народ обязан восхвалять все решения властей. Вот в таком духе мы сочинили целую школьную тетрадку. Выпустили даже свои деньги, на которых было написано, что на них, в отличие от капиталистического общества, ничего купить нельзя. Эффект от нашей конституции был колоссальный. В школе началась паника. Появились представители органов государственной безопасности. На нас кто-то донес. Нас исключили из школы. Но мы отказались от авторства. По почерку нас уличить не могли, так как мы

написали текст печатными буквами. Расследование длилось две недели. В конце концов нас восстановили в школе и дело замяли.

Это был самый крупный случай политической сатиры в мои школьные годы. Я уже тогда стал проявлять склонность к шуткам на социально-политические темы, но к менее опасным, чем наша конституция.

ИДЕЙНЫЙ "ЗАПОЙ"

В 1936 году в Москву приехала сестра Анна с братом Николаем. У старшего брата было уже двое детей. В нашей комнатухе стало жить восемь человек. Я стал готовить уроки в библиотеках-читальнях имени Тургенева или имени Грибоедова. Это было удобно также с точки зрения чтения книг. Кроме того, можно было заводить новые интересные знакомства. В это время я стал увлекаться философией, а также идеями социалистов-утопистов. Я читал сочинения Вольтера, Дидро, Руссо, Гельвеция, Гоббса, Локка, Милля. Прочитал "Государство Солнца" Кампанеллы, "Утопию" Т. Мора, "Икарию" Э. Кабе. Читал Сен-Симона, Фурье и Оуэна. Мое увлечение стало известно в школе, учителя истории и литературы отнеслись к нему отрицательно: они считали, что мне еще рано такие книги читать. Я предложил им проэкзаменовать меня, но они отказались – они сами эти книги не читали. Одновременно я запоем читал художественную литературу. Моими любимыми героями стали отважные одиночки, не обязательно революционеры. Просто мужественные люди, ведущие в одиночку борьбу против каких-то сил зла. Затем я стал увлекаться литературой о "лишних людях", которые тоже относились к категории одиночек, а также книгами анархистов и об анархизме. В читальнях меня признали как одержимого книгами и пускали в книгохранилища, где я часами просматривал книги и выбирал заинтересовавшие меня. Невозможно подсчитать и перечислить все книги, которые я прочитал. Многие из них я перечитывал по несколько раз, в том числе книги Гюго, Бальзака, Стендаля, Мильтона, Свифта, Гамсуна, Франса, Данте, Сервантеса... Нет надобности перечислять имена – я перечитал всех великих писателей прошлого и признанных еще живших тогда писателей, переведенных на русский язык. А в те годы в Советском Союзе начали издавать и переиздавать все лучшие достижения мировой литературы. Люди, занимавшиеся этим (в их числе М. Горький), делали великое дело, производя для нас отбор всего наилучшего и избавив нас от поисков настоящей литературы. Русскую литературу мы изучали в школе. Хотя ей и придавали хрестоматийный и пропагандистский вид, школьные уроки приучали нас к серьезному чтению, к анализу литературных произведений и вообще к отношению к литературе как к самой большой святыне человеческой цивилизации.

Значительную часть нашей духовной жизни составляла дореволюционная русская литература. Это происходило отчасти благодаря тому, что мы ее досконально изучали в школе, а отчасти – вопреки тому, что мы ее изучали в школе. Я лично не относил ее к прошлому. Она была для меня спутником в моей повседневной жизни. Я вообще всегда метался между двумя крайностями – между нигилистически-сатирическим и романтически-идеалистическим отношением к реальности, что в русских

людях встречается довольно часто. Это повлияло и на мой литературный вкус. Я признавал Пушкина великим поэтом, знал наизусть очень многие его произведения, но не находился под его влиянием. Моими любимыми писателями были Лермонтов, Грибоедов, Салтыков-Щедрин, Лесков, Чехов. Тургеневым, Достоевским и Толстым не увлекался, хотя читал их. Помнил наизусть многие куски из "Войны и мира", "Легенду о Великом Инквизиторе" из "Братьев Карамазовых" и некоторые из "Записок охотника". Мне нравились пьесы А.К. Толстого и А.Н. Островского. У Горького любил лишь его пьесы. Недавно, кстати, перечитал "Клима Самгина". Книга показалась мне надуманной и скучной. Не понимаю, как я мог читать ее в юности. Очевидно, в силу привычки прочитывать от начала до конца любую книгу, попадавшую в руки.

Огромным открытием для меня было "Путешествие из Петербурга в Москву" А. Радищева. Я настолько был потрясен этой книгой и судьбой автора, что решил сочинить свое "Путешествие из Чухломы в Москву". И многое уже придумал. Не помню, как и почему мой замысел заглох.

Изучали мы, конечно, и советскую литературу – Серафимовича, А. Толстого, Маяковского, Шолохова, Фадеева, Блока, Н. Островского, Фурманова, Багрицкого и других. Читали мы много и помимо школьной программы. Блока, Есенина и Маяковского я знал почти полностью наизусть. И вообще, советскую литературу я, как и многие другие, знал очень хорошо. Книг выходило не так уж много, и мы их прочитывали все. На мой взгляд, советская литература двадцатых и тридцатых годов была очень высокого качества. Шолохов, Фадеев, Лавренев, Серафимович, А. Толстой, Федин, Бабель, Леонов, Эренбург, Ясенский, Ильф, Петров, Тынянов, Олеша, Зощенко, Булгаков, Катаев, Паустовский, Тренев, Вишневский и многие другие – все это были замечательные писатели. Я до сих пор считаю Маяковского величайшим поэтом нашего века, а Шолохова – одним из величайших прозаиков. Причем мы не просто читали их. Мы вели бесконечные разговоры на темы их произведений и о достоинствах этих произведений. Это было, возможно, потому, что мы прочитывали все их произведения. Такого внимательного и жадного до чтения массового читателя, какой появился в России в тридцатые годы, история литературы, наверное, еще не знала.

НАСТОЯЩИЙ КОММУНИСТ

В 1937 году я вступил в комсомол. Ничего особенного в этом не было. Большинство учеников нашего класса уже были комсомольцами. Но для меня в этом заключался особый смысл: я хотел стать настоящим коммунистом. Настоящими, или идейными, коммунистами для меня были те, о ком я читал в книгах советских писателей (например, Глеб Чумалов в "Цементе" Гладкова, Павел Корчагин в "Как закалялась сталь" Островского) и каких я видел в советских фильмах. Это люди, лишенные карьеристических устремлений, честные, скромные, самоотверженные, делающие все на благо народа, борющиеся со всякими проявлениями зла, короче говоря, воплощающие в себе все наилучшие

человеческие качества. Должен сказать, что этот идеал не был всего лишь вымыслом. Такого рода коммунистов–идеалистов было сравнительно много в реальности. Сравнительно. Их было ничтожное меньшинство в сравнении с числом коммунистов–реалистов. Благодаря именно таким людям, коммунистам–идеалистам, новый строй устоял и выжил в труднейших исторических условиях. Таким был, например, мой дядя Михаил Маев. Во время Гражданской войны он был комиссаром дивизии, участвовал в штурме Перекопа. После войны был на партийной работе. До последнего дня жизни носил поношенную шинель, отказывался от всяких привилегий, жил с семьей всегда в одной комнате в коммунальных квартирах. Когда он умер, уже находясь на пенсии и живя в Москве, на его похороны со всех концов страны съехались десятки людей отдать ему дань высочайшего уважения. Таким был, например. Мирон Сорокин, отец моей жены Ольги, тоже человек, о котором можно было бы написать книгу как об идеальном коммунисте. Он участвовал в Гражданской войне, окончил рабфак (рабочий факультет – нечто вроде средней школы для рабочих, не сумевших получить нормальное образование). Потом он окончил Промышленную академию, добровольно поехал на стройку в Сибирь, был главным инженером предприятия в Норильске, жил всегда с семьей в маленькой комнатухе, отказываясь от отдельной квартиры, работал на освоении целины, был исключен из партии за то, что не превратился в обычного прохвоста, несколько лет был без работы с большой семьей, получил отдельную квартиру в 31 кв. м. на семь человек, когда ему было шестьдесят пять лет. Таким был, например, мой старший брат Михаил, о котором я уже писал, и мои братья Николай и Василий. Мне приходилось встречать такого рода настоящих коммунистов в прошлые годы много раз в самых различных ситуациях. Несмотря на мое критическое отношение к реальности, а скорее всего именно благодаря ему, я хотел стать именно таким настоящим коммунистом.

Коммунистическое общество, каким оно представлялось утопистам и тем более марксистам, вполне отвечало моим представлениям об идеальном обществе и моим желаниям. Вступая в комсомол, я думал посвятить свою жизнь борьбе за такое идеальное коммунистическое общество, в котором будет торжествовать справедливость, будет иметь место социальное и экономическое равенство людей и все основные потребности людей в еде, одежде и жилье будут удовлетворены. Мои представления о будущем обществе всеобщего изобилия были весьма скромными: иметь свою постель с чистыми простынями, чистое белье, приличную одежду и нормальное питание. И чтобы люди жили дружно, помогали друг другу, справедливо оценивали поведение друг друга, короче говоря, чтобы жили так, как нужно в идеальном коллективе. Идеи коммунистического общества как общества идеального коллективизма захватили тогда мое воображение и мои чувства. Они соответствовали принципу открытости мысли и жизни, который я унаследовал от матери, коллектив стал для меня играть роль фактического воплощения некоего высшего существа (Бога), который видит твои мысли и поступки и оценивает их с абсолютной справедливостью.

В 1935 году вышла книга А.С. Макаренко "Педагогическая поэма", сыгравшая в воспитании молодежи моего поколения колоссальную роль, вполне сопоставимую с ролью книги Н. Островского "Как закалялась сталь". Я книгу Макаренко прочитал не менее пяти раз. Мы обсуждали

ее в школе и в компаниях вне школы. Я под влиянием этой книги стал развивать свои идеи насчет отношения индивида и коллектива, обсуждая их с моими знакомыми. Я тогда увлекался также Маяковским. Мне особенно импонировала его мысль насчет того, что ему "кроме свежeweымытой сорочки, откровенно говоря, ничего не надо". Моим идеалом становилось такое общество: все принадлежит всем, отдельный человек имеет самый необходимый минимум, человек все силы и способности отдает обществу, получая взамен признание, уважение и прожиточный минимум, равный таковому прочим членов общества. Люди могут различаться по способностям и творческой производительности. В обществе может иметь место иерархия оценок, уважения. Но никаких различий в материальном вознаграждении, никаких привилегий.

Я не думаю, что я был оригинален с такими идеалами, – об этом мечтали многие. Моя особенность заключалась в том, что, наблюдая советскую реальность, я увидел, как коммунист–идеалист терпел поражение в борьбе с коммунистом–реалистом, и пришел к выводу, что именно коммунистический социальный строй исключает возможность создания идеального коммунизма, что именно изобилие и рост благополучия людей в условиях коммунизма ведут к крушению идеалов коммунизма, что попытки претворения в жизнь этих идеалов ведут к самым мрачным последствиям. Эмоционально и интуитивно я это почувствовал очень скоро. Рационально же понял это много лет спустя, уже после войны.

Одновременно с увлечением идеями идеального коммунизма у меня происходило обострение критического отношения к советской реальности – назревал конфликт между идеалами и их реализацией.

ЮНОШЕСКАЯ ДРУЖБА

В 1937 году у нас в классе появился новый ученик – Борис Езикеев. Он был на два или три года старше меня. Он был психически больным, пролежал два года в больнице. Теперь врачи сочли его достаточно здоровым, чтобы продолжать учебу в нормальной школе. В моей жизни он сыграл роль огромную. На мой взгляд, он был гениально одаренным человеком. В любой другой стране нашлись бы люди, которые помогли бы реализовать его гению. В России же было сделано все, чтобы помешать ему в этом и загубить его. Борис прекрасно рисовал, сочинял замечательные стихи, был чрезвычайно тонким наблюдателем и собеседником. В годы 1937 – 1940–й он был для меня самым близким человеком. У нас произошло разделение труда: он стал в нашем маленьком обществе из двух человек главным художником и поэтом, а я – главным философом и политическим мыслителем. Кстати сказать, мы уже тогда в шутку объявили себя суверенным государством.

ПЕРВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОПЫТЫ

Самые первые мои литературные опыты я не помню. То, что я запомнил, относится уже к московскому периоду жизни.

В двенадцать лет я сочинил очень жалостливый рассказ о мальчике, которого привезли учиться из деревни в Москву. Я использовал свой жизненный опыт. Рассказ я написал под влиянием рассказа А.П. Чехова "Ванька Жуков". В отличие от Чехова, конец рассказа я сделал оптимистическим и даже апологетическим: школа, учителя, комсомольцы и пионеры помогли моему герою преодолеть трудности. Рассказ я отдал учительнице русского языка и литературы. Она меня похвалила. Рассказ хотели даже поместить в школьной газете, но кое-кто нашел в нем крамолу. Уже в школе мои соученики и учителя заметили одну мою особенность: если я хвалил какие-то явления советской жизни, то получалось это так, что лучше было бы, чтобы я ругал, а не хвалил. Очевидно, в литературе, как и в рисовании, я был прирожденным сатириком, но не знал этого. И даже в тех случаях, когда я искренне хотел сказать что-то положительное, у меня невольно проскальзывали сатирические нотки.

В 1937 году я сочинил рассказ на основе конкретной истории, случившейся в соседнем доме. Суть истории заключалась в следующем. В соседнем доме арестовали инженера как "врага народа". Его семью куда-то выслали. Комнату инженера отдали одному из рабочих завода, который разоблачил инженера. Разоблачил, конечно, по поручению партбюро завода. Сын этого разоблачителя появился в нашей дворовой компании как герой. Рабочего сделали инженером. Но через несколько месяцев и его арестовали как "врага народа", а его семью выслали из Москвы.

В это же время я начал "оригинальничать" (как сказала учительница) в моих сочинениях по литературе. На самом деле к "оригинальничанью" я никогда не стремился. Если что-то такое у меня и получалось в этом духе, то получалось это произвольно. Я инстинктивно, а потом сознательно стремился всегда лишь к истине и к ясности, стремился "докопаться до сути дела". Я хорошо запомнил лишь одно мое такое сочинение со склонностью к "оригинальничанью" и "философствованию". Анализируя один из рассказов Чехова о человеческой подлости, я в нем сделал вывод об общечеловеческом характере негативных качеств человека. "Помни, – написал я в заключение сочинения, – что пакость, которую ты можешь сделать другим, другие могут сделать тебе самому". Мое сочинение стало предметом обсуждения на комсомольском собрании. Меня осудили за непонимание того, что правило, которое я сформулировал в конце сочинения, имеет силу для буржуазного общества и что в нашем социалистическом обществе действует закон взаимопомощи и дружбы.

Как комсомолец, я должен был выполнять какую-то общественную работу. Меня назначили вожатым пионерского отряда в четвертом классе. Но эту общественную работу я выполнял не очень охотно и не очень хорошо, – как я уже писал, я не любил руководить другими. Гораздо охотнее я делал работу, исполнение которой целиком и полностью зависело от меня одного. Я предложил комитету комсомола школы выпускать сатирическую стенную газету. И предложил название "На перо". Предложение мое одобрили. Меня назначили редактором газеты.

Фактически я делал эту газету один. И выпускал ее до окончания школы. Помимо рисунков и подписей к ним, я сочинял сатирические стихи и фельетоны.

Фельетоны, которые я сочинял для стенной газеты, не помню. Вообще, все то, что делается "несерьезно", т. е. без личного отношения к делаемому как к чему-то важному и без намерения сделать это делом жизни, почти совсем не запоминается. В армии я выпускал "боевые листки" (т. е. тоже своеобразные стенные газеты) иногда по несколько штук за один день. Но запомнил я из сотен карикатур, реплик, стихов и фельетонов ничтожно мало. Точно так же обстоит дело с тем, что я делал для стенных газет философского факультета Московского университета и Института философии АН СССР.

В последние годы школы (1937 – 1939 годы) я сочинял много стихов. Стихи я сочинял легко и на любые темы, часто – на пари. В этом отношении я подражал русскому поэту Минаеву, сейчас почти забытому. Я его до сих пор люблю и считаю самым виртуозным "рифмачом" в русской дореволюционной литературе. Он на пари мог сочинять стихи без больших пауз, пройдя Невский проспект в Петербурге от начала до конца. Я, подражая ему, сочинял стихи также на пари без больших пауз, идя по проспекту Мира (бывшая Первая Мещанская) от Колхозной площади до площади Рижского вокзала – расстояние, равное длине Невского проспекта. Эти стихи я не записывал и даже не стремился запоминать. Они в основном были такого сорта, что если бы о них узнали, то мне не поздоровилось бы. Во всяком случае, опубликовать их было невозможно. Приведу в качестве примера стихотворение "Первое пророчество", которое я сочинил в 1939 году, реставрировал в 1953 году и опубликовал в книге "Нашей юности полет", посвященной тридцатилетию со дня смерти Сталина.

Пройдет еще немного лет.

И смысл утратят наши страсти.

И хладнокровные умы

Разложат нашу жизнь на части.

На них наклеят для удобств

Классификаторские метки.

И, словно в школьный аттестат,

Проставят должные отметки.

Устанут даже правдцы

От обличительных истерий,

И истолкуют как прогресс

Все наши прошлые потери.

У самых чутких из людей
Не затрепещет сердце боле
Из-за известной им со слов,
Испытанной не ими боли.
Все так и будет. А пока
Продолжим начатое дело.
Костями поляжем за канал.
Под пулемет подставим тело.
Недоедим. И недоспим.
Конечно, недолюбим тоже.
И все, что станет на пути,
Своим движеньем уничтожим.

Не думайте, будто я модернизировал содержание стихотворения. Идея подставить тело под пулемет родилась в Гражданскую войну и была для нас тогда привычным элементом коммунистического воспитания. А утверждение о том, что здание нового общества строилось на костях народа, было общим местом в разговорах в тех кругах, в которых я жил. Но оно не воспринималось как разоблачение неких язв коммунизма. Более того, оно воспринималось как готовность народа лечь костями за коммунизм, каким бы тяжелым ни был путь к нему. В коммунизм не столько верили, сколько хотели верить. Кто знает, как сложилась бы моя судьба, если бы я начал печататься уже в те годы и приобрел бы известность как поэт. Но я несколько не жалею о том, что тот период чрезвычайно интенсивного творчества прошел практически впустую. Он все-таки был, и я об этом знаю. Я больше жалею о том, что не смог реализоваться как поэт и как художник Борис Езикеев. Если бы это случилось, он мог бы стать гордостью русской нации. Но в России до сих пор предпочитают пресмыкаться перед любыми посредственными явлениями западной культуры, мешая живым соотечественникам раскрыть свои таланты и убивая своих живых потенциальных гениев.

ЮНОШЕСКАЯ ЛЮБОВЬ

Я сомневаюсь в том, что мой дедушка объяснялся в любви бабушке и давал какие-то клятвы верности. Я сомневаюсь в том, что нечто подобное делал мой отец в отношении моей матери. Но они любили, причем один раз и навсегда. Для них их жены были единственными женщинами в их жизни. Им не было надобности произносить слова любви. И без слов все было ясно. Я сделал шаг вперед, но не настолько значительный, чтобы считать себя современным человеком в этом отношении. Я много читал романов с описаниями любви и любовных отношений. В большинстве случаев они мне казались слишком многословными и надуманными. А современную эротическую литературу я категорически не приемлю. Я считаю ее лживой и способствующей моральной деградации человечества. Наиболее близкими по духу и наиболее искренними мне показались описания любви в творчестве Лермонтова, Гюго и Гамсуна. В моих книгах совсем немного страниц посвящено теме любви. Это главным образом в книгах "Желтый дом", "Иди на Голгофу" и "Живи". Моя скупость в отношении этой темы объясняется не тем, что я не придавал ей большого значения. Наоборот, эта тема была для меня священной. Я просто боялся ее испачкать излишними словами. Я написал на эту тему лишь то, что касалось меня лично, в искренности чего я был уверен и что считал допустимым в рамках моих принципов.

В десятом классе школы я регулярно занимался в библиотеке-читальне имени Тургенева. Сейчас это здание не существует. Его сломали, как и многое другое в Москве. Сломали не в оплеванные сталинские годы, а совсем недавно. В читальне я познакомился с девочкой, которую я несколько раз там видел и которая мне очень нравилась. У нее было обычное русское имя – Анна. Но она была похожа на испанку и просила называть ее Инессой, сокращенно – Иной. Ей нравилось играть роль таинственной нерусской незнакомки. Училась она на класс моложе меня в школе нашего района. В читальню ходила потому, что тут можно встретить интересных ребят и поговорить. Она много читала, была остроумной. Она увлекалась живописью, как и я с моим другом Борисом.

Она прочно вошла в нашу компанию. У нее был старший брат, уже поступивший на механико-математический факультет университета, и еще две младшие сестры-школьницы. Дом у них был "полная чаша". Отец работал каким-то начальником в торговле. Постоянно бывали гости. Много ели и пили. У Ины было много знакомых ребят. Все они были влюблены в нее. Мы довольно часто встречались у нее дома, а также в разных комбинациях бродили по проспекту Мира и ходили по музеям. Ина, однако, отдавала, как мне казалось, некоторое предпочтение мне перед прочими. Она любила разговаривать, а я был для нее хорошим собеседником. Для нее интеллектуальная интересность молодого человека была еще главным критерием в оценке его качеств. А я с точки зрения разговоров тогда не имел конкуренции. Мы старались встречаться лишь вдвоем, а в компаниях – быть ближе друг к другу. Я думаю, что нет надобности описывать мое состояние влюбленности – тут не было ничего оригинального. Я свое чувство переживал как человек, испытавший сильное влияние романтических описаний любви. Плюс к тому пуританское, почти аскетическое воспитание в семье и воспитание в школе, которое, несмотря на его лицемерность, действовало в том же

направлении. Я за все время нашей дружбы не осмелился даже взять ее под руку. Это была романтическая, абсолютно чистая любовь. Я уже в это время носил в себе зародыш некоей огромной тайны – тайны человека, восстающего против всего мироздания. Я не хочу сказать, что в те годы такие отношения между юношами и девушками были всеобщими, я хочу сказать лишь то, что они встречались и были одной из тенденций идеалистического коммунизма.

Для меня проблема секса была прежде всего проблема духовная, идейная, нравственная. И лишь во вторую очередь – физиологическая. Для меня женщина представлялась как нечто такое, что дается мужчине раз и навсегда, как одна-единственная и неповторимая богиня, как высший божественный дар. Именно с Ины началось мое сознательное отношение к женщине как к богине. Я не считаю это отношение наилучшим и достойным подражания. В годы войны и в послевоенные годы советское общество тихо, без внешних сенсаций, как на Западе, совершило "сексуальную революцию" и превратилось в общество сексуально распущенных людей. Когда на Западе заговорили о сексуальной революции, в России уже буйствовал безудержный промискуитет, маскируемый лицемерной и ханжеской идеологией. Я не осуждаю свободу сексуальных отношений, я лишь констатирую ее как факт. Я не принимаю ее лично для себя. Не знаю, является моногамия феноменом физиологическим или моральным. Думаю, что морального в ней все-таки больше. В результате длительных наблюдений за жизнью людей с этой точки зрения я пришел к выводу, что сексуальная свобода явилась проявлением и в то же время одной из причин моральной деградации людей.

Когда я бродил вечерами до полуночи с Иной по проспекту Мира, я был далек от таких теоретических рассуждений. Мы ходили рядом и разговаривали. И наши разговоры на темы, не имеющие никакого отношения к любви, были самым прекрасным объяснением в любви. Теперь, когда все это кануло в прошлое, это выглядит в идеализированном романтическом виде. А тогда я много страдал из-за моей неспособности преодолеть барьер целомудрия. Многие из моих знакомых ребят тогда уже познали женщину. Они советовали мне использовать мою дружбу с Иной, уверяя, что если это не сделаю я, то это уж наверняка наверстает какой-нибудь взрослый развратник. Мысль об этом причиняла боль, но я не мог нарушить священное для меня табу. В дальнейшей моей жизни постоянно случалось так, что я гордился не тем, сколько женщин мне довелось покорить, а тем, в скольких случаях мне удалось воздержаться от этого.

Смысл потеряли прежние слова.

Исчезло ими названное чувство.

Ему на смену наша голова

Изобрела "постельное" искусство.

А я, как в прошлые века,

Хотел бы ей сказать такое:

Я полечу за облака,
Я опущусь на дно морское.
Я ради одного лишь взгляда
Готов хоть сотню лет страдать.
Мне будет высшая награда
Жизнь за тебя свою отдать.

ЗНАКОМСТВО С МАРКСИЗМОМ

После принятия новой Конституции в 1936 году у нас в школе ввели специальный предмет – изучение Конституции. Учителем у нас был аспирант Московского института философии, литературы, истории (сокращенно МИФЛИ) по фамилии что-то вроде Яценко.

Автором Конституции решили считать Сталина. На уроках мы изучали доклад Сталина о Проекте Конституции. А с 1937 года мы стали изучать "Краткий курс истории ВКП (б)", точно так же приписывавшийся Сталину. Особенно тщательно мы изучали раздел "О диалектическом и историческом материализме". В качестве дополнительной литературы мы читали "Вопросы ленинизма" Сталина. Я занимался всем этим с большим интересом. Уже в школе я прочитал многие сочинения Маркса и Энгельса помимо "Коммунистического манифеста", который мы были обязаны знать по программе. Этот мой интерес к марксизму был частью моего общего интереса к философии и социально-политическим проблемам. Новым тут было то, что я уже начал искать теоретическое объяснение наблюдаемых мною явлений жизни, а марксизм-ленинизм претендовал именно на это, т. е. на то, чтобы быть самой высшей наукой о реальности. Мне потребовалось два года для того, чтобы понять, что многие вопросы, возникшие у меня, он оставлял без ответа, а на другие давал ответ ложный. Сталинские работы, с одной стороны, облегчали мне вхождение в марксистские тексты, довольно путанные, а порою нарочито заумные. Но с другой стороны, уже тогда я (и не только я) замечал их вульгарность и даже нелепость. В них марксистские идеи доводились до вульгарной абсурдности и давали повод для насмешки и непочтительного отношения к святыням марксизма.

Наш учитель был очень доволен моим интересом к марксизму. Это от него я впервые узнал о существовании МИФЛИ. Он давал мне списки философских книг, изучавшихся студентами философского факультета, разъяснял (конечно, в меру своих познаний) непонятные места. По его совету я прочел самые легкодоступные книги в марксизме – "Диалектику природы" и "Анти-Дюринг" Ф. Энгельса. У меня появился вкус к

диалектике как к способу мышления, но не в упрощенном сталинском смысле, а в смысле, более близком к гегелевскому и марксовскому. В десятом классе я прочитал первые разделы "Капитала" Маркса. В моих разговорах я постоянно упражнялся в "диалектических фокусах", как шутили соученики. Учитель сказал как-то, что я – прирожденный диалектик, и посоветовал после окончания школы поступить на философский факультет МИФЛИ. Я об этом тоже начал подумывать, но твердого решения у меня еще не было.

Самый главный итог моего первого знакомства с марксизмом заключался в том, что я преодолел священный ужас перед высотами марксизма, сковывавший других. Я увидел, что марксистские тексты ничуть не труднее тех философских произведений, которые мне уже довелось читать, и что в них обнаруживались довольно простые идеи. А главное, я почувствовал в себе способность рассуждать диалектически о реальных проблемах. Такие категории диалектики, как "причины", "законы", "тенденции", "сущность", "явление", "содержание", "форма", "противоположности", "отрицание отрицания" и т. д. вошли в аппарат моего мышления как элементы определенного подхода к проблемам реальности.

Вместе с тем я находил в марксистских сочинениях кое-что, достойное насмешки. Например, рассмотрение плюса и минуса в математике как пример диалектического противоречия казалось мне очевидно абсурдным.

ПРОБЛЕМЫ КОММУНИЗМА

Проблемы коммунизма встали перед моим поколением совсем иначе, чем перед мечтателями, идеологами и революционерами прошлого. И даже совсем иначе, чем перед теми, кто практически участвовал в революции, в защите нового строя от попыток контрреволюции и интервентов уничтожить его и в первых опытах построения этого строя на практике. Особенность нашего положения состояла в том, что мы родились уже после революции и Гражданской войны. Стали сознательными существами, когда основы нового общества уже были заложены, самая черновая работа была выполнена. Мы явились в мир, в котором коммунистический социальный строй уже стал реальностью. Вместе с тем еще очень свежими были воспоминания о дореволюционном времени, о революции и обо всем том, что происходило непосредственно после нее. Мы встречались и разговаривали с живыми участниками недавнего героического прошлого. У нас в школе, например, побывали легендарная Анка-пулеметчица из Чапаевской дивизии, писатели А. Фадеев и А. Гайдар, герой Гражданской войны комкор Ока Городовиков и другие. Тогда такие встречи проходили повсюду и часто. Участники недавних реальных и легендарных событий вовлекали нас в их прошлую жизнь настолько настойчиво и эффективно, что их жизнь становилась и частью нашей жизни. Мы духовно жили не столько в настоящем, сколько именно в этом прошлом. Мы об этом прошлом получали сведений (информации и дезинформации) больше, чем наши предшественники, активно действовавшие в нем. Осмысление революции и ее итогов достигло масштабов массового осмысления именно к тому времени, когда

мы стали способными воспринимать продукты этого осмысления. Лишь к этому времени все средства культуры и пропаганды достигли мощи хорошо организованного аппарата воспитания нового человека. И мы стали объектом беспрецедентного в прошлом действия этой идеологической силы. Не знаю, как на самом деле переживали происходившие события люди в прошедшие годы, в том числе такие, как Фадеев, Маяковский, Гайдар, Островский, Фурманов, Шолохов, Серафимович, Багрицкий и многие другие. Но их литературные герои создавались на наших глазах. Создавались для нас, а не просто как документальные воспоминания о прошлом.

Но осмысление революции и ее первых исторических итогов происходило не как некое академически-беспристрастное познание явлений природы. Это был живой процесс жизни, полный драматизма, конфликтов, жестокостей, насилия, обмана. К началу тридцатых годов было в основном завершено уничтожение или по крайней мере нейтрализация фактических деятелей революции и Гражданской войны. Реальное коммунистическое общество стало складываться совсем не таким и не так, как о том мечтали в прошлом. Происходил грандиозный процесс не просто осмысления прошлого, но процесс создания идеологической картины прошлого, которая служила бы интересам настоящего. Прошлое входило в нашу жизнь не только в его романтическом виде, но в идеологически переработанном виде, входило как грандиозная ложь, впитавшая в себя соки правды. Существенно здесь не только то, что прошлое фальсифицировалось и реальность приукрашивалась, но также и то, что фальсифицировалось прошлое определенного рода и реальное прошлое, а приукрашивалась все-таки реальность коммунизма, вышедшая за рамки сказок и мечтаний. Не ведая об этом и не желая этого, наши воспитатели привлекали наше внимание к проблемам коммунизма в самом опасном и неприятном для идеологии власти смысле, а именно в смысле постановки общей и принципиальной проблемы сущности реального коммунистического социального строя, как такового, и его реальных перспектив. Как следствие встала проблема отношения к идеологии коммунизма.

Эти проблемы возникали еще произвольно и неосознанно. Более того, даже для самых скептически и критически настроенных из нас эти проблемы выступали сначала не в форме отрицания идеалов и практики коммунизма, а в форме защиты хороших идеалов и хорошей практики от ошибок, искажений и уклонений. Отрицание идеалов и дел коммунизма в тех условиях отбросило бы нас назад, в ряды контрреволюционеров и антикоммунистов. Для нас и речи быть не могло о движении назад и о создании в стране капиталистических порядков. Мы родились в коммунистическом обществе. Нас воспитали в духе коммунистической идеологии. Для нас возникала проблема будущего в рамках коммунизма и будущего самого коммунизма.

Оказавшись на Западе, я вел бесчисленные разговоры с моими читателями и слушателями на эти темы. Для западных людей, как я убедился, такой поворот сознания и проблем вообще остается совершенно непонятным. Они мыслят по принципу "либо то, либо другое", т. е. либо коммунистическая система, либо западная "демократия". Они не жили в условиях реального коммунизма как исторически данного факта, причем в его юношеском состоянии. Если же

исходить из коммунизма как данности, то критическое отношение к ней не обязательно предполагает сравнение с Западом. Отрицание этой данности не обязательно означает желание заменить ее западной социальной системой. Это новое явление, специфический продукт уже коммунистической жизни. Чтобы понять эти явления хотя бы в первом приближении, надо принять допущение, будто коммунизм победил во всем мире, и вообразить себе людей, отрицающих это общество, но не имеющих шансов и намерений вернуться в прошлое.

В старших классах школы мы много разговаривали и спорили на темы коммунизма в связи с тем, что нам преподносили в школе и что мы вычитывали из книг. Лишь немногие и в очень малой степени обращались к реальности как к материалу для критических суждений. Но реальность все-таки вторгалась в наши мысли, слова и чувства. Я вспоминаю два больших диспута в школе, специально посвященные теме социализма и полного коммунизма. Один диспут был в классе, другой – в масштабах всей школы. На школьный диспут отобрали учеников, хорошо проявивших себя на уровне классных диспутов. Это было чистой показухой. Но классный диспут вышел из-под контроля преподавателей. Спор начался из-за того, как понимать принцип полного коммунизма "каждому по потребностям". Любые ли потребности имеются в виду или только некоторые, допустим, самые минимальные? Как определяются эти потребности, кто их устанавливает и как контролируется их удовлетворение? Такие вопросы поставил я, считавшийся лучшим учеником именно в этой дисциплине. Началась беспорядочная перепалка. Как ученики, так и преподаватели запутали ясные вопросы в чисто идеологическое словоблудие. Меня на школьный диспут не допустили.

Герои моих литературных произведений довольно часто разговаривают на темы о коммунистическом обществе и о коммунистической идеологии. Эти места моих книг производят впечатление юмора, сатиры и нарочитого гротеска. Отчасти это действительно так. Но лишь отчасти. В основном же это есть описание реальных разговоров, которые велись тогда и позднее в наших кругах. Они не имели целью насмешку над предметом дискуссий. Но сам предмет был таков, что насмешка получалась неизбежно.

ЗАПАД

И конечно, мы мечтали за границу пожить, Потому что за границей есть что есть и есть что пить, Потому что за границей есть на тело что одеть, Потому что за границей есть красоты, что глядеть, Потому что за границей кто попало может всласть Крыть последними словами ими выбранную власть, Потому что за границей, если хочешь, смело крой Недостатки, что рождает их насквозь прогнивший строй. Даже ихняя погода нашей русской не чета. Заграница, заграница, нашей юности мечта!

Какую роль играл Запад в нашей жизни? Огромную и никакую. Все зависит от того, как понимать слово "Запад". Мы изучали европейскую культуру и историю. Имена Платона, Аристотеля, Данте, Микеланджело,

Леонардо да Винчи, Шекспира, Свифта, Диккенса, Сервантеса, Бальзака, Рабле, Мопассана, Вольтера, Руссо, Гоббса, Дидро, Гельвеция, Оуэна, Фурье, Моцарта, Вивальди, Бетховена, Монтеверди, Шопена, Вагнера, Гюго, Ван-Гога, Гогена, Родена, Рембрандта, Маркса, Гете и других великих деятелей европейской культуры нам были хорошо известны. Их творчество мы воспринимали как органическую часть нашей культуры. Все выдающиеся события европейской истории мы воспринимали как события нашей истории, не отделяли их от событий истории русской. Для нас Великая французская революция была чуть ли не частью нашей собственной революции, а Наполеоном мы восхищались больше, чем Кутузовым. Но можно ли все это считать влиянием Запада? Дело в том, что в годы нашего детства и юности началось своего рода раздвоение Запада:

1) на явление мировой культуры и истории, частью которых была культура и история дореволюционной России и отчасти оставалась современная нам Россия в качестве наследницы дореволюционной;

2) на совокупность капиталистических (по нашей терминологии) стран Европы (и Америки), противостоявших нашей стране как стране коммунистической. Понятие "Запад" стало употребляться лишь во втором смысле. При этом все явления современной жизни стран Запада делились на две категории: на такие, которые были приемлемы для нас с точки зрения властей и идеологии, и такие, которые связывались с социальным строем стран Запада и расценивались как нечто враждебное.

О современной жизни на Западе мы знали, конечно, только из пропаганды и из западных книг и фильмов, которые можно было прочитать и посмотреть вполне легально. А они отбирались с учетом интересов идеологии и пропаганды. "Железный занавес" выполнял свою историческую роль. Я лично и все мои друзья были вообще равнодушны к Западу во втором, из упомянутых выше, смысле. И с этой точки зрения то, во что мы превращались, было имманентным продуктом коммунистического общества как в позитивном, так и в негативном смысле. Я сформировался без влияния Запада как антипода советского общества и имел возможность наблюдать "в чистом виде" формирование советского человека (гомо советикуса). Мой антисталинизм и вообще мое критическое отношение к коммунистическому обществу сложились без всяких сравнений социальных систем и образов жизни, исключительно под влиянием специфических условий жизни реального коммунизма. Мое понимание феноменов советского общества имело источником наблюдение самих фактов реальности, а не сочинения западноевропейских писателей, философов, ученых. Последние влияли на мое интеллектуальное развитие, на формирование моих познавательных способностей. Но в них ничего не говорилось о главном предмете приложения этих способностей – о новом коммунистическом обществе. Я вырабатывал свое мировоззрение и тип поведения прежде всего под влиянием того, что сам открывал в окружавшем меня мире, причем, как правило, вопреки тому, что я узнавал из книг. У меня не было учителей в строгом смысле слова. Я никогда не был ничьим учеником и последователем. Я начинал в известном смысле с нуля.

В послевоенные годы, особенно после ликвидации (относительной, конечно) "железного занавеса", вступили в силу такие факторы в

понимании советского общества и в отношении к нему, которые нарушили прежнюю почти что лабораторную чистоту и ясность внутренних механизмов и процессов коммунистического общества. Так что опыт жизни представителей моего поколения имеет гораздо большую ценность с научной точки зрения, чем опыт последующих поколений. В настоящее время социальная ситуация в коммунистических странах замутнена приходящими обстоятельствами. Сравнительная свобода слова, мысли и критики в гораздо большей мере стала способствовать сокрытию сущности реального коммунизма, чем ее обнаружению. Такая аморфная и мутная ситуация в коммунистических странах есть явление временное. Натура коммунизма возьмет свое. И тогда, может быть, люди будут больше обращать внимание на глубинные механизмы коммунизма, действие которых мое поколение испытало на своей шкуре самым неприкрытым образом. Мы, можно сказать, "щупали своими руками" эти механизмы.

ОДИНОЧЕСТВО

Хотя у меня было довольно много знакомых и друзей, в общем объеме времени встречи с ними занимали не так уж много, как это может показаться при чтении воспоминаний. Для последних отбираются события, достойные, по мысли автора, упоминания. Общая среда этих событий выпадает из поля внимания, хотя именно она составляет основную величину жизни. Главным времяпровождением для меня было чтение, мечты и размышления в одиночку. Я часто бродил в одиночестве по улицам Москвы, иногда – даже ночами. При этом на меня находило состояние молчания, причем не обычного, а какого-то огромного, звенящего. Я думал непрерывно, даже во сне. Во сне я выдумывал всякие философские теории, сочинял фантастические истории и стихи. Мои друзья не выдерживали интеллектуальной нагрузки и напряженной моральной реакции на события, которые я невольно навязывал им порою одним лишь фактом своего присутствия. Я это чувствовал, замыкался в себе и отдалялся ото всех. Я проходил тренировку на одиночество. Бедность бытия я компенсировал богатством интеллектуальной жизни.

V. ПЕРВЫЙ БУНТ

БУНТ

Вся моя жизнь была протестом, доведенным до состояния бунта, против общего потока современной истории. Употребляя слово "бунт", я имею в виду не протест вообще, а лишь одну из его форм: открытую для

окружающих и очень интенсивную вспышку протеста, причем иррациональную. Взбунтовавшийся человек или группа людей не имеет никакой программы своего поведения в период бунта. Бунт имеет причины, но не имеет цели. Вернее, он имеет цель в себе самом. Бунт есть явление чисто эмоциональное, хотя в числе его причин и могут фигурировать соображения разума. Бунт есть проявление безысходного отчаяния. В состоянии бунта люди могут совершать поступки, которые, с точки зрения посторонних наблюдателей, выглядят безумными. Бунт и есть состояние безумия, но безумия не медицинского, а социального.

Но я не считаю субъективно иррациональный бунт явлением исторически бессмысленным. Наоборот, я его считаю единственно рациональным с исторической точки зрения началом социальной борьбы, адекватной новой эпохе. Такой бунт сам по себе уже есть симптом перелома в ходе эволюции человечества. Он есть субъективное предчувствие того, что новое направление эволюции несет с собой не только добро, но и зло. Он вообще есть начало осознания обществом своего собственного будущего, уже ощущаемого в настоящем. Можно осуждать взбунтовавшегося индивида с точки зрения принятых критериев морали. Можно осуждать его с точки зрения правовых представлений. Можно, наконец, найти ему подходящее медицинское определение. Но нелепо рассматривать факт, что человек "свихнулся" и начал совершать аморальные поступки и даже преступления. Надо объяснить, в чем именно он "свихнулся", почему "свихнулся" так, а не иначе, почему встал на путь нарушения правил морали и юридических законов. Моя жизнь была уникальной как в том отношении, что мой бунт был доведен до логического конца, так и в том отношении, что он стал предметом самого скрупулезного самоанализа. Во мне совместился бунтарь, способный идти в своем бунтарстве до конца, и исследователь бунтарства такого рода, способный анализировать этот феномен со всей объективной беспощадностью.

ЗАРОЖДЕНИЕ АНТИСТАЛИНИЗМА

Я вырос и сформировался идейно не просто в коммунистическом обществе, но в определенный период его истории, а именно в сталинскую эпоху. Мой сознательный конфликт с коммунистическим обществом начался как конфликт со сталинизмом. Уже в семнадцать лет я стал убежденным антисталинистом. Антисталинская деятельность стала для меня тогда основой и стержнем всей моей жизни и оставалась таковой вплоть до известного доклада Хрущева на XX съезде партии.

После смерти Сталина, в особенности после XX съезда, в Советском Союзе появилось множество антисталинистов. В горбачевские годы началась новая вспышка антисталинизма, поощряемая сверху. Если антисталинизм хрущевских лет еще заслуживал снисхождения, поскольку происходила десталинизация страны, то антисталинизм горбачевских лет не заслуживает ничего, кроме презрения, и настораживает как маскировка далеко не добрых по существу намерений. Все мое время. Я считаю настоящими антисталинистами лишь тех, кто восставал против сталинизма тогда, когда это было смертельно опасно.

Не помню, как и когда у меня стало складываться негативное отношение к Сталину. Плохие высказывания о нем мне приходилось слышать от взрослых еще в деревне. Но в общем и целом я был к нему равнодушен. Рисуя тот злополучный его портрет, я поступал не как свободный художник, а в силу обязанности. Скорее всего, нельзя назвать какую-то одну причину моего отрицания Сталина. Тут сработала совокупность множества причин, причем постепенно и незаметно для меня самого. В 1934 году в ЦК было принято решение создать культ Сталина. Мы, конечно, тогда об этом не знали. Но почувствовали, так как имя Сталина стало все чаще звучать, похвалы по его адресу становились все восторженнее, повсюду появились его портреты. У нас в школе Ленинскую комнату превратили в Сталинскую. И вообще в школе Сталин стал занимать все больше места как в учебных занятиях, так и во всякого рода общественных мероприятиях. В актовом зале сменили занавес. Теперь на одной половине его был вышит золотом Ленин, а на другой – Сталин. Еще до выхода в свет знаменитого "Краткого курса ВКП (б)" Сталин был причислен к классикам марксизма. Сталин заполонил собою газеты, книги, фильмы. Нам каждый день устраивали политические информации, в которых пели дифирамбы Сталину. Постоянно проводились пионерские сборы, а затем – комсомольские собрания, в центре внимания которых был, конечно, Сталин. О Сталине говорили на уроках по всякому поводу. Короче говоря, нам так настойчиво стали навязывать Сталина как земное божество, что я хотя бы из одного духа противоречия начал противиться этому. Насмешки и негативные намеки родителей моих товарищей, у которых я бывал дома, добавляли свою долю в мои сомнения. Тяжелое положение в деревне и моя личная нищенская жизнь в Москве наводили на мысль об ответственности за это высшего руководства, возглавляемого Сталиным. По мере того как я рос и замечал несоответствие реальности идеалам романтического и идеалистического коммунизма, я, естественно, видел виновных в этом тоже в высшем руководстве и лично в Сталине.

Любопытно, что даже моя фамилия сыграла свою роль. Меня в шутку в классе называли "врагом народа". И я не протестовал против такой игры. Когда в 1935 году мы играли в конституцию, то наш "триумvirат", декларировавший свою "конституцию", состоял из ребят с фамилиями, ассоциируемыми с Троцким и Каменевым. А в отношении меня и трансформация фамилии не требовалась. Из шуток и игр порою вырастают серьезные последствия.

Сказались и мои анархические наклонности. Как я уже говорил, уклоняясь от роли вожака в группах во время игр и каких-то школьных мероприятий, я сам не терпел, когда мною кто-то начинал помыкать. А тут мне силой стали навязывать вождя не на одну игру или на одно дело, а на всю жизнь и на каждое мое действие. Чисто психологический протест против такого насилия постепенно перерос в протест идейный. Однажды у Бориса дома я так прямо и высказал, что я не признаю Сталина в качестве моего личного вождя, что я вообще не признаю над собою никакого вождя, что я "сам себе Сталин". Борис со мною согласился, а его отец одобрил наши мысли. Он лишь посоветовал держать язык за зубами.

Познакомившись с Иной, я эту тему неоднократно обсуждал также и с

нею, заражая и ее своим протестом против культа Сталина. Чем чаще я бывал в доме Ины, тем лучше ко мне относился ее отец и тем откровеннее говорил со мной. Он много пил. Напившись, он говорил иногда такие вещи, что даже мне становилось страшно. Он говорил об отступлении от ленинских идеалов, об уничтожении ленинской гвардии, о перерождении партии. Он говорил о том, что именно настоящих коммунистов теперь не любят больше всего. Их прославляют в книгах и в кино, а в жизни их уничтожают.

ПРЕДВОЕННЫЙ ПРИЗЫВ

Среднюю школу я окончил в 1939 году с "золотым" аттестатом. В стране началась явная подготовка к войне с Германией. То, что война скоро начнется и что это будет война именно с Германией, в этом были уверены все. Мальчиков, окончивших школу, которым было уже восемнадцать лет и которые были здоровы, сразу же призывали в армию. По всей вероятности, решение властей было суровым, и мало кому удавалось уклониться от призыва. Кроме того, патриотические настроения среди молодежи были очень сильными, и многие из тех, кто мог уклониться, не использовали свои возможности. Наиболее разумные ребята заранее подали заявление в военные учебные заведения, а также в школы органов государственной безопасности ("органов"). Некоторым из них повезло – один со временем (уже после войны) стал генералом, другой полковником, третий – комендантом лагеря строгого режима. Но большинство погибло на фронте. Провожали призванных в армию очень торжественно. Каждому подарили чемодан и мелкие вещицы вроде записных книжек, конвертов и бумаги для писем, кружек и ложек. Произносились речи. На проводах присутствовали участники Гражданской войны, офицеры из Московского гарнизона, отличившиеся пограничники. Вскоре от призванных пришли письма. Все оказались либо на Дальнем Востоке (опасность нападения Японии), либо на западной границе (опасность со стороны Германии).

Мне еще не было даже семнадцати лет, так что я мог поступить в институт. Был освобожден от службы в армии мой друг Борис – он вообще имел "белый билет" как психически больной и поскольку имел очень слабое зрение. Не были призваны также ученики нашего класса Проре Г., Иосиф М. и Василий Е., которым было суждено сыграть важную роль в моей жизни. Первый имел слабое зрение, второй и третий остались на второй год по причинам, о которых скажу ниже.

ВЫБОР ПУТИ

Передо мной встала проблема выбора института. Как обладатель "золотого" аттестата (впоследствии с таким аттестатом стали давать золотую медаль), я имел фактически неограниченные возможности. Я мог поступить на механико-математический факультет, где меня все-таки знали как успешного участника математических олимпиад. Я мог

поступить в архитектурный институт, имея характеристику и рекомендацию от Союза архитекторов как член архитектурного кружка в течение многих лет и как призер юношеского конкурса, организованного Союзом архитекторов. Но я выбрал философский факультет МИФЛИ (Московского института философии, литературы, истории). Этот выбор был определен тем, что я к тому времени уже ощущал сильнейшую потребность понять, что из себя представляет наше советское общество. И вообще, в последние два года школы мой интерес к философии стал постепенно доминировать над интересом к архитектуре и к математике. До этого в кругу моих знакомых у меня была кличка "Архитектор". К моменту окончания школы за мной прочно закрепилась кличка "Философ". В эти годы я запоем читал философские книги – Вольтера, Дидро, Гельвеция, Гоббса, Локка, Канта, Гегеля, Маркса. И сам занимался выдумыванием всяких философских теорий.

Итак, я решил поступить в МИФЛИ. Поскольку мне еще не было даже семнадцати лет, мне потребовалось особое разрешение Министерства высшего образования на поступление в институт. Кроме того, МИФЛИ был в некотором роде привилегированным институтом, особенно философский факультет.

Конкурс на этот факультет был огромный, чуть ли не двадцать человек на место. Требовалась особая рекомендация от комсомольской или партийной организации. В райкоме комсомола мне такую рекомендацию не дали, поскольку в последний год мои соученики по школе заметили какие-то "нездоровые настроения" у меня.

А скорее всего, просто кто-то написал на меня донос с целью помешать поступлению на идеологически важный факультет. Наконец, число желающих поступить на факультет с "золотым" аттестатом превысило число мест. Короче говоря, мне предложили сдавать вступительные экзамены на общих основаниях. Пришлось сдавать восемь экзаменов. Из всех сдававших экзамены я набрал наибольшее число очков – семь экзаменов сдал на "отлично" (на "пять") и лишь один на "хорошо" (на "четыре"). И то это был экзамен по географии. Я ответил вполне на "отлично", но экзаменаторы сказали, что это было бы "слишком жирно" для меня – получить все пятерки, и снизили оценку. Несмотря на это, я был первым в списке по результатам, и меня зачислили на факультет. Зачислили со стипендией. Я хотел также получить место в общежитии. Но мне отказали, так как я был москвич, а общежитие предоставляли только иногородним.

В те годы МИФЛИ считался самым элитарным институтом в стране. Когда я поступил, там учился "Железный Шурик" – А. Шелепин, будущий секретарь ЦК ВЛКСМ, Председатель КГБ, член Политбюро ЦК КПСС и претендент на пост Генерального секретаря ЦК КПСС. Тогда он был парторгом ЦК. Перед моим поступлением МИФЛИ окончил поэт Александр Твардовский. Говорили, будто на выпускном экзамене ему достался билет с вопросом о его поэме "Страна Муравия", ставшей знаменитой к тому времени. Некоторое время в институте учился поэт Павел Коган, автор знаменитой "Бригантины". Потом он ушел в Литературный институт. В МИФЛИ учились многие известные ныне философы, литературоведы, историки, журналисты. В одной группе со мною учились, например, будущие известные философы П. Копнин, Д. Горский,

К. Нарский, А. Гулыга. Во время войны институт был эвакуирован в Ташкент и объединен с Московским университетом.

КУДА МЫ ДВИЖЕМСЯ

В МИФЛИ я еще во время экзаменов подружился с Андреем Казаченковым. Он был на два года старше меня. В детстве он потерял руку. Уже после нескольких разговоров мы поняли, что являемся единомышленниками. Он, как и я, был антисталинистом. Поступил на философский факультет с намерением лучше разобраться в том, что из себя представляет наше общество. Мы уже тогда пришли к выводу, что история делается в Москве. Но какая именно история? Что несет она с собою человечеству? Принимаем ли мы это направление эволюции или нет?

Андрей был типичным для России кустарным мыслителем, мыслителем-самоучкой. Я таких мыслителей встречал много раз до него и впоследствии. Думаю, что склонность к "мыслительству" вообще свойственна русским. Она нашла отражение в русской классической литературе. С Андреем я встречался и поддерживал дружеские отношения и после войны. Но такой близости и откровенности, как в 1939 году, у нас уже не было.

Он стал профессиональным философом-марксистом. Я пошел в другом направлении. Хотя я сам был из породы русских мыслителей-самоучек, я все-таки сумел прорваться через дебри марксизма и добраться до каких-то иных вершин мышления.

Может быть, наши разговоры в 1939 году имели для Андрея совсем не тот смысл, какой они имели для меня, но на меня они подействовали очень сильно. Андрей был первым в моей жизни человеком, который говорил о сталинских репрессиях так, как о них стали говорить лишь в хрущевские годы. Я был потрясен тем, что он рассказывал об убийстве Кирова и о процессах против видных деятелей революции, партии и государства. Не знаю, откуда ему все это было известно.

Я знал о массовых репрессиях в стране. Но они до сих пор не затрагивали меня лично и не казались чем-то несправедливым. В деревне у нас арестовывали людей, но арестовывали, как нам казалось, правильно: они совершали уголовные преступления. Обычными преступлениями такого рода были хищения колхозной и государственной собственности, бесхозяйственность, халатность. О причинах, толкавших обычных людей на эти преступления, мы не думали. Было очевидно, что эти преступления возникли лишь с коллективизацией. Но нужно специальное образование, исследовательские способности и гражданское мужество, чтобы обнаружить причинно-следственную связь в, казалось бы, очевидных явлениях. Прошло семьдесят с лишним лет после революции, в стране появились сотни тысяч образованных людей, занятых в сфере социальных проблем. А многие ли из них видят причины непреходящих трудностей в Советском Союзе в объективных закономерностях самого социального строя страны?! Насколько мне известно, я был первым, кто заговорил об этом профессионально. И

может быть, до сих пор являюсь единственным "чудаком" такого рода. Так что же можно было ожидать от советских людей тридцатых годов, боявшихся к тому же даже вообще думать в этом направлении?! Были случаи, когда арестовывали "за политику". Но они тоже казались оправданными: люди "болтали лишнее". А тот факт, что это "лишнее" было правдой, во внимание вообще не принималось.

В Москве сталинские репрессии были мне известны отчасти также в форме наказаний за уголовные преступления. То, что массы людей самой системой жизни вынуждались на преступления, об этом я узнал позднее. А тогда такие преступления казались делом свободной воли людей и их испорченности. Ведь мы же не совершали таких преступлений! Но главным образом сталинские репрессии мне были известны как репрессии против "врагов народа". Об этих репрессиях писали в газетах. О них говорили агитаторы и пропагандисты. О них нам твердили без конца в школе. Мы читали о них в книгах, смотрели фильмы. Пропаганда с этой точки зрения была организована настолько эффективно, что массы людей верили в то, что им внушали. Более того, хотели верить. И само собой разумеется, я, как и другие, не знал масштабов репрессий. А карательным органам создавали такую репутацию, что они нам казались воплощением ума, честности, смелости, справедливости и благородства. Мы выросли в атмосфере прекрасных сказок революции. И сталинские репрессии изображались продолжением революции и защитой завоеваний революции. О том, что защита завоеваний революции превратилась в нечто иное, уже не имеющее ничего общего с революцией, я узнал позднее.

Мы имели информацию о том, что происходило в стране, помимо официальных источников и школы, и эта информация не совпадала с официальной. Реальная жизнь страны все более обволакивалась туманом грандиозной пропагандистской лжи, и мы это замечали. Замечали мы также и то, что и в наших школьных коллективах возникали явления, далекие от идеального коллективизма и декларируемой справедливости. Конечно, эти явления были незначительными с исторической и социологической точки зрения. Но они были существенны для нас, ибо они были явлениями нашей жизни. Мы сидели рядом за партами, учили те же уроки, читали те же книги, смотрели те же фильмы. Но уже тогда мы чувствовали, что нам предстоит различные судьбы.

Смутные подозрения насчет реальной сущности репрессий стали закрадываться мне в душу задолго до 1939 года. После убийства Кирова ходили слухи насчет роли Сталина как организатора убийства. Отец Бориса говорил об этом не раз. Несмотря на пропаганду и страх, правда о репрессиях так или иначе вылезала наружу. Как говорится, шила в мешке не утаишь. Взгляды, намеки, двусмысленные замечания, гримасы – все это в массе создавало такую атмосферу, что сомнение в правдивости пропаганды становилось обычным состоянием многих людей. Обман перерождался в самообман и в соучастие в обмане. К концу тридцатых годов ситуация в тех кругах, которые мне были известны, сложилась уже такая, что перед людьми встала проблема: соучастие в делах сталинистов или протест против них. Подавляющее большинство осталось пассивным, охотно принимая позицию неведения о реальности и веры в официальную ее картину. Значительная часть людей стала активной участницей действий властей, прикрывая свое участие благими

намерениями искоренить врагов и облагодетельствовать трудящихся. Лицемерие и сознательная ложь вытесняли искреннюю веру и романтический идеализм. Но были и такие, кто уже тогда понимал страшную суть происходившего. Их было немного. Они не высказывали свое мнение и протест публично. Но уже одно то, что они думали не так, как все, в те годы было беспрецедентной смелостью.

И все же не сталинские репрессии сыграли главную роль в моей идейной эволюции. Для меня важнее были явления иного рода, более глубокие. Репрессии мне казались лишь проявлением каких-то более фундаментальных процессов в стране. Каких?

Мы встречались с Андреем каждый день и разговаривали часами. За короткий срок мы обсудили все важнейшие проблемы жизни нашего общества. Я к этим разговорам уже был подготовлен всей предшествующей жизнью. Понимающий и солидарный со мною собеседник мне был нужен, чтобы сформулировать свои выводы в ясной форме. Этот способ познания путем разговоров с друзьями и полемика с ними стал вообще одним из важнейших в моей познавательной деятельности. Я не записывал своих мыслей – это было опасно. А разговор помогал сформулировать их лаконично и запомнить. Ниже я расскажу о том, в каком направлении шли тогда мои мысли, на примере понимания сущности нашей революции, диктатуры пролетариата и коммунистической партии. Разумеется, я расскажу об этом теми словами, какие доступны мне сейчас. Но суть дела я начал понимать уже тогда.

СУЩНОСТЬ НАШЕЙ РЕВОЛЮЦИИ

Само собой разумеется, центральное место в нашем идеологическом воспитании занимала тема Октябрьской революции 1917 года. Не могу объяснить, почему меня никогда не волновали конкретные факты и личности того периода. Случилось, что я стал больше интересоваться таким аспектом революции, который наш учитель называл "бытовым". Свою роль в этом, надо полагать, сыграло то, как произошла революция в наших чухломских краях. Я не раз слышал от взрослых, что число всяких начальников у нас увеличилось раз в пять сравнительно с дореволюционным временем. Наш родственник, имевший фабрику под Москвой, шутил, что теперь вместо одного хозяина и пары конторщиков на его бывшей фабрике появилась сотня начальников. Как-то незаметно я отказался от парадно-пропагандистской концепции нашей революции и начал свои партизанские "археологические" раскопки прошлого. Я стал находить свидетельства того, что я потом оценил как глубинный поток истории, буквально во всех книгах о предреволюционной ситуации в России, о революции, о Гражданской войне и о двадцатых годах. Все авторы, даже не подозревая об этом, выбалтывали самый запретный секрет революции. Одной из первых книг, глубоко поразивших меня тогда, была книга К. Федина "Города и годы", вернее, то место из этой книги, в котором один из персонажей книги говорит главному ее

герою, что революции нужен писарь. Я буквально заболел этой темой. В результате я перевернул для себя эту фразу героя книги Федина таким образом: революция была нужна писарю. Я наизусть выучил рассказ А. Толстого "Гадюка", много раз перечитывал "Зависть" Ю. Олеши, "Двенадцать стульев" и "Золотого тельца" И. Ильфа и Е. Петрова. Я воспринимал все прочитанное не как сатиру на пережитки прошлого, а как описание нарождающегося образа жизни и быта нового коммунистического общества. К тому же в моем подсознании где-то осели идеи социальных авторов и революционеров (например, Бакунина, Кропоткина, Лаврова, Михайловского, Ткачева) прошлого, предвидевших различные явления коммунизма (социализма). Уже в 1939 году у меня сложилось свое понимание нашей революции, ничего общего не имевшее с официальной концепцией.

Хотя идеи коммунизма были изобретены на Западе, первое в истории человечества коммунистическое общество огромного масштаба и способное существовать века возникло в России. Конечно, тут сыграли свою роль конкретные исторические условия. Почему, однако, в этих условиях крушения Российской империи возник именно коммунистический социальный строй, это нельзя объяснить, если исходить из марксистской концепции, будто коммунистические социальные отношения не существовали в прошлом, будто они возникли лишь в результате революции. Тогда, в 1939 году, я рассуждал так. Товарно-денежные отношения существовали задолго до капитализма. При капитализме они стали господствующими. Так почему бы эту схему не применить к коммунизму?! Ведь то, что мы видим в нашей стране повсюду и считаем новыми отношениями социализма (коммунизма), было и до революции! Ведь я о многом из того, что теперь вижу своими глазами, уже читал в сочинениях Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Чехова, Островского и других русских писателей.

До революции в России происходило крушение феодально-дворянского социального строя и формирование капиталистических социальных отношений. Но одновременно происходил процесс роста социальных отношений, которые участниками жизненного процесса того времени не воспринимались как основа социальных отношений будущего коммунистического общества, а именно чиновничьи отношения, т. е. отношения людей к грандиозному государственному аппарату России и отношения людей внутри самого этого аппарата. Чиновничье-бюрократический аппарат стал стремительно складываться в России уже в годы Ивана Грозного. При Петре Великом он стал конституироваться формально. Ко времени революции он стал третьей основной социальной силой в стране наряду с помещиками и капиталистами.

Социальная ситуация в России в предреволюционные годы была чрезвычайно сложной и неопределенной. Помещичьи (дворянско-феодалные) отношения доживали последние годы и навеки уходили в прошлое. Капиталистические отношения еще не были достаточно развитыми и сильными, чтобы стать безраздельными господами общества. Чиновничьи отношения хотя и влияли на все аспекты жизни страны, еще не подозревали, что будущее принадлежит им. Чиновничество еще в значительной мере пополнялось выходцами из дворянства, испытывало огромное влияние отношений капиталистических и не осознавало себя в качестве самостоятельной силы.

В результате Октябрьской революции 1917 года в России были ликвидированы классы частных собственников – исчезли феодальные и капиталистические отношения. Была разрушена также вся система власти и управления царизма. Но на месте разрушенного государственного аппарата царизма возник государственный аппарат, который превзошел его как по масштабам, так и по роли в обществе. И полный простор получили социальные отношения, которые ранее были перемешаны и слитны с отношениями феодализма и капитализма, не выделялись в качестве социальных отношений будущего коммунизма. Эти отношения, в какой бы форме они ни проявлялись и ни осознавались людьми, были на самом деле привычными для миллионов людей Российской империи. Для них революционный перелом не был на самом деле таким уж радикальным, как это выглядело на поверхности событий и с точки зрения тех, кто сбрасывался с арены истории.

Коммунистическое общество в России возникло не в качестве случайного исключения из общих законов эволюции общества, а в удивительном соответствии с ними. Октябрьская революция лишь расчистила почву тем предпосылкам нового общества, которые уже сложились в России в течение многих веков и уже играли, по крайней мере, одну из главных ролей в жизни людей. Чтобы понять сущность социальной революции большого масштаба, нужно понять тот социальный строй, который сложился в стране благодаря этой революции. Понимание сущности Октябрьской революции целиком и полностью зависит от понимания того социального строя, который существует в Советском Союзе. Можно подробнейшим образом знать все конкретные события, предшествовавшие революции и происходившие во время революции, можно даже исчерпывающим образом знать причины, приведшие к революции, и при этом все-таки не понимать ее социальной сущности. Лишь знание и понимание устойчивых результатов революции, навечно вошедших в социальный строй страны, дает ориентацию в историческом материале, дает критерии различения случайного и необходимого, поверхностного и глубокого, преходящего и остающегося, второстепенного и главного. Лишь исходя из понимания сущности социального строя Советского Союза, можно различить то, как участники и наблюдатели исторического процесса осознавали его, и то, что на самом деле происходило в глубине исторического потока.

Всякую революцию можно рассматривать с различных точек зрения – с точки зрения причин, приведших к ней, участников революции, ее движущих сил, ее лидеров, ее конкретного хода, ее последствий для различных слоев населения и т. д. Но все это еще не будет рассмотрением сущности революции. Сущность революции определяется тем, какие социальные отношения стали господствующими в послереволюционном обществе, какие социальные классы, слои, группы потерпели поражение или даже ликвидированы совсем и какие получили преимущества, пришли к фактической власти, стали играть доминирующую роль в обществе, стали укрепляться и расти.

Сущность русской революции проявлялась не в отдельных ярких событиях, поражавших воображение современников, а в будничной жизни миллионов людей. А то, что для живущих в то время людей казалось самым обыденным и заурядным, не привлекало их исторического

внимания. Сломали одни конторы и учреждения власти, но тут же создали новые, с точки зрения вовлеченных в их работу людей мало отличавшиеся от прежних. Масса чиновников как-то пристраивалась в новых учреждениях. Многие офицеры стали командирами новой армии. Армия и милиция строились по привычным образцам. В стране был накоплен колоссальный опыт организации общественного порядка и контроля за людьми. Образовались миллионы новых постов. Сфера власти необычайно расширилась. Люди охотно шли в начальники и исполняли свои роли так, как будто прошли школу начальствования. Русская революция по своей социальной сущности была революцией чиновничьей не только в том смысле, что чиновник становился господином общества, но и в том смысле, что все граждане превращались в актуальных и потенциальных служащих государства. Миллионы всякого рода начальников, руководителей, партийных секретарей, заведующих, директоров, председателей стали господами положения, навязывая всему обществу свою идеологию и психологию, свой образ жизни, свое отношение ко всем аспектам жизни.

О русской революции написаны многие тонны книг и статей. И поразительно то, что самое главное в ней или совсем выпало из поля внимания теоретиков и историков, или осталось не оцененным в качестве решающего фактора самой огромной социальной революции в истории человечества. Неверно было бы утверждать, будто никто не замечал сути революции. Многие замечали ее. Приведу в качестве примера то, что вскоре после революции писал Ф.И. Шаляпин. В большевизм, по его словам, влилось целиком все жуткое российское мещанство с его нестерпимой узостью и тупой самоуверенностью. И не только мещанство, а вообще весь русский быт со всем, что в нем накопилось отрицательного. Но суждения рядовых наблюдателей революции никогда не принимались всерьез "мыслителями".

Я очень много писал и говорил на эту тему, оказавшись в эмиграции. Приведу для примера лишь один небольшой отрывок из одного из моих первых публичных выступлений в Париже. "Шла история. Люди влезали на броневики, произносили речи, захватывали оружейные склады, телефонные станции, ставили к стенке, стреляли, носились с шашкой наголо на коне с криками "ура" – это неслась история. А в это время незримо, незаметно, где-то в обществе зрело то, что я называю социологией. Ведь чтобы Чапаев мчался с шашкой и в развевающейся бурке, должна быть канцелярия в дивизии, а в канцелярии надо столы расставить, а за эти столы посадить людей. Нужно было бумажки выписывать, печати ставить, штампы какие-то... И когда драматическая история пронеслась и дым развеялся, выяснилось, что именно из этого получилось, что именно осталось от истории. Контора осталась. История умчалась в прошлое, а контора с ее бумажками, печатями, скукой, званиями, распределением по чинам, волокитой, очковтирательством и прочими прелестями осталась. Надо, повторяю и подчеркиваю, брать общество в том виде, как оно сложилось и существует на наших глазах. И тогда будет понятно, зачем носился Чапаев с шашкой наголо: отнюдь не для того, чтобы спасти страждущее человечество, а для того, в частности, чтобы чиновники из аппарата всех сортов власти (ЦК, КГБ, Академии наук, Союза писателей и т. д.) могли на персональных машинах ездить в спецраспределители за продуктами, которых нет в обычных магазинах, приобретать шикарные

квартиры и дачи, пользоваться лучшими курортами и достижениями медицины..."

Такие мысли я стал высказывать в печати, прожив долгую жизнь. Но я ведь жил с ними с самой ранней юности. Я неоднократно высказывал их моим друзьям еще до войны, в годы войны и в послевоенные годы. Они обычно соглашались со мною. Но не придавали моим идеям никакого значения. Поговорили, и дело с концом. Лишь бы не донес кто-либо в "органы". Да я и сам не относился к моим идеям как к научным открытиям. Они были элементами моей внутренней жизни. Для меня мои открытия сущности нового общества, о котором мечтали тысячелетия, и сущности самой грандиозной в истории человечества революции обошлись слишком дорого. Моя душа превратилась в сплошную незаживающую рану. Страдание от этих открытий стало основным содержанием жизни.

ПРОБЛЕМА ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА

Тема диктатуры пролетариата и фактического положения рабочих в советском обществе для нас, молодых людей моего поколения, была в высшей степени актуальной. Большинство из нас были детьми рабочих и крестьян, а также всякого рода мелких служащих, которые сами были выходцами из рабочих и крестьян. Но мы не собирались идти по стопам родителей. Наши родители не хотели, чтобы мы шли по их стопам. Уже тогда многим по опыту жизни было хорошо известно фактическое положение рабочих.

Рабочий класс как класс в марксистском смысле слова "класс" в коммунистическом обществе исчезает вместе с исчезновением класса капиталистов. Остаются рабочие как особая категория людей, занятых непосредственно физическим трудом или производящих какие-то вещи с помощью станков, машин и других орудий труда. Население коммунистического общества, как и всякого другого более или менее развитого общества, является неоднородным. В нем можно различить низшие, средние и высшие слои. Рабочие относятся к низшим слоям населения и не имеют никаких шансов в массе своей перейти в средние и тем более в высшие слои. Отдельные представители рабочих такой переход совершают. Положение же социального слоя рабочих в иерархии слоев коммунистического общества остается незыблемым.

Хотя заработная плата многих рабочих выше, чем заработная плата учителей, врачей, научных работников и других представителей средних слоев населения, это само по себе еще ничего не говорит об уровне жизни и вообще об образе жизни рабочих сравнительно с другими категориями граждан. Положение врача, учителя, ученого, служащего конторы все равно предпочтительнее положения рабочего даже с более высокой заработной платой. Если гражданин общества имеет шансы покинуть категорию рабочего и перейти в другую социальную категорию даже ценой некоторых потерь в оплате труда, он это, как правило, делает. Отсюда гигантская тяга в среде рабочей молодежи к учебе, открывающей им надежду избежать весьма неприятной участи остаться рабочими. Рабочими становятся, как правило, те, кто не имеет

возможностей лучше устроиться в жизни, и те, у кого нет более высоких претензий к жизни. Идеология и пропаганда всячески стремятся развить у рабочих гордость за свою принадлежность к некоему "рабочему классу" – якобы ведущему и руководящему классу общества. Но в эти сказки уже никто не верит. Когда сын одного высокопоставленного советского чиновника изъявил желание стать рабочим, перепуганные родители отвезли его в психиатрическую больницу. Этот случай характерен для фактического отношения советских людей к положению рабочего.

Сами рабочие не являются социально однородной массой. Есть так называемые чернорабочие и подсобные рабочие, не имеющие профессиональной подготовки. Есть ученики–рабочие. Профессионально подготовленные рабочие разделяются по разрядам. Число разрядов иногда достигает семи. Есть рабочие–мастера. Имеется множество категорий рабочих, которые являются промежуточными между категориями рабочих в традиционном смысле и инженерами. Это всякого рода механики, техники, наладчики и т. п. Так что уже на этом социальном уровне имеет место сложная иерархия социальных позиций, исключая некие общие "классовые" интересы рабочих. Плюс к сказанному из числа рабочих выделяется привилегированная часть, которая становится опорой руководства коллективами и страной. Это "ударники коммунистического труда", "стахановцы", всякого рода активисты, избираемые депутатами советов, членами партийных бюро, делегатами конференций и съездов. Влияние этой избранной части рабочих на социальную жизнь в стране и на систему власти ничтожно. За мелкие привилегии и подачки эти рабочие помогают господствующим слоям населения держать в узде остальную часть рабочих и маскировать фактическое социальное и экономическое неравенство людей.

В социальной структуре коммунистического общества имеется другой, еще более важный аспект, который превращает выражение "рабочий класс" в полную бессмыслицу. Рабочие являются прежде всего членами деловых коллективов, состоящих из людей самых различных социальных категорий. Рабочие различных коллективов не объединяются в единое целое. У них нет для этого никаких общих целей и практических возможностей. То, что идеология называет объединением различных коллективов в более обширные группы, суть на самом деле лишь органы власти и управления. Сотрудники этих органов не являются рабочими и не выбираются из рабочих. Они суть профессиональные работники системы власти и управления. Профсоюзная организация на уровне первичных коллективов объединяет всех членов коллектива, начиная от директора и кончая уборщицами и сторожами, и не является специфически рабочей организацией. Деятельность ее ограничена исключительно рамками данного коллектива. Партийная организация точно так же является организацией всех членов партии данного коллектива, независимо от их профессии и от социального положения. Деятельность ее точно так же ограничена рамками данного коллектива. Решающая роль в деловых коллективах принадлежит не рабочим, а лицам, принадлежащим к категории руководителей и начальников всякого рода.

Наконец, в стране возникает гигантское число деловых коллективов, в которых рабочих либо нет совсем, либо число рабочих ничтожно мало. Причем само понятие "рабочий" применимо к ним с большой натяжкой.

Таковы, например, уборщицы, сторожа, всякого рода люди, ремонтирующие мебель и оборудование учреждений. Миллионы рабочих такого рода оказываются растворенными в массе прочего населения. Никакой особой психологии рабочих у них уже и в помине нет. Скопления больших масс рабочих в одном месте постепенно уступают место скоплениям масс людей, принадлежащих к различным социальным категориям. Распределение жилья, снабжение населения предметами быта, организация обучения детей, транспорта, медицинского обслуживания, отдыха, развлечений все это не способствует выработке особой рабочей психологии, особого рабочего самосознания. Так что в среде рабочих по самим условиям их жизни не вызревает потребность в особых объединениях, отличных от тех, какие дозволены официально.

Нелепость идеи диктатуры пролетариата в применении к реальному коммунистическому обществу была очевидна многим с первых же дней существования этого общества. Но лишь в брежневские годы ее потихоньку заместили столь же пустой и нелепой идеей общенародного государства.

ПРОБЛЕМА ПАРТИИ

Если положение с рабочим классом и диктатурой пролетариата мне казалось совершенно ясным, то с партией дело обстояло сложнее. Структура системы власти и положение в ней партийного аппарата, а также соотношение аппарата и рядовых членов партии мне еще были очень мало известны. И проблему партии я обсуждал с моими собеседниками в общем виде, причем с большой долей моральных соображений. Я выработал для себя достаточно ясное и полное понимание проблемы партии много лет спустя. Мои выводы на этот счет я изложу дальше, в разделе о системе власти коммунистического общества. А в те годы я обратил внимание на факты, очевидные даже малограмотным рабочим.

Это, например, относительное сокращение числа рабочих в партии. Членство партии оказывалось нужным прежде всего начальникам, карьеристам, партийным работникам, служащим. Высшим партийным органам приходилось прибегать к искусственным мерам, чтобы сохранить хотя бы видимость того, что их "партия" есть прежде всего партия рабочих. Рабочих всячески поощряли ко вступлению в партию, а для служащих устанавливали ограничения. Кроме того, постоянно производились "чистки" партии, в результате которых из партии исключались многочисленные жулики из всякого рода контор.

Вопрос о партии для многих из нас точно так же приобретал актуальное значение. Мы уже прекрасно понимали, что для успешного продвижения вверх по служебной лестнице нужно было вступать в партию. В десятом классе у нас произошло событие, обострившее мой интерес к этой проблеме. Два самых посредственных в учебе, но самых активных в общественной работе ученика сделали попытку вступить в партию. О них я уже упоминал: это Василий Е. и Иосиф М. Первый из них собирался работать в "органах", а второй собирался стать профессиональным

партийным работником. Им отказали, так как учеников в партию вообще не принимали. С горя Василий Е. решил повеситься. Его спасли. А Иосиф М. испугался, что его не приняли из-за каких-то грехов родственников, решил, что его "заберут" (арестуют), и заболел нервным расстройством. Из-за этого они оба остались на второй год. Историю скрыли от учеников, но слухи о ней просочились к нам. И мы довольно эмоционально обсуждали ее. Это был первый случай в моей жизни, когда я сам мог наблюдать стремление самых бездарных людей устраиваться в аппарат власти.

Поступив в МИФЛИ на философский факультет, я, естественно, должен был считаться с тем, что мне со временем придется вступить в партию. Но я уже начал вырабатывать свое понимание партии и уже начал тяготиться тем, что был комсомольцем. Оставаться в комсомоле с моими умонастроениями стало восприниматься мною как нечестность и приспособленчество. Андрей знал о моих настроениях и уговаривал меня взять себя в руки. Я соглашался с ним. У меня на самом деле не было намерения открыто выражать свои убеждения. Я понимал, что ничего, кроме неприятностей для себя, я этим не добился бы. Я чувствовал, что еще очень мало знал, чтобы высказываться публично, и собирался сначала получить профессиональное образование и лишь затем браться за исследование советского общества и пропаганду своих идей. Путь будущего революционера в рамках нового общества, путь борца против несправедливостей этого общества я для себя уже выбрал. И к нему я решил как следует подготовиться. Я решил на время затаиться и не обнаруживать для окружающих свою натуру, за исключением самых доверенных друзей.

КРИЗИС

Но не все во власти человека. Тем более для человека, не склонного поступать в силу здравого расчета. Я превысил предел физического и психического истощения. Сказались долгие годы полуголодного существования и нищеты. Сказались напряженные месяцы школьных выпускных экзаменов и вступительных экзаменов в институт. Летом мне одновременно приходилось подрабатывать, чтобы жить. Отец перестал фактически меня содержать, а у меня не было решимости просить о деньгах. Я совсем обносился. Хотя я тщательно штопал одежду сам и всячески изощрялся, чтобы выглядеть прилично, я все более приобретал вид оборванца. Меня выручало то, что я отрастил длинные волосы и лицом выглядел как одержимый вдохновением поэт или художник (хотя на самом деле тут больше делал свое дело голод).

В институте мне должны были платить стипендию. Но я успел получить ее лишь два раза. А главное – к этому времени во мне созрел душевный кризис.

Все то "еретическое", что по мелочам и постепенно накапливалось в моем сознании в течение всех прожитых лет, в особенности в годы жизни в Москве, стало суммироваться в нечто целое, проясняться и обобщаться. Два вопроса стали завладевать мною: 1) что из себя

представляет советское общество объективно и по существу, т. е. без идеологических приукрашиваний; 2) что такое я сам, каково мое принципиальное отношение к этому обществу и что я должен делать? Ответить на такие вопросы мне было не так-то просто. Фактов о советском обществе я знал уже много, но еще далеко не достаточно, чтобы делать категорические обобщения. Кроме того, знание фактов само по себе еще не есть понимание. Для понимания у меня не хватало специального образования, и я это чувствовал. Потому я и пожертвовал моими интересами к архитектуре, рисованию и математике и решил поступить на философский факультет. И в моем отношении к советскому обществу у меня не было устойчивости и определенности. С одной стороны, я был продукт советского воспитания, причем в его лучших качествах. Советское общество было моим, и ни о каком другом я не думал. Насколько я знал историю и описания жизни других стран, никакой другой тип общества не мог служить мне идеалом. Многие идеалы утопистов в моей стране осуществились, но почему-то их осуществление породило многое такое, что сводило эти идеалы на нет. Состояние, в котором я оказался, я бы назвал теперь душевным смятением.

В прошлые годы накапливались предпосылки для вопросов, породивших мое душевное смятение. Но они не вылезали на первый план, затемнялись другими заботами, теперь же я уже не мог их сдерживать и скрывать от самого себя. И я отдался в их власть. Это была власть, подобная власти алкоголя или наркотиков. О власти наркотиков я знаю из описаний. Власть алкоголя мне позднее довелось испытать на себе самом.

Разумеется, тогда я вряд ли отдавал себе отчет в причинах моего кризисного состояния. Лишь теперь, оглядываясь назад, я могу утверждать, что основная его причина заключалась в следующем. Я был одним из тех, кто всерьез воспринял идеалы коммунизма как общества всеобщего равенства, справедливости, благополучия, братства. Я слишком рано заметил, что в реальности формируется общество, мало что общего имеющее со светлыми идеалами, прививавшимися нам. Я уже не мог отречься от идеалов романтического и идеалистического коммунизма, а реальный, жестокий, трезвый, расчетливый, прозаичный, серый и лживый коммунизм вызывал у меня отвращение и протест. Это не было разочарование в идеалах коммунизма – слово "разочарование" тут не годится. Идеалы сами по себе гуманны и прекрасны. Это было предчувствие того, что идеалы неосуществимы в реальности или что их осуществление ведет к таким последствиям, которые сводят на нет все достоинства идеалов. Рухнули мои внутренние идейные и психологические опоры. Я оказался в растерянности. Я был на пути к выработке большой жизненной цели, и вот вдруг обнаружилось, что такого пути вроде бы нет.

Повторяю и подчеркиваю, что суть моей жизненной драмы состояла не в том, что я разочаровался в коммунистических идеалах. Сказать это – значит сказать нечто совершенно бессмысленное и пустое. Суть моей жизненной драмы состояла в том, что я необычайно рано понял следующее воплощение в жизнь самых лучших идеалов имеет неотвратимым следствием самую мрачную реальность. Дело не в том, что идеалы плохие или что воплощают их в жизнь плохо. Дело в том, что есть

какие-то объективные социальные законы, порождающие не предусмотренные в идеалах явления, которые становятся главной реальностью и которые вызвали мой протест. По всей вероятности, я был первым в истории коммунизма человеком коммунистического общества, который увидел источник зол коммунизма в его добродетелях. И это открытие ввергло меня в состояние отчаяния субъективно космического масштаба – в состояние отчаяния на всю будущую историю человечества. Если недостатки нашего общества порождены его достоинствами, то всякая борьба за создание идеального общественного устройства лишена смысла. Как в таком случае жить? Стать таким, как подавляющее большинство молодых людей в моем окружении, я уже не мог – это было уже не в моей власти. Да я этого и не хотел.

В этот период я вдруг осознал одно глубокое противоречие в самом себе: расхождение между теми выводами, к каким я приходил рационально, в результате изучения реальности, и теми поступками, которые я совершал в силу эмоций, в силу моральных качеств, уже ставших элементами моей личности. Я постоянно делал теоретические выводы, которым сам мог следовать практически. Я поступал наоборот. Теоретически я всегда понимал, что должен был бы делать человек на моем месте, чтобы не портить себе жизнь, а улучшать ее. А практически я поступал так, как будто имел намерение испортить себе жизнь.

У меня такого намерения не было, как не было и противоположного намерения. Мое поведение мотивировалось факторами иного рода, чем теоретическое понимание явлений жизни. Я обнаружил в себе наличие двух личностей, одна – беспристрастный, беспощадно объективный исследователь; другая – страстный правдоборец, переживающий все несправедливости мира как свои собственные и страдающий из-за этого. Эти две личности потом боролись во мне всю жизнь. Они влияли друг на друга, придавая моей академической деятельности морально-подвижнический характер, а моей морально-подвижнической жизни – характер научно-исследовательский.

В период моего первого душевного кризиса 1939 года я разумом четко сформулировал для себя основную линию жизни: познание, познание и еще раз познание. А нравственные эмоции толкнули меня на путь иррациональных, может быть, даже безумных действий.

ИДЕЯ ТЕРРОРИЗМА

В состоянии отчаяния я ухватился за спасительную, как мне казалось, идею индивидуального террора. Намерение совершить покушение на Сталина овладело моими мыслями и чувствами. Возможности для этого у меня были ничтожными. Но я был человеком сталинской эпохи – эпохи неслыханных контрастов между идеалами и действительностью, между намерениями и результатами, между возможностями и обещаниями. Чем более жалким было мое положение и чем ничтожнее были мои возможности, тем грандиознее становились мои претензии и намерения. Тогда мне казалось, что покушение на Сталина было бы не просто

покушением на партийного работника пусть высшего ранга, но оно было бы покушением на символ целой эпохи, на бога новой религии, на творца нового земного рая. Одним ударом я мог бы сделать такой вклад в историю человечества, какой был бы сопоставим с кровопролитной борьбой революционеров многих будущих поколений. Одна эта акция заместила бы результаты десятков лет научных исследований. Я при этом вовсе не рассчитывал на то, что ситуация в стране изменится к лучшему. Я вообще на положение в стране смотрел как на природное явление, неподвластное воле людей. Революция была самым грандиозным в истории человечества преобразованием общества. А результат ее все равно оказался весьма далеким от наилучших намерений наилучших людей. Я думал лишь о том, чтобы заявить о моем отношении к советской реальности самым ярким и громким способом. Для меня главным было (и остается до сих пор) не реформирование реальности, а самое глубокое, полное и объективное познание ее и выражение своего морального отношения к ней. В скорый и непосредственный эффект реформ я никогда не верил. Никакие реформы не могли привести к состоянию, которое удовлетворило бы меня. Мне казалось, что я достаточно хорошо понял реальность, чтобы увидеть в ней надвигающееся новое "средневековье", и мне стало страшно от такой перспективы.

Рациональный выход из этого состояния был бы противоестественным, иррациональным в гораздо большей мере, чем преднамеренно иррациональный поступок. Мировому безумию могло противостоять лишь индивидуальное безумие, так думал я тогда.

Идеями индивидуального террора я интересовался и ранее. Я восторгался мужеством Халтурина, Желябова, Перовской, Каракозова и других народовольцев, а также Александра Ульянова. Каким-то образом мне удалось прочитать речь последнего на суде, и я полностью согласился с ним. Я перенес лишь эти идеи на современную мне ситуацию. Не Владимир Ульянов (Ленин), а именно Александр Ульянов был одним из героев моей юности. Должен сознаться, что я и теперь симпатизирую этим людям. Следы моего интереса к ним читатель может найти в моих книгах, в особенности в книге "Желтый дом". Этот интерес не имел никаких практических целей. Меня просто тянуло к этим людям. Я не раз ловил себя на том, что был бы с ними, если бы жил в то время. Что касается Ленина, то я его никогда не отделял от Сталина и никогда не питал к нему возвышенных чувств. Я считал и до сих пор считаю его великим историческим деятелем, может быть, самым крупным в XX веке. Но не более того.

Сейчас, конечно, невозможно восстановить, в каких конкретно формах выражались тогда мои чувства, мысли и планы. То, что я пишу, есть взгляд человека, уже пережившего душевный кризис, а не взгляд этого человека в состоянии кризиса. Различие тут такое же, как различие между переживаниями в состоянии тяжелой болезни или смертельного сражения и переживаниями после болезни или после сражения. И все-таки я стараюсь быть максимально близким к переживаниям Зиновьева того периода. Эту реконструкцию мне облегчает то обстоятельство, что тот кризис не был преодолен совсем. В ослабленной и заглушенной форме он навечно остался со мною.

Приведу одну деталь моих умонастроений, которую я запомнил более или менее отчетливо. Я не мог уснуть и ушел пешком в Лефортовский парк (кажется, он тогда назывался парком Московского военного округа), который я очень любил. Ночью при луне парк выглядел как декорации к античной или шекспировской трагедии. Я сам был в состоянии предельного отчаяния и обреченности. Естественно, я обдумывал свое положение как участник и главный герой воображаемой трагедии. Меня мучил не вопрос, быть или не быть, а вопрос, кем быть – богом или червяком? Червяком я быть не хотел и не мог. А стать богом в нашей трясине подлости и пошлости можно было, как я думал, лишь одним путем: разрушить божество и религию нашей житейской трясины.

СМУТНЫЕ ЗАМЫСЛЫ

Само собой разумеется, я разговаривал с Борисом и Иной, а потом и с Андреем о терроризме. Андрей мою склонность не одобрил и категорически отверг такое для себя. Суть моей позиции сводилась, коротко говоря, к следующему. С моральной точки зрения можно осуждать любые формы терроризма, т. е. терроризм вообще. Но с исторической точки зрения ошибочно говорить о терроризме вообще, сваливая тем самым в одну кучу разнородные явления. У нас вполне официально почитаются в качестве героев многие лица, готовившие и совершившие покушения на царей и царских чиновников. Когда большевики отвергали индивидуальный террор, они отвергали его не из моральных, а из политических соображений, т. е. как неэффективное средство свержения самодержавия и захвата власти.

Без героев "Народной воли" в России широкое революционное движение было бы вообще невозможно. История в некотором роде повторяется. Мы оказались в самом начале нового цикла социальной борьбы. В наших условиях терроризм снизу имеет значение не сам по себе, а как символ чего-то иного. Терроризм у нас выражает протест против тяжелой жизни в стране. Террор снизу с этой точки зрения подобен стихийным бунтам на заводах из-за снижения зарплаты и трудностей с продовольствием. Это сигнал во все слои общества о реальном положении в стране и о нежелании дольше мириться с этим. А главное – в нашем коммунистическом обществе власть сама регулярно осуществляет террор сверху в отношении населения. Так почему бы на террор сверху не ответить в порядке самозащиты террором снизу?

К тому же в наших условиях террор есть прежде всего и в конечном итоге самопожертвование. Если ты действуешь бескорыстно, если ты имеешь благородную цель служения людям, если ты при этом жертвуешь своей жизнью, то ты имеешь полное право судить лицо или учреждение, являющееся персонификацией зла, право выносить приговор и приводить его в исполнение. В таком случае место принципов морали занимают принципы долга.

Не думайте, что я приписываю свои сегодняшние мысли мальчишкам и девчонкам конца тридцатых годов. Во-первых, сегодня у меня таких мыслей уже нет – я стал для них слишком благоразумен. А во-вторых,

загляните в книги прошлого, и вы там все эти мысли найдете. Мы много читали. Мы не были первооткрывателями. Мы лишь сделали одно открытие для себя: в коммунистическом обществе, как и в прошлых обществах, возникают свои причины для протеста, бунта, борьбы. И не думайте, будто у нас были какие-то преступные наклонности. Халтурин, Желябов, Фигнер, Каракозов, Засулич, Перовская, Ульянов и другие народовольцы были высоконравственными личностями. И все же они пошли на преступление.

Мы обсуждали различные "технические" возможности покушения. Наиболее вероятным нам представлялся такой вариант.

Я с Иной присоединяюсь к колонне, в которой на демонстрацию пойдет училище Бориса, или мы с Борисом присоединяемся к колонне, в которой пойдет школа Ины. Тогда это было возможно сделать. При прохождении мимо Мавзолея мы создаем суматоху, я с пистолетом и гранатами пробиваюсь к Мавзолею, бросаю гранаты в вождей и стреляю в Сталина. Ина и Борис разбрасывают листовки, которые мы должны написать от руки заранее. В листовках мы объясняем причины и цель покушения: привлечь внимание к тому, что советское общество складывается по принципам, ничего общего не имеющим с идеалами коммунизма. Если даже покушение не удастся, мы на суде объясним свое поведение. Мы решили начать готовиться к покушению. Надо было где-то достать пистолет и гранаты. Надо было научиться стрелять и обращаться с гранатами. А лучше было бы вообще изготовить бомбу с большей разрушительной силой, чем гранаты. Была даже идея начинить меня взрывчатыми веществами, чтобы я мог наверняка взорваться около Мавзолея в случае, если бы мне не удалось выстрелить в Сталина. Я был готов пойти на это без всяких колебаний. Эти минуты гибели были бы для меня величайшим триумфом жизни. Прошло почти пятьдесят лет с тех пор. Если бы было возможно такое чудо – переиграть жизнь, и мне было бы предложено выбирать – совершить покушение на Сталина или прожить ту жизнь, какую я прожил, я бы и сейчас выбрал первое. Пусть мое покушение оказалось бы неудачным. Для меня само сознание того, что я пошел на него, было бы достаточно. Это более соответствовало бы тем масштабам моих жизненных претензий, которые Судьба вложила в меня изначально. Героем моей юности был Демон, восстающий против Бога. В моем случае роль бунтаря Демона была оправдана морально, ибо реальный Бог был черен, грязен, жесток, зол.

В наших замыслах было много наивного, детского. Во-первых, наш расчет на суд, на котором можно было бы высказать мотивы и цели нашего поведения, в сталинские годы был бессмыслен. Такой суд тогда был абсолютно невозможен. Во-вторых, негде было достать оружие. И все же замысел не был абсолютно безумным. Если вы посмотрите, какими были покушения до революции и кто их совершал, вы увидите, что почти все они были детски наивными и примитивными. Я вообще убежден в том, что на такие поступки способны лишь одержимые идеей молодые люди. Я не хочу тем самым найти какие-то оправдания моим умонастроениям тех лет. Но я их и не осуждаю.

КОНЕЦ ЛЮБВИ

Отца Ины перевели на работу в какой-то отдаленный район страны. В конце сентября они уехали из Москвы. Ина навсегда исчезла из моей жизни. Это усилило мое и без того тяжелое душевное состояние. Я потерял способность спать. Ночами я бродил по пустынным московским улицам, ходил к дому, где когда-то жила Ина, и часами ждал чуда: вдруг она появится. Борис был занят и не мог уделять мне столько внимания, как раньше. Идея покушения на Сталина, казалось, заглохла.

ЗАГОВОР

Еще за год до этого я случайно познакомился с одним любопытным парнем. Звали его Алексеем. Где он жил и чем занимался, я не знал. Он был значительно старше меня. В Москве он жил временно, в гостях у родственников. Мы "прощупали" друг друга. Я приоткрыл ему свои взгляды. Он признался, что ненавидит Сталина. О покушении на Сталина речи тогда не было. Мы встречались с ним несколько раз. Он бывал у меня дома. Потом он на какое-то время исчез. В конце сентября он вдруг появился у меня дома. Сказал, что решил насовсем переселиться в Москву, что у него есть замысел эпохального значения, что для реализации его он хочет поступить работать на какой-нибудь завод на любую должность. Пару ночей он переночевал у нас на полу на кухне. Соседей по квартире это не удивило – к нам часто приезжали знакомые из деревни и ночевали на полу в комнате или на кухне. Несколько раз Алексей переночевал у Бориса в сарае. Потом он где-то "зацепился" сам.

Алексей был начитанным парнем, хорошо говорил и имел тот же "поворот мозгов", что и я. Смутно припоминаю идеи одного из таких разговоров. В человеческой истории постоянно происходит так. Люди стремятся к чему-то и борются за это. Но результат их деятельности мало общего имеет с тем, к чему они стремились. Кроме того, в результате реализации их идеалов появляется нечто непредвиденное, что не соответствует желаниям этих людей. Результатами их деятельности пользуются новые поколения, для которых это исходная предпосылка, данность. Они равнодушны к прошлым жертвам. А чаще всего результатами усилий людей пользуются их наиболее ловкие сограждане. Сколько замечательных людей пожертвовали жизнью ради счастья будущих поколений?! А кто воспользовался плодами их жертвы?! Такая же участь уготована и нам. Мы будем сражаться против нынешних несправедливостей, а плодами нашей борьбы воспользуются будущие проходимцы. Но означает ли это, что борьба не имеет смысла? Ни в коем случае. Сама борьба как образ жизни стоит того, чтобы избрать этот путь. Сама возможность пожертвовать жизнь ради каких-то идеалов уже есть высшая награда за жертву.

Во время одного из разговоров речь зашла о покушении на Ленина. Я выдвинул моральную проблему: можно ли убивать вождей, игнорируя тот факт, что они тоже люди? Алексей категорически заявил: проблема не в том, можно ли убивать вождей, а в том, возможно ли это практически.

Никакой моральной проблемы тут вообще нет. Все поведение вождей выходит за рамки морали, так почему же мы должны относиться к ним с моральной позиции?! После этого стена сомнений и опасений была сломана, и мы стали обсуждать чисто "технический" аспект проблемы: как осуществить покушение на Сталина.

Мы приняли демонстрационный вариант. Я с Алексеем присоединяемся к училищу Бориса. Это лучше, чем присоединиться к колонне МИФЛИ, так как в училище не такой строгий контроль, мы можем сойти за студентов-художников или натурщиков. Борис обещал устроить нас подрабатывать натурщиками, чтобы "примелькаться" в училище и сойти за своих. Кроме того, колонна училища будет проходить ближе к Мавзолею. На Бориса мы возложили обязанность разбрасывать листовки и потом объяснять наши мотивы на суде, если таковой будет. Мы же с Алексеем решили пробиваться к Мавзолею, стрелять в Сталина и других и бросать гранаты. Живыми решили не сдаваться. Покушение запланировали на 7 Ноября 1939 года. Но в связи с трудностями с оружием перенесли на 1 Мая 1940 года.

Прошло почти пятьдесят лет с тех пор. Вспоминая сейчас наш заговор, я спрашиваю себя, осуществили бы мы его или нет, если не случилось бы событие, о котором я расскажу дальше. Сейчас у меня возникло сомнение насчет положительного ответа. В наших настроениях не хватало все-таки той решимости, какая была у народовольцев. Мы подражали им, но мы все-таки чувствовали разницу в нашем положении. Народовольцы появились тогда, когда Россия уже покатила в направлении революции, а мы появились уже после революции, которую готовили они. Они имели моральную поддержку мыслящего русского общества. Мы за собой не чувствовали никакой опоры. И все-таки я допускаю возможность попытки осуществления нашего замысла. Мы пошли бы на это хотя бы потому, чтобы не выглядеть в глазах друг друга трусами и предателями. Из нашей попытки наверняка получилось бы что-нибудь очень примитивное и уродливое. Ее пресекли бы в самом начале, а нас просто уничтожили бы без всяких сенсаций. Это было бы самоубийство безумцев.

ПЕРВАЯ ПРОВОКАЦИЯ

В начале октября было открытое партийно-комсомольское собрание курса. Почему-то речь зашла о положении в колхозах. Студенты из моей группы знали, что моя мать – колхозница и что я сам каждое лето работал в колхозе. Они знали кое-что и о моих умонастроениях: утаить их было невозможно. Они спровоцировали меня на выступление. В конце собрания, когда председатель уже собрался объявить его закрытым, староста нашей группы выкрикнул, что я якобы хотел бы выступить. Мне дали слово, которое я сам не просил. Не понимаю, почему я не отказался, я вообще не любил выступать на собраниях. Я поднялся на трибуну и стал рассказывать о том, что происходило в нашем колхозе имени Буденного и в соседних колхозах района. Говорил о бесхозяйственности, о том, что мужики пьянствуют, воруют и арестовываются, что на трудодни почти ничего не дают, что люди бегут

из деревень при всякой возможности, что оставшиеся живут впроголодь... Мое выступление было выслушано в мертвой, гнетущей тишине. Эта тишина продолжалась еще некоторое время после того, как я покинул трибуну. Я сел в самом заднем ряду. На меня никто не смотрел. А я почувствовал облегчение. В этот момент я забыл о великом замысле убить Сталина. Этот замысел был проблематичен, а тут был вполне реальный бунт. Как говорится, лучше синица в руке, чем журавль в небе. Мне подбросили в руки синицу, я схватил ее, забыв про журавля. Я потом много думал на эту тему, но так и не нашел ни оправдания своему поступку, ни порицания. Но я тогда понимал, что сделал решающий шаг в своей жизни, определивший всю мою последующую судьбу. Пусть я сделал этот шаг вопреки своему желанию. Пусть меня спровоцировали на него. Но я все-таки сделал его. Я его сделал так же, как когда-то мальчишкой нырял на "слабо" в воду, еще не освободившуюся ото льда. Только теперь я нырнул во враждебный мне океан без малейшей надежды вынырнуть из него живым. Но я все-таки нырнул. Я поступил так, как это соответствовало моей уже сложившейся личности. Я был горд, что пошел против общего течения. Для меня это мое коротенькое выступление психологически означало восстание космического масштаба. Это было восстание против всего и против всех. Я чувствовал себя как мой любимый литературный герой лермонтовский Демон, восставший против всего Мироздания и против самого Бога. Если бы меня в тот момент приговорили к смертной казни, я принял бы ее как высшую награду. Это был иррациональный и неподконтрольный поступок, произвольный срыв. Но, произойдя, он сделал рациональным, произвольным и контролируемым все мое последующее духовное развитие.

Что начало твориться в зале через несколько секунд, об этом я и сейчас не могу вспомнить без содрогания. Начался буквально рев гнева и возмущения. Председатель с трудом навел порядок.

Произошло чрезвычайное происшествие, и коллектив должен был прореагировать на него должным образом. Собрание затянулось чуть ли не до полуночи. Мое выступление заклеили как "вражескую вылазку". Были приняты какие-то резолюции. Не дожидаясь конца, я потихоньку ушел. Домой шел пешком. Шел дождь со снегом. Дул ледяной ветер. Я промок. Но мне не было холодно. Я шел как в бреду. Мыслей почти не было. Было одно растянутое во времени, окаменевшее или оледеневшее подсознание какой-то огромной и непоправимой катастрофы. Лишь настойчивый внутренний голос твердил и твердил одно слово: "Иди!"

Андрей в эти дни почему-то на занятия не ходил. Кажется, он болел. Если бы он присутствовал на собрании, он наверняка удержал бы меня от выступления. Не знаю, стоит сожалеть о том, что его не было, или нет. Не исключено, что, воздержавшись от срыва, я благополучно окончил бы факультет, втянулся бы в учебу и научную работу, рано защитил бы диссертации и стал бы благополучным и преуспевающим профессором вроде Копнина, Горского и Нарского. Но думаю все-таки, что такой вариант жизни для меня был маловероятен. Если бы я не сорвался в этот раз, то сорвался бы в другой. В моей судьбе я с детства подозревал и чувствовал некую предопределенность.

СЛЕДСТВИЯ СРЫВА

На другой день после злополучного собрания я не пошел на занятия. За мной прислали курьера с вызовом в ректорат института. В институт я пошел пешком. Ректор Карпова поговорила со мной минут пять. После этого мне дали направление в психиатрическую больницу. Больница носила почему-то имя Кагановича. Находилась она, если мне не изменяет память, в одном из переулков в районе улицы Кирова. Уже после войны я пытался найти ее, но не нашел. Не исключено, что ее перевели куда-то в другое место, а в здании разместили школу или, скорее всего, Институт международного рабочего движения (ИМРД). В письме, которое мне дали в моем институте, была написана просьба ректора Карповой обследовать меня, так как, по ее мнению, со мной было "что-то не в порядке". Об этом мне сказал врач. В больнице меня осмотрели в течение получаса. Написали заключение. Врач, осмотревший меня и подписавший заключение, показал мне его. В нем было написано, что я психически здоров, но очень сильно истощен и нуждаюсь в годичном освобождении от учебы. Затем врач заклеил конверт, дал мне его, спросил, есть ли у меня возможность на год оторваться от интеллектуальной деятельности, и посоветовал уехать в деревню немедленно. Я отнес заключение врача в институт. Там уже задумали мое персональное дело по комсомольской линии и велели мне зайти в деканат факультета. Но мне уже все было безразлично. Я ушел домой и в институте больше никогда не появлялся.

На следующий день ко мне пришли декан факультета Хосчачих, секретарь партийного бюро Сидоров и секретарь комсомольского бюро (не помню его имени). Мы имели длинный и очень серьезный разговор, во время которого я высказал многое такое, что у меня накопилось на душе. Уходя, они сказали мне, что за такое поведение я буду исключен из комсомола и из института, причем без права поступления в высшие учебные заведения вообще. После войны я узнал, что это было сделано на самом деле.

ВТОРАЯ ПРОВОКАЦИЯ

В тот же день ко мне зашел бывший школьный друг Проре и пригласил к нему на вечеринку. Нечто подобное я ожидал. Я уже научился понимать характер людей того времени. На вечеринку пришла комсорг ЦК ВЛКСМ Тамара Г. и бывшие мои соученики Василий Е. и Иосиф М., которых я уже упоминал. Эта вечеринка была устроена с целью спровоцировать меня на откровенный разговор – выяснить мои умонастроения. И я это знал заранее. И сознательно шел навстречу их пожеланиям. Не знаю, как они так быстро узнали о моем институтском скандале.

Со всеми упомянутыми людьми у меня были самые дружеские отношения. Я их не упрекаю ни в чем. И после того, что затем случилось, у меня не появилось никаких отрицательных эмоций в отношении к ним. Они поступали так вовсе не потому, что хотели мне зла. Они хотели мне

добра. Они хотели мне помочь выбраться из беды. Они действовали как хорошие, но как советские люди. Ведь и в средние века люди, сжигавшие на кострах еретиков, действовали из лучших побуждений.

Как выяснилось позднее, инициатором провокации был Василий Е. Он был очень средним учеником и не обладал никакими талантами. К тому же был маленького роста. В школьном драматическом кружке он сыграл роль Самозванца в драме Пушкина "Борис Годунов". Затем кружок поставил пьесу советского автора на тему о западных шпионах в Советском Союзе ("Ошибка инженера Кочина"). Вася играл в ней роль капитана органов государственной безопасности. В эту роль он настолько вошел, что и в жизни стал вести себя как "чекист". Мы его стали звать Чекистом. Он этой кличкой очень гордился. Кстати сказать, Проре играл в пьесе роль человека, который донес на шпиона.

Намерение кого-нибудь разоблачить как "врага народа" в жизни, а не только на сцене, завладело мыслями и чувствами серенького и невзрачного Васи. Он не раз придирался ко мне и к Борису даже на уроках, усматривая в наших шуточных репликах контрреволюционные идеи. А тут вдруг представился такой неповторимый случай. На ловца, как говорится, и зверь идет.

В октябре 1939 года он стал секретарем комитета комсомола школы. Как мне тридцать лет спустя рассказала Тамара Г., после провокации в отношении меня Васю приняли в партию. После школы он поступил в училище "органов". К концу войны стал капитаном. Погиб в 1945 году.

На вечеринке у Проры начались провокационные разговоры на самые злободневные темы. Вася склонял меня к тому, чтобы я сказал что-либо одобрительное по поводу разоблаченных "врагов народа" Каменева, Зиновьева, Бухарина и прочих. Плоско острил по поводу моей фамилии: мол, не родственник ли я того расстрелянного Зиновьева? Но меня "враги народа" и упомянутые лица вообще не интересовали. Я говорил о том, что волновало меня, а именно о несоответствии реальности идеалам коммунизма. Началась острая перепалка. Я вышел за рамки разговора, который мне казался совсем не криминальным. Стали спорить об отношении человека к власти, об отношении коллектива и индивида. Наконец заговорили о культе личности Сталина. Меня обвинили в индивидуализме и даже анархизме. О моем увлечении литературой об анархистах и народовольцах в школе знали. Я в шутку заявил, что считаю себя неанархистом. Но провокаторам было не до шуток. В конце я вскипел и заявил, что отвергаю культ личности Сталина, считая его отступлением все от тех же идеалов коммунизма.

В том, что донос будет написан, я не сомневался. Я даже смутно хотел, чтобы это случилось. Я предвидел последствия и не уклонялся от них. Они мне казались единственным выходом из кризиса, в каком я оказался.

Донос был, конечно, написан и дал знать о себе молниеносно быстро. По всей вероятности, он был написан в тот же вечер, после того как я ушел от Проры.

АРЕСТ

Через день под вечер к нам в подвал спустился молодой человек. Сказал, что хочет повидать меня. Я его голос услышал, когда он еще был на кухне, и догадался, что это за мной. Я надел пальто, взял почему-то паспорт, сам вышел на кухню, сказал этому человеку, что я готов, и мы пошли пешком на Лубянку. Всю дорогу мы молчали. При входе в здание у меня отобрали паспорт. Меня провели в кабинет номер 521. Там сидел мужчина средних лет, одетый в военную форму, но без знаков различия. Он предложил мне снять пальто и сесть – разговор предстоял долгий. На столе перед ним я увидел донос, написанный на листках из школьной тетради. Я узнал почерк Проры, прямые, четкие, большие буквы. Очевидно, он редактировал текст, он был одним из лучших учеников школы по русскому языку и литературе. Его литературные способности пригодились. Увидел я и подписи: Тамара Г., Василий Е., Проре Г. и Иосиф М. Когда мы беседовали, письмо лежало перед мужчиной, так что я мог прочитать его полностью. В письме говорилось, что они – мои друзья, что они обеспокоены настроениями, которые у меня стали замечаться в последнее время, в частности тем, что я себя объявил неоанархистом и выступил против культа личности товарища Сталина, что я всегда был хорошим комсомольцем, учеником и товарищем, что я подпал под чье-то вредное влияние. Подписавшие письмо просили органы государственной безопасности разоблачить тех, кто скрывался за моей спиной и толкал меня на преступный путь, и помочь мне вернуться в ряды честных строителей нового общества.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Через тридцать лет после той вечеринки я встретился с Тамарой Г. Она одна из подписавших донос осталась в живых. Иосиф М. погиб рядовым солдатом в самом начале войны. Проре Г. в 1941 году ушел добровольно в армию, стал политруком роты и погиб уже в 1945 году. В конце 1941 года я его встретил на пару часов, когда был проездом в Москве. О том провокационном вечере не было сказано ни слова. Может быть, он думал, что мне не было известно о доносе. Тамара Г. в 1969 году была уже старой женщиной, а я был преуспевающим ученым с мировой известностью. Она рассказала мне подробности о той истории 1939 года. Теперь это можно было сделать, страшная сталинская эпоха ушла в прошлое. Тамара сказала, что все эти годы ее мучила совесть из-за того доноса, что это был в ее жизни единственный бесчестный поступок. Возможно, это действительно было так. Но ведь от людей не требуется каждый день совершать подлости, чтобы быть подлецами. Сущность человека проявляется в немногих, но характеристичных поступках.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ЛУБЯНКЕ

После первого разговора со следователем меня отвели в маленькую комнату, как я догадался – в одиночную камеру внутренней Лубянской тюрьмы. Меня обыскали, отобрали все, что было в карманах. Но одежду оставили. Впоследствии я читал описания Лубянки и процедуры заключения в нее, например А. Солженицына в романе "В круге первом". Со мной ничего подобного не было. Окно в камере было зарешечено и закрыто деревянным щитом ("намордником"), и я не знаю, куда оно выходило. В камере была койка, тумбочка, столик, стул. Был маленький туалет, а не параша. Висело полотенце, было мыло. На койке был матрац, одеяло, подушка. На столике была настольная лампа. Лежало несколько книг. Я их так и не посмотрел, не до этого было. Я прожил в этой камере несколько дней, сколько именно, сейчас не помню, возможно, целую неделю. Я здесь впервые в жизни имел отдельную кровать. Кормили три раза в день, причем сравнительно неплохо, как казалось тогда мне. Моя камера и условия заключения были явно необычные. Ничего подобного я не встречал ни в каких воспоминаниях. Когда я рассказывал об этом, мне не верили. Во время следующей беседы мой следователь сказал, что я – не заключенный, что наши беседы – не допрос, а дружеские беседы, что меня держат тут исключительно из соображений удобства. Кроме того, "им" известны мои плохие бытовые условия, и "они" решили устроить мне своего рода "дом отдыха". Но это, разумеется, с надеждой на то, что я буду с "ними" полностью откровенен.

За время пребывания на Лубянке я имел три беседы со следователем. И разговаривал с ним с полной откровенностью. Мои речи его поразили. Он сказал мне, что до сих пор ни от кого ничего подобного не слышал. Во время этих бесед я импровизировал, выдумывал всякие теории, уяснял самому себе и систематизировал то, что накопилось в моем сознании. Это уже стало моим методом познания – понимать путем разъяснения другим. Я уже натренировался в этом в разговорах в школе, в прогулках по проспекту Мира, на лестничных площадках, в читальнях, в дружеских компаниях. И до сих пор я интенсивно пользуюсь этим методом. Но следователь не знал этого. Он был убежден в том, что я свои идеи заимствовал у кого-то другого, что этот другой (или другие) научил меня всему этому.

Времени у меня было достаточно. Делать было нечего. Ни на какие прогулки меня не водили. Я был в полном одиночестве. И мне не оставалось ничего другого, как размышлять. Я за эти несколько дней сформулировал для себя основные принципы своего мировоззрения, которых придерживаюсь до сих пор. Вот некоторые из них. Никакого идеального общества всеобщего благоденствия, равенства и справедливости никогда не было, нет и никогда не будет. Такое общество в принципе невозможно. Полный коммунизм, обещаемый марксизмом, есть утопическая сказка. Коммунизм устраняет одни формы неравенства, несправедливости и эксплуатации, но порождает новые. И при коммунизме есть и будут бедные и богатые, эксплуатируемые и эксплуататоры. И при коммунизме неизбежна борьба между людьми, группами людей, слоями и классами. При коммунизме начинается новый

цикл истории со всеми теми явлениями, которые уже имели место в прошлом.

И при коммунизме есть такие язвы, против которых можно и нужно бороться таким исключительным личностям, к каким я причислял себя. Моя жизнь, если она не оборвется в ближайшее время, будет теперь посвящена одной всепоглощающей цели – познанию коммунистического общества, разоблачению его сущности и пропаганде моих идей. И начинать эту деятельность надо с критики Сталина, который олицетворяет коммунистическое общество и в котором, как в фокусе, сконцентрированы все важнейшие проблемы современности. После смерти Сталина последний пункт моего мировоззрения, конечно, отпал.

Мое мировоззрение того времени не сводилось к сказанному. Оно уже тогда охватило все основные аспекты жизни индивида такого типа, как я, в советском обществе. В дальнейшем я более подробно сформулирую его уже в развитой форме, какую оно приняло в послевоенные годы.

Все эти мысли я изложил моему следователю. Они привели его в замешательство. До сих пор он имел дело с людьми, которые были вполне лояльными советской идеологии, власти и социальному строю, или с людьми, которые отвергали новый строй с позиций прошлого. А тут ему пришлось столкнуться с человеком, выросшим уже в коммунистическом обществе, воспитанным в духе лучших идей коммунизма, но обратившим эти идеи на самое новое общество. Я видел, что следователю было не по себе, у него не было никаких аргументов против меня, кроме марксистских цитат и угроз.

Должен признать, что кое-что важное я узнал от следователя. Так, он объяснил мне, что такое власть народа в реальности, для чего нужно понятие "враг народа", для чего нужны репрессии и многое другое. Он это объяснял на уровне циничной откровенности, возвышаясь, не ведая того, на уровень теоретических обобщений. Когда речь зашла о репрессиях, он произнес фразу, которую я запомнил на всю жизнь: "После того как будут репрессированы все, кого следует репрессировать, репрессии будут отменены".

ОТЧАЯНИЕ

На меня накатилась новая волна отчаяния. Я восстал против мощнейшей тенденции современности. А вылилось мое космическое восстание в ничтожное выступление на ничтожном собрании, к тому же спровоцированное ничтожествами. И сюда я попал не по воле богов, а по воле доносчиков и провокаторов. Никакой античной трагедии. Болото. Трясина. Помойка. В них не может быть ураганов, титанов и богов. Черви. Гнилостные бактерии. Я сделал грубую ошибку, что поддался на провокацию. Лишь покушение на Сталина могло быть сомасштабным моему восстанию. Надо во что бы то ни стало выжить. Надо придумать что-то такое, что превзойдет даже покушение на символ грядущей эпохи.

В таком полубезумном состоянии я сочинил рассказ о мальчике, собиравшемся убить Сталина. Мальчик был арестован по доносу провокатора. О нем доложили самому Сталину. Тот решил навестить преступника в тюрьме, чтобы узнать мотивы его поведения. Сталин был обеспокоен тем, что покушавшийся был несовершеннолетним мальчиком, не имевшим никаких связей с привычными "врагами народа" и политическими конкурентами. Сталин знал, что будущее принадлежит молодежи. Случай с этим мальчиком взволновал его как симптом неприятностей с памятью о нем в будущем. Целую ночь Сталин разговаривал с мальчиком. Он рассказал мальчику о положении в стране после революции, о ситуации в гигантской системе власти и управления, о реальных качествах людей. Он предложил мальчику стать на его место и спросил его, что бы он стал делать в такого рода ситуациях, в каких оказывался Сталин. Мальчик в конце концов признал, что ради спасения страны он действовал бы так же. И тогда Сталин приказал расстрелять мальчика, хотя тот и был несовершеннолетним.

В этом рассказе я вовсе не собирался реабилитировать Сталина. В рассказе Сталин не понял мальчика – последний был для него пришельцем из другой эпохи, из иного измерения бытия. Но зато мальчик понял Сталина, посмотрев на него с исторической точки зрения. Понял, но не оправдал. И Сталин в моем рассказе поступил с мальчиком жестоко, причем как носитель исторической жестокости.

Этот рассказ я никогда не записывал на бумаге, но помнил всегда. Я неоднократно к нему возвращался, придумывал новые варианты. Может быть, когда-нибудь я включу его в какую-либо из моих книг. Уже после хрущевского доклада о Сталине у нас в Институте философии появился человек по фамилии Романов (если мне не изменяет память). Оказалось, что мы вместе с ним поступали в МИФЛИ. Он помнил о моем скандале в октябре 1939 года.

Он сам был арестован в том же году, но без всякого скандала. Его просто изъяли потихоньку. Он был осужден на двадцать пять лет лагерей строгого режима. В лагерях провел он восемнадцать лет. Одним из пунктов его обвинения была подготовка покушения на Сталина. Каковы были его мотивы, я не помню (если он вообще об этом рассказывал). Так что я не был единственным в своем роде. Идея покушения на тирана есть вполне естественная реакция какой-то части молодежи на тиранию. Хотя этот Романов был освобожден из заключения и судимость с него была снята, он не был вознагражден как герой. Он с большим трудом защитил кандидатскую диссертацию. Я принимал какое-то участие в его защите. Не знаю, как сложилась его дальнейшая судьба. Об идее покушения на Сталина он упомянул мельком и, как мне показалось, скорее как об необоснованном обвинении. Странно, что и я никогда не придавал значения своему намерению. Вот и сейчас, написав об этом, я сделал это лишь с целью описать мое состояние в тот период, а не с целью заслужить похвалу. Я тогда впал в такое отчаяние, что готов был пойти на убийство Сталина, хотя разумом не принимал терроризм как форму борьбы. В аналогичном положении оказался Александр Ульянов. Терроризм в наше время принял такие формы, что отрицательное отношение к нему оказало свое влияние и на оценку прошлого. Я уверен в том, что мое террористическое прошлое

(пусть мимолетное) не будет действовать в мою пользу.

ИДЕЯ МЕСТИ

В те годы в моем сознании занимала место также идея мести. Я по натуре человек не мстительный – у русских вообще чувство мстительности развито слабо. Идея мести и чувство мести – это не одно и то же.

Идея мести – часть идеологии отчаяния, как и идея индивидуального террора. Тогда же я сочинил стихотворение о мести:

Отчаиваться не надо.

Выход все-таки есть.

На свете полно гадов.

А средство от них – месть.

Добровольно сдаваться не надо.

Вспомни мужскую честь!

Сто раз повторяй кряду:

Мечь!

Мечь!

Мечь!

Никогда сдаваться не надо.

Всегда оружие есть.

Любая падет преграда,

Когда закипает месть.

С жизнью сквитаться надо.

Советую всем учесть:

Пусть гада ждет не пощада,

А месть,

Мечь,

Мечь!

ЧТО Я ЕСТЬ

А главное, о чем я думал в эти дни на Лубянке, – что я такое есть сам и каковы мои жизненные претензии. И вот что я тогда надумал. Жизненная драма человека может колебаться в диапазоне между пошлой комедией и исторической трагедией в зависимости от того, как человек ощущает себя потенциально. Если человек ощущает себя потенциальным Наполеоном, он будет переживать свою жизненную ситуацию на одном уровне. А если он ощущает себя опустившимся бродягой, он ту же жизненную ситуацию будет переживать совсем иначе. Как я ощущал себя как потенциальную личность? Я обнаружил в себе множество потенциальных личностей – Кампанеллу, Мора, Фурье, Оуэна, Прудона, Галилея, Бруно, Спартака, Разина, Пугачева, Каракозова, Александра Ульянова, Бакунина, Уленшпигеля, Дон-Кихота, Гуинплена, Овода, Пестеля, Печорина, Лермонтова, Глана, Щедрина, Свифта, Демона, Сервантеса и многие другие реальные и выдуманные личности. Все они удивительным образом сконцентрировались в моем сознании в единую потенциальную личность. Для нее не имели значения никакие реальные жизненные блага. Я поклялся себе в том, что в случае, если останусь жив, пойду до конца жизни тем путем, на который уже встал, – путем создания своего собственного внутреннего мира и собственного образца человека. "Это и будет, – сказал я себе, – мой протест против всей мерзости бытия, мой бунт против порочной Вселенной и мрачного Бога".

ПОБЕГ

После последней беседы следователь сказал мне, что у меня "мозги набекрень", что я "наш человек", но что я "подпал под чье-то дурное влияние", что я буду освобожден, но некоторое время мне придется пожить на особой квартире в обществе двух сотрудников "органов". Моя задача, как сказал он, заключалась в том, чтобы познакомить моих спутников со всеми моими знакомыми. Причем я должен был вести себя так, как будто они мои друзья. Мне было ясно, что это было вовсе не освобождение, а лишь временная видимость такового с целью разыскать моих мнимых наставников и сообщников. Такая перспектива напугала меня. Она означала, что я запутал бы в свое дело Бориса, Ину, Андрея, Алексея и всех моих знакомых, с кем я вел рискованные разговоры. Это напомнило мне роль невольного предателя, какую сыграл герой романа "Овод" в отношении своих товарищей. Я поклялся себе избежать этого любой ценой. Я еще не знал, что мне удастся побег, и о побеге вообще не думал. Я готов был к худшему – к пыткам, к длительному сроку заключения, к гибели.

Рано утром ко мне в камеру пришли мои новые "друзья" – совсем

молодые ребята. Не помню, какими именами они назвались. Мы долго шли по коридорам, спускались с лестниц, наконец пришли в помещение, через которое несколько дней назад я попал сюда. Мои спутники выполнили какие-то формальности.

Мы вышли на улицу. В это время из здания вышел какой-то человек и позвал моих спутников обратно. Они сказали мне, чтобы я остался на месте и ждал их возвращения. Но я не стал их ждать. Я ушел. Ушел не из какого-то практического расчета, не из желания выжить и остаться на свободе, а повинаясь внутреннему импульсу. Как будто кто-то приказал мне: "Иди!" И я пошел.

ВТОРОЙ ГОД УЖАСА

Период с октября 1939 года до ноября 1940 года был для меня вторым годом ужаса. Я не могу связно и последовательно рассказать о нем, поскольку я был почти в невменяемом состоянии. Отчетливо помню только голод, холод, грязь, одиночество, бессонницу, ожидание худшего. Выжил я, по всей вероятности, только благодаря тому, что в течение многих лет имел тренировку на очень тяжелую жизнь, на жизнь на пределе человеческих возможностей. И еще, наверно, благодаря тому, что в минуты, когда я больше не мог терпеть и принимал решение пойти в "органы" и во всем признаться, я слышал внутренний приказ идти дальше тем путем, какой избрал чисто интуитивно.

В конце августа я приехал в Пахтино. Отоспался. Начал работать в колхозе. Соседей насторожило то, что, согласно моей версии, я был в отпуске по здоровью и с сентября должен был вернуться в Москву продолжать учебу, но не сделал этого. Очевидно, кто-то донес об этом в Чухлому. Подруга матери пришла из города в нашу деревню (а это двадцать километров по грязной дороге!), чтобы предупредить, что за мной из Костромы должен приехать какой-то человек. Мать собрала мне кое-какие пожитки, мешочек сухарей и деньги на дорогу. Принесла все это в поле, где я работал. И, не заходя домой, чтобы проститься с семьей, я ушел на станцию. Это было в начале октября. Я поехал в Москву, где, как я полагал, меня уже не ищут. Главное, думал я, избежать встреч с бывшими соучениками. А соседи по дому подумают, что меня отпустили, и не догадаются донести. О моем приезде я сообщил лишь Борису. После моего побега его допрашивали обо мне, но он прикинулся психически ненормальным, и его оставили в покое. Алексей исчез.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

Надо было на что-то жить. Отец содержать меня не мог. Да я и сам уже не мог оставаться на его иждивении. А без паспорта на работу поступить было невозможно. Жить на Большой Спасской было небезопасно. Я переселился к Борису, в помещение вроде сарая, где

хранились дрова. Меня взял было на работу сосед Бориса по квартире, заведовавший продуктовым магазином. Я должен был помогать бухгалтеру с документацией. За это он позволял мне наедаться досыта бесплатно. Денег не платил. Но через неделю заведующего и всех сотрудников магазина арестовали как жуликов. Борис устроил меня подрабатывать натурщиком в его училище. Платили хорошо, но я сумел выстоять лишь несколько сеансов. Прожитые кошмары все-таки дали о себе знать. Я упал в обморок во время одного сеанса и, естественно, потерял этот заработок.

Ситуация складывалась критическая. Я больше не хотел пускаться в новое путешествие, какое пережил. Я стал подумывать о том, чтобы пойти на Лубянку и сдать себя на милость "органов". Чтобы не умереть с голоду, я начал подрабатывать на станции на разгрузке вагонов с картошкой. Милиция однажды устроила облаву, и всех грузчиков забрали. Среди задержанных оказалось несколько уголовников, скрывавшихся от суда. Им предложили на выбор: либо суд, либо армия. В этом предложении не было ничего особенного: страна усиленно готовилась к войне с Германией, и в армию призывали всех, кто не имел особой "брони" или привилегий. Уголовники, конечно, согласились на армию. Меня приняли за подростка, не желающего учиться, и отпустили. Но идея уйти добровольно в армию засела в моей голове. Мне уже скоро должно было исполниться восемнадцать лет, так что я должен был так или иначе быть призванным в армию. Но я боялся идти в свой военкомат, хотя повестки явиться туда приходили по месту моей прописки. Я поэтому пошел в военкомат соседнего района, сказал, что потерял паспорт, что хочу в армию. Военком решил, что я еще не дорос до призыва, но что пылаю патриотическими чувствами и хочу досрочно служить в армии. Такие случаи тогда были довольно частыми. Он оценил мой "порыв" и дал указание зачислить меня в команду призывников. Документы на меня заполнили с моих слов. Я изменил на всякий случай некоторые мои данные. Но эта предосторожность оказалась излишней, и впоследствии я от нее отказался.

Я прошел медицинскую комиссию. При росте сто семьдесят сантиметров я весил немногим более пятидесяти килограммов. Врачи, осматривавшие меня, качали головами, предлагали дать мне отсрочку на год. Но я умолял их признать меня годным к воинской службе, уверяя их, что я "оживу" в течение месяца. И они удовлетворили мою просьбу.

Рано утром 29 октября 1940 года, т. е. в день моего рождения, я явился на сборный пункт. Я пришел с гривой длинных волос – у меня не было денег на парикмахерскую. Голову мне постригли наголо уже на сборном пункте. Провожал меня один Борис. Он купил мне на дорогу буханку черного хлеба и кусок колбасы – два дня в дороге мы должны были питаться за свой счет. Никаких вещей у меня не было. Моя одежда была в таком состоянии, что я ее выбросил сразу же, как только получил военное обмундирование по прибытии в полк.

Вечером нас погрузили в товарные вагоны. В нашем вагоне, как и в других, были голые нары в два этажа и железная печка. Значит, нас собирались везти не на теплый Юг, а на холодный Север или на отдаленный Восток. Мои спутники немедленно ринулись занимать самые выгодные места на нарах. Я ждал, когда суматоха уляжется, чтобы

взять то, что мне останется, это уже стало одним из правил моего поведения. Мне досталось место сбоку у окна и ближе к двери. Место самое холодное. До полуночи наш эшелон, судорожно дергаясь, мотался по железнодорожной паутине Москвы. Не спалось. Но я был спокоен. Я ушел от беспросветной нищеты. Я скрылся от преследования. В армии меня наверняка искать не будут, думал я. Я тогда еще не знал, что убежать от преследования было в принципе невозможно, что общество уже поставило на мне печать отщепенца.

Так закончилась моя юность – самая прекрасная пора в жизни человека. Если бы можно было повторять прожитое, я бы не согласился повторить годы моей юности.

VI. АРМИЯ

ВОЗРАСТНОЙ ХАОС

Признанные возрастные категории (детство, отрочество, юность, зрелость) для меня имели лишь формальный временной смысл. Мне пришлось начать образ жизни взрослых уже в детстве, участвуя в их труде отнюдь не в качестве ребенка. Уже в одиннадцать лет мне пришлось думать о том, как раздобыть еду и одежду. С шестнадцати лет я оказался в таком отношении с обществом, какое мыслимо лишь в зрелом возрасте, да и то в порядке исключения. В семнадцать лет я стал государственным преступником, разыскиваемым по всей стране могучими карательными органами. Так что если рассматривать жизнь человека по существу, т. е. с социологической, психологической, педагогической и идеологической точек зрения, то я могу констатировать следующее: у меня не было беззаботного детства, не было переломного отроческого возраста, не было романтически чистой юности. Был какой-то возрастной хаос, отразивший в себе хаос исторической эпохи. И ту жизнь, которая началась у меня 29 октября 1940 года, я никак не могу отнести к категории зрелости. С восемнадцати до двадцати четырех лет я был в армии и не заботился о еде, одежде, ночлеге. Были, разумеется, какие-то тревоги и заботы, я о них расскажу. Но они не были специфически возрастными. В двадцать два года я женился. Но даже это не было действием взрослого человека. Ему нет объяснения в рамках возрастных норм. В 1946 – 1954 годы я был студентом и аспирантом университета. И даже эти годы, по одним критериям попадая в возраст зрелости, по другим могут быть отнесены к возрасту юности. И потом вплоть до сорока лет я считался молодым человеком.

В 1948 – 1976 годы мне пришлось работать учителем в школах и

профессором в высших учебных заведениях, пришлось растить собственных детей. Передо мною в изобилии был материал для наблюдения за эволюцией людей в нормальных советских условиях. Должен сказать, что, по крайней мере, для значительной части советских людей возрастной хаос стал обычным явлением. В послевоенные годы отпала необходимость для детей разделять образ жизни взрослых. Зато ускорился процесс интеллектуального, психологического и физиологического созревания. Тот возраст, начиная с которого молодые люди осознают себя взрослыми, с одной стороны, стал начинаться раньше, а с другой стороны, отодвинулся для многих далеко за двадцать лет. Значительно раньше люди стали начинать сексуальную жизнь, причем независимо от семейных отношений. Рано стали получать образование, какого раньше не получали и в зрелом возрасте. Вместе с тем люди значительно позже стали начинать самостоятельную жизнь, независимую от родителей. В стране имеются сотни тысяч молодых людей в возрасте от двадцати пяти до тридцати пяти лет, чувствующих себя юношами и поступающих порою даже по-детски. А в некоторых отношениях состояние детскости вообще становится характерным для всего населения коммунистической страны. Аппарат власти, идеологии, пропаганды обращается с людьми до самой их смерти как с материалом для воспитания и просвещения. Положение индивида в коллективе точно так же превращает его в объект воспитательных мероприятий. Миллионы людей всю жизнь чему-то учатся и постоянно выслушивают поучения вышестоящих. Руководители общества вообще претендуют на роль отцов и наставников подвластных детей-сограждан.

Таким образом, написав в конце предыдущего раздела, что 29 октября 1940 года закончилась моя юность, я не могу сказать, какой возрастной период у меня начался. Да и закончившийся период я с некоторой натяжкой могу назвать юностью.

МОДЕЛЬ ОБЩЕСТВА

Если бы я имел изначальной целью жизни достижение успехов в науке или искусстве, я счел бы годы, проведенные в армии, потерянными. Но я такой цели не имел. Я имел причины и мотивы для моего поведения. Но они были такими, что исключали ясность цели. Вернее говоря, цель появилась, но по самой своей сущности она была неопределенной и неясной. Я вынуждался на конфликт со своим обществом и на индивидуальный бунт.

У меня появилось желание понять свое общество. Но оно не было желанием ученого, не было чисто академическим. Оно было элементом моего конфликта и бунта. Мой антисталинизм носил весьма символический и бунтарский характер. Я не рассчитывал не то что на какой-то успех в творческой деятельности, но даже на то, чтобы выжить. Я просто жил, как меня вынуждали к тому обстоятельства. Я наблюдал жизнь и размышлял просто потому, что был рожден для этого, но отнюдь не в интересах будущих книг. Лишь постфактум, лишь оглядываясь назад, я могу сказать, что годы армии и войны не пропали

для меня даром. Они стали для меня фактически школой (если еще не университетом) будущей философской, социологической и литературной деятельности.

Всякая армия отражает в себе основные свойства своего общества. Не была на этот счет исключением и советская армия. Но тут имело место одно существенное отличие отношения армии и общества, связанное с тем, что общество является коммунистическим. Самым фундаментальным (базисным) социальным отношением этого общества является отношение начальствования и подчинения, имеющее много общего с армейским отношением начальников и подчиненных. Так что любая армия вообще, а советская армия в особенности, может служить моделью коммунистических социальных отношений. Прослужив в армии много лет, я чисто опытным путем досконально изучил все аспекты армейской жизни. Впоследствии это облегчило мне изучение специфически коммунистических отношений советского общества и обобщение результатов моих наблюдений. Думаю, что ту же роль для меня мог бы сыграть исправительно-трудовой лагерь, если бы я попал туда и выжил.

Меня всегда поражало то, как же хорошо образованные люди, наблюдавшие грандиозные социальные явления и располагавшие огромным фактическим материалом, ухитрялись делать на этой основе мелкие, поверхностные или заумно-бессмысленные выводы. Я самими обстоятельствами моей жизни и моими взаимоотношениями с моим окружением вынуждался на нечто противоположное этому: на большие и бескомпромиссно четкие обобщения, основанные на наблюдении сравнительно небольшого числа "мелких" явлений. Со временем я открыл для себя, что с социологической точки зрения именно эти "мелкие" пустяки являются грандиозными основами исторического процесса, а внешние грандиозные явления суть лишь его поверхностная пена. Положения диалектики об отношении сущности и явления, содержания и формы тут, как нигде, оказались кстати.

На мою долю выпали также годы войны. Всякая война так или иначе проявляет существенные свойства общества, ведущего войну. Не является на этот счет исключением и война 1941 – 1945 годов с Германией. Но опять-таки тут есть одно обстоятельство, сделавшее эту войну поразительно точной моделью поведения советского общества в трудных ситуациях. Коммунистический социальный строй в России сложился в условиях развала Российской империи и краха царизма – в условиях исторической катастрофы. И сложился он как средство выжить в условиях этой катастрофы. В войну с Германией 1941 – 1945 годов коммунистический социальный строй обнаружил свою удивительную способность выживать и укрепляться именно в тяжелых условиях. Для этого строя, как такового, более благоприятными оказались не условия благополучия, а именно условия преодоления трудностей, близких к состоянию катастрофы. Так что война 1941 – 1945 годов с социологической точки зрения может служить общей моделью поведения коммунистического общества в исторически трудных условиях. Она обнаружила все достоинства и все недостатки этого типа общества с точки зрения исторического выживания. Мне довелось наблюдать эту модель во всех ее основных аспектах и во все важнейшие ее периоды.

Армия есть организация большого числа людей в единое целое. Но армия

ничего не производит. Она лишь потребляет произведенное другими. Она не производит не только материальные ценности, но и культуру и идеологию. Армия сама не воспроизводит человеческий материал. Короче говоря, армия может служить моделью коммунистических отношений лишь в самой абстрактной и упрощенной форме. Но дело в том, что советская армия не была изолирована от остального общества, а во время войны страна вообще превратилась в военный лагерь. Это сделало армию чрезвычайно удобным местом для наблюдения общества в целом.

НАЧАЛО НОВОГО ЭТАПА ЖИЗНИ

С первых же минут новой жизни обнаружилось, что принципы реальной коллективной жизни (впоследствии я их назвал принципами коммунального поведения или коммунальности), которые людям прививаются самым образом жизни, имеют гораздо большую силу, чем принципы идеального коллективизма, которые нам старались привить на словах. Как только появилось начальство и нас стали разбивать на группы, сразу же заявили о себе претенденты на роль начальничков из нашей же среды. Они вертелись на глазах у начальства эшелона, всячески давая им понять, что они суть именно те выдающиеся индивиды, которых следует назначить старшими групп. И удивительное дело, начальство сразу же заметило это, и именно эти рвущиеся к власти (пусть самой маленькой) прохвосты были назначены старшими по вагонам. Они немедленно обросли холуями, всячески угождавшими им и тоже претендовавшими на какую-то мизерную долю власти и привилегий, связанных с властью. Думаю, что наблюдение таких сцен спонтанного социального структурирования множества людей, вынужденных длительное время жить вместе, дало мне неизмеримо больше для понимания реального коммунистического общества, чем многие сотни томов специальной литературы, прочитанных мною в университетские и последующие годы.

Я наблюдал такие сцены вовсе не как беспристрастный социолог, а как человек, уже начавший делать самого себя по определенным идеальным образцам. Я и в школе никогда не лез на глаза учителям, не подлизывался к ним, не тянул руку, чтобы показать, что я что-то знаю лучше других. Этому правилу я следовал не из стеснительности, нерешительности, скромности и прочих качеств, занижающих социальную активность человека, а из презрения к мелкой житейской суете. Я просто знал, что потери от моего такого поведения не вели к катастрофе, а выгоды от противоположного поведения не возвышали меня над толпой. Этому правилу я решил следовать и в армии. Только теперь это принимало более серьезный характер. Школа считалась лишь подготовкой к жизни, а тут была сама жизнь. Вознаграждением за поведение здесь были не отметки в дневнике и в аттестате, а нечто более серьезное: кусочки жизненных благ и преимущества перед другими. Тут происходило разделение людей на социальные категории. Пусть это происходило на самом примитивном уровне, но суть этого

была та же самая, что и на всех более высоких ступенях социальной иерархии. С этой точки зрения один член Политбюро ЦК КПСС, отпихивавший другого члена Политбюро, чтобы стать Генеральным секретарем, мало чем отличается от солдата Иванова, оттолкнувшего солдата Петрова, чтобы стать старшим по вагону.

В первый же час новой жизни у меня произошло столкновение со старшим по вагону. Увидев, что я не принимал участия в сражении за лучшие места на деревянных нарах, он решил, что я являюсь тьюфом, т. е. самым податливым материалом для проявления его начальнических амбиций, – ошибка, которую в отношении меня потом делали многие другие. Он начал вести себя по отношению ко мне так, как будто он был всамделишным армейским старшиной: потребовал, чтобы я встал перед ним по стойке "смирно!" и все такое прочее. Я сказал ему, что в командиры его я не выбирал, что присягу я еще не принимал, что он превышает свои полномочия. Он начал кричать на меня и угрожать отправить в арестантский вагон (как оказалось, такой на самом деле был в эшелоне). Я схватил полено, лежавшее у печки, и сказал этому самозванному "командиру", что, если он еще раз крикнет на меня, я ударю его поленом по голове, что я вообще никому не позволю унижать себя, даже самому Сталину. Ребята одобрили мое поведение. Парень испугался. После этого он умерил свои командирские замашки. А передо мною даже стал заискивать – стремление командовать обычно прекрасно уживается с холуйством.

Такого рода "бешеные" вспышки со мной случались и в дальнейшем несколько раз. Один случай был особенно скверным. Я был дежурным по столовой полка (уже будучи офицером). Поздно вечером, когда уже все было съедено, в столовую заявился основательно подвыпивший капитан, начальник Особого отдела полка (т. е. представитель органов безопасности в полку), и потребовал, чтобы его покормили. Согласно армейским порядкам в таких случаях заранее должно быть заявлено, чтобы "оставили расход", т. е. чтобы оставили в запасе пищу для тех, кто не может прийти в столовую в положенное время. В данном случае это сделано не было. Но пьяный офицер "органов" не хотел слушать моих объяснений и оскорбил меня. Я вспыхнул, выхватил пистолет, сказал ему, что считаю до пяти и, если он не уберется из столовой, я его пристрелю. Он тут же убежал. На другой день он, надо отдать ему должное, извинился передо мной, спросил, выстрелил бы я, если бы он не ушел, и сам же ответил на свой вопрос, что да, я выстрелил бы. Мы договорились, что эта история останется между нами.

О моем заявлении насчет Сталина в ссоре со старшим по вагону кто-то донес начальству эшелона. Меня вызвали к заместителю начальника эшелона по политической части. Я решил не лезть на рожон и сказал политруку, что доносчик искажил мои слова, что я якобы сказал нечто совсем иное, а именно что даже сам товарищ Сталин так не разговаривает с подчиненными, как старший по вагону разговаривал со мной. Политрук мои слова одобрил, но по прибытии в полк все же посоветовал начальнику Особого отдела полка взять меня на заметку. Тот припомнил мне эту историю в эшелоне, когда беседовал со мной по поводу ЧП (чрезвычайного происшествия), случившегося уже в полку.

Первые двое суток мы питались тем, что взяли с собой. Мы сразу

разделились на "богачей" и "бедняков".

"Богачи" запускали руки в чуть приоткрытые чемоданы, что-то там отламывали или отщипывали вслепую и жевали, закрываясь от соседей. "Бедняки" ели в открытую и делились друг с другом. На третий день нам выдали ведро и концентраты каши. Старший по вагону назначил поваром одного из своих холуев. Другой холуй старшего по вагону стал делить хлеб. Начались привилегии и блат. Я подходил за своей порцией каши и хлеба последним. Я возвел это в принцип поведения. Всегда, когда дело касалось распределения каких-то материальных благ, я из принципа оставался последним. Я при этом имел какой-то ущерб, но зато выигрывал морально и психологически. В условиях дефицита распределение благ всегда является источником переживаний. Я выработал в себе привычку быть к этому равнодушным и беречь себя для дел более важных. А начал я это самовоспитание с пустяков. Впрочем, в условиях недоедания лишние граммы хлеба не пустяк.

Иногда нас водили кормиться в специальные кормежные пункты. Если эшелон останавливался на каких-то станциях, мы воровали на дрова все, что попадалось под руку. Тех дров, какие нам выдавали по нормам, было мало. Мы основательно мерзли.

И еды было мало. Ребята на остановках совершали налеты на базары и станционные буфеты. У кого были деньги, покупали что-нибудь съестное. У кого не было денег, воровали. Через несколько дней начались поносы, так что эшелон приходилось останавливать специально из-за этого. Но остановки были не такими уж частыми, и нам приходилось справлять нужду на ходу поезда, что в товарных вагонах было не так-то просто. Один парень во время такой операции выпал из вагона. Произошло это так. Его держали двое, когда он делал свое дело. Кто-то посоветовал для надежности держать его за уши. Державшие рассмеялись и уронили его. Падая, несчастный сам еще продолжал смеяться. На другой день старший по вагону доложил начальнику эшелона, что один человек в его вагоне исчез, возможно дезертировал.

Ехали мы таким образом двадцать трое суток. И чем дальше мы отдалялись от Москвы, тем тоскливее становилось. Никакого внимания на красоты Сибири мы не обращали – было не до них. И даже к Байкалу мы остались равнодушны. Было холодно и хотелось есть. И не было никаких намеков на братские отношения между людьми. Я сочинял длинные письма в стихах моему другу Борису. Эти письма он сохранил. Я их уничтожил в 1946 году. Сейчас я об этом нисколько не жалею, но не потому, что стихи были плохими – стихи были как раз слишком даже хорошими, – а потому, что для успехов в поэзии, в чем я убедился в течение многолетних наблюдений, в наше время нужен не столько поэтический дар, сколько другие качества, не имеющие ничего общего с творчеством, как таковым. Мир оказался хуже, чем я предполагал.

Уже во время этого долгого пути в армию я обнаружил способность к балагурству, шуткам, мрачному юмору. В армии таких людей называют хохмачами (от слова "хохма", обозначающего всякие шуточные словесные импровизации). Я подружился с двумя другими парнями, тоже склонными к хохмам. Мы втроем потешали наш вагон всю дорогу. Я эту способность

проявлял и раньше, но не в таких размерах. Эта способность обнаруживается и проявляется в сравнительно больших компаниях, т. е. когда довольно большое число людей вынуждено длительное время проводить вместе. В армии это получалось само собой. Особенность моего шутовства состояла в том, что я шутил с очень серьезным видом, без смеха и даже без улыбок, причем с использованием научной и политической терминологии. Иногда это принимало рискованные формы. Расскажу в качестве примера об одной шутовской ситуации. Было очень холодно. Мы основательно мерзли и прибегали ко всяческим уловкам, чтобы согреться. Один сообразительный парень взял себе сапоги на два размера больше, чтобы оборачивать ноги газетами, помимо законных портянок.

Но откуда взять газеты в приморской тайге, если их не продавали даже на железнодорожной станции в десяти километрах от расположения полка? Очевидно, в красном уголке, т. е. в помещении, где политрук хранил газеты и политическую литературу. И вот газеты из красного уголка стали исчезать. В конце концов этого солдата схватили на месте преступления. Преступника решили подвергнуть осуждению на комсомольском собрании. Я не был комсомольцем, но политрук решил восстановить меня в комсомоле, так как я был хорошим солдатом, и я был так или иначе обязан присутствовать на комсомольских собраниях вместе со всеми. Все осуждали провинившегося. Политрук приказал и мне высказать свое мнение. Я сказал, что этот солдат заслуживает снисхождения и даже поощрения. Согласно современной науке, интеллект человека находится не столько в голове, сколько в других частях тела, в особенности в заднице и в пятках. Оборачивая ноги газетами, провинившийся тем самым повышал свой идейно-политический уровень. Ведь и мы все в нужнике используем газеты не столько в гигиенических, сколько в воспитательных целях. Сейчас на бумаге эта речь звучит не смешно, а в условиях кавалерийского полка, где интеллигентные люди деградировали до уровня своих лошадей, такая речь произвела ошеломляющее впечатление. Меня сначала хотели наказать за то, что "превратил серьезное мероприятие в балаган". Но слух дошел до высшего дивизионного начальства и вызвал там смех. Меня пощадили. А в полку еще долго потешались над этой историей.

Юмористически-сатирическое отношение к жизненным ситуациям, к окружающим людям и вообще ко всему на свете я распространил на самого себя и на все, что случалось со мною. Это облегчило жизнь, усилило мою способность выживать и не падать духом в самые скверные моменты жизни. Но такое отношение к жизни у меня не было постоянным и исчерпывающим. Периоды сатирически-юмористические сменялись трагически-драматическими, периоды возбуждения – периодами апатии, периоды поэтические – периодами прозаическими, периоды бесшабашности – периодами разумного расчета... И даже в одно и то же время странным образом сочетались грусть и веселость, отчаяние и уверенность, ощущение слабости и силы... Не берусь судить, является это общечеловеческой нормой или нет. Скорее всего, каждому нормальному человеку свойственны разнообразие и подвижность состояний и настроений. Только у меня различные аспекты состояния психики и ее различные периоды выражались очень резко и сильно, превращая мою жизнь в нескончаемую дискуссию и борьбу с самим собой. Я сам себе напоминал тогда того исходящего поносом и хохочущего от

комизма ситуации парня, падающего под колеса поезда в пяти тысячах километров от дома.

Мне потом не раз приходилось встречать молодых русских людей, защищавшихся от кошмаров жизни насмешкой и бесшабашностью. Похоже на то, что такое отношение к жизни есть лишь форма проявления отчаяния.

ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ И РЕАЛЬНОСТЬ АРМИИ

Была еще одна причина, почему я ухватился за армию как за выход из моего, казалось бы, безвыходного положения: это то, как армия изображалась в книгах, фильмах, пропаганде и рассказах тех, кто уже отслужил свой срок. Сравнительно с тем образом жизни, какой имело подавляющее большинство молодых людей допризывного возраста, служба в армии была на самом деле благом. Сравнительно сытная еда и хорошая одежда, гигиена, спорт, обучение грамоте, политическое просвещение, воспитание, обучение профессиям шоферов, трактористов, механиков – все это имело следствием то, что армия пользовалась в народе уважением и любовью. Многие парни, отслужив положенный срок, оставались на сверхсрочную службу, становились младшими командирами (сержантами и старшинами), выслуживались в средние командиры (лейтенанты), поступали в военные училища. Значительная часть отслуживших срок не возвращалась в свои деревни, оседала где-то в других местах, в основном в городах, на новых стройках. Армия играла огромную роль в осуществлении грандиозной социальной, идеологической и культурной революции в стране.

Разумеется, пропаганда сильно идеализировала службу в армии. Я никогда не верил в пропагандистские сказки о колхозах. Успел разочароваться в пропагандистских сказках насчет заводского рая. Но идеализированный образ армии остался нетронутым. Уходя в армию, я надеялся на то, что начну новый образ жизни, который позволит мне укрепиться физически и восстановить душевное равновесие. Мои ожидания оправдались, но лишь отчасти. Я не ушел от всех тех проблем, какие мучили меня до этого. К старым проблемам присоединились многие новые.

Я попал в армию, может быть, в самый худший момент и, может быть, в самые тяжелые условия. Страна готовилась к войне с Германией. Все прекрасно понимали, что пакт о взаимном ненападении, подписанный с Германией в 1939 году, был лишь отсрочкой начала войны. Военные столкновения с Японией и Финляндией показали, что советская армия не готова к большой войне. В высшем руководстве, надо полагать, решили усилить подготовку армии к войне. Но исполнили это на советский лад. Начались перетасовки в командном составе, аресты, расстрелы. Для солдат ухудшили питание и одежду, утяжелили службу. Во главе армии поставили кавалериста Тимошенко. В армию призвали молодых людей со средним и даже высшим образованием, но направили их не в подразделение с современной техникой, а главным образом в кавалерию и пехоту. Лишь перед самым началом войны и уже в начале войны образованных ребят стали направлять в артиллерию, танковые войска и

авиацию. В кавалерийских частях были целые эскадроны и дивизионы солдат со средним и высшим образованием. Когда я накануне войны попал в танковый полк, я оказался единственным в полку военнослужащим со средним образованием. В кавалерийском полку, с которого я начал военную службу, вооружение и обучение было такое же, как в кавалерийских частях в Гражданскую войну. К нам в полк поступило новое автоматическое оружие. Но оно было законсервировано в складах. Мы с ним не умели обращаться. Уже в армии нам показали фильм о будущей войне, в котором, с одной стороны, предвосхищалась роль телевидения, а с другой, сохранялось устаревшее представление о главной роли кавалерии. Тимошенко вспомнил лозунг Суворова "Тяжело в учении, легко в бою". И нас начали так мучить бессмысленными учениями, что мне даже моя кошмарная прошлая жизнь стала казаться раем. Когда в 1962 году появилась повесть А. Солженицына "Один день Ивана Денисовича", она не произвела на меня никакого впечатления, так как первые месяцы моей службы в кавалерии были гораздо более тяжелыми, чем описанная Солженицыным жизнь заключенных.

Я не хочу этим сказать, будто нас специально мучили и унижали. Ни в коем случае! Были, конечно, отдельные командиры, которым доставляло удовольствие мучить и унижать подчиненных. Но они были исключением. И они старались скрывать эти свои качества. В массе же своей командование от мала до велика руководствовалось самыми благородными принципами. Система мучения и унижения возникала вопреки воле и желаниям людей из самой организации армии и условий службы. Я не могу сказать ни одного плохого слова в адрес даже самых свирепых начальников лично. Но одно дело – личные качества и желания начальников, и другое дело – результат совокупной деятельности всей системы начальников и подчиненных, причем как части общества коммунистического типа. Наблюдение этого явления на материале армии способствовало тому, что я этот подход перенес на общество в целом. К концу армейской службы главным объектом моей критики стал не лично Сталин, а сталинизм как явление социальное. Тогда я его воспринимал еще как сущность коммунизма вообще, а не как исторический период.

Ниже я расскажу несколько эпизодов моей довоенной армейской жизни. Они дадут более наглядное представление об армии того времени и о моей жизни.

ПРИБЫТИЕ В ПОЛК

Хотя был конец октября, все призывники явились на сборный пункт одетыми совсем не по-зимнему. В те годы для большинства молодых людей не было особой разницы в сезонной одежде. Пока мы тащились двадцать трое суток через всю страну в Приморский край, на Дальнем Востоке начались сильные морозы. Нас выгрузили на маленьком полустанке. Часа два мы топтались на платформе, дрожа от холода. Наконец прибыли представители от полков. Сто тридцать человек со средним и высшим образованием распределили в кавалерийский полк. Из нас там решили создать особый эскадрон с расчетом на то, что в течение двух лет из нас подготовят младших лейтенантов запаса. В

полк мы шли пешком, строем. Ведшие нас старшина и несколько сержантов пытались заставить нас петь строевые песни, но у нас получилось что-то очень жалкое, и старшина приказал нам "заткнуть глотки". Должен заметить, что на нас сразу же обрушился такой поток мата и скабрзностей, какого я не слышал даже в самых отпетых компаниях во время моих прошлых странствий. По дороге многие поморозили ноги, руки, носы, щеки. На время карантина (на две недели) нас поместили в здании клуба. Спали мы на соломе, одетые. На улице мы появлялись только для того, чтобы сбегать в нужник. Ночью мы справляли нужду рядом с клубом, что вызывало гнев у старшин и сержантов. Еду нам приносили в ведрах прямо в клуб. Питались мы из котелков, потом вылизывали их языком и чистили снегом. Кормили лучше, чем в эшелоне, и мы были счастливы хотя бы этим. Каждый день с нами проводили политические занятия. Проводили их политрук, не произносивший ни одной фразы без нескольких грамматических ошибок, и его помощник (замполит – до войны был такой чин), делавший ошибок меньше, чем политрук, но достаточно много, чтобы мы точно установили уровень его образования: семь классов деревенской школы.

Наконец нам выдали военное обмундирование. Поскольку из нас формировали особый учебный эскадрон, нам выдали все новое. Но, несмотря на это, вид у нас был довольно жалкий. Согнутые и деформированные холодом фигуры, синие лица, выступающие скулы, горящие от голода глаза. И никаких следов интеллигентности не осталось. Построивший нас старшина Неупокоев (его фамилию не забуду до конца жизни, как и фамилию командира отделения младшего сержанта Маюшкина) при виде такого зрелища изобразил космическое презрение на своей красной от мороза и от важности роже и обозвал нас самым непристойным в его представлении словом "академики". Через неделю молодость и армейский режим взяли свое. Мы отошли, повеселели. Стали походить на бойцов Красной Армии. Но это были уже не те бойцы, к каким привыкли командиры. Это были именно "академики".

Командный состав полка, включая командира, его заместителя по политической части (политрука), начальника штаба и начальника Особого отдела, был на сто процентов малограмотным. В полку был всего один лейтенант, окончивший нормальное военное училище. Остальные все выслужились из рядовых, из сверхсрочников, окончивших какие-либо краткосрочные курсы. Удивительно не то, что армия с таким командным составом оказалась плохо подготовленной к боям, а то, что такие люди еще как-то ухитрялись держать армию на довольно высоком уровне.

"АКАДЕМИКИ"

Полковое начальство надеялось, что наш учебный эскадрон, сплошь состоящий из ребят со средним и высшим образованием, станет образцовым во всех отношениях. Но оно совершило грубую ошибку. Эскадрон превратился в неслыханное доселе в армии сборище сачков. Сачковать – значит уклоняться от боевой и политической учебы, работы или наряда, причем успешно. Сачок – тот, кто регулярно сачкует.

Сачки существовали и существуют во всех армиях мира. Существовали они в нашей Красной Армии и до этого. Существовали в умеренных количествах, достаточных для армейского юмора и не нарушающих нормального течения армейской жизни. Но такого количества сачков и таких изощренных методов сачкования, какие обнаружили "академики", история человечества еще не знала. Малограмотное полковое начальство, привыкшее иметь дело с примитивными сачками, пришло в состояние полной растерянности. Сверхопытный старшина эскадрона порою не мог наскрести пятнадцать человек для очередного наряда из сотни с лишним рядовых.

Сачковали за счет художественной самодеятельности, отдельных поручений начальства, болезней, блата... "Академики" оказались все прирожденными плясунами, певцами, музыкантами, художниками, хотя на поверку лишь немногие из них умели мало-мальски терпимо орать старые народные песни, пиликать на баяне и рисовать кривые неровные буквы на лозунгах. Если кого-то из них политрук посылал за почтой, на что требовался от силы час, посыльный исчезал по крайней мере на четыре часа. Его находили где-нибудь спящим за печкой. К обеду он являлся сам. И конечно, раньше всех. Блат "академики" умели заводить так, что выдавшие виды старослужащие блатари только посвистывали от зависти. Они помогали политрукам готовить доклады и политинформации. Давали адресочки в Москве едущим в отпуск командирам. Получали из дому посылки и подкупали сержантов и старшин пряниками и конфетками, а офицеров – копченой колбасой. В отношении болезней они развернули такую активность, что в санчасти пришлось удвоить число коек. Они ухитрились повышать себе температуру за сорок, терять голос, заводить понос неслыханной силы, натирать фантастические кровавые мозоли, вызывать чирьи, воспаление аппендицита, грыжу, дрожь в конечностях, желтуху и болезни, которым никто не знал названия. Командир полка хватался за голову и кричал на весь штаб, что его отдадут под трибунал из-за этих симулянтов.

Вторая напасть, обрушившаяся на полк в связи с прибытием "академиков", была вечно голодные доходяги, штурмующие столовую, подъедающие объедки и тянущие все съедобное, что подвернется под руку. Пока командиры не запомнили лица молодых бойцов, в столовой каждый день обнаруживалась недостача нескольких десятков порций. Никакие наказания не могли отвадить доходяг от такого "шакальства". Они как тени бродили в районе столовой. Глаза их лихорадочно горели. Повара, рабочие по кухне, дежурные натывались на них в самых неожиданных местах.

Условия службы были настолько тяжелыми, что даже я, с детства привыкший к жизненным невзгодам, не устоял. Сначала я решил во что бы то ни стало простудиться и попасть в санитарную часть (полковую больницу), чтобы несколько дней отлежаться и отоспаться. Я ночью выходил раздетым на улицу, снимал сапоги и босиком подолгу стоял на снегу. Но заболеть почему-то так и не смог. Потом я напился ледяной воды и потерял голос. В это время ребят с голосом и слухом отбирали в полковой хор. Их освобождали от нарядов. Мой приятель уговорил меня записаться в этот хор. Несколько дней, пока я хрипел, я посещал занятия хора. Мой приятель уверял руководителя хора, будто я буду петь, как Шаляпин, когда мое горло выздоровеет. Но, увы, когда голос

ко мне вернулся, выяснилось, что до Шаляпина мне было далеко. И меня с позором выгнали из хора. С тех пор я больше не предпринимал никаких попыток сачковать.

БУНТ

Почти все время мы проводили на открытом воздухе. Даже политзанятия проводились на улице. Выматывались мы до полного изнеможения. Еды не хватало. Да и еда была скверная. Однажды нам дали совершенно несъедобный суп. Какую-то вонючую и грязную воду. Мы не стали его есть и вылили обратно в кастрюлю. По армейским законам это означало бунт. Но мы дошли до предела и не думали о последствиях. Едва успели мы это сделать, как перед столом вырос "особняк" – начальник Особого отдела полка. Мы встали. Он спросил, в чем дело. Все молча уставились на меня. Я объяснил, в чем дело. Он приказал снова разлить суп по мискам и есть, а мне приказал идти с ним. Мы пришли в его кабинет в штабе полка. Начался длинный разговор. Он напомнил мне о скандале в эшелоне. Сказал, что меня придется передать в военный трибунал. Потом он разделся до пояса, показал шрамы якобы от сабельных ударов басмачей и других врагов советского строя, которые он якобы получил, завоевывая новую счастливую жизнь для таких, как я. Я был почему-то совершенно спокоен. И впоследствии в самые скверные минуты жизни мною всегда овладевало удивительное спокойствие, даже умиротворение. Наконец, решив, что он меня доконал полностью, "особняк" несколько сбавил угрозы наказания. Он учел мое "пролетарское" происхождение и хорошее начало моей службы и предложил такое решение. Меня будут каждый день взвешивать. Если я через неделю похудею хотя бы на один грамм, мне удвоят порцию питания. А если я прибавлю в весе, то пойду под трибунал. Всю неделю я не ел почти ничего. И, несмотря на это, не похудел, а даже прибавил в весе. За это время "особняк" от своих осведомителей узнал, что зачинщиком бунта был не я. Под суд меня не отдали. Но пять суток ареста я получил. Правда, условно: я должен был их отсидеть в случае какого-либо нового нарушения дисциплины. Но я, наоборот, получил подряд несколько благодарностей. И то наказание с меня сняли.

ОБРАЗЦОВЫЙ СОЛДАТ

Я избрал для себя свою форму самозащиты и приспособления: я стал образцовым во всех отношениях солдатом. Я быстрее всех вскакивал и одевался по команде "Подъем!". Идеально заправлял койку. Быстро приобрел строевую выправку, хорошо занимался строевой, конной и политической подготовкой. Хорошо чистил коня. Не отлынивал ни от каких нарядов. И результаты сказались. Я стал регулярно получать благодарности. За полгода службы в этом полку я имел более пятидесяти благодарностей и даже пятидневный отпуск за успехи в конноспортивных соревнованиях. Это стало для меня принципом на всю

жизнь – на любой работе, на любой должности и в любом месте быть добросовестным исполнителем рабочих или служебных обязанностей. Мне было легче жить именно благодаря тому, что я добровольно и с азартом бросался делать всякое дело, которое другие делали нехотя и по приказу. Дело все равно приходилось так или иначе делать. Например, вставать по подъему было легче, если ты делал это стремительно и энергично, чем если бы ты тянул время и медлил.

Одновременно я познал секреты солдатской службы, благодаря которым мог в самых суровых условиях распорядка и дисциплины устраивать себе маленькие праздники. Например, я научился спать на посту. На посту я спал всегда, спал даже у полкового знамени в штабе. Но спал так, что ни разу не попался. Однажды наш взвод дежурил на границе. Я был в "секрете". И спал, конечно. Но вовремя услышал чуть слышный шорох подползавшего проверяющего и чуть не пристрелил его. За это мне объявили благодарность за бдительность на посту. После этого я написал шуточные стихи в духе стихов о Гавриле в книге И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев". Я их поместил в "боевом листке", который я сам и выпускал. Стихи были идиотские, но они понравились политруку, и их напечатали в дивизионной газете. За это я тоже получил благодарность. Я всегда вызывался добровольцем выполнять поручения, которые требовали индивидуальных усилий и которые не хотели выполнять другие. Например, надо было ночью нарубить лозу для занятий рубкой на другой день, поскольку должна была приехать комиссия из штаба корпуса, а лозы в эскадроне не оказалось. Это довольно тяжелая работа – ночью ехать на коне в сопки и, утопая по пояс в снегу, рубить шашкой лозовые прутья. Зато на другой день я мог не идти на занятия и до обеда отсыпаться. И кроме того, я получил усиленную порцию еды.

Единственная привилегия, которую я имел, было делание "боевых листков" так назывались армейские стенные газеты. Да и то эта привилегия была относительной: меня освобождали от занятий на час или на два, чтобы я успел сделать очередной БЛ. Иногда я делал их ночью, когда все спали. Я любил такие часы. Хотя я не спал, я в это время чувствовал себя свободным. БЛ укрепляли мою репутацию, и я это воспринимал как своего рода защиту. Я рисовал карикатуры и сочинял к ним сатирические стихи. Эти листки имели успех у начальства. Их возили показывать даже в штаб дивизии.

В армии мне было трудно лишь первые три месяца. Привычка жить плохо сыграла положительную роль. Я быстро приспособился к армейской жизни и стал бывалым солдатом. Что такое бывалый солдат? Поясню примером.

Однажды потребовались добровольцы для очистки переполненного солдатского нужника. Работа была унижительная и неприятная. Начальство пообещало за нее по несколько пачек махорки и на следующий день освобождение от службы (увольнительную). Мы с одним парнем вызвались на это. Над нами смеялись, но когда узнали, в чем дело, взвыли от зависти. А мы с этим парнем наняли за половину махорки пьяниц, околачивающихся около магазина на станции. И они нам вычистили нужник. На вторую половину вознаграждения мы на другой день достали вина и закуски. На нас, конечно, донесли завистливые друзья. Нас хотели сначала наказать, но потом похвалили за

находчивость.

Самым страшным начальником для рядовых солдат был старшина роты или эскадрона. Старшина нашего эскадрона был ревностный служака. Возможно, он руководствовался добрыми намерениями, но нам от этого было не легче. Тогда рассказывали такой анекдот о роли старшины. Высокий начальник решил своими глазами посмотреть, каково приходится солдатам. Пришел на конюшню и разговорился с дневальным. Минут через пять разговора дневальный сказал генералу, чтобы тот убирался, а то вдруг заявится старшина и им обоим (солдату и генералу) попадет от него. Этот анекдот был явно о нашем старшине Неупокоеве. Став бывальыми солдатами, мы решили "поставить его на место". Для этого мы не сговариваясь стали ночью мочиться в его койку. Он испугался, что заболел моченедержанием. Отбывавший службу резервиста в нашем полку московский врач начал было лечить его гипнозом. Но лечение не помогало. Тогда старшина сообразил, в чем дело, и сократил свое усердие. Это помогло лучше, чем гипноз.

Бывалый солдат никогда не теряется. Чтобы как-то заполнить наше время, нас заставляли заниматься бессмысленной работой, например долбить в мерзлой земле ямы якобы для землянок и затем эти ямы засыпать. Сначала мы добросовестно работали. Потом приспособились. Мы вместо работы спали, прижавшись друг к другу спинами и дрожа от холода. А когда появлялось начальство, мы вскакивали и делали вид, что засыпаем еще не вырытую яму. Чтобы согреться, мы устраивали игры. Самой популярной была такая. Кто-нибудь отбегал в сторону и кричал: "Рота моя, мочись на меня!" Все остальные кидались на этого солдата, стараясь помочиться на него. В толкучке мочились и друг на друга. Было весело, а главное – становилось теплее.

При всяком удобном случае бывалый солдат старается поспать и урвать что-нибудь поесть. При этом он не теряется и в случаях, когда можно что-нибудь стянуть. Расскажу об одном случае такого рода. У нас в полку проходили службу командиры-резервисты. Их кормили в клубе полка, причем на сцене. Кухонный наряд готовил им еду заранее. Однажды мы решили поживиться за их счет. Когда резервисты шли на обед, один из ребят нашего взвода подбежал к ним и сказал, что их вызывают в штаб. Резервисты двинулись к штабу, а мы за несколько минут съели все, что было приготовлено для них "Особняк" потом долго пытался узнать, чьих рук было это дело. Любопытно, что на сей раз никто не донес, хотя среди нас было по крайней мере три-четыре осведомителя.

Как только мы оставались без надзора со стороны начальства, мы сбивались в кучу и начинали треп, или травить баланду, – рассказывать смешные истории. Во время таких трепов мы импровизировали, выдавая выдумки за реальность. Но это не был обман. Все знали, что это выдумки. Но выдумка выглядит смешнее, если ей придать вид правдивой истории. Вот одна из таких историй. Чтобы сократить время на справление большой нужды, в Министерстве обороны решили делать солдатские брюки с разрезом сзади. Решили проделать эксперимент. Московский генерал приказал роте солдат в новых экспериментальных брюках оправиться, не снимая брюк. Засек время. Через тридцать секунд рота готова была двигаться дальше. Но,

заглянув за кусты, генерал не увидел кучек. Остановив роту, он потребовал объяснения. Старшина объяснил, что солдаты выполнили приказ. Но в Министерстве обороны забыли сделать для солдат кальсоны с разрезом сзади. Фантазируя в таком духе, мы надрывались от хохота.

ТВОРЧЕСТВО

И при всех обстоятельствах я сочинял стихи и писал длинные письма в стихах своему другу Борису. Он мне тоже отвечал в стихотворной форме. Стихи он сочинял, на мой взгляд, замечательные, в основном лирические. Я же сочинял в основном шутовские и грубовато-сатирические или с надрывом. Наша переписка не сохранилась.

Не сохранились и мои стихи. Лишь кое-что я много лет спустя припоминал или использовал как опору для новых стихов в подходящем прозаическом контексте, т. е. как подсобное средство прозы. Приведу в качестве примера одно стихотворение тех лет, которое припомнил почти дословно.

Я книжки долбил. По команде не мешкал.
А старший товарищ твердил мне с усмешкой.
Чтобы хоть чуть было жить интересней,
С градусом жидкость учился лакать,
Слезу выжимать запрещенною песней,
Под носом начальства к девчонкам тикать.
чись сачковать от нарядов на кухню,
Старшин обходить стороной за версту.
Придется зубрить – на уроках не пухни.
И само собой, спать учись на посту.
Наплюй на награды! К чему нам медали?!
Поверь мне, не стоят железки возни.
Чины и нашивки в гробу мы видали,
А в гроб, как известно, кладут и без них.
Настанет черед, нам с тобою прикажут
Топать вперед, разумеется, "за"...

И мы побредем, бормоча: "Матерь вашу!.."

И мы упадем, не закрывши глаза.

Ведь мы не в кино.

И не в сказке бумажной.

Не будет для нас безопасных атак.

А матерям нашим, знаешь, не важно,

Что мы не отличники были, а так...

УЧЕНИЯ

Как один из лучших бойцов (так называли солдат) эскадрона я попал в число тех из нового призыва, кто был допущен до участия в больших учениях. На этот раз я пожалел о том, что был одним из лучших. Правда, эти учения дали мне материал для многих страниц моих книг. Но если бы мне тогда пришлось выбирать, пережить эти учения или не написать упомянутые страницы моих книг, я предпочел бы второе. Даже во время войны мне не довелось пережить такой кошмар, как во время этих пока еще мирных учений. Целую неделю мы спали на открытом воздухе. Мы ломали еловые ветки, устилали ими снег, разводили костер, укрывались тоже еловыми ветками и тряслись всю ночь от холода, тесно прижавшись друг к другу. Любопытно, что никто не простудился при этом. По ходу учений нам пришлось пересечь речку. Лед был слабый из-за быстрого течения. Я провалился в воду. Пока доехали до поселка, чтобы принять какие-то меры, на мне все заледенело. Когда я снял шинель, она так и осталась стоять с растопыренными рукавами. Было очень смешно. Потом по этому поводу потешалась вся дивизия. И опять-таки я не простудился и не заболел. Ели мы сухари, сырые концентраты каши и копченую колбасу, закопченную до такой степени, что ее нельзя было разгрызть невооруженными зубами.

В "Зияющих высотах" есть места, посвященные кавалерии. В том числе есть описания учений. Это так и было на самом деле. Даже еще хуже и смешнее. И мы действительно много смеялись над своими злоключениями. Роль шутника, которую я начал исполнять уже в эшелоне, тут развернулась, можно сказать, во всю мощь. Послушать наше зубоскальство к нашему костру приходили даже командиры других подразделений. Я делал также "боевые листки", как я уже говорил выше, что несколько облегчило мои муки. Какой-то командир из штаба, посмотрев мой БЛ, спросил, не могу ли я рисовать карты и схемы. В школе черчение было одним из моих любимых предметов, и я сказал, что, конечно, умею. Тогда меня заставили рисовать всякие схемы в

штабе полка. Теперь я значительную часть суток проводил в штабной палатке. И кормился лучше – супом из горохового концентрата, но с мясом.

Такое привилегированное положение не спасло меня, однако, от самой главной операции учений – от штурма укрепленного района "противника", расположенного в сопках. Я попал в подразделение, которому было приказано уничтожить дот (долговременную огневую точку) "противника". Дот был расположен на вершине довольно высокой сопки. Мы должны были действовать как в бою: делать броски, окапываться, ползти. Это-то нас и доконало. Мы выбились из сил. Один ефрейтор сошел с ума в буквальном, медицинском смысле слова: вообразил себя главнокомандующим, вскочил и начал подавать бессмысленные команды. Его куда-то увезли. Солдат, ползший рядом со мной, дошел до такого состояния, что стал умолять меня пристрелить его или заколоть штыком. Я тоже выбился из сил. Временами мне тоже хотелось остаться лежать и умереть. Но все та же неведомая сила толкала меня вперед. Я слышал внутренние приказы: "Иди!", "Беги!", "Ползи!" И я шел, бежал и полз. Не могу объяснить, почему я тогда решил, что не облегчение, а затруднение задачи было выходом из положения. Я взял винтовку выбившегося из сил солдата, взвалил его на себя и в таком виде продолжал ползти на высоту к "вражескому" доту. Все это наблюдали ходившие повсюду офицеры, инспектировавшие ход учений. Они увидели то, что происходило со мной. Моего солдата сочли раненым, за ним приползли санитары. А я чудом дополз до дота вместе с сержантом из соседнего эскадрона. Мы бросили "гранаты". Дот был признан уничтоженным. Мне с сержантом объявили благодарность. Я был в невменяемом состоянии. Лишь через несколько часов я пришел в себя.

После учения, однако, произошло событие, которое глубоко затронуло меня. В приказе по дивизии благодарность объявили почему-то не мне, как это было сделано ранее "на поле сражения", а тому парню, который просил меня пристрелить его и которому я помог доползти до вершины сопки. Он был комсомолец и отличник политической подготовки. Я же выбыл из комсомола и был на учете в Особом отделе полка. Так я понял, что в советском обществе люди становятся героями не в силу их подлинных заслуг, а отбираются и назначаются на роль героев в соответствии с нормами коммунистической морали и идеологии.

ЗАРУБЕЖНЫЙ

Самым жестоким испытанием для меня в кавалерийском полку стал мой конь по имени Зарубежный. Это был конь монгольской породы, маленький, с очень длинной шерстью. Он обладал одной особенностью: никогда не ходил шагом, а вечно бежал мелкой трусцой. Меня при этом трясло так, что все внутренности выворачивались наружу, галифе протирались до дыр и вылезали из сапог, обнажая колени. Это был добрый по натуре конь, и мы привязались друг к другу, но изменить свой способ передвижения он не мог, как я ни пытался приучить его ходить нормально. Я ему благодарен за то, что после него мне уже

никакая служба не была страшна. А достался мне этот Зарубежный из-за моего принципа брать все последним. Когда стали распределять коней, никто не захотел взять Зарубежного добровольно, и он достался мне. Командиры эскадрона хорошо знали характер Зарубежного. Его давали в наказание самым нерадивым солдатам. Поскольку я принял его с покорностью, содержал его в чистоте и терпел его дефекты, ко мне прониклись уважением и предложили поменять его на другого коня. Но он ко мне привязался, как к близкому существу, и я не мог предать его привязанность.

ДРУЖБА

Я всегда был склонен к устойчивым дружеским отношениям с людьми. Эта склонность усиливалась моей бездомностью. Моими друзьями везде становились самые интересные, на мой взгляд, личности. Я много раз испытывал разочарования, но они не истребили сильнейшую тягу к дружбе. В условиях армейской службы, в каких я оказался, потребность в близком друге проявилась особенно сильно. И такой друг у меня появился. Назову его Юрием. Он был москвичом, из интеллигентной семьи (мать и отец оба были врачами), рос в прекрасных домашних условиях, увлекался поэзией и живописью, отлично окончил школу, был романтически настроен, попросился в кавалерию под влиянием романтики Гражданской войны. Армейская служба давалась ему тяжело. Он очень страдал физически и морально. Старшина и командир отделения считали его сачком и нерадивым бойцом. Он испытывал хронический голод, постоянно "шакалил" в столовой, всячески увиливал от работ и нарядов. Короче говоря, был настоящим "интеллигентом". Вместе с тем он был самым начитанным во взводе. Разговаривать с ним мне было интересно. Я взял его под свою опеку. Помогал ему в дневальстве на конюшне и иногда подменял его. Делился с ним едой. У меня такой потребности в еде, как у него, не было. Я легче переживал голод, имея за плечами многолетний опыт на этот счет. Он обменялся местами на нарах с моим соседом. Мы стали спать рядом. В казарме было холодно, и мы "объединяли" согревательные средства, спали, прижимаясь друг к другу и укрывшись двумя одеялами. Так делали все ребята в эскадроне.

Мы с Юрой старались всегда быть вместе. Разговаривали о литературе, о московской жизни, о фильмах и живописи. Постепенно наши разговоры стали затрагивать темы политические – положение в колхозах и на заводах, Сталина, репрессии. Я становился все более откровенным. Он разделял мои взгляды. Он был хорошим собеседником. Не активным, а резонером. Но он на лету ловил мои намеки и развивал их так, что я мог в моих импровизациях пойти еще дальше.

Мне политрук предложил заведовать полковой библиотечкой. Это дало бы мне некоторые привилегии – иногда освобождаться от работы и от нарядов. Я отказался и посоветовал ему назначить на это место Юру. Политрук согласился, а Юра использовал свое положение на всю железку: вообще перестал ходить в наряды, и это почему-то сходило ему с рук.

Нас регулярно вызывали в Особый отдел в связи с какими-то событиями жизни полка. Кто-то украл хлеб из хлебозерки. Кто-то специально расковырял палец, чтобы получить освобождение от наряда. Кто-то подрался. Кто-то наговорил лишнего. Обо всем этом стукачи информировали Особый отдел, и нас допрашивали для полноты картины и с целью спрятать осведомителей в массе вызываемых для бесед. Вызывали и меня среди прочих. Кроме того, "особняк" помнил мои прошлые проступки и держал меня в поле внимания. То, что я был образцовым бойцом, не ослабляло его бдительности. На политзанятиях политрук приводил нам примеры того, как "враги народа" маскировались под отличников боевой и политической подготовки. В нашем полку были разоблачены сын кулака и сын белого офицера. Однажды в беседе с "особняком" по поводу одного бойца эскадрона, который пускал себе в глаза очистки грифеля химического карандаша (были тогда такие), чтобы испортить зрение и быть отчисленным из армии или хотя бы переведенным в хозяйственный взвод, "особняк" повел разговор в таком духе, что у меня закралось подозрение насчет Юры. Я решил прекратить откровенные разговоры с ним. Но было уже поздно. Однажды уже после отбоя меня вызвали в Особый отдел.

"Особняк" дал мне бумагу и ручку и предложил мне подробно написать мою автобиографию. Мотивировал он это тем, что мне якобы хотят присвоить звание ефрейтора или даже младшего сержанта, а для этого надо, чтобы в моей биографии не было никаких темных мест. Его особенно интересовали вопросы, почему я не был комсомольцем и почему прервал учебу в институте, хотя по закону должен был бы иметь освобождение от армии. Я написал, что учебу прервал из-за переутомления, что в армию пошел добровольно, что из комсомола выбыл механически, из-за неуплаты членских взносов (работал в глуши, взносы платить было негде). По лицу "особняка" я видел, что мои ответы его не удовлетворили. Ему явно хотелось разоблачить кого-либо. Я боялся, что он пошлет запросы обо мне в Москву. А адрес в моих документах был ложный. И вместо МИФЛИ в них фигурировал Московский университет.

Опять вернулись прежние тревоги. Положение мое казалось безвыходным. Я даже подумывал о том, чтобы дезертировать из армии. Но это было бы безумием. Меня схватили бы немедленно. В дополнение к дезертирству раскрутили бы мои прошлые грехи. И я мог заработать не меньше десяти лет лагерей, а скорее всего, мне могли бы дать высшую меру – расстрел.

На этом материале я в 1945 году написал "Повесть о предательстве". В 1946 году я ее уничтожил. Уже находясь в эмиграции, я припомнил кое-что из нее и включил в книгу "Нашей юности полет".

НА ЗАПАД

"Особняк" полка не успел раскрутить мое дело: наш полк, как и многие другие подразделения Особой Дальневосточной Красной Армии, неожиданно расформировали, погрузили в эшелон без коней и срочно

направили на запад страны. У нас не было никаких сомнений насчет того, куда нас направили: мы ожидали войну с Германией. Мы все без исключения понимали, что расформирование больших воинских подразделений на востоке страны и переброска их на запад были связаны с подготовкой к войне. Мы понимали также то, что заключение пакта о ненападении с Германией имело целью лучше подготовиться к войне. Мы не знали лишь одного "пустяка" того, до какой степени мы были не готовы к войне. Наша пропаганда действовала в отношении армии так же, как в отношении колхозов. В отношении колхозов у людей создавали иллюзию, будто где-то есть богатейшие колхозы. В отношении армии создавали иллюзию, будто где-то есть части, вооруженные новейшим оружием и способные в течение нескольких дней разгромить любого врага. Жестокую правду о военных столкновениях с Японией и о войне с Финляндией мы не знали. Нам их изображали как блистательные победы. Войны мы не боялись, даже хотели, чтобы она скорее началась. В случае войны, мечтали мы, отменят строевую подготовку и многое другое. Мы думали, что легко разгромим врага, ворвемся в Европу, мир посмотрим. Многие мечтали о военных трофеях. Полк, в который я попал после переброски на западную границу страны, участвовал в разделе Польши. Меня поразили трофейные одеяла, которые выдавали даже рядовым бойцам. Они казались признаком неслыханного богатства. И вообще кое-какие слухи насчет более высокого жизненного уровня за границей просачивались в нашу среду.

С каждым километром нашего движения в Европу настроение улучшалось. Дело шло к весне. Исчезало тягостное давление отдаленности. Ребята продавали вещи, оставшиеся от гражданки, покупали водку. Пили даже одеколон. Мое настроение, однако, портилось одним обстоятельством "Особняк" передал меня с рук на руки офицеру "органов" в эшелоне. Мне это стало ясно после того, как этот офицер как бы случайно столкнулся со мной на платформе и завел явно провокационный разговор мол, мы поедем через Москву и мне захочется повидаться с "единомышленниками". Шпиономания в это время достигла чудовищных размеров. На Дальнем Востоке нам всюду чудились японские шпионы и диверсанты. Теперь их место стали занимать немецкие. Я боялся, как бы меня не зачислили в немецкие шпионы. Тем более я немного говорил по-немецки. Всю дорогу ко мне подлизывался тот самый бывший друг Юра, который написал донос насчет моего сомнительного прошлого. Я не уклонялся от разговоров с ним, чтобы не возбуждать дополнительных подозрений. Состояние мое всю дорогу было тревожное. Я даже не принимал участия в дорожных солдатских приключениях. Я мучительно искал выход из опасного положения.

Судьба меня хранила. Выход нашелся сам собой. Еще в пути мы узнали об опровержении ТАСС, напечатанном в центральных газетах. В нем говорилось, что распространенные за границей слухи насчет переброски войск в Советском Союзе с востока на запад лишены каких бы то ни было оснований. Мы смеялись над этим опровержением. Мы знали, что все железные дороги, ведущие к западным границам, были забиты воинскими эшелонами. Мы не знали лишь того, что высшее советское руководство и высшее военное командование тем самым готовили многие миллионы потенциальных пленных для Германии. Я, как и все прочие солдаты, понимал, что это "опровержение" было чисто политическим трюком. Но в моем миропонимании оно осело прежде всего как пример

лжи на государственном уровне. Последующие события добавили в это понимание более чем достаточно фактического материала, чтобы оно перешло в принципиальное убеждение. Много лет спустя, обдумывая советскую информационную политику, мне пришлось сделать усилие над собой, чтобы признать некоторую долю правдивости в ней, да и то лишь как средства обмана.

ПЕРЕЛОМ

По прибытии к месту новой службы (это было около старой границы на Украине) нас построили на плацу и стали распределять по частям. Вдруг на штабной машине приехал командир танкового полка с группой офицеров. Спросил, кто из нас может водить мотоцикл. Из строя вышел один парень. Я вышел сразу же вслед за ним, не отдавая себе отчета в том, что я делал, и не думая о последствиях к мотоциклу я до сих пор даже пальцем не прикасался. Наши документы сразу же передали одному из офицеров, сопровождавших командира танкового полка. Нас посадили в машину и увезли в танковый полк. Там узнали, что я обманул их. Но не наказали и обратно не отправили. В моих документах было записано, что у меня образование неполное высшее (так записали в военкомате с моих слов). Я был первым в этом полку человеком со средним (и даже чуточку больше) образованием! Это обстоятельство тоже дало мне материал для серьезных размышлений. После поражений в первые дни войны я встречал людей, которые усматривали вредительство в том факте, что образованных людей посылали в устаревшие виды войск, а не в части с современной военной техникой. Но я уже тогда на это смотрел несколько иначе.

В танковом полку меня сразу же определили в штаб. Узнав, что я хорошо черчу схемы и знаю немецкий язык, меня тут же взяли в секретный отдел. Кроме того, я сам высказал идею во внеслужебное время заниматься немецким языком с офицерами полка. И как-то незаметно получилось так, что я стал помогать политруку готовить политические информации. Короче говоря, я стал уважаемым человеком в полку. Мне присвоили звание сержанта. Я был наверху блаженства. Полк был небольшой по числу людей и очень дружный. Кормили много лучше, чем в кавалерии. Хлеб выдавали не порциями, а без всяких ограничений. Служба была легкая. Я стал регулярно заниматься спортом и окреп физически. Во мне произошел психологический перелом. Я вступил в оптимистическую и жизнерадостную фазу, которая продолжалась затем до конца службы в армии. Я был сыт, здоров. Появилась уверенность в том, что я все-таки ускользнул от "них" и не поддамся в будущем. Появилась бесшабашность. Я все чаще собирал вокруг себя людей, желающих послушать мои шутовские импровизации и повеселиться. И даже война и все связанные с нею злоключения не смогли разрушить и даже ослабить это состояние. Даже наоборот. В обстановке военных лет я почувствовал себя как рыба в воде. К стыду своему, должен сознаться, что, когда кончилась война, я сожалел об этом.

НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

Советская идеология и пропаганда долгое время оправдывала поражение первых лет войны тем, что Германия якобы коварно и неожиданно напала на нас. Это мнение по меньшей мере бессмысленно. Надо различать неожиданность войны и неготовность к ней. Страна готовилась к войне, но не успела подготовиться. К началу войны были, например, уже сконструированы замечательные самолеты-штурмовики Ил-2, на которых мне предстояло летать. А серийное производство их наладили лишь в середине войны. Решение готовить десятки тысяч летчиков было принято еще до войны, а реализовано оно в полной мере было лишь во второй половине войны. Даже первый реактивный самолет был сконструирован и испытан в Советском Союзе до войны. Но советские реактивные самолеты так и не были приняты на вооружение в армии. Это сделали первыми немцы лишь в конце войны (я имею в виду Me-262). Еще до войны стали производить автоматическое оружие, но армия начала войну с чудовищно устаревшими винтовками. Замечательный танк Т-34 был сконструирован тоже до войны. А войну начали с примитивными Т-5 и еще более примитивными бронемашинами Б-10.

Возникает вопрос: почему страна не успела подготовиться к войне? Тут сработал целый комплекс причин. И среди них решающую роль, на мой взгляд, сыграли объективные свойства самого коммунистического социального строя и его системы власти и управления. В этом направлении я стал задумываться уже в то время. Одно дело – принять решение. И другое дело – его исполнить. Речь шла не об отдельном простом действии отдельного человека, а об огромной стране с многомиллионным населением, с определенным человеческим материалом, с гигантской системой власти и управления, с различием интересов различных групп людей и т. д. Одно и то же решение различно интерпретируется различными людьми. Способы исполнения решения могут быть различными. Социальные процессы имеют определенные скорости протекания. На все нужно время. Возникают непредвиденные последствия. Добрые намерения имеют результатом зло. Короче говоря, страна – не рота солдат. А ведь и в роте не все и не всегда идет так, как надо. Именно в период подготовки к войне и в ходе ее коммунистический социальный строй обнаружил все свои сильные и слабые стороны. Сначала слабые. Они обнаружили очевидным образом. Сильные начали сказываться позднее и сначала неявно.

Война оказалась неожиданной. Но для кого и в каком смысле? Она оказалась неожиданной для высшего руководства страной, которое надеялось на большой срок мира с Германией. Она оказалась неожиданной в том смысле, что мы были много слабее, чем думали, а противник оказался много сильнее, чем его нам изображали.

Для нас, солдат, никакой неожиданности тут не было. Незадолго до начала войны наши части инспектировал сам Г.К. Жуков. Тогда он был командующим Киевским военным округом. Я помню, как он с группой генералов и офицеров ворвался в нашу казарму – был мертвый час после обеда. Мы вскочили. Он выругался матом, сказал, что "мы зажрались", что "война на носу", а мы живем "как кисейные барышни". На другой же

день части были приведены в боевую готовность. Нам выдали "смертные медальоны" – медальоны, в которых были бумажки с нашими данными, включая группу крови. Все машины были приведены в боевую готовность. Мы покинули казармы и пару дней жили в полевых условиях ("как на войне"). Потом нас снова вернули в казармы, танки и бронемашины законсервировали.

VII. ВОИНА

НАЧАЛО ВОЙНЫ

Войны ждали с минуты на минуту. А когда она началась на самом деле, она разразилась как гром среди ясного неба. Я не могу описать первые дни войны отчетливо и систематично. Да в этом и нет никакой необходимости: общеизвестно, что это была неслыханная паника и хаос. Это была паника не от животного страха, но паника от хаоса и бессмысленности происходившего. Вдруг обнаружилось, что вся система организации больших масс людей, казавшаяся строгой и послушной, является на самом деле фиктивной и не поддающейся управлению. Это была паника самого худшего сорта – паника развала системы, казавшейся надежной. Впавших в панику от страха людей можно было остановить. А тут люди, не знавшие страха, оказались в состоянии полной растерянности. Люди вдруг потеряли какую-то социальную ориентацию в огромной хаотичной массе людей и событий. Ощущение было такое, будто какой-то страшный ураган обрушился на землю, поломал и перепутал все, лишил людей пространственно-временных координат. Куда-то вдруг исчезла вся гигантская командная машина, и командовать людьми стало некому. В этом паническом хаосе мы были предоставлены самим себе.

Отдельные эпизоды этих дней описаны в моих книгах, и я не буду здесь повторяться. Ограничусь краткими замечаниями.

Наше бегство перешло в отступление с боями – приходилось как-то обороняться. Ожидалась атака немецких автоматчиков. Наше сильно поредевшее подразделение было не способно долго обороняться. Было приказано отступить, оставив прикрытие. Несколько человек вызвались добровольцами, я в их числе. Мы, оставшиеся прикрывать отступление части, приготовились сражаться до последнего патрона и достойно умереть. Это не слова, а вполне искреннее решение. Я заметил, что активная готовность умереть снижает страх смерти и даже совсем заглушает его. Мне не было страшно умереть в бою. Страшно было умереть, будучи совершенно беззащитным и не имея возможности наносить удар врагу. Это мое состояние идти навстречу смерти было

лишь продолжением и развитием моего детского стремления преодолевать страх, идя навстречу источнику страха. Скоро показались немцы. Мы начали стрелять. И они открыли стрельбу.

Мне не раз приходилось читать описания психологического состояния людей в первых боях. Может быть, в этих описаниях была доля истины. Но со мной, так же как и с моими товарищами, ничего подобного не было. Мы начали стрелять так, как будто были старыми солдатами, привыкшими убивать. И дело было не только в том, что враги были на расстоянии, мы не видели их лиц и не знали, в кого именно мы попадали. Потом мне пришлось участвовать в уничтожении группы немецких автоматчиков, оторвавшихся от своей части. Два немца залегли около будки высокого напряжения. Я и еще один солдат встали во весь рост и пошли на них с винтовками. Они не стреляли, может быть, растерялись от неожиданности. Мы прикололи их штыками. Произошло это так быстро, что мы просто не имели времени испытать все те психологические переживания, которые так подробно и вроде бы со знанием дела описывали писатели.

В этой операции я был ранен в плечо. Ранение оказалось не опасным. Но плечо распухло. Я долго не мог двигать рукой. Ни о каком госпитале и думать было нечего. Некому было даже перевязать плечо. Я был горд тем, что был по-настоящему ранен. И был рад, что уцелел.

Еще до войны я прошел медицинскую комиссию и был признан годным к службе в авиации. Тогда говорили, что по личному приказу Сталина всех молодых людей, годных по здоровью и имеющих среднее образование, послать из частей в авиационные школы. Я служить в авиации не хотел и не воспринял решение комиссии всерьез. А с началом войны я вообще забыл об этом. И вот в самый, казалось бы, критический момент начала войны меня вызвали в штаб полка, выдали мне на руки мои документы, посадили на грузовую машину, где уже сидело несколько таких же счастливицков, и куда-то повезли. Оказалось, нас направляли в авиационную школу. Явление это заслуживает внимания: в такой критический момент высшее командование думало о том, чтобы начать готовить летчиков для еще не созданной новой авиации, соответствующей требованиям времени. Значит, еще тогда думали о том, что война будет длиться долго. Должен заметить, что даже в самые трудные периоды войны ни у меня, ни у тех, кто окружал меня, не было сомнения в будущей победе. Воспитание, какое мы получили в школе тридцатых годов, давало знать о себе, несмотря ни на что.

Мудрость командования, однако, прекрасно уживалась с великой глупостью. Вместо того чтобы направить нас в тыл, нас направили на тот же фронт, только на несколько сот километров севернее. Когда мы прибыли (со множеством нелепых приключений) под Оршу, немцы уже были там. Авиационную школу уже эвакуировали. Наша армия готовилась к обороне города. Нас включили в особый батальон, составленный из такого же "сброда", как мы. Документы у нас отобрали, и они затерялись где-то. Батальону было приказано занять район, в котором, по данным разведки, предполагалась высадка немецкого десанта.

После выполнения задания остатки батальона двинулись обратно в

расположение главных сил дивизии. По дороге нас задержали части НКВД, обезоружили нас и хотели тут же расстрелять как переодетых диверсантов или как дезертиров: мы были одеты в форму тех родов войск, где служили, и выглядели действительно как сброд отбившихся от частей дезертиров. Не знаю, почему они не выполнили это решение.

После сдачи Орши мы отступали в направлении к Москве. Я тогда установил для себя, что война – это на пять процентов сражения и на девяносто пять процентов – всякого рода передвижения и работы. А из пяти процентов сражений противника в лицо видит лишь ничтожная часть воюющих. Большинство солдат погибали, ни разу не увидев врага, а многие – даже не сделав ни одного выстрела.

Пустяки почему-то часто лучше запоминаются, чем серьезные явления. Я не могу сейчас достаточно точно описать ни один бой, в котором мне пришлось участвовать. Зато до мелочей помню многие нелепые и смешные случаи. Например, помню, как в расположение нашей части въехали два грузовика с деньгами – эвакуировали какой-то банк. Попросили принять эти деньги, так как они с таким грузом вряд ли смогут пробиться из угрожающего окружения. Какой-то интендант в чине капитана (я сейчас вижу его отчетливо) написал на клочке бумаги расписку, что он принял столько-то мешков денег. У интенданта было такое выражение лица, что никаких сомнений относительно его намерений быть не могло. Мы сказали нашему взводному командиру об этом. Он лишь усмехнулся: мол, если этому идиоту жить надоело, пусть бежит с этими деньгами. Только куда?! Нам почему-то было смешно. Я тогда выдвинул новую трактовку полного коммунизма: при нем деньги будут выдавать по потребности, только купить на них будет нечего. Ребята смеялись над шуткой. Про возможность доноса все как-то позабыли.

Другой смешной случай произошел с необычайно толстым полковником, решившим сыграть роль полководца. Он вылез на бруствер окопа, чтобы осмотреть позиции немцев, которых на самом деле поблизости не было. Но просвистел шальной снаряд, и полковнику срезало голову. Он, однако, продолжал стоять без головы, широко расставив ноги. Мы хохотали до коликов в животе. Смотреть такое зрелище прибегали люди из соседних полков.

Однажды я решил нарушить свои правила осторожности и написал письмо матери. В письме я написал такие слова: "Противник в панике бежит за нами". Наши письма просматривали особые лица из военной цензуры. Письма просматривали на выбор. Мое письмо случайно оказалось таким. Меня вызвал политрук и потребовал объяснить смысл моей фразы. Я сказал, что противник действительно в панике, но что мы все-таки отступаем из стратегических соображений. Он сказал, что так и нужно написать без выкрутасов: в стратегических целях мы организованно отходим на заранее подготовленные позиции, нанося противнику удары и обращая его в паническое бегство. И упрекнул меня в том, что хотя я студент, а писать грамотно не умею. Письмо я переписывать не стал. Второй раз его не просмотрели, и оно дошло. Мать долго его хранила.

Конечно, война не была развлечением. Были все те ужасы, о которых писали бесчисленные авторы и которые показывались в бесчисленных фильмах. Я их видел и переживал так же, как и другие. Кое-что

досталось и мне самому. Я не могу добавить к тому, что уже сказано на эту тему, ничего нового. Кроме того, мое сознание всегда было ориентировано так, что все очевидные ужасы проходили мимо меня стороной. Я видел в происходящем то, на что не обращали внимания другие, а именно нелепость, уродливость и вместе с тем чудовищную заурядность происходившего.

В командных верхах, надо полагать, кто-то все-таки думал о создании авиации, способной конкурировать с немецкой и в конце концов завоевать господство в воздухе. Нас, уцелевших кандидатов в будущие летчики, нашли и направили в Москву, а оттуда – в авиационную школу под Горьким.

АВИАЦИЯ

В последующие годы (1942 – 1944) я учился в авиационных школах, несколько месяцев был в наземных войсках, служил в различных авиационных полках. Многочисленные мелкие эпизоды, имевшие место со мной в эти годы, дали мне много материала для литературы. Но в реальности они были чрезвычайно прозаичными. И в них не было ничего такого, что сыграло бы принципиальную роль в моей личной эволюции. Я расскажу лишь о некоторых событиях этих лет, чтобы описать мой образ жизни и мыслей в эти годы.

Особыми способностями в летном деле я не могу похвастаться. Но летал я вполне прилично. В эти годы рухнуло представление о летчиках как о существах особой породы, так как летать стали обучаться не исключительные единицы, а массы случайно отобранных людей. Большинству из них пришлось стать летчиками в силу обстоятельств, а не по призванию. Лишение летчиков ореола исключительности сказалось, в частности, в том, что ликвидировали особую авиационную форму и всякие привилегии. Оказалось, что летать могут научиться практически все здоровые люди. Процент неспособных оказался незначительным, причем многие симулировали неспособность из боязни попасть на фронт и быть сбитым.

Другое открытие сделал я сам. Заключалось оно в том, что процесс обучения можно было сократить буквально до нескольких недель и упростить. Я встречал некоторых летчиков, которые как-то ухитрились научиться летать на боевых машинах, минуя всякие предварительные и промежуточные. Процесс обучения растягивался в авиационных школах не из-за человеческих возможностей, а из-за недостатка машин и горючего, а также из-за соображений создания резерва летчиков. Как это и характерно для советской системы, бросающейся из одной крайности в другую, к концу войны в стране образовалось перепроизводство летчиков и из авиации стали увольнять даже опытных и заслуженных офицеров.

Я летал на различных типах самолетов, уже к тому времени устаревших. В конце концов стал летчиком на штурмовике Ил-2. Это была машина замечательная. Скорость ее, правда, была незначительная – немногим

более четырехсот километров в час. Зато она имела мощное вооружение, была бронированной в самых важных местах, имела очень высокую степень выживаемости. Машина была предназначена специально для борьбы с танками, для бомбежки мостов, железнодорожных узлов и вообще для уничтожения небольших объектов, когда требовалось точное попадание бомб. Очень скоро Илы стали грозой для немцев. Они их прозвали "черной смертью". Илы сбивались истребителями, зенитным огнем и даже из танков. Средняя продолжительность жизни летчиков на фронте была менее десяти боевых вылетов. В наших наземных частях их называли смертниками. И, несмотря на это, Илы сыграли огромную роль в войне. Они были созданы именно для условий этой войны. После войны они очень скоро были сняты с вооружения.

ТРАГИКОМИЗМ ЖИЗНИ

Летали мы с перерывами – кончался "лимит" горючего. В перерывах мы вели жизнь обычных солдат: ходили в наряды, работали, занимались строевой подготовкой и спортом, изучали теорию полетов и историю партии, ходили в самовольные отлучки, пьянствовали, занимались мелкими махинациями. Мы были молоды, не голодали в медицинском смысле, не выматывались физически. На фронтах гибли люди, а мы пока что были в безопасности. Нам предстояло летать, а не ползать в грязи. Моя озабоченность социальными проблемами ослабла и отошла на задний план. Я встречал людей, подобных мне, и вел с ними острые политические разговоры. Некоторые из них были еще более яростными антисталинистами, чем я. Но эти разговоры не имели никакого влияния на наше поведение как обычных курсантов. Я не смотрел на это как на подготовку к какой-то будущей деятельности – о будущем вообще не думалось. Я распропагандировал нескольких курсантов, привив им мои взгляды. Но я не уверен в том, что это влияние было глубоким. Я, конечно, постоянно думал о происходящем, анализировал, обобщал. Но эта интеллектуальная деятельность принимала совсем иной характер, чем в прошлые годы. Она стала более жизнерадостной и литературной. Приведу пример моего шутовства из тех, которые мне запомнились. Инструктор парашютного спорта объяснял нам, как пользоваться парашютом. Сказал, что, если не открылся главный парашют, нужно дернуть кольцо запасного парашюта. Кто-то спросил, что делать, если запасной парашют не открывается. Я тут же ответил за растерявшегося инструктора: надо пойти в склад и обменять парашют на исправный. Над этой хохмой долго потешались потом в школе. Инструктор парашютного спорта взял эту хохму на вооружение и в своих занятиях с другими курсантами использовал ее для оживления лекции.

Мои шутки принимали порою довольно острый политический характер. Но в те годы критическое отношение ко всему все более распространялось и становилось все более заметным. Так что мои шутки обходились без катастрофических последствий. Я не был единственным хохмачом. Были и другие, имевшие больший успех, чем я. Мои шутки были все-таки

слишком интеллигентными. Не все их понимали. В нашем же звене был парень – прирожденный комический актер и импровизатор. Он насыщал свои шутки грубостями, нецензурными выражениями и скабрзностями, имевшими особенно большой успех.

Я выпускал, повторяю, "боевые листки". Помимо сатирических стихов для них и фельетонов, я сочинял шуточные и иногда совсем не шуточные стихи просто так, от нечего делать и для развлечения. Все это куда-то потом пропадало. В 1942 – 1943 годы я сочинил большую "Балладу об авиационном курсанте". Тогда в школе по рукам ходила другая "Баллада", не знаю, кем сочиненная. Она была сплошь из мата и скабрзных выражений. Я несколько отредактировал ее, но устранить скабрзности полностью было невозможно. Тогда-то я и сочинил свою "Балладу". Сочинил я ее одним махом, т. е. за одну ночь в карауле. Она получилась вполне приличной с точки зрения свободы от мата и скабрзности, но зато явно политической. Я прочитал ее своим друзьям, которым мог доверять. Они посоветовали уничтожить ее во избежание недоразумений. В 1975 году я переписал ее заново, припомнив кое-что из первичного варианта. Отрывки из нее были опубликованы в книге "Зияющие высоты", а полный текст в книге "В преддверии рая" (1979).

"Баллада" была написана в духе народного творчества, которое оживилось в войну. Образцом ее была поэма А. Твардовского "Василий Теркин". В 1942 1943 годы в нашей авиационной школе циркулировала стихотворная поэма, написанная в подражание поэме Некрасова "Кому на Руси жить хорошо". Поэма называлась "Кому в УВАШП жить хорошо" (УВАШП – Ульяновская военная авиационная школа пилотов). Кто был ее автор, не знаю. Может быть, тот же парень, который сочинил хулиганскую "Балладу". Эта поэма была сочинена великолепно. Сюжет ее был такой. На лестнице в учебно-летном отделе встретились семь курсантов и решили выяснить, кому хорошо живется в УВАШП. Они обошли военнослужащих всех категорий, начиная от моториста и кончая начальником школы. Оказалось, что у всех было на что жаловаться. Отчаявшись, курсанты пришли в казарму. И тут они увидели, что, спрятавшись под матрац, прямо на железной сетке спал курсант – сачок Иванов. Увидев его, курсанты поняли, что нашли того, кого искали, – человека, которому действительно хорошо, привольно и весело жилось в УВАШП.

В той замечательной поэме был создан образ армейского сачка. Но это явление стало обычным в советском обществе в послевоенные годы и вне армии. Сачок возник как наследник дореволюционного Обломова, но уже в специфически советских условиях. В моей книге "Желтый дом" есть такой персонаж – младший научно-технический сотрудник Добронравов, ухитрявшийся хорошо (с его точки зрения) жить на самой низшей должности в институте. Это был сачок более высокого уровня, чем тот армейский Иванов.

Я много занимался спортом. Некоторое время – боксом. В школе была боксерская секция. Тренером был мастер спорта по боксу. Однажды я стоял в группе зевак, смотревших на тренировку команды школы, готовившейся к соревнованиям. Тренер предложил мне попробовать побоксировать. Я надел перчатки первый раз в жизни. Тренер приказал

мне ударить его. Неожиданно для меня самого я ударил его левой рукой и нокаутировал. Он не ожидал этого и не успел защититься. После этого меня приказом по школе включили в команду, освободили от полетов и приказали готовиться к соревнованиям. Я быстро освоил основы боксерской техники и на соревнованиях гарнизона занял первое место: мои противники были такие же "мастера", как и я. Но потом начальник команды приказал мне сразиться с парнем из танкового училища, который на две весовых категории был тяжелее меня, рассчитывая на мою "техничность". И тот парень, конечно, побил меня, хотя техникой бокса владел еще хуже, чем я. После этого я боксом заниматься бросил. Меня за это не наказали, так как наш тренер попал в штрафной батальон за воровство и наша команда распалась.

А главное – я научился ценить реальные блага жизни и пользоваться ими. Спать на посту, наворовать картошки и испечь ее в печурке в караульном помещении, ускользнуть в самовольную отлучку к девчонкам, ухитриться получить дополнительную порцию еды, достать выпить какой-нибудь одуряющей дряни, что еще нужно солдату?!

Пустяковые на первый взгляд явления бытовой жизни давали мне для понимания реального коммунизма неизмеримо больше, чем толстые и заумные тома сочинений теоретиков. Приведу несколько примеров. Один курсант совершил вынужденную посадку – "обрезал" мотор. Чтобы охранять самолет, создали особый трехсменный пост. Часовые продавали местным жителям бензин, масло, обшивку самолета. Последняя шла на кастрюли, ложки и вилки. Таким путем за несколько дней буквально ободрали самолет до каркаса. Судили тех, кто стоял последним на этом посту. Или другой случай. Один из складов нашей школы был расположен рядом со складом молочного комбината. Часовые, охранявшие склад, проделали дырку в стене склада молочного комбината и через нее воровали сыр. На этом посту и мне довелось стоять. И мне удалось, просунув в дыру винтовку, наколоть штыком головку сыра. Один такой часовой уронил винтовку. Воровство раскрылось. Судили лишь этого парня, хотя было очевидно, что он один не мог сожрать по меньшей мере полсотни килограммов сыра.

Мы относились к подобным историям как к мальчишеским забавам, а не как к преступлениям. Ульи, сыр, самолет и т. п. принадлежали обществу, т. е. никому, с точки зрения отдельных индивидов на нашем уровне. Урвать что-то из этого ничейного источника не означало воровство. Только страх наказания удерживал и удерживает людей от хищений "социалистической собственности". Наше поведение было типичным для советских людей. Потом нам политруки "разъясняли", что преступники воровали из "общенародного котла". Но мы воспринимали это как чисто идеологическую болтовню. Обещания пропаганды и идеологии, будто при коммунизме сознание людей достигнет такого высокого уровня, что люди вообще перестанут совершать преступления, мы воспринимали с презрением и насмешкой.

Сейчас уже забыли о том, что в сталинские годы производились регулярно подписки на заем. Это была лишь замаскированная форма снижения заработной платы.

Подписывались на заем и мы, курсанты. Поскольку деньги нам платили

мизерные и один заем следовал за другим, я решил одним ударом отделаться от них; я подписался на тысячу процентов месячной зарплаты. Это означало, что десять месяцев я вообще не должен был получать денег. Мой поступок начальство оценило как верх патриотизма, так как остальные курсанты подписались кто на двести процентов, кто на триста, самое большое – на пятьсот. Но тут вдруг политрука осенила мысль: ведь если будет новый заем, мне уже не на что будет подписываться и в эскадрилье не будет стопроцентного охвата курсантов подпиской на заем. Дабы избежать такой перспективы, в подписной ведомости политрук сам стер один нолик в моей сумме. В результате я оказался подписанным лишь на одну месячную зарплату, т. е. на сто процентов. Это было меньше всех в эскадрилье. Такого рода "шуточками" я потешался неоднократно. Страх наказания был ослаблен сознанием того, что "дальше фронта не пошлют, больше вышки не дадут" ("вышкой" называли высшую меру наказания – расстрел).

На низших уровнях жизни, так же как и на высших, совершается умышленное искажение реальности, которое потом воспринимается как бесспорная истина. В нашем звене был один курсант. Подлиза, наушник, трус. Поскольку служба в авиации стала массовой и принудительной, в ней трусов оказалось не меньше, чем в других родах войск. Но этот парень был трус даже среди трусов. Мы по программе обучения должны были совершить несколько прыжков с парашютом. Этот парень наделал в штаны в прямом смысле слова и облевался от страха уже в самолете. А когда его выбросили из самолета, он умер от разрыва сердца. На землю он спустился уже мертвым. Слух о том, что один летчик погиб, распространился по городу. Наше начальство решило его похороны использовать в воспитательных целях. В газете напечатали его портрет и статью, в которой он был изображен пламенным патриотом и отличником боевой и политической подготовки. О смерти его написали, что он героически погиб при исполнении задания командования. Похороны его превратились в демонстрацию. Впереди шли мы, курсанты из звена героически обосравшегося пламенного патриота. Шли с полотнищем, на котором большими буквами были написаны слова из "Песни о буреветнике" М. Горького: "Безумству храбрых поем мы славу!" Так и вошел этот трус в "золотой список" школы как образец храбрости. Каюсь, это полотнище было моей затеей. Когда я писал этот лозунг, все присутствовавшие буквально плакали от смеха.

Мы, естественно, жили в атмосфере слезки и доносов. Время от времени какой-либо курсант исчезал. Ходили слухи, что его "взяли за политику". Мы обычно избегали разговаривать в опасном направлении и были осторожны. Выработалось умение сразу определять, с кем и о чем можно было говорить. Кроме того, было ясно, что "органы" работали сугубо формально, т. е. отбирали жертвы более или менее случайно и в соответствии со своими собственными критериями: им надо было "обозначать" свою деятельность перед вышестоящим начальством ("щелкать каблуками"), но так, чтобы не вредить подразделению, в котором они работали, и самим себе. Им надо было показать, что они "бдят", но что часть является здоровой в идейно-политическом отношении. Имея в изобилии осведомителей и доносы, сотрудники "органов" производили отбор жертв так, что серьезные идейные враги (вроде меня) оставались порою нетронутыми, а в их сети попадали люди, сдуру сболтнувшие лишнее слово.

В моих личных взаимоотношениях с "органами" все это время не произошло ничего особенного, если не считать случая с аварией самолета, не имевшей никакой связи с прошлым.

"ГУСАРСТВО"

После окончания военной школы я принял решение начать бездумную жизнь "гусара" современной армии – рядового летчика без всяких карьеристских амбиций. Я начал пить водку. Я обнаружил, что могу нравиться женщинам. Мне стало нравиться проводить время в разгульных компаниях, участвовать в рискованных приключениях. Все это создало мне репутацию бесшабашного гуляки и балагура. За это меня любили на самом низшем уровне армейской иерархии.

За боевые вылеты нам давали по сто грамм водки. Мы к ним добавляли еще всякие одуряющие напитки, добытые на стороне. Мой стрелок был большой мастер по этой части. Во время войны на такое "гусарство" смотрели сквозь пальцы: лишь бы человек хорошо летал. Но все же это учитывали, ограничивая присвоение званий, присуждение наград и повышение в должностях. А я к этому и не стремился. Я не был исключением: такими было большинство рядовых летчиков.

С такими пороками я, как и другие, мог бы вполне нормально продолжать службу и даже вознаграждаться за нее, если бы не "политика". В полку уже был летчик, пострадавший за "политику". Хотя он совершил около ста боевых вылетов, у него не было никаких наград и не было никакого звания. Он был разжалован, лишен наград и осужден на десять лет за антисталинские высказывания. Был в штрафном батальоне, кровью искупил свое преступление и был возвращен в полк. Мы с ним почувствовали друг в друге родственные души и подружились. В моей жизни это был самый глубокий антисталинист.

В книгах и фильмах многократно прославлена фронтовая дружба. Не спорю, общая опасность сближает людей. Но совсем не так сильно, как принято считать. Уже в начале войны я заметил, с каким равнодушием люди относились к гибели товарищей. Погибших забывали очень быстро. Людьюми владели другие чувства – страх, стремление к самосохранению, к выгоде хоть в чем-либо. Тяжелые и опасные условия не ослабляли, а усиливали общие принципы поведения людей в массе себе подобных. Героические и самоотверженные поступки люди совершали в порядке исключения. В большинстве известных мне случаев люди, слывшие героями, были отобраны на эту роль начальством. Награды выдавались тоже в зависимости от решений начальства. Настоящие герои обычно погибали и редко вознаграждались. Коммунистические принципы распределения наград, должностей и даже репутации действовали и в условиях человеческой бойни.

Это время было весьма противоречивым. С одной стороны, я все глубже погружался в трясину "гусарства", а с другой стороны, во мне стали усиливаться мои социальные и литературные наклонности. Я

принципиально отказался от всяких попыток выслуживаться и делать карьеру, отдавшись с этой точки зрения во власть обстоятельств. Таких, как я, было много. Служба в авиации располагала к этому. С одной стороны – привилегированные условия, уважение к ним как к смертникам. С другой стороны – возможность быть сбитым в ближайшем же бою и готовность погибнуть в любой момент. Считается, что плохие условия жизни способствуют развитию безразличия к жизни и готовности к смерти. Я на основе своих наблюдений убедился, что это далеко не всегда верно. Я не раз видел, как люди в самом жалком состоянии цеплялись за жизнь любой ценой и как люди с довольно благополучными условиями отважно шли на смерть. Именно хорошие условия в авиации развивали в нас готовность к смерти, ибо все равно уклониться было нельзя. Да мы и не стремились уклоняться, за редким исключением. Участие в боях делало нас исключительными личностями, уклонение же от этого каралось презрением.

Я время службы в авиации считаю одним из самых лучших в моей жизни. Самые опасные для штурмовиков годы войны прошли. Советская авиация завоевала господство в воздухе. Нас сбивали, но не так часто, как раньше. Средняя продолжительность жизни летчика увеличилась с десяти до пятнадцати, а к концу войны даже до двадцати боевых вылетов. Кормили нас по тем временам превосходно. Одевали по общearмейским нормам, но мы ухитрились раздобывать щегольское обмундирование. Плюс летное обмундирование тоже придавало нам вид аристократии армии. После полетов нам давали водку официально. Мы добавляли еще. Вечерами проводили время на танцах. В полку было много девушек радистки, мотористки, механики. Многие из них были красивыми и имели среднее образование. Плюс к тому в зенитных батареях, охранявших наши аэродромы, служили в основном девушки.

Дело шло к победе. В армии назревало состояние ликования по этому поводу. Это было время наград. Летать стало не так опасно, а награды получать стало легче. Началась оргия наград. Причем награды как из рога изобилия сыпались на начальство и на всех тех, кто вообще в боях не участвовал. Я тогда произвел свои измерения и установил, что более семидесяти процентов наград были даны людям, вообще не участвовавшим в боях в собственном смысле слова. Много лет спустя, когда признали конкретную социологию, я с удивлением узнал, что произвел свои те вычисления военных лет вполне корректно. Вся масса людей, от которых зависела наша жизнь, становилась добрее и великодушнее. Люди стали свободнее себя чувствовать в смысле выражения мыслей.

Я не буду описывать конкретно боевые эпизоды. Это обычно была рутинная работа, интересная только опасностью и приятными последствиями, если ты уцелел. Помню лишь общее психологическое состояние, связанное с ними. Должен сказать, что я, как и другие, с удовольствием принимал участие в боевых вылетах. Настроение было праздничным, приподнятым. Было приятно ощущать себя обладателем мощной боевой машины, было приятно бросать бомбы и стрелять из пушек и пулеметов. Жертвы нашей "работы" мы не видели близко. Они фигурировали в наших отчетах в виде чисел убитых солдат и офицеров противника и уничтоженной техники. Иногда мы летали бреющим, т. е. на малой высоте, расстреливая из пушек и пулеметов мечущихся на

земле людей. И это тоже доставляло удовлетворение. По нас, конечно, стреляли зенитки. На нас нападали "мессера". И многих сбивали. В этом было мало приятного, но мы знали, что если тебе суждено погибнуть, то "это только раз". Смерть в штурмовой авиации была быстрой и безболезненной. В случае попадания штурмовик, начиненный бензином, бомбами и снарядами, обычно взрывался в воздухе или при ударе о землю. Кроме того, немцы летчиков-штурмовиков в плен не брали: убивали на месте.

Машина, на которой я летал (Ил-2), была потрясающей во многих отношениях. Я ее считаю самым гениальным изобретением для целей войны. Однажды я должен был фотографировать результаты работы эскадрильи по бомбежке железнодорожного узла. Я должен был зайти на цель, включить фотопулемет и ни в коем случае не маневрировать, т. е. не уклоняться от зенитного огня. И меня основательно изрешетили. Один снаряд угодил в ящик для пулеметных лент, другой – в мотор. Несколько цилиндров вышло из строя. Но я все-таки дотащился до ближайшего аэродрома, где "сидел" другой полк, и приземлился. Осматривавшие мою машину инженеры заявили, что в таком состоянии самолет теоретически не мог лететь. Но я все-таки долетел.

НАТУРА ОБЩЕСТВА

Одновременно с нарастанием тех благ, о которых я говорил выше, происходило нарастание явлений противоположного характера. Страна оправилась от шокового состояния поражений и восстановила уверенность в способности выжить. Объективные закономерности отношений между людьми и их поведения стали заявлять все настойчивее и очевиднее. В условиях поражений, растерянности и перестройки страны в ходе разрушительной войны социальный аспект жизни отошел на задний план. Теперь же он снова стал заявлять претензии на главные роли. Например, награды стали самым циничным образом распределяться в соответствии с чинами и формальными принципами оценки людей, а не в зависимости от личных заслуг. Карьеристы, подхалимы и приспособленцы получили преимущества в продвижении по службе и в получении чинов. Фиктивные дела стали занимать место дел фактических, преувеличение успехов в отчетах стало принимать гротескные формы.

Однажды я сказал по этому поводу, что если бы в наших отчетах о военных успехах была бы хотя бы половина правды, то у немцев уже не должно было бы остаться ни одного солдата, ни одного танка, ни одного самолета. О моем высказывании донесли политруку, и я имел с ним неприятную беседу. В результате мою кандидатуру на должность старшего летчика отклонили. Вместо меня назначили только что прибывшего в полк неопытного летчика, который успел стать комсоргом полка и кандидатом в члены партии. Я же был беспартийным. Такого рода случаи, когда "тыловикам" отдавали предпочтение, становились обычными. А что касается наград, то со мной произошел случай, весьма характерный с этой точки зрения. В один из совершенно безопасных боевых вылетов мне вместо стрелка посадили майора из политотдела

дивизии. Майору нужно было иметь в своем активе личное участие в боях, чтобы получить высокую награду. Ко мне его посадили потому, что я считался самым "мягким" (или "плавным") летчиком эскадрильи. Полет был фактически прогулкой – мы бомбили какой-то мирный населенный пункт. Я решил проучить майора. Я вел машину специально так, что его стало мутить. К тому же он перед вылетом выпил для храбрости стопку водки. Он облевал всю кабину стрелка и фюзеляж самолета. Когда мы приземлились, он чуть живой вылез из самолета и хотел уйти, но я его заставил вымыть кабину и фюзеляж, угрожая пистолетом. Мне за эту выходку дали двое суток ареста. А майора наградили орденом Красного Знамени за участие в боях и "проявленную при этом храбрость". Кроме ареста, я был наказан тем, что меня отстранили от очередной законной награды.

О том, до какой нелепости дошла наградная система, говорит хотя бы такой факт. К нам в воздушную армию прибыла важная комиссия из Москвы. Я был дежурным по полку, когда комиссия должна была прибыть к нам. Зная по опыту, на что обычно обращают внимание в таких случаях, я мобилизовал всех людей, не занятых на аэродроме, на уборку мусора в расположении полка и в помещениях. Я попал, как говорится, в яблочко. В других полках комиссия возмущалась именно захлапленностью территории, окурками в помещениях, плохой заправкой коек. В нашем полку она была потрясена порядком. За это ряд старших офицеров полка был награжден орденами и медалями, а меня наградили почетным оружием – немецким пистолетом "вальтер".

МОЯ НАТУРА

Хотя я вроде бы оторвался от прошлого, я не мог оторваться от своей натуры. Она постоянно вылезала наружу в репликах, речах, экстравагантных выходках.

Вместе с тем было общепризнано, что я лучше всех в полку занимался политической подготовкой и знал марксистские тексты лучше самого политрука. Когда политруку требовалось процитировать "Краткий курс истории ВКП (б)", он обращался ко мне, и я читал эти места наизусть. Но иногда я точный текст забывал, особенно после пьянок. Тогда я импровизировал, причем всегда так, что отличить мой бред от сталинского было невозможно. Политрук как-то спросил меня, почему я вел себя так плохо, хотя был хорошо знаком с марксизмом. Я ответил, что именно поэтому. Он сказал, что я опасный человек и что за мной надо смотреть в оба. Но ему это не удалось. На нашем аэродроме приземлился истребительный полк. Некоторое время мы жили вместе. Истребители оказались еще более распущенными и анархичными, чем мы. Вечером на танцы они приходили вдребезину пьяные и устраивали дебоши. Наш политрук однажды приказал одному такому пьяному истребителю покинуть помещение и идти спать. Тот вынул пистолет и пристрелил нашего замполита. В победоносной армии стали замечаться признаки морально-психологического разложения.

Почему меня терпели? Во-первых, потому, что я был не один такой и

даже не худший. Были экземпляры и похуже меня. Во-вторых, была война, я добросовестно выполнял обязанности "смертника". В-третьих, я никому не становился поперек дороги, никому не мешал. В-четвертых, на мое поведение смотрели как на мальчишество. Кто мог знать, что я был потенциальным автором "Зияющих высот", если об этом не помышлял и я сам?!

Впрочем, в это время я сочинял много стихов. И начал задумываться над тем, чтобы написать повесть или роман. И даже написал кое-что. Но рукописи пропали при довольно комических обстоятельствах. Мы перебазировались с одного аэродрома на другой. Личные вещи мы погрузили в бомболюки. На новом аэродроме мы не успели разгрузиться, как нам подвесили внешние большие бомбы, не влезавшие в люки, и сразу послали на задание. После обычной бомбежки объекта нам с земли по радио приказали "продублировать аварийно". Мы бомбы сбрасывали всегда с помощью электросбрасывателя. Иногда они застревали в бомболюках. Это было опасно: при посадке бомбы могли вывалиться и подорвать самолет. Чтобы этого не произошло, мы иногда открывали бомболюки на всякий случай еще и механическими средствами – "аварийно". В этот раз нам приказали это сделать с земли. Я выполнил приказание, и мои личные вещи, в том числе шинель, сапоги и рукописи, улетели в расположение разбомбленного противника. Шинель и сапоги было жаль – это были действительно большие ценности. О рукописях я даже не подумал. К тому же хранить их было небезопасно. В то время, когда мы летали, дневальные и дежурные по приказанию Особого отдела осматривали наши вещи. Рукописи мне приходилось прятать, оставляя для осведомителей лишь то, в чем не было ничего криминального.

ГЕРМАНИЯ

Германия ошеломила нас своим сказочным (сравнительно с нашей российской нищетой) богатством. Миллионы советских людей вдруг увидели, что тот уровень жизни, о каком они мечтали как о коммунистическом изобилии, уже был обычным уровнем в Германии, а значит, так думали люди, и в других капиталистических странах. Как мыльный пузырь, лопнул образ капиталистических стран, создававшийся советской идеологией и пропагандой. Достойной насмешки стала марксистская сказка об обществе изобилия в будущем. Еще более убогой стала выглядеть российская убогость. Советские люди, придя в Германию, не увидели того, как добывалось такое изобилие, какую цену люди тут платили за него. Они видели лишь очевидные результаты – дома, дороги, одежду, обувь, посуду и другие вещи, которые до сих пор являются предметом мечтаний и мерилем богатства для советских людей. И то, что они видели, оказывало на них гораздо более сильное влияние, чем слова идеологии и пропаганды об эксплуатации и каторжном труде. И до сих пор советским людям Запад представляется как общество изобилия материальных ценностей. До сих пор советские люди игнорируют то, что за это изобилие западным людям приходится платить высокую цену – цену, которую сами советские люди платить не хотят.

Миллионы советских людей вошли в Германию как победители. Массы населения Германии бежали от советской армии, бросая все свое имущество. Это усиливало видимость богатства. Причем богатство это было доступно. Оно рассматривалось как военные трофеи. Началось организованное и стихийное разграбление брошенных ценностей. И не только брошенных.

Военнослужащие полка стали стремительно "обарахляться". За трофеями снаряжались специальные машины и команды. Потом трофеи делились в полку в соответствии с чинами и званиями. Началась оргия посылок в Советский Союз. Опять-таки по нормам. Я категорически отказался участвовать в "обарахлении" и в дележе трофеев. Я сказал себе, что, если даже под ногами у меня будут валяться бриллианты, я не унижусь до того, чтобы нагнуться за ними. Я до сих пор горжусь тем, что не взял в брошенных домах даже зубную щетку. Такое мое поведение вызывало недовольство у прочих офицеров полка. Они чувствовали себя грабителями, глядя на меня. Со мной имел длинный разговор новый замполит полка, убеждая меня в том, что трофеи есть законная плата немцев за ущерб, причиненный ими нашей стране. Я не оспаривал его мнение, но оставался при своем. Я говорил, что не имею ничего против того, что наши солдаты и офицеры подбирают вещи, брошенные немцами. Я лишь сам не хочу это делать принципиально.

Подавляющее большинство солдат и офицеров нашей армии вообще не имели возможности приобретать "трофеи" или получали ничтожные подачки. Грабежом Германии занималось меньшинство. Но все равно этих "барахольщиков" было много, и они влияли на общие настроения "барахольства" в армии. У нас в полку было несколько таких хапуг. Их презирали. Настоящими грабителями, однако, были офицеры, сержанты и солдаты частей, обслуживавших боевые части, специальные трофейные команды, старшие офицеры и генералы. Многие грабили очень практично, умело и со знанием дела. Они вывезли из Германии действительно огромные ценности. Выше я упоминал об офицере, который симулировал потерю ориентировки и стал адъютантом эскадрильи. После окончания войны он сразу же демобилизовался из армии. Уехал он с двенадцатью битком набитыми чемоданами. Не знаю, сумел он довести их до дома или нет. Он увозил вещи на первый взгляд бессмысленные, например швейные иголки и копировальную бумагу для пишущих машинок. Но в то время такие вещи были дефицитом в России и стоили больших денег. Один из генералов нашей армии, случайно напоротившийся на забытую мину и раненный в ноги, уехал в Союз с двумя вагонами "барахла". В этом "барахле" были дорогие концертные рояли, мотоциклы, зеркала, фарфоровая посуда, серебряные и золотые столовые приборы, картины, рулоны мануфактуры, ящики вин. Уже находясь в резерве, я познакомился с бывшим офицером трофейной команды. Он уезжал домой "налегке": с мешочком драгоценностей.

У этого офицера сложилась забавная судьба. Он был летчиком-истребителем, успешно летал, сбил несколько немецких самолетов, был награжден многими орденами, был сбит и ранен, после госпиталя допущен к полетам лишь на легкомоторных самолетах, стал летчиком связи при штабе корпуса. Однажды ему надо было доставить политического генерала в штаб армии. Он спяну потерял ориентировку

и сел на территорию, занятую немцами. Генерал вылез из самолета. Летчик увидел немцев, бегущих к самолету. И генерал их увидел. Но летчик не стал ждать, пока генерал влезет в кабину, дал газ и пошел на взлет. Генерал успел схватиться за руль глубины. Схватился с такой силой, что прорвал обшивку. Так с генералом на хвосте, то подпрыгивая на несколько метров, то плюхаясь обратно на землю, самолет проскочил линию фронта. Генерал все-таки выжил. Летчик оправдался тем, что все-таки спас генералу жизнь. Из авиации его отчислили. И он через каких-то друзей устроился в трофейную команду.

Германия поразила нас также обилием общедоступных женщин. Практически доступны были все, начиная от двенадцатилетних девочек и кончая старухами. Сейчас мне иногда приходится слышать, будто советская армия насильовала немецких женщин.

В той мере, в какой мне была известна реальная ситуация, могу сказать, что это утверждение абсурдно. Когда мы вошли в Германию, немецкие женщины уже почти все были изнасилованы, если они вообще оказывали сопротивление. И почти все были заражены венерическими болезнями. В нашей армии за изнасилование судили военным трибуналом, а заболевших венерическими болезнями отправляли куда-то на принудительное лечение. Я видел однажды эшелон, полностью набитый такими больными. Вагоны (конечно, товарные) с больными сифилисом были запорты снаружи, окна были затянуты колючей проволокой. В одной деревне нас распределили на ночлег по домам. Хозяин дома, старик, вышел к нам и предложил в наше распоряжение дочь и внучку. В руках у него был лист бумаги, в котором расписывались те, кто пользовался его "гостеприимством". Немцы чувствовали себя соучастниками Гитлера и виновными в том, что немецкая армия творила в Советском Союзе. Они ожидали нечто подобное и со стороны советской армии. И готовы были услужить чем угодно, и в первую очередь – женским телом. Надо сказать, что советские солдаты эту возможность не упускали. Сколько из них заболело венерическими болезнями, трудно сосчитать.

Моя служба на территории Германии началась с трагикомического случая. Я мог объясняться по-немецки. Поэтому некоторые офицеры, желавшие завести амурные дела с немками, обращались ко мне за помощью. В их числе оказался тот самый майор из политотдела дивизии, о котором я уже упоминал. Я познакомил его с очень красивой женщиной, на которой несколько ребят подцепили гонорею. Потом в дивизии потешались над тем, что "Зиновьев наградил триппером майора К.". Тайну выдал он сам: обнаружив болезнь, он пожаловался на меня в Особый отдел.

Однажды в расположении полка задержали мальчика, прокалывавшего шилом шины наших автомашин и мотоциклов. Много лет спустя я рассказал об этом моим аспирантам из ГДР. Один из них покраснел и сказал, что это был не он. Но я подозреваю, что это был именно он, так как он был родом как раз из этого поселка и по возрасту подходил. Он стал членом компартии и сделал приличную карьеру.

ПОСЛЕДНИЕ БОИ

Хотя война перенеслась на территорию Германии, немцы воевали с ожесточением. Временами нам приходилось тужить. Во время одного из боевых вылетов немцы сбивали сразу четыре наших самолета. В этот вылет подбили и меня. В моей машине насчитали более тридцати пробоин.

Около Берлина мы впервые увидели в воздухе немецкие реактивные самолеты Me-262. Они вызвали у нас восхищение, а не страх. Война кончалась, и эти чудесные самолеты не могли изменить ее очевидный исход. Мы дважды подвергались их атакам и оба раза успешно отразили их. В 1982 году в Мюнхене мне позвонил человек, назвавшийся доктором Мутке. Он узнал обо мне от швейцарского генерала, читавшего мои книги и приглашавшего меня на конференции. Из разговора с ним я узнал, что во время войны он летал на Me-262 как раз на нашем участке фронта. Мы потом встречались не раз и подружились. Он, как и я, сохранил психологию летчика той войны.

Из-под Берлина наш полк перебросили в Чехословакию, где мы встретили капитуляцию Германии. На радости мы бросились на аэродром и расстреляли весь боевой комплект в ознаменование победы. Но оказалось, что для нас война еще не окончилась. Нам пришлось воевать еще несколько дней. И эти полеты были не безопасными. Один летчик был подбит, сел в распоряжении противника. Его со стрелком сожгли живьем вместе с самолетом. У меня был поврежден руль глубины. При посадке тяга руля совсем оборвалась. Если бы я в воздухе сделал резкое движение, то гибель была бы неизбежна.

ПЕРВЫЕ ДНИ МИРА

Война окончилась. Но я и многие другие летчики не испытывали по этому поводу ликования. Наоборот, мы жалели, что война кончилась. Роль смертника меня вполне устраивала. В этой роли я пользовался уважением, мне прощалось многое такое, что не прощалось тем, "кто ползал". С окончанием войны все преимущества смертника пропадали. Мы из крылатых богов превращались в ползающих червяков.

Этот перелом мы почувствовали сразу. Одного заслуженного летчика посадили под арест и затем судили офицерским судом чести за то, что не отдал честь штабному офицеру, старшему по чину. Судили в назидание другим, так как армия на глазах разлагалась. После нелепого и оскорбительного суда летчик застрелился. Узнав об этом, я понял, что мне не место в армии мирного времени, и принял решение при удобном случае демобилизоваться.

На банкете в Кремле в честь победы Сталин поднял тост за русский народ. Он имел в виду этнических русских. По поводу тоста я сочинил стихотворение. В 1975 году я восстановил его и включил в книгу "Светлое будущее". А тогда, в 1945 году, мне пришлось отречься от авторства, когда Особый отдел пытался найти автора.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ТОСТ

Вот поднялся Вождь в свой невзрачный рост

И в усмешке скривил рот.

"Поднимаю, – сказал, – этот первый тост

За великий русский народ!

Нет на свете суровой его судьбы.

Всех страданий его не счесть.

Без него мы стали бы все рабы,

А не то что ныне мы есть.

Больше всех он крови за нас пролил.

Больше всех источал он пот.

Хуже всех он ел. Еще хуже пил.

Жил как самый паршивый скот.

Сколько всяческих черных

дел

С ним вершили на всякий лад.

Он такое, признаюсь, от нас стерпел

Что курортом покажется ад.

Много ль мы ему принесли добра?!

До сих пор я в толк не возьму,

Почему всегда он на веру брал,

Что мы нагло ввали ему?

И какой народ на земле другой

На спине б своей нас ютил?!

Назовите мне, кто своей рукой

Палачей б своих защитил!"

Вождь поднял бокал. Отхлебнул вина.

Просветлели глаза

Отца.

Он усы утер. Никакая

вина

Не мрачила его лица.

Ликованием вмиг переполнился зал..

А истерзанный русский народ

Умиления слезы с восторгом лизал,

Все грехи отпустив ему наперед.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

За время войны моя юношеская "социологическая болезнь" ослабла, но не исчезла насовсем. Время от времени она давала знать о себе, в особенности в связи с наградами, присвоением званий, продвижением по службе и прочими "бытовыми" явлениями, включая даже распределение женщин. Общие законы коммунизма тут действовали с циничной обнаженностью. Конечно, были многочисленные случаи, когда личные заслуги и способности играли роль. Но в общей массе их было не так уж много. Я не знаю ни одного случая, чтобы молодой человек за счет личных достоинств поднялся бы выше полковника. Стремительные карьеры совершались по законам сугубо социальным, а не профессиональным. Василий Сталин быстро стал генералом, будучи полным ничтожеством. Такого рода взлеты в карьере, как в Гражданскую войну, в эту войну были исключены. Тогда унтер-офицеры и младшие офицеры молниеносно поднимались на высшие военные должности. Гражданская война была войной революционной. Война же с Германией была войной уже установившегося коммунистического общества от внешнего нападения. В ней главную роль играли законы утвердившегося коммунизма, а не законы революционной эпохи. Несколько ускорились карьеры внутри каждого из трех (грубо говоря) слоев армейской иерархии – низшего, среднего и высшего. лейтенанты быстрее продвигались в капитаны, майоры быстрее продвигались в полковники, генерал-майоры быстрее двигались к званиям генералов армий и маршалов. Это происходило за счет потерь, расширения армии и общего повышения людей в чинах и званиях. Но переход из низшего слоя в средний и из среднего в высший в массе почти не ускорился. И в подавляющем большинстве случаев

такой переход происходил не на основе реальных заслуг людей, а на основе социальных взаимоотношений, ничего общего не имевших с героизмом и талантом. Я этой проблемой интересовался специально. И если уж война не поколебала стабильность системы продвижения по служебной лестнице, так думал я, то тем более эта система должна стать стабильной в мирное время. Время Наполеонов прошло.

О ВОЙНЕ

Понимание причин, сущности хода и последствий войны есть один из пробных камней западного способа мышления. Мне приходилось вести сотни разговоров на темы прошлой войны с западными людьми самых разных категорий и национальностей. Я был поражен тем, как мало эти люди знали о войне и как извращенно они ее оценивали. Я не хочу сказать, что все люди на Западе таковы. При желании и тут можно найти знающих и понимающих людей, более или менее объективные книги. Я здесь имею в виду состояние массового сознания, причем в той мере, как мне это удалось заметить. Характерным для него, на мой взгляд, является игнорирование социальной сущности войны, искажение роли западных стран, недооценка роли Советского Союза и его армии, переоценка интеллекта западных политиков и вклада западных стран в разгром Германии. С методологической точки зрения характерным для западного способа мышления обо всем, что касается Советского Союза, является стремление найти некое сенсационное разоблачение неких секретов, одним махом объясняющих все. Одеревенелость и поверхностность суждений, ползучий эмпиризм и прочие явления мышления, которые мы в школьные годы называли "метафизическим" способом мышления, оказались вполне реальными свойствами западного массового понимания важнейших событий современности.

В мою задачу не входит исследование войны, как таковой. Я касался и намерен впредь касаться войны лишь постольку, поскольку она была фактором в моей жизни, конкретнее говоря, в моем жизненном эксперименте и в моем понимании советского общества. Лишь с этой точки зрения хочу обратить внимание читателя на некоторые уроки войны, которые я извлек лично для себя.

Выражение "мировая война" не является научным понятием. Оно обозначает лишь тот факт, что в войну вовлекаются страны, играющие в соответствующее время решающую роль в мировой истории. Но тем самым еще не определяется социальный тип войны. Чтобы охарактеризовать социальный тип войны, нужно охарактеризовать социальный тип стран, участвующих в войне, и их цели. А с этой точки зрения между Первой и Второй мировыми войнами имеется существенное различие. Первая мировая война была войной между социально однотипными противниками. Это была война за передел мира. Классически ясное описание этого типа войны дано Лениным, и я здесь не хочу повторять общеизвестные истины на этот счет. Что же касается Второй мировой войны, то тут сложилась прочная традиция умолчания относительно ее социального характера. Советская концепция вносит некоторое разнообразие, рассматривая эту войну со стороны Советского Союза как войну

отечественную. Но слово "отечественная" несколько не характеризует социальный аспект войны.

Я утверждаю, что Вторая мировая война была социально неоднородной. Она содержала в себе два типа войн: империалистическую войну в ленинском смысле (войну однотипных капиталистических стран за передел мира) и войну социальную, т. е. войну между двумя социальными системами – между капитализмом и коммунизмом. Война гитлеровской Германии против Советского Союза была, по существу, попыткой стран Запада раздавить коммунистическое общество в Советском Союзе. Причем это не была война одинаково виновных с точки зрения ее развязывания партнеров. Инициатива исходила со стороны Запада хотя бы по той причине, что Советский Союз к войне подготовиться не успел.

Социальная война как составная часть Второй мировой войны, причем главная и фундаментальная ее часть, показала, что коммунистический социальный строй способен выдерживать трудности и катастрофы эпохального и глобального масштаба. Он родился в результате Первой мировой войны как следствие катастрофальной ситуации в России и как средство преодоления этой ситуации. И в годы после революции, в годы Второй мировой войны и в последующие годы после нее он доказал со стопроцентной очевидностью, что он есть социальный строй, как будто специально приспособленный для самосохранения страны в условиях грандиозных трудностей и для преодоления их. В эти годы стало также очевидно, что этот социальный строй не способен успешно конкурировать с капиталистическим строем в сфере экономики и поднять жизненный уровень населения выше такового в странах Запада. Но это бесспорное обстоятельство несколько не колеблет первое, а именно поразительную способность коммунистических стран выживать в условиях, невыносимых для стран Запада. И с этим объективным обстоятельством Запад должен так или иначе считаться. Поток слов, скрывающих это, можно затуманить сознание людей. Но словами не уговоришь историю эволюционировать в том направлении, как хотелось бы.

Бесспорно, что страны Запада помогли Советскому Союзу разгромить гитлеровскую Германию. Но ведь они это сделали не из любви к коммунизму. Сначала они приложили титанические усилия к тому, чтобы направить гитлеровскую экспансию на Советский Союз. Стать союзниками Советского Союза их вынудили исторические обстоятельства. Важен фактический результат: они помогли. Вторая мировая война переросла в войну социальную. Коммунизм вышел победителем из нее. Инициатива мировой истории перешла к коммунизму. Капитализм оказался в позиции обороны. Проблема реального коммунизма и его исторических перспектив стала главной проблемой современности. И никаких иных, более глубоких, "секретов" во Второй мировой войне нет. Всякого рода "новые" ее концепции касаются лишь хода войны и ее второстепенных событий, а не ее сути, или являются лишь новыми формами фальсификации истории.

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ

В начале войны несколько миллионов советских военнослужащих оказались в плену у немцев. Многие люди на Западе усматривали и до сих пор усматривают в этом признак отрицательного отношения к советскому социальному строю. Это мнение абсурдно. В плен сдавались целые подразделения, даже армии. Сдавались не из ненависти к коммунизму, а в силу военной безвыходности положения, бездарности командования и других причин, не имеющих ничего общего с отношением людей к своему социальному строю. Под Сталинградом в плен сдалась армия Паулюса вовсе не из-за того, что немцы вдруг невзлюбили национал-социализм. Когда в плен сдается целое подразделение, мнение отдельных солдат не спрашивают. Конечно, многие советские люди сотрудничали с немцами. Но многие ли из них делали это из ненависти к советскому социальному строю?! Большинство делало это из шкурнических соображений, из желания просто выжить, из страха. Среди советских людей шкурников, трусов, подлецов, приспособленцев, двурушников имеется не меньше, чем среди западных людей. Приписывать массам советских людей поступки в силу ненависти к социальному строю – значит сильно идеализировать их. Можно не любить советский строй и мужественно сражаться на войне за него. Можно любить его и быть при этом трусом и предателем. Генерал Власов стал предателем, потому что ему не повезло. Сложись иначе его военная судьба, он вошел бы в число сталинских холуев. Советская официальная концепция войны утверждает, что война была освободительная и отечественная, что советские люди были охвачены чувством патриотизма и благодаря этому мы победили. Не спорю, в массе народа было много патриотов. Но победа в войне была прежде всего победой социального строя страны и лишь во вторую очередь победой патриотизма, героизма и прочих общечеловеческих качеств.

Абсурдно также мнение, будто советские люди сражались за Родину, а не за советский социальный строй. Ко времени начала войны коммунистический строй для большинства советских людей стал их образом жизни, а не политическим режимом. Отделить его от массы населения было просто невозможно практически. Хотели люди этого или нет, любая защита ими себя и своей страны означала защиту нового социального строя. Россия и коммунизм существовали не наряду друг с другом, а в единстве. Разгром коммунизма в России был равносильен разгрому самой России. Победа России означала победу коммунизма.

Несмотря ни на какие потери в первые месяцы войны, несмотря на превосходство немцев в технике и организации операций, в моем окружении я не встречал ни одного человека, который не верил бы в нашу победу. Конечно, тут играла роль боязнь людей высказываться откровенно. Но дело не только в этом. Уверенность в победе базировалась на факторах, которые были очевидны для всех нас и общеизвестны. Главные из этих факторов суть способность самого коммунистического социального строя выживать в трудных условиях и неоднородность стран, считавшихся "капиталистическим окружением". Мы знали о том, что западные страны вроде Англии, Франции и США гораздо больше боялись победы гитлеровской Германии, чем нашей. Они были уверены в том, что победа Германии была бы для них катастрофой. Мы были уверены, что страны Запада, враждующие с Германией, рано или

поздно присоединятся к нам в борьбе с Германией и помогут нам разгромить ее.

СИЛА И СЛАБОСТЬ

Считается, что наши слабости суть продолжения наших достоинств. Но в такой же мере верно и другое: наши достоинства суть продолжения наших слабостей. Во всяком случае, война обнаружила, что в отношении Советского Союза было верно как то, так и другое. Нужно было быть слепым, чтобы не заметить, что как сила, так и слабость Советского Союза проистекали из одного и того же источника – из его социального строя.

Поражения начала войны обычно сваливают на высшее руководство страной и на Сталина лично. Но ведь уже перед войной в основном сложилась коммунистическая организация населения страны и система власти и управления, пронизывающая все общество. Уже тогда дала о себе знать низкая степень деловой эффективности коммунистической системы, причем даже в таком деле, как подготовка к войне. Эта система обнаружила способность сравнительно быстро поднимать страну из состояния разрухи до некоторого уровня, высокого сравнительно с уровнем разрухи. Но она при этом быстро достигала потолка, и в действие вступали тенденции к застою, к разрастанию бюрократии, к волоките, к очковитирательству и другие явления реального коммунизма, о которых лишь теперь заговорили в Советском Союзе. Впрочем, и теперь говорят о них как о недостатках, которые явились результатом ошибок прошлого руководства и которые можно преодолеть. Начав "думать по-новому", советские руководители так и не рискнули углубиться до объективных законов своего общества как главной причины уже очевидных всем недостатков.

Поражения начала войны вынудили советское руководство к тому, чтобы использовать преимущества советского строя, позволяющего мобилизовать все силы и все ресурсы страны на оборону и использовать их централизованным образом. При этом не надо думать, что перед войной и в начале войны проявились лишь негативные свойства строя, а потом – лишь позитивные. Во все периоды действовали и те и другие. Просто в различных условиях получали некоторые преимущества те или другие.

В оценке возможностей и способностей коммунистического строя надо быть диалектиком в хорошем смысле этого слова, т. е. проявлять гибкость мышления, избегать односторонности и одеревенелости мысли. Это я заметил уже тогда на массе жизненных примеров. Вот . некоторые из них, на которые я обратил внимание еще в годы войны. Перед войной в армии произошла "чистка", было арестовано огромное число командиров всех рангов, особенно высших. Это катастрофически сказалось на состоянии высшего командного состава армии и внесло свою долю в поражения начала войны. Но нет худа без добра. Эти репрессии привели к обновлению низшего и среднего командного состава армии. На место малограмотных командиров пришли люди со средним и

высшим образованием. И этот фактор сыграл важнейшую роль в войне. В свое время Бисмарк сказал, что в битве при Садовой победил немецкий народный учитель. О нашей войне можно сказать (разумеется, в том же метафорическом смысле), что в ней победил советский десятиклассник, т. е. выпускник советской школы тридцатых годов.

Тысячи летчиков стали готовить с самого начала войны. Готовили медленно, причем не с сознательным намерением замедлить процесс подготовки, а потому что не могли делать быстрее в силу общих принципов организации всякого дела. Но опять-таки эта медлительность сыграла и свою положительную роль. К концу войны накопили огромные резервы летчиков. Аналогично произошло с самолетами. К концу войны страна имела мощную авиацию.

Война шла долго, а между тем никто из тех образованных и способных молодых людей не поднялся в ряды высшего командования. Последнее так и сохранили за собою люди, ставшие генералами еще до войны и бывшие сталинскими "выдвиженцами". В этом была серьезная слабость советской армии. Не только слабость, но и сила. Война была не просто решением "технических" задач убийства солдат противника. Это было прежде всего социальное сражение. Главным было удержать армию под социальным контролем, а не "технические" военные проблемы.

Понимало это сталинское командование или нет, оно действовало в духе времени и возможностей.

Вследствие поражений начала войны пришлось самые важные в военном отношении предприятия эвакуировать в глубокий тыл и создавать новые. Волюнтаристские сталинские методы сыграли при этом свою положительную роль в смысле ускорения темпов создания военной промышленности и рационализации ее работы, в смысле преодоления косности бюрократической системы управления. Одновременно сталинистский волюнтаризм становился препятствием в проявлении положительных качеств государственно-бюрократической системы управления.

Одним словом, наблюдая предвоенную ситуацию в стране и ход войны с позиций человека, погруженного в самые недра советского общества, я накопил достаточно материала, чтобы сделать для себя вывод: если я хочу понять сущность, внутренние механизмы, объективные закономерности грандиозного жизненного потока, я должен снова начать учиться.

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ

Невозможно в деталях проследить, какими путями формируется мировоззрение и характер человека. Хотя я себя в этом отношении делал сам и постоянно занимался самоанализом, все равно многое из того, что когда-то играло роль, испарилось бесследно. Иногда серьезные, казалось бы, события и явления не оказывают никакого влияния на этот процесс. А иногда пустяки производят перевороты в

сознании. Еще до войны, работая в секретном отделе полка, дивизии и корпуса, я просматривал немецкие карты и схемы расположения наших войск, составленные немецкой разведкой. Эти материалы наша разведка, в свою очередь, как-то раздобыла у немцев. Эти карты и схемы были сделаны лучше, чем наши собственные. Офицеры отдела подшучивали в связи с этим над немецкой аккуратностью. Меня особенно сильно поразило такой факт. На одной схеме расположения нашего полка была точно обозначена уборная. Уборная эта переполнилась, ее закрыли и засыпали, и на новом месте построили новую. Через какое-то время мне попала на глаза новая немецкая схема, и на ней было отмечено, куда переместилась уборная. Прислушиваясь к разговорам офицеров отдела, я узнал, что немцы знали о положении в нашей стране и в армии лучше, чем само наше руководство и командование. Немцы педантично изучали жизнь нашей страны и фиксировали все до мельчайших деталей вроде той, о которой я упомянул выше. И, несмотря на это, они ровным счетом ничего не поняли в сущности советского строя, допустили грубейшие ошибки в оценке жизненного и военного потенциала страны. Для нас это стало ясно уже к концу 1941 года. А еще до войны в тех разговорах о немецкой педантичности я слышал высказывание о том, что немцы "за деревьями не видят леса". Один из офицеров, посмеявшись над историей с уборной, рассказал историю с немецкой энциклопедией, в которой педантично проверили весь текст, но проглядели ошибку на обложке: там было написано "Энциклопудия". Не знаю, насколько этот анекдот верен исторически. Но он оказался по существу пророчески верным.

Установив для себя, что мне надо учиться понимать общественные явления, я тогда еще не знал, что мне предстояло заново открывать или по крайней мере заново переоткрывать сами методы понимания. Научиться пониманию было не у кого и негде.

VIII. МИР

НАЧАЛО МИРА

Бесспорно, окончание войны было огромной радостью для всего населения страны. Но плодами победы и достоинствами наступившего мира воспользовались далеко не все. Для большинства русских наступил период, может быть, еще более трудный, чем во время войны. Плодами победы воспользовались прежде всего самые ловкие приспособленцы и те, кто по своему положению в обществе попадал в привилегированные слои. Это ощущалось и в армии. Я уже говорил выше об иерархии в распределении наград и трофеев. Теперь эта оргия продолжалась с удвоенной силой. После войны те, кто не принимал участия в боях, но числился находящимся на фронте, был в чинах или был близок к ним,

получили во много раз более наград, чем во время войны. Боевые критерии оценки людей, еще имевшие силу на низших уровнях армии, стали уступать место критериям мирного времени. Теперь главным становилось не то, как ты маневрировал в разрывах зенитных снарядов, как ускользал от "мессеров", как стрелял и бомбил, а то, как ты выглядел внешне, как заправлял койку, как вытягивался перед начальством и щелкал каблуками, как обращался с подчиненными.

Меня должны были назначить старшим летчиком. Но командир звена, считавшийся моим другом во время войны и сразу же "перестроившийся" теперь, написал мне в характеристике, будто я не работаю с подчиненными, злоупотребляю алкоголем и имею контакты с местным населением. С подчиненными я не работал в том смысле, что продолжал сохранять дружеские отношения, какие были приняты во время войны, но стали рассматриваться как "запанибратские" теперь. Пил я не больше моего командира звена, причем обычно в компании с ним. Мои контакты с местным населением заключались в том, что я служил переводчиком для офицеров полка желавших познакомиться с немецкими "бабами". Как бы то ни было, характеристика сработала, и старшим летчиком назначили недавно прибывшего в полк летчика, который был инструктором в УТАПе (учебно-тренировочный авиационный полк), но в боях не принимал участия. Я, разумеется, не мог не реагировать на такую несправедливость и стал еще более явно демонстрировать свое пренебрежение к тем порядкам, которые теперь начинали господствовать.

Открылись возможности для поступления в военные академии, в школы высшего пилотажа и летчиков-испытателей. Места в эти учебные заведения распределялись по полкам. Первые счастливицы, однако, как правило, не смогли сдать вступительные экзамены даже на подготовительный курс. В полку организовали своего рода курсы по подготовке к поступлению в академии (в летную и в инженерную). Я стал натаскивать намеченных кандидатов по математике. В награду за это и меня решили было послать учиться в Академию имени Жуковского в Москву, считая, что я единственный из кандидатов полка могу сдать экзамены сразу в академию, а не на подготовительный курс. Но и тут вступили в силу неписанные коммунистические правила жизни в мирное время. На меня поступил рапорт командира эскадрильи, в котором сообщалось, что я не изучал опыт Великой Отечественной войны и даже отвергал это в принципе. В докладе была большая доля истины. Опыт войны я не изучал, поскольку я его имел. А то, что считалось изучением этого опыта, было пустой формалистикой для отчетов начальству. Что касается принципиального отношения к опыту войны, то я действительно однажды открыто высказал следующее. После Гражданской войны мы до начала войны с Германией изучали опыт первой. А к чему это привело? Только отказавшись от этого опыта, мы остановили немцев. Надо думать не о прошлой войне, а о будущей. Опыт прошлых войн, как правило, бывает негативен. Наши Илы скоро снимут с вооружения. Кстати сказать, и на самом деле вместо наших же устаревших машин появились новые штурмовики Ил-10. Хотя скорость у них была несколько больше, чем у Ил-2, они тоже были уже прошлым авиационной техники. Немецкие Me-262 показали, в чем состояло будущее авиации. Вот эти мои слова, очевидные для всех, но лицемерно считавшиеся ложными и вредными ("непатриотичными"), и были теперь

инкриминированы мне. В академию меня в этот раз не послали. Я был этому рад. Но факт сам по себе подействовал на меня все в том же направлении. Общество проявляло свое враждебное отношение ко мне не какими-то грандиозными действиями, а мелкими укусами со стороны моего ближайшего окружения. Когда мой бывший друг командир звена сказал как-то, что он действовал из дружеских чувств ко мне, я ответил ему старой поговоркой: "Избави меня, Боже, от моих друзей, а от врагов я избавлюсь сам".

По окончании войны усилилось моральное разложение участвовавшей в боях армии. Упала дисциплина. Заставить людей, видавших смерть в лицо, безропотно подчиняться начальству и выполнять уставные требования было невозможно практически. Стало расти число всякого рода мелких и крупных преступлений. Попытки удержать людей от контактов с местным населением потерпели сокрушительный крах. Началась буквально эпидемия венерических заболеваний. Но самое главное – началось идейное разложение армии. Миллионы людей посмотрели, как живут в Европе, сравнили с тем, как живут в России, и сделали свои выводы. О тяжелом положении в России и о пропагандистской лжи стали говорить открыто. Усилилась оргия доносов. Усилилась деятельность "органов". Такую армию, однако, уже нельзя было привести в "нормальный" вид никакими мерами. Началась массовая демобилизация, отвод боевых частей в Союз и замена их другими, не воевавшими, замена боевых офицеров тыловиками. Стали демобилизовывать и боевых офицеров, сделавших во время войны успешную карьеру, привыкших к войне, ставших кадровыми офицерами и надеявшихся на продолжение службы в армии. Это добавило свою большую долю в моральную, психологическую и идеологическую атмосферу того времени. Стали учащаться случаи самоубийств и серьезных преступлений (вплоть до убийств) на почве психических срывов.

РЕШАЮЩИЙ ШАГ

В начале мая 1946 года в связи с празднованием 1 Мая и затем годовщины взятия Берлина, капитуляции Германии и Дня Победы началась вспышка пьянства. Летали мы вследствие этого довольно плохо. В полк приехало высокое начальство во главе с командиром корпуса стружку снимать, т. е. читать нотации. Командир корпуса сказал, что если мы не хотим летать, то нас в армии держать не будут, и поставил угрожающий вопрос: "Кто не хочет служить в армии?" Я поднял руку. Это произвело на высокое начальство совсем не то впечатление, на какое я рассчитывал. Начальство было взбешено. Оно не ожидало, что кто-то из нас осмелится на это. Оно предполагало, что мы все будем цепляться за армию, так как тут была райская жизнь, а на гражданке был голод. Мне приказали подать рапорт с просьбой об увольнении из армии. Подать, как положено, по инстанциям. Я так и поступил. Пока мой рапорт двигался по инстанциям, началось расформирование многих частей оккупационной армии и массовая демобилизация офицеров. Расформировали и наш полк. Демобилизовали большинство летчиков, включая самого командира полка. Для многих это была неожиданная трагедия. А меня вопреки моей просьбе не демобилизовали. Именно

потому, что я не хотел служить в армии, меня не хотели отпустить из нее. Мои сослуживцы сильно возмущались по этому поводу. Особенно возмущался мой бывший друг командир моего звена, написавший на меня подлую характеристику–донос.

Мой рапорт об увольнении из армии достиг наконец–то самого командующего воздушной армией генерал–полковника (вскоре он стал маршалом авиации) Красовского. Было приказано откомандировать меня в распоряжение штаба армии. Я решил, однако, уйти из армии, чего бы это мне ни стоило. Но, чтобы жить в Москве, я должен был передать документы в тот военкомат, в котором я призывался в армию в 1940 году. Но это был военкомат не того района, где я был прописан в Москве. Кроме того, в моем личном деле накопилось много такого, что могло мне повредить после демобилизации. Поэтому мне пришлось приложить усилия к тому, чтобы подчистить мой послужной список. В результате моя военная биография стала сильно обедненной, но зато из нее было изъято все то, что могло насторожить заинтересованных лиц в Москве. Предосторожность оказалась не напрасной. Это был все–таки 1946 год. "Органы" занялись основательной проверкой поведения людей во время войны. В моем окружении несколько бывших заслуженных офицеров попали в сталинские лагеря за проступки, которые теперь кажутся смехотворными и неправдоподобными.

Надеюсь, читатель не сочтет меня уголовником за те мошеннические проделки, к которым мне приходилось прибегать неоднократно. От них никто не страдал. А без них я просто не выжил бы. Я их считал и считаю до сих пор морально оправданными.

В конце мая меня вызвал командующий воздушной армией генерал Красовский. Он уговаривал меня остаться в армии, обещая назначить командиром звена. Это он сделал не потому, что я был выдающимся летчиком – я таковым не был, – а потому, что я сам хотел покинуть армию. Я от предложения генерала отказался.

После встречи с Красовским меня отчислили в резерв. Жил около Вены. Жил на частной квартире вместе с бывшим летчиком–истребителем Ш–м. Его уволили из армии за пьянки и дебоши. Никто нас не контролировал, и мы все время проводили в Вене, переодевшись в гражданскую одежду. Я полюбил этот город всей душой. У нас завелись хорошие знакомые. Один раз мы попали в облаву в американском секторе. Узнав, что мы советские офицеры, нас отпустили и даже подвезли до нашей зоны. Если бы об этом узнали наши, нам дали бы, как минимум, по десять лет лагерей.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ

Наконец нас демобилизовали. На границе у меня отобрали почетное оружие, полученное за образцовый сбор окурков и битых бутылок. Это был перст Судьбы. Если бы это не случилось, моя жизнь закончилась бы значительно раньше. Василий, на свою беду, провез трофейный пистолет. В моем наградном свидетельстве он вытравил мое имя и

вписал свое. В то время, кстати, подделка документов приняла такие масштабы, каких еще не знала история России.

В конце июля 1946 года мы с Василием прибыли в Москву с Киевского вокзала и... нас сразу же остановил военный патруль и отправил в военную комендатуру: оказалось, что мы одеты были не по форме – на наших гимнастерках были пластмассовые пуговицы. Военная комендатура находилась на проспекте Мира, в десяти минутах ходьбы до дома, где я жил до войны и намерен был жить теперь. В комендатуре таких, как мы, собралось больше ста человек. Настроение было отвратное. Открыто ругали все на свете, включая власть и даже самого Сталина. Многие срывали погоны и бросали их под ноги. Мы с Василием поступили так же. Часа через два к нам явился офицер комендатуры с приказанием военного коменданта города заниматься с нами строевой подготовкой. Мы все единодушно отказались. Все собранные тут были боевыми офицерами, награжденными многими орденами и медалями за настоящие бои. Многие имели ранения. Так что справиться с такой массой готовых к бунту людей было не так-то просто. Нас до вечера держали во дворе комендатуры без еды и воды. Когда возмущение достигло предела, нас отпустили. Самое большее, чем мы могли отомстить за такое унижение, это было то, что мы загадили весь двор и даже коридоры комендатуры. Когда там хватились и хотели было заставить нас убирать за собой, было уже поздно: мы прорвались на улицу. Расходясь, офицеры громко кричали, что "этот социалистический бардак надо взорвать к чертовой матери". Они открыто высказали общее настроение демобилизуемой армии – "перевернуть все дома", "начать жить по-новому". Но эти умонастроения оказались еще не настолько сильными, чтобы осуществить этот переворот сейчас же. Да и условий для переворота еще не было.

Вечером мы с Василием пришли в подвал дома номер 11 на Большой Спасской улице. Наш подвал был в еще более ужасающем состоянии, чем до войны. В нашей комнатухе жили отец и сестра с мужем. Ночь мы не спали. Рано утром отец, сестра и ее муж ушли на работу, и мы смогли пару часов уснуть на их кроватях. Спали не раздеваясь и даже не снимая сапог.

Еще по дороге в Москву мы выработали планы будущей жизни. Василий едет к себе домой в свою деревню около Орла, оформляет документы (вернее, "делает" их) и через некоторое время приезжает в Москву. Я должен был за это время найти ему "бабу", т. е. какую-нибудь женщину, готовую за взятку выйти за него замуж и вследствие этого дать ему московскую прописку. Потом Василий нашел бы подходящую работу в Москве. Главное – зацепиться за Москву хотя бы одним пальцем, а там он приспособится. Выражение "зацепиться" хотя бы одним пальцем" для нас имело образный смысл: в армии мы научились вскакивать в кузов быстро мчащегося грузовика, цепляясь за борт сначала буквально одним пальцем. Мне о московской прописке думать не надо было. Но это упрощало мои проблемы лишь в ничтожной мере. Я проводил Василия на вокзал. Как демобилизованный, он мог достать билет на поезд, простояв в очереди всего-навсего часа два. Простые смертные стояли в очередях сутками.

Несколько дней у меня ушло на мои дела – военкомат, милиция, продовольственный пункт. Выполнив все формальности, я отправился в

Московский университет. Я уже знал, что МИФЛИ ликвидирован и слит с университетом. Я решил поступить на заочное отделение философского факультета и попытаться устроиться на работу по моей военной профессии. На факультете я узнал, что меня могут просто восстановить без экзаменов, если я принесу справку из архива о том, что в 1939 году поступил в МИФЛИ. В архиве молоденькая девушка нашла соответствующие документы. В списке принятых на факультет в 1939 году около моего имени было написано, что я был исключен без права поступления в высшие учебные заведения вообще. Я попросил девочку не писать этого в справке, мотивируя тем, что "война списала все наши грехи". Она выполнила мою просьбу. Событие это вроде бы очень маленькое, как и бунт офицеров в комендатуре, но для меня такие "мелочи" были признаком того, что во время войны в стране наметился перелом огромного исторического значения. Пока еще не ясна была суть перелома, но он уже ощущался во всем, проявлялся в бесчисленных житейских мелочах.

После университета я направился с письмом генерала Красовского в управление ГВФ. Там было столпотворение. Не только коридоры здания, но и прилегающие улицы были забиты сотнями военных летчиков, жаждавших получить хоть какую-то работу в ГВФ. Многие еще были в погонах, особенно старшие офицеры. Все были в военной форме и во всех регалиях. Мои шансы были близки к нулю. Но я еще надеялся на письмо Красовского. Я с большими усилиями протиснулся внутрь помещения, поймал какого-то служащего и попросил его передать письмо Красовского его другу, занимавшему тут высокий пост. Через час меня вызвали к этому человеку. Разговор был короткий.

Он обещал меня устроить вторым пилотом на небольшом транспортном самолете в отряд, формируемый в Москве и предназначенный для работы на севере России. Но за это я должен был дать ему приличную сумму денег. Денег у меня было немного, но они все же были: во время войны и службы за границей заработная плата летчиков накапливалась в расчетной книжке.

И теперь я эти деньги мог использовать. Пришлось дать взятку. В тот же день мне дали направление в авиационный отряд.

Карьера гражданского летчика мне, к счастью, не удалась. Работать предстояло в Коми, севернее Сыктывкара. Условия были кошмарными. Летчики беспробудно пьянствовали и резались в карты. Ни о какой учебе и речи быть не могло. Уже через неделю я уволился и вернулся в Москву. Перевелся на очное отделение факультета. И уехал в деревню к матери.

Встречу с матерью я описал в стихотворении, которое много лет спустя (в 1982 году) включил в книгу "Мой дом – моя чужбина" в качестве послесловия:

Есть Родина–сказка.

Есть Родина–быль.

Есть бархат травы.

Есть дорожная пыль.

Есть трель соловья.

Есть зловещее "кар".

Есть радость свиданья.

Есть пьяный угар.

Есть смех колокольчиком.

Скрежетом мат.

Запах навоза.

Цветов аромат.

А мне с этим словом

Упорно одна

Щемящая сердце

Картина видна.

Унылая роща.

Пустые поля.

Серые избы.

Столбы-тополя.

Бывшая церковь

С поникшим крестом.

Худая дворняга

С поджатым хвостом.

Старухи беззубые

В сером тряпье.

Безмолвные дети

В пожухлом репье.

Навстречу по пахоте

Мать босиком.

Серые пряди
Под серым платком.
Руки, что сучья.
Как щели морщины.
И шепчутся бабы:
Глядите, мужчина!
Как вспомню, мороз
Продирает по коже.
Но нет ничего
Той картины дороже.

Мать готовилась к отъезду в Москву с последними оставшимися с ней двумя детьми. Наша деревня, как и многие другие, прекратила существование. От нашего некогда богатого дома осталась лишь часть сруба. Мать жила в соседней деревне в старом, полуразвалившемся доме. Встречу с матерью я описал в эпилоге к поэме "Мой дом – моя чужбина". Я готов был увидеть нищету русских деревень. Но то, что я увидел в реальности, превысило всякие мрачные предположения. Сборы были короткими. Уже через день мы навсегда покинули наш Чухломской район. Билеты на поезд пришлось приобретать за взятку, с черного хода. Да нам еще повезло: начальник станции был наш знакомый. Ехали в Москву целые сутки, хотя расстояние было всего шестьсот километров.

В конце августа 1946 года наша семья окончательно перебралась в Москву. Теперь в подвале на Большой Спасской улице поселились отец, мать, сестра Анна с мужем, я и мои младшие брат и сестра. Сестре Антонине было одиннадцать лет, брату Владимиру пятнадцать. Вскоре к нам присоединился брат Николай, демобилизовавшийся из армии. Два брата (Василий и Алексей) служили в армии. Василий был в офицерской школе, Алексей отбывал воинскую повинность. Он присоединился к нам в 1948 году. У сестры скоро родился сын.

Начались годы жизни, которые я называю сумасшедшими.

СУМАСШЕДШИЕ ГОДЫ

Положение в стране оказалось много хуже того, как мы его представляли по слухам, живя за границей в сказочном благополучии. Годы 1946 – 1948-й были в истории страны, может быть, такими же трудными, как годы Гражданской войны и послереволюционной разрухи. Война все-таки вымотала страну до предела. Миллионы людей были оторваны от нормальной жизни и привыкли к военной, в некотором роде беззаботной жизни. Переход к мирной жизни оказался весьма болезненным. Мы выстояли эти годы только благодаря тому, что собрались вместе.

Мне как демобилизованному офицеру были положены кое-какие продукты питания на целый месяц – хлеб, мука, крупа, сахар. Случилось так, что я смог отовариваться (т. е. получить эти продукты) лишь после переезда матери с детьми в Москву. Когда я принес это сказочное богатство домой, у нас началось буквально опьянение от еды. За все годы колхозов и войны мать, младшие братья и сестра даже мечтать не могли о таком хлебе, какой я принес, и о таком сладком чае. Да и остальные члены семьи поголодали основательно.

Моя стипендия была мизерная. Так что я должен был подрабатывать. Я работал грузчиком, землекопом, вахтером, маляром, лаборантом на кирпичном заводе, инженером в инвалидной артели детской игрушки. Подрабатывать приходилось по вечерам и по ночам – днем я должен был посещать университет. Хотя на посещаемость бывших фронтовиков смотрели сквозь пальцы, пропускали занятия все же были нежелательны с точки зрения интересов учебы. Программа была чрезвычайно напряженная. Мы изучали математику, физику, биологию, историю, литературу и т. д. И ко всему прочему, надо было выкраивать время на "культурное" времяпровождение, т. е. на пьянство и развлечения.

Эти годы дали мне массу материала для литературной деятельности, но если бы мне предложили пережить их снова, я отказался бы. Это были годы бытовой нищеты, разочарований и вынужденной преступности. Не хочу лишний раз говорить о том, в каких бытовых условиях мы жили. Чтобы как-то улучшить их, мы начали изнурительную борьбу за то, чтобы превратить в жилую комнату для сестры с мужем и ребенком часть подвала площадью в 6 кв. м., использовавшуюся до войны под склад для дров и картошки. Практически эта часть подвала пустовала. Тут не было пола. И вместо окна была отдушина, через которую лазили кошки. Битва продолжалась почти два года. Мы писали заявления во все органы власти, писали письма депутатам всех уровней, писали Ворошилову, Буденному и самому Сталину. Участие в нашем сражении принял агитатор с избирательного участка, бывший офицер-фронтвик. Тогда он донашивал военную одежду, ютился в комнатухе вроде нашей, работал на какой-то маленькой должности в каком-то министерстве. Со временем он сделал карьеру и стал очень важной персоной (кажется, заместителем министра). Но в 1946 – 1948 годы он был одним из таких, как мы, и оказал нам помощь огромную. Разрешение на комнатку мы получили.

Я сказал, что это были годы вынужденной преступности. Вообще в годы

войны и в послевоенные годы (особенно в эти, сумасшедшие) неслыханных размеров достигла подделка и изготовление всякого рода документов. За большие деньги можно было купить даже документы на звание "Героя Советского Союза", включая изготовление фальшивых газет с Указом Президиума Верховного Совета СССР о присвоении этого звания. По знакомству и за взятки можно было приобрести любые справки. Техника подделки справок и вообще документов была обычно примитивной. Хлором, который в изобилии находился в общественных туалетах, вытравливали один текст и вместо него вписывали другой – документы обычно заполнялись чернилами или химическим (чернильным) карандашом от руки. Печати делались на бумаге химическим карандашом или чернилами, переводились на круто сваренный яичный белок и затем переводились на нужную бумагу. Такие подделки, как правило, не разоблачались потому, что их было слишком много и разоблачение их не имело смысла. Они немного облегчали жизнь людям и фактически выполняли работу, которую, по идее, должно было бы выполнять государство. Разумеется, бесчисленные жулики наживались на этом. И многие из них разоблачались, судились и пополняли ряды заключенных. После войны число репрессированных стало стремительно расти.

Помимо махинаций с документами, люди совершали массу других преступлений, включая спекуляцию, обман и просто воровство. Я приведу несколько примеров из моей личной жизни. Эти примеры далеко не самые худшие. Но они достаточно наглядно характеризуют вынужденную преступность в массе обычных людей, совсем не склонных к преступности. Преступность уголовная и преднамеренная выростала на основе этой безобидной бытовой преступности, была ее крайней формой.

Вечерами я вместе с другими студентами ходил довольно часто на железнодорожные станции разгружать вагоны с картошкой, с каким-то оборудованием в ящиках, с дровами и иногда с фруктами и съедобными в сыром виде овощами. С нами часто расплачивались не деньгами (деньги оставляли себе бригадиры и более высокие начальники), а картошкой, яблоками, морковью.

Картошку мы уносили домой, а яблоки и морковку поштучно продавали у вокзала. Приходилось часть выручки отдавать милиционерам, дежурившим у вокзала. Если бы нам платили за работу в соответствии с государственными нормами, работать никто не стал бы. Поэтому наши бригадиры преувеличивали в отчетах сделанное нами во много раз, порою в десять раз. Мы невольно становились участниками обмана. Об этом обмане знали все. Он был нормой. Ненормальными были сами нормы оплаты. Конечно, на этой основе выростали и серьезные преступления. Однажды мы вдесятером, согласно бумагам, разгрузили за четыре часа целый эшелон бревен, так и не дошедший до Москвы. Дельцы продали эти бревна налево, заработав огромные деньги. Их разоблачили и судили. Мы ускользнули от правосудия: мы в таких случаях никогда не называли свои настоящие фамилии и адреса.

Несколько месяцев я работал лаборантом на кирпичном заводе под Москвой. Работал точно так же ночами. Я описал эту работу в "Зияющих высотах". Туча паразитов из научно-исследовательского института решила усовершенствовать безнадежно устаревшую и фактически не поддающуюся улучшению технологию изготовления кирпича. Для этого на

заводе установили множество приборов. Задача лаборантов заключалась в том, чтобы записывать показания приборов. Если бы мы это делали так, как от нас требовали московские паразиты-ученые, мы должны были бы всю ночь напролет бегать высунув язык по цехам завода.

А мы все были студенты. К тому же некоторые из нас прошли войну и выработали в себе находчивость. Мы скоро установили, что показания приборов колеблются около устойчивых величин, и стали записывать показания приборов, не глядя на сами приборы. На это уходило не более получаса. Остальное время мы занимались и спали. Так мы заполняли фиктивными данными сотни томов. Эти данные затем изучали десятки кандидатов и докторов наук в Москве, строя столь же фиктивные теории. Причем эти их теории вообще не зависели от того, какие данные лежали в их основе. Это был коллективный обман, устраивавший сотни людей в самых различных учреждениях. Уголовно он был ненаказуем и не разоблачен.

Участвовал я и в съемках фильма "Сказание о земле Сибирской" – бегал в толпе "татар" в полосатом халате и с деревянной саблей в эпизоде покорения Сибири Ермаком.

Был донором – у меня была какая-то очень ценная кровь. Меня подкармливали и платили неплохо, но надо было прекратить пьянство. Я на это пойти не мог не из-за безволия, а из принципа. И от выгодной "работы" пришлось отказаться.

Был подопытным кроликом в Институте авиационной психологии. В мою задачу входило решать математические задачи в барометрической камере. Думаю, что эти исследования были связаны с подготовкой к космическим полетам. Платили очень хорошо. Но от моих услуг скоро отказались: я задачи решал одинаково быстро и верно в любых условиях.

Был еще один источник средств существования – спекуляция хлебом. Делали мы это с университетским приятелем так. Он имел связь с женщиной, работавшей в канцелярии факультета. Она давала нам бланки справок, а также бланки отпускных и командировочных свидетельств. Мы их заполняли на вымышленных лиц. Я делал штампы и печати, причем достиг в этом деле большого совершенства. Мы покупали на черном рынке хлебные карточки, со справками факультета и отпускными свидетельствами шли в булочную, где отоваривали карточки, т. е. покупали по карточкам хлеб на целый месяц вперед, – это было разрешено при наличии отпускного свидетельства. Документы оставались в булочной как оправдание. Затем мы с буханками хлеба отправлялись на рынок и продавали хлеб. Выручка получалась довольно значительная.

С фальшивыми печатями у меня произошла анекдотическая история. Один мой армейский друг, хороший музыкант, решил поступить в консерваторию. Но сдать вступительные экзамены он не смог бы. Тогда я изготовил ему фальшивые справки о том, что он в 1946 году поступил на заочное отделение философского факультета с такими-то оценками на вступительных экзаменах и что теперь, в 1947 году, был студентом второго курса, его приняли без экзаменов. Прошло много лет. Мой знакомый начал делать карьеру, но не в музыке, а по партийной линии

за счет музыки. К ужасу своему, он обнаружил, что сделанные мною печати со справок исчезли – выцвели. На этот раз мне пришлось приложить усилия, чтобы поставить на эти старые справки новые настоящие печати. Этот мой знакомый стал работником аппарата ЦК КПСС и важной фигурой в Союзе композиторов СССР.

Это время было насыщено множеством мелких приключений. Каждое из них могло стать сюжетом для занимательного рассказа. Некоторые из них я пережил с моим другом Валентином Марахотиным, о котором уже писал выше. Он тоже демобилизовался из армии, стал доучиваться в вечерней школе, работал простым рабочим. Он стал характерным для России искателем некоей правды и справедливости. Принципиально не вступал в партию и игнорировал всякие общественные мероприятия, включая выборы в советы всех уровней. Однажды из-за этого у нас с ним произошла забавная история. В день выборов мы с ним загуляли, основательно напились и заявились домой поздно вечером. Дома нас ждали агитаторы с избирательного участка. Они стали нас уговаривать пойти проголосовать, так как иначе у них не будет стопроцентного охвата избирателей. Мы согласились после того, как они нам пообещали устроить по стопке водки. Когда мы пришли на участок, там было все приготовлено для киносъемки... первых избирателей! Утром это было сделать неудобно, так как энтузиасты-избиратели заблаговременно заполняли избирательные участки и прилегающие к ним дворы и улицы. Так мы с ним попали в кинохронику в качестве первых избирателей. Наши знакомые, увидев нас в этой роли, долго потешались над нами. А разгневанный Валентин написал куда-то по этому поводу разоблачительное письмо.

КАК СТАТЬ ПИСАТЕЛЕМ

Из армии я вернулся с чемоданом рукописей. За довольно большие деньги мне перепечатали на машинке повесть, которую я считал наиболее законченной и безобидной. Это была "Повесть о предательстве". Темой повести было взаимоотношение гражданского долга и личной дружбы. Я приложил немало усилий к тому, чтобы придать повести официально приемлемый вид. Я свел к минимуму юмористические и сатирические места. Главным героем сделал доносчика. Его донос на друга изобразил как исполнение долга. И даже изменил название: назвал ее "Повестью о долге". Одну копию я отнес К. Симонову, другую – писателю В.И., с которым меня познакомил университетский приятель. Симонов повесть похвалил, но посоветовал ее уничтожить, если я хотел остаться на свободе и в живых. У Симонова я познакомился с человеком, имя которого не помню. И не знаю, кто он был по профессии. Помню только, что от Симонова мы вышли вместе, зашли в какую-то забегаловку и основательно напились. Он пролистал повесть, но определенное впечатление себе составил. Он сказал, что самое криминальное в повести – то, что она внешне имеет форму оправдания подлости, и это разоблачает ее сильнее, чем если бы это была откровенная сатира. Он отметил также мою способность "смеяться без улыбки и рыдать со смехом". Этот человек дал мне совет, как стать писателем. "Чтобы стать писателем, – говорил он, –

надо влезть в писательскую среду и начать крутиться в ней. Встречаться с писателями, лучше всего – с влиятельными. Делать вид, что ты восторгаешься их сочинениями. Написать что-нибудь серенькое и безобидное, но актуальное. О войне, конечно, было бы подходящим. О героизме. Показать написанное этим влиятельным писателям, выслушать их советы, учесть замечания. Кто-нибудь из них не устоит и порекомендует напечатать в каком-либо сборнике или заштатном журнале. Напечатав первый рассказик, благодари маститых покровителей. Подари оттиск рассказика с восторгами и благодарностями. Строчи второй рассказик и проталкивай тем же путем. Теперь рассказик можешь сделать получше, если, конечно, в состоянии. Чтобы было видно, что ты – растущий талант. Через несколько лет сочини повестушку. Дай ее на обсуждение в толстый журнал. Ну и покровителям, конечно. Терпеливо жди, когда решат напечатать. Самое главное – не обнаруживай, что у тебя есть способности. Лучше, если их вообще нет. Если способности есть, но маленькие, считай, что повезло. Большим писателем стать можешь. Напечатав повестушку, приложи усилия к тому, чтобы появилась хорошая рецензия. Не жалея денег на подарки и угощения. Кто-нибудь из покровителей клюнет и непременно произведет тебя в ранг подающих надежды. После рецензии добивайся вступления в Союз писателей. Лезь во все дыры. Участвуй в комиссиях. Холуйствуй перед всеми. Лижи задницу всем, кто может быть полезен. Добивайся авансов и всяческих благ. Чем больше урвешь, тем больше тебя ценить будут. Утвердившись, пиши толстый роман. Если ты все предыдущие советы выполнишь, роман автоматически получится именно такой, какой нужен для успеха в качестве выдающегося советского писателя".

Я здесь изложил совет этого человека в сокращенном виде и так, как суть его припоминаю теперь. Тогда он говорил долго, несколько часов. После попойки я изорвал копию рукописи моей повести, которую мне вернул Симонов, и обрывки рассовал по мусорным урнам на пути домой.

Другой писатель, В.И., нашел повесть идеологически порочной. К счастью, он вернул мне рукопись. Придя домой, я сжег все рукописи. Сжег и те рукописи, которые сохранил Борис. Едва я успел это сделать, как ко мне явились с обыском из "органов". Тот, другой писатель, надо полагать, сообщил о моем сочинении в "органы". На сей раз я дешево отделался лишь беседой на Лубянке. Из беседы я извлек один положительный вывод: очевидно, архивы "органов" были на самом деле сожжены во время паники, когда немцы подошли вплотную к Москве. Иначе мне наверняка припомнили бы довоенные "приключения".

ДУШЕВНЫЙ КРИЗИС

На мысли о литературной карьере мне пришлось поставить крест, еще не начав ее. В сочетании с другими обстоятельствами это повергло меня в состояние глубокого душевного кризиса. Я решил покончить с собой. С этой целью уехал к Василию, с которым вместе приехал из армии в Москву, намереваясь воспользоваться его пистолетом. Если бы у меня не отобрали мое "почетное" оружие на границе, я, скорее всего,

использовал бы его. Василий мое намерение одобрил. Но предложил перед уходом на тот свет как следует выпить. И мы основательно напились. Намерение застрелиться отпало. Но намерение разрушить себя осталось. В конце 1946 года у меня обнаружилась язва желудка. Я не стал лечиться, продолжал пьянствовать, в морозы ходил полураздетым, без головного убора. Спал где придется и как придется. Открыто издевался над всеми советскими святынями и над Сталиным. Я хотел безнадежно заболеть, быть убитым в пьяной драке или быть замученным в застенках "органов". Но мне почему-то все сходило с рук. Людям, с которыми мне приходилось сталкиваться, казалось, что я качусь ко дну и к гибели. Мне сочувствовали и любили меня за это. Не знаю, является это общечеловеческим или специфически русским качеством – способствовать падению ближнего и помогать ему в этом. Когда я потом бросил пить и начал вести здоровый образ жизни, мои друзья и знакомые реагировали на это с гневом и ненавистью.

Теперь, оглядываясь назад, я спрашиваю себя: в чем была причина того душевного кризиса? На первый взгляд объяснение кажется очевидным: возвращение прежних тяжелых бытовых условий, возвращение довоенных явлений сталинизма, крушение надежд на литературное творчество, символизировавшие для меня тогда "иной мир". Все это играло роль, конечно. Но дело не только в этом. Этот кризис был не первый и не последний. Я его связываю с явлением, которое я называю направлением личности. Это явление можно уподобить автопилоту в самолете – прибору, который восстанавливает заданный курс в случае отклонений самолета от этого курса. Такой "прибор" уже в юности сложился в моей психике. Наметилось и направление будущей жизни – ее курс. Хотя жизнь вольно или невольно шла зигзагами, мой внутренний "автопилот" все же выводил меня на заданный курс. Но в жизни наступали моменты, когда сам мой "автопилот" оказывался не в состоянии восстановить курс или когда казалось, что терялся сам курс, – терялось направление личности. А я уже не мог жить без этого внутреннего механизма. В то время я потерял свой жизненный курс.

СУДЬБА РУССКОГО ГЕНИЯ

В 1947 году я потерял самого близкого в моей жизни друга – Бориса. Ко времени моей демобилизации он окончил художественное училище. Женился. Имел дочь. Во время войны был в партизанах, сделал серию рисунков обороны Сталинграда, за которую был награжден премией ЦК ВЛКСМ. В 1946 году он работал художником в журнале "Вокруг света". Выиграл несколько конкурсов по графике. Знатоки сулили ему будущее большого художника. Это и сгубило его. Нашлись завистники. Они использовали психическую неустойчивость Бориса и его полную практическую беспомощность. Начались интриги и служебные неприятности. Он тяжело заболел. В конце 1946 года от него ушла жена, забрав с собою дочь. Умер отец. Он потерял работу. Нормальные контакты с ним стали невозможны.

На примере Бориса я наблюдал одно из самых гнусных проявлений законов общества, которые я впоследствии назвал законами

коммунальности (массовости). Есть два типа запретов и препятствий для одаренных людей. Одно дело – ты что-то сделал, и власти чинят тебе какие-то препятствия. В этом есть своя выгода. Ты все равно известен. Живешь на хорошем уровне. Имеешь репутацию порядочного человека. Твои достижения преувеличивают в определенных кругах. На Западе раздувают. Такая полузапретность увеличивает твой социальный вес и роль в культуре. История советской культуры полна таких полузапрещенных персонажей. Они удобны для многих. С ними вроде бы приобретаешь к чему-то запретному, но без особого риска. И для средств массовой информации такие фигуры чрезвычайно удобны. И другое дело – тебе не дают проявиться настолько, чтобы стать общественно признанной значительной фигурой, адекватной твоему таланту. При этом тебе официально не чинят никаких препятствий – это как раз было бы в твою пользу, привлекало бы к тебе внимание. Официально тебя просто игнорируют и отдают на съедение массе других людей, от которых зависит твоя судьба как человека творческого. Они сразу замечают масштабы твоего таланта и совершают сотни и тысячи мелких дел, каждое из которых ничтожно, но которые в совокупности могут убить гения любого калибра. И запрета вроде нет. Но тут о тебе умолчали, тут сказали так, что лучше бы не говорили совсем, тут не издали, тут не напечатали рецензию, тут пустили в ход клевету... И это – изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Таким путем душат медленно и незаметно, но наверняка. Пробриться почти невозможно. Только случай или чудо способны тебе помочь. Но если такое чудо случилось и ты обнаружил свои размеры, на тебя наваливаются с еще большим остервенением. И мало кто приходит к тебе на защиту, если вообще приходит. Ты неудобен для всех – для властей, для массы бездарностей, считающихся талантами и гениями, для поклонников, околачивающихся около признанных и полузапретных (особенно около таких) фигур, для прессы. Существует целая система приемов такого постепенного удушения потенциального гения. Люди овладевают ими с поразительной быстротой и без подсказок. Они действуют даже без взаимного сговора так, как будто получают указания из некоего руководящего центра.

Говорят, будто исторический Сальери был совсем не таким, как в легенде. Но если это и так, легенда все равно ближе к истине. В моцартовское время на одного реализовавшегося Моцарта приходился один Сальери. В наше время на одного потенциального Моцарта находятся тысячи актуальных Сальери, действующих еще более подло и мелко, чем легендарный Сальери. Прогресс!

Впоследствии я внимательно наблюдал фактическую ситуацию в культуре в смысле действия критериев оценки деятелей культуры. Есть два рода критериев – критерии социального успеха и критерии реального вклада в культуру и новаторства. Они не совпадают. Их расхождение в наше время стало вопиющим. Критерии социального успеха фактически разрушили критерии успеха творческого. Наблюдение таких явлений было для меня одним из источников будущих социологических идей.

СУДЬБА РУССКОГО ВОИНА

В начале 1947 года в Москву приехал Василий. Я познакомил его с женщиной, с которой я короткое время работал в артели игрушек. Я числился инженером в этой артели. Мои обязанности заключались в том, чтобы подписывать какие-то бумажки. Я заметил, что это могло плохо кончиться для меня, и уволился. Василий устроился на мое место и женился на женщине, о которой я упомянул. Она была заведующей складом артели. Кстати сказать, женщина была довольно интересная. Василий, во всяком случае, был ею доволен и не выказывал намерения разводиться. Сначала он пытался работать честно, даже сделал какие-то рационализаторские усовершенствования. Но быстро убедился в том, что честно работать нельзя. Начальство требовало денег, считая артель источником левых доходов. А встав на путь преступления, он, как и многие другие бывшие фронтовики, покатился по нему до конца. В артели обнаружилось крупное хищение. Василию грозил большой срок тюрьмы. И он застрелился из того "почетного" оружия, документ на которое он подделал из моего наградного документа.

Мне удалось добиться того, чтобы его похоронили как героя войны, а не как подлежавшего суду преступника. Он был, как оказалось, награжден более чем десятью орденами и множеством медалей. Жулики из артели все-таки свалили всю вину на него и, как говорится, вылезли сухими из воды.

Впоследствии я смотрел фильм "Судьба солдата в Америке". Фильм прекрасный, не спорю. Но то, что происходило в нашей стране, давало материал для десятков фильмов и книг гораздо более сильных. Но эта возможность так и осталась неиспользованной: изображение явлений такого рода было запрещено строжайшим образом. И это касалось не только послевоенных лет, но всей советской истории вообще. После смерти Сталина было дозволено писать о репрессиях. Но самые основы жизни общества так и остались нетронутыми. Думаю, что мои "Зияющие высоты" явились первой в русской литературе большой книгой, имевшей сознательной целью анализ реальных прозаических будней советского общества как основы всего общественного здания.

ПЬЯНСТВО

Моральная деградация общества началась еще во время войны. Но в войну она прикрывалась и даже сдерживалась высокими целями защиты Родины. После войны этот сдерживающий фактор исчез. Коррупция, карьеризм, приспособленчество, пьянство, сексуальная распущенность и прочие негативные явления стали с циничной откровенностью доминирующими факторами психологической, моральной и идеологической атмосферы тех лет. Я принципиально отверг все это для себя лично, за исключением пьянства. Пьянство я считал морально оправданным. Более того, я относился к нему как к явлению неизбежному в условиях России, причем как к явлению социальному, а не медицинскому. В моих книгах есть много страниц на эту тему, в особенности в "Евангелии для Ивана" и в "Веселии Руси". Приведу для примера одно стихотворение:

Напрасно на нас, словно зверь, ополчилось
Наше прекрасное трезвое общество.
Полвека промчалось. А что получилось?
С чего оно начало, там же и топчется.
Нас крыли в комиссиях. Били в милиции.
С трибуны высокой грозили правители.
А мы устояли, не сдали позиции.
Мы клали с прибором на их вытрезвители.
Чтоб строить грядущее им не мешали мы,
Рефлексы по Павлову выправить тщилися.
И все ж по звонку перегаром дышали мы,
А не слюною, не зря ж мы училися.
Уколы кололи. Пугали психичками.
Даже пытались ввести облучения.
И само собой, нас до одури пичкали
Прекрасными сказками Маркса учения.
Но пусть эта муть хоть столетие тянется.
Нас не согнуть никакой тягомотиной.
Друзья–алкаши! Собутельники! Пьяницы!
Зарю человечества встретим блевотиной!
Иначе строители нового рьяные
Во имя прогресса совсем перебесятся.
И трезвые даже, не то что мы, пьяные,
Завоют с тоски и от скуки повесятся.

Физиологической склонности к алкоголю у меня никогда не было. Мой

отец, мать и все братья и сестры были трезвенниками. Я начал употреблять алкоголь потому, что это было принято, и потому, что нам выдана ли спирт и водку за боевые вылеты. Я пил с отвращением, заставляя себя пить. Это отношение к алкоголю у меня было неизменным всю жизнь. Оказавшись на Западе, я получил возможность пить лучшие алкогольные напитки мира. И мне иногда приходилось их пробовать. Но я всегда это делал через силу и с отвращением. В мои "пьяные" годы я без всяких усилий прекращал пить на несколько месяцев, а иногда на год и более. В 1963 году я вообще перестал пить и почти двадцать лет не выпил ни капли спиртного. С 1982 года я начал вновь выпивать, но очень редко и исключительно ради компании. Так что я никогда не был медицинским алкоголиком. Я был чистым примером пьянства как явления социального и национального русского.

В России алкоголь никогда не был элементом обычной пищи, как во многих других местах планеты. Он был всегда элементом государственной политики. Главными причинами пьянства всегда были бедность и убожество жизни, а также психологические драмы, порожденные безвыходностью положения и отчаянием. В первые послевоенные годы пьянство приняло такой размах, какого не было за всю прошлую историю России. Не было средств на хорошую еду и одежду. А на пьянство хватало. Оно было дешевле. Люди пережили неслыханные лишения и горе. В пьяном виде это на время забывалось. Жизнь становилась немного красочнее и веселее. Отношения с людьми становились душевнее. Власти умышленно поддерживали пьянство как средство отвлечь внимание людей от их тяжелого положения. Алкогольные напитки продавались повсюду. На вечерах отдыха, которые регулярно устраивались во всех учреждениях и предприятиях, непременно работал буфет.

Больше половины студентов нашего курса оказались бывшими военнослужащими. Первый же день занятий мы отметили тем, что направились в забегаловку, расположенную между университетскими зданиями. Мы ее называли "Ломоносовкой" в честь Ломоносова, который, как известно, "был выпить не дурак". Эта "Ломоносовка" была большим соблазном для студентов. По настоянию университетского начальства ее закрыли и снесли с лица земли в 1948 году. По поводу ее закрытия мы устроили поминки по ней в скверике, сделанном на ее месте. Кончились эти поминки тем, что половина участников оказалась в милиции за дебош в общественном месте, а другая половина – в вытрезвителе.

Наши пьянки принимали мальчишески увеселительные формы. Мы как будто бы вернулись обратно в нашу раннюю юность и спешили таким варварским путем наверстать потерянное. Вспоминаю некоторые забавные случаи. Идя на демонстрацию 1 Мая 1947 года, мы решили выпивать по сто грамм водки у каждой питейной точки, которые были в большом числе на всем маршруте нашей колонны вплоть до подхода к центру города. Закуска была бедная, а водка – в изобилии. Когда мы дошли до того места, где собирались строить Дворец Советов, мы дружно легли посередине улицы. Милиция оттащила нас за забор, где была заброшенная стройка Дворца Советов. Мы там отоспались до вечера. А вечером продолжали пьянствовать в праздничной компании, какие тогда были обычными. Другой случай – соревнование по пьянству в кафе на углу улицы Горького и проезда Художественного театра. В соревновании

участвовало человек двадцать от разных факультетов университета. Наш факультет представляли Владимир Семенцов, бывший штурман бомбардировочной авиации, и я. Зрелище было грандиозное. Мы просили не убирать пустые пивные и водочные бутылки. Масса народа толпилась вокруг наших столов и у окон на улице. Заключались пари, как на ипподроме. Первое место занял парень с геологического факультета, даже не служивший в армии. Он был действительно большой, прирожденный талант по части выпивки. Второе место занял Володя Семенцов, отставший от него всего лишь на бутылку пива. Я занял пятое или шестое место.

Этот Володя был на редкость хорошим собутыльником, добрым, щедрым и умным. Ритуальное пьянство на всю жизнь стало его призванием. Хотя он окончил университет, защитил кандидатскую и докторскую диссертации, стал профессором и заведующим кафедрой, он в душе остался пьяницей тех послевоенных лет.

Мы с ним довольно часто организовывали массовые попойки, а также пьянствовали вдвоем. Он организовывал выпивки со вкусом, как говорится, "со вкусом", с маленькими приключениями и длинными разговорами. Его страстью были проходные дворы. Их тогда в Москве было много. И они действительно порою были очень интересными. Однажды мы с ним в поисках таких приключений забрались во двор какого-то секретного учреждения с железными дверями и решетками на окнах. Нас задержали на много часов, выясняя, кто мы такие. Во время наших попок мы вели разговоры о сущности нашего общества и о сталинизме. Он понимал мои убеждения и добавлял от себя кое-что. У него не было никаких иллюзий. Но он не принимал происходящее близко к сердцу. Он хотел лишь комфортабельно устроиться в жизни и продолжать поведение пьяницы по призванию.

Во время наших попок постоянно велись разговоры о войне, о заграничье, о положении в стране. Аналогичные разговоры происходили в тысячах других аналогичных компаний. В этих разговорах проскальзывали критические реплики, рассказывались острые анекдоты, высказывались невольные откровенные затаенные мысли. Шла незаметная и вроде бы незначительная работа многих тысяч людей по подготовке базы для будущего антисталинистского движения и десталинизации страны.

Из моих собутыльников тех лет хочу упомянуть также Василия Громакова, бывшего капитана и командира батальона, и Владимира Самигулина, бывшего старшего лейтенанта и командира роты. Громаков впоследствии стал секретарем партийного бюро факультета, защитил диссертацию по работам Сталина о Великой Отечественной войне. Вместе с тем он был отличным товарищем и собутыльником и самым лучшим знатоком политических анекдотов, за которые полагался срок.

ОЖИВЛЕНИЕ АНТИСТАЛИНИЗМА

В эти годы началось усиление репрессий не только за бесчисленные мелкие и крупные уголовные преступления, но и за "политику".

Возвращалась обстановка конца тридцатых годов. Летом 1948 года я ездил на работу в колхоз со студенческой бригадой факультета. Положение в колхозах было еще хуже, чем до войны. По возвращении из колхоза один член нашей бригады, бывший офицер-фронтовик Том Тихоненко высказал несколько критических фраз о колхозах. Его осудили на десять лет по 58-й статье. Тихоненко учился на курс старше меня. Свои мысли о колхозах он высказал в своей группе. О его осуждении я узнал лишь постфактум. Если бы он был на нашем курсе, я бы не удержался и поддержал его из солидарности. Уже после того, как Тихоненко отбыл срок и был освобожден в хрущевские годы, он сказал, что донос на него написал сокурсник и что последний выступал свидетелем на суде. В этом же году был осужден на большой срок только что поступивший на факультет Виктор Красин, впоследствии ставший диссидентом. Его осудили вместе с группой других студентов за занятия буддизмом. Многочисленные случаи арестов происходили в нашем непосредственном окружении. Сталинизм с новой силой проявлял свою натуру. Мой несколько ослабевший в годы войны антисталинизм тоже возродился и стал осмысленнее. Я начал вести систематическую антисталинистскую пропаганду.

Я с моим антисталинистскими умонастроениями не был исключением. Такие настроения в то время были у многих. Дело тут было не в знании каких-то негативных фактов сталинизма и не в способности иронизировать по их поводу, а в том, как человек переживал эти факты, какое влияние знание о них оказывало на его идеологическое и нравственное состояние и на его поведение. Мы в наших компаниях издевались и потешались над "научным коммунизмом" Маркса так, как его не критиковали никакие враги марксизма и коммунизма. Но у многих ли из нас это превращалось в смысл и в программу нашей жизни?! Другой мой университетский друг уже тогда коллекционировал антикоммунистические анекдоты. Но он не стал антикоммунистом. Он стал даже специалистом по "научному коммунизму". Организаторы сталинских репрессий лучше, чем кто бы то ни было, знали правду о сталинских концентрационных лагерях. Но они от этого не стали антисталинистами.

Я не могу утверждать, что мне уже тогда была ясна сущность сталинизма. Я еще не был подготовлен для этого профессионально. Да и сам феномен сталинизма еще не изжил себя как исторически преходящее явление. Он был еще в расцвете сил и казался вечным. Для меня, как и для других, он еще был социализмом (коммунизмом), как таковым, а не историческим периодом и исторической формой эволюции социализма (коммунизма). Мне это стало ясно лишь после смерти Сталина.

Война, как мне стало ясно впоследствии, нанесла удар по сталинизму в самих основах общества, удар по существу. Она обнаружила дефекты сталинизма и создала условия для развития в стране феноменов, сделавших его со временем излишним и даже опасным для существования общества. Но война вместе с тем укрепила сталинизм в его поверхностных проявлениях, укрепила по форме. Страна победила в войне отчасти благодаря сталинизму, но отчасти вопреки ему. Сталинизм же все отнес на свой счет. Да и население страны в массе своей полагало, что победили благодаря Сталину и всему тому, что он олицетворял. Сталин и сталинисты во всей стране торжествовали

победу. Возродились все довоенные ужасы сталинизма. Потребовалось еще почти десять лет, прежде чем сталинизм сошел со сцены истории.

Проходят годы. Исчезают конкретные исторические обстоятельства. И многое в прошлом начинает казаться бессмысленным. Сейчас, через тридцать пять лет после смерти Сталина, многие критикуют его и выглядят героями. А ведь критиковать сейчас Сталина – все равно как критиковать Чингисхана, Ивана Грозного или Гитлера. А в 1946 – 1948 годы это было смертельно опасно. Я встал на путь активного антисталинизма не из расчета прослыть героем. Я не надеялся выжить. Я лишь хотел как можно больше причинить ущерба сталинизму. А репутацию героя на этом тогда нельзя было приобрести даже в глазах тех, с кем я вел опасные разговоры. Разговоры же я вел бесчисленные. Они на много лет стали фактически главным делом моей жизни. В основном это были импровизации. В них я не столько убеждал моих собеседников в чем-то, сколько вырабатывал для самого себя понимание явлений, о которых шла речь. Конкретное содержание разговоров, конечно, не запомнилось. Оно никак и нигде не фиксировалось. В них делались важные открытия без претензии на авторство и без всякой возможности удержать его за собой. Авторство сохранялось лишь в одной форме – в форме доносов.

ТАЙНЫЙ АГИТАТОР

Я учился, зарабатывал на жизнь, вел вроде бы обычную жизнь. Но эта жизнь имела стержень: это была нелегальная агитационная деятельность. Основное ее содержание составляла антисталинистская агитация, переходившая в критику всех аспектов нашего общества. Ко мне, очевидно, перешли какие-то способности от матери разговаривать с людьми. Только эти способности обратились на проблемы идейные. Я распропагандировал многие десятки моих собеседников. Они, конечно, помалкивали о том влиянии, какое на них оказывали разговоры со мною. Когда стало возможным признать это влияние, они это не сделали уже из других соображений. Лишь очень немногие признавали, что эволюцией своего мировоззрения были обязаны мне. Таким оказался Карл Кантор. Осенью 1947 года он демобилизовался из армии и поступил на наш факультет. Карл стал одним из тех, с кем я мог говорить с полной откровенностью, причем, как говорится, "на полную железку". И это несмотря на то, что он был искренним сталинистом. В разговорах с ним я оттачивал свои собственные взгляды. Наши разговоры были полемикой, но такой полемикой, которая лучше любого согласия. Карл родился в семье революционеров-марксистов и вырос искренним марксистом-ленинцем. Думаю, что и остался таковым до конца. И я уважаю его за это. Со временем он стал одним из крупнейших советских теоретиков искусства. Очень много работал в области технической эстетики, тогда еще совершенно новой в Советском Союзе области эстетики. Разговоры с людьми вообще в моей жизни играли роль огромную. В России в силу обстоятельств в те годы появлялось довольно много людей, для которых разговоры становились чуть ли не призванием. Были мастера разговоров. Мы могли разговаривать часами, испытывая интеллектуальное наслаждение от самого процесса разговора. В этих

разговорах я вырабатывал для себя принципы и опыт моей интеллектуальной эстетики – эстетики мысли.

Ведя свою агитацию, я вовсе не имел целью побуждать людей на какие-то активные действия. Я просто разговаривал с людьми, как они того и хотели, и высказывал им все то, что знал сам и что надумал. Я просто раздавал людям содержание своего интеллекта и души. А к каким последствиям в их эволюции это вело, я об этом вообще не думал. Более того, я даже не имел сознательной целью определенного рода агитацию. Последняя получалась сама собой, произвольно, просто потому, что я людям отдавал то, что имел, а иного у меня не было.

РИСКОВАННЫЙ СМЕХ

Студенческие годы были для меня веселыми, несмотря ни на что. Шутками и хохмами было заполнено все время, включая самые серьезные лекции и семинары. Приведу два характерных примера на этот счет.

Во время одной лекции, в которой речь шла о теории условных рефлексов Павлова, я предложил мою интерпретацию этой теории, перевернув отношение собак и экспериментатора. Преподаватель растерялся, так как теория Павлова считалась приложимой и к человеку. Тогда же я пустил в оборот другую шутку, сказав, что Павлов изгнал идеализм из его последнего убежища с помощью собак. Это была словесно незначительная переделка официально принятого утверждения.

Я быстро усвоил алгоритм сочинения марксистских текстов, так что мог их воспроизводить сам, даже не читая их, зная их по намекам. На одном из экзаменов мне попался вопрос о работе Сталина "О трех особенностях Красной Армии", которую я не читал. Отвечая, я изобрел десять особенностей и мог бы изобрести еще десять, если бы меня не остановили. Мой ответ был оценен как лучший в группе.

ТРЕЗВОСТЬ

Годы 1948 – 1951-й для меня были трезвыми как в прямом, так и в переносном смысле слова. Я прекратил прежнее безудержное пьянство. Перед летними каникулами я прошел медицинскую комиссию в военкомате. Никаких следов язвы желудка обнаружено не было. Я был признан годным к службе в авиации и даже к полетам на современных самолетах. Летнее время я проводил на военных сборах. Летал на спортивных самолетах. Цель полетов заключалась не только в том, чтобы подкреплять наши летные навыки, но и в том, чтобы натренировать для полета в лозунгах "Слава КПСС!" или "Сталину слава!" на воздушном параде. Некоторым из нас предложили вернуться в армию. Часть бывших летчиков, отчаявшихся устроиться на гражданке, согласились на это предложение. Я отказался. Я уже выкарабкался из душевного кризиса и уже приобрел

вкус к учебе.

С начала учебного года я стал подрабатывать на жизнь, работая учителем в ряде школ. Преподавал логику и психологию. Один год я преподавал логику даже в Пожарной академии. Одновременно начал посещать механико-математический факультет университета. Хотел перевестись на него, но начать учиться сразу на третьем курсе я не мог, а терять два года не хотелось. Кроме того, на философском факультете я получил право свободного посещения, т. е. мог пропускать какие-то лекции. На механико-математическом факультете это было невозможно, так что я не смог бы зарабатывать на жизнь.

Теперь я мог позволить себе снимать жилье частным порядком. В ужасающей тесноте на Большой Спасской жить стало невозможно. Я выработал стиль жизни, позволявший мне достойно жить на мизерные средства. Этот стиль жизни касался одежды, питания и прочих трат. Все мое имущество я мог унести с собой в руках при перемене места жительства. Я не покупал книг, беря их в библиотеке или у знакомых. Я был беспартийным. Принципиально не принимал участия в общественных мероприятиях, если не считать стенных газет, которые я делал с удовольствием. Я не читал газет и не слушал радио из соображений "умственной гигиены". Короче говоря, я вел исключительно упорядоченный и аскетический образ жизни. До 1954 года ни разу не обращался к врачам. При всякой возможности занимался спортом. Разработал свою систему утренней зарядки. Делал эту зарядку регулярно, не считаясь ни с какими условиями. И продолжаю делать до сих пор.

Снимал я часть комнат у пожилых людей и отдельные комнаты, в которых никто, кроме меня, жить не отваживался. Зато эти комнаты были дешевле. Одна из них была всего 6 кв м., не имела окна и туалета. Мне приходилось поэтому пользоваться общественным туалетом и ближайшими дворами. Другая комната, наоборот, была огромная – больше 100 кв м. Это был цементный подвал, залитый водой. Лишь перед окном был деревянный настил, на котором я и жил. Я этой "комнатой" был доволен, но меня из нее выжили крысы.

Учился я легко и успешно. Выручала память. На те предметы, которые я считал несущественными для моего образования, я тратил минимум времени, иногда – лишь дни, отведенные на подготовку к экзаменам. За два-три дня я просматривал кипы книг, запоминая с одного просмотра огромное количество сведений. Сдав экзамен, я встряхивал головой и тут же забывал все это, освобождая голову для нового материала. Кроме того, я изобретал свои методы упорядочения и запоминания материала. Это была хорошая тренировка к будущей исследовательской работе. Впрочем, я об этом будущем применении моей гимнастики ума не думал.

В школах я преподавал с удовольствием. Я оказался прирожденным педагогом, причем – на привилегированном положении. Уроков логики и психологии в каждой школе было мало. Я числился почасовиком в пяти или шести школах сразу. Не посещал никакие педагогические советы. К логике и психологии все относилось с пренебрежением, так что я был совершенно свободен в своем учительстве. Главное – сохранять

дисциплину в классах во время уроков. Я превращал свои уроки в развлекательные концерты или в лекции на жизненно интересные темы. Многие истории военных лет, вошедшие впоследствии в мои книги, я отработал на этих уроках. Работа в школе дала мне хорошую подготовку к моим будущим лекциям в высших учебных заведениях и к публичным лекциям. С точки зрения владения аудиторией на любой теме и на любом материале я достиг виртуозного совершенства.

В послевоенные годы советская школа изменилась во многих отношениях и по многим причинам. Среднее и даже высшее образование утратило характер исключительности. Колоссально возросло число школ. Окончание школы перестало быть гарантией поступления в институт. Выросло число учителей и изменился тип учителя. Профессия учителя перестала быть такой уважаемой, как до войны, и утратила обаяние. В учителя пошли самые посредственные выпускники школ. Вырос образовательный уровень общества и семей. Изменилось положение в семьях. Дети через семьи стали получать многое такое, что раньше давала лишь школа. Колоссально выросли возможности удовлетворять культурные потребности вне школы. Исчезли идеологические иллюзии. Резче обозначились социальные контрасты. Социальные отношения охватили и школу. Дифференцировалась система образования. Усилились социальные различия учебных заведений и различие в уровне подготовки. Очевиднее стало и усилилось расхождение привилегированных и непривилегированных учебных заведений. Исчез романтизм и появился практицизм в детской и юношеской среде. Изменился тип ученика. Изменилось отношение к школе. Школа перестала играть роль светлого храма и роль двери в прекрасное будущее общество всеобщего благополучия. Свою долю в этот процесс добавило влияние Запада, которое, несколько улучшив практическую эффективность образования, способствовало ослаблению и деградации всех положительных качеств советской системы образования. Начавшийся в хрущевские годы кризис системы образования еще более углубился к концу брежневского периода и достиг апогея в горбачевские годы.

УХОД В ЛОГИКУ

По личному указанию Сталина, как об этом сообщили нам, ввели преподавание логики в средней школе и в некоторых высших гуманитарных учебных заведениях. Для меня это нелепое сталинское "новаторство" явилось благом. Уже на первом году обучения в университете стало ясно, что историческим материализмом и "научным коммунизмом" занимаются самые глупые и бездарные преподаватели, студенты и аспиранты. Интеллектуальный уровень диалектического материализма тоже оказался невысоким. Философия естествознания, история философии и психология меня мало интересовали. Так что с третьего курса я стал заниматься логикой с намерением специализироваться в этом направлении. Тем более логика считалась беспартийной наукой, что соответствовало моей беспартийности и аполитичности. Даже в самой примитивной форме логика была сродни математике, и я увлекся ею.

В 1948 году на факультете состоялась дискуссия по вопросу о соотношении формальной и диалектической логики. Выражение "диалектическая логика" несколько раз встречается в работах Энгельса и Ленина. В условиях общего оживления в стране нашлись энтузиасты, которые решили проявить творческое новаторство за счет этих слов. Это было тоже характерно для советской философии тех лет – творить в рамках цитат из классиков марксизма.

Я, хотя и был лишь студентом, чувствовал себя уже начитанным в логике и принял участие в дискуссии. Я высказал точку зрения, которую не приняли ни "консерваторы", ни "новаторы". Я всегда стремился идти своим путем. "Дело обстоит не так, – говорил я, – будто где-то лежит некая готовая диалектическая логика, и нам остается лишь заметить ее и признать. Такой науки нет, и выражение "диалектическая логика" является многомысленным. Надо на проблему взглянуть иначе, а именно так. Никто не сомневается в том, что есть диалектический способ мышления, диалектический подход к проблемам. Этот подход реализуется в каких-то формах, приемах. Само собой разумеется, что при этом используются логические формы, описываемые в формальной логике. Но используются и другие средства, позволяющие нам ориентироваться в сложной, изменчивой и противоречивой (в диалектическом смысле) реальности. Вот эти средства, которыми практически оперирует диалектически мыслящий человек, и надо сделать предметом внимания логики. А назовем мы такую науку особой диалектической логикой или сделаем ее частью логики формальной, роли не играет".

Мое заявление было разумным, и я от него не отказываюсь и сейчас. Но тогда оно вызвало возмущение у всех. Впрочем, и сейчас я в этом отношении не встречаю понимания ни у кого. Я же, отстаивая свою точку зрения в спорах с другими студентами и преподавателями, определил для себя направление моих научных интересов на целых восемь лет. Я решил построить такую науку, которая охватила бы все проблемы логики, теории познания, онтологии, методологии науки, диалектики и ряда других наук, имевших дело с общими проблемами языка и познания. Но охватила бы не в качестве различных разделов, объединенных под одним названием и под одной обложкой, а в качестве единого объекта исследования. Я решил начать строить эту науку так, чтобы все упомянутые проблемы естественным образом распределились в различных ее частях в зависимости от ее принципов построения и возможностей. Как назвать эту науку, было для меня делом второстепенным. Термин "философия" не годился, так как советские философы сразу усмотрели бы в моей претензии покушение на привычное состояние философии. Исключительно из тактических соображений я решил не выделять свой замысел из рамок логики и не афишировать его в общей форме. Со временем, когда я сделал достаточно много в отношении реализации этого замысла и когда ситуация для логики в советской философии стала на редкость благоприятной, я стал употреблять выражение "комплексная логика", чтобы хоть как-то отличить делаемое мною от всего того, что делали другие.

НАКАНУНЕ "ОТТЕПЕЛИ"

В 1951 году я окончил философский факультет с дипломом "С отличием". Мою дипломную работу оппоненты рекомендовали опубликовать, а ученый совет принял решение рекомендовать меня в аспирантуру. Хотя я был беспартийным и аполитичным, хотя имел репутацию "политически неустойчивого", меня все же приняли в аспирантуру на кафедре логики. Поворот страны в сторону "оттепели" уже ощущался в массе мелочей. На мою беспартийность смотрели сквозь пальцы. Как отличник и участник войны, я входил в "золотой фонд" университета. Репутация человека, критически настроенного по отношению к сталинизму, кое-кому даже импонировала. Плюс ко всему формальная логика была признана наукой второстепенной и беспартийной.

Важную роль сыграл мой тогдашний друг Василий Громаков, ставший к этому времени секретарем партбюро факультета. Он был прекрасно осведомлен о моих умонастроениях. Он не разделял их, но и он был захвачен нарастающим стремлением к переменам и свободомыслию. Он был вполне ортодоксальным марксистом-ленинцем, членом партии еще с войны, специализировался по "научному коммунизму". Еще будучи студентом, стал секретарем партбюро факультета. Это много значило в сталинские годы. От него зависело, примут меня в аспирантуру или нет. И несмотря ни на что, он высказался в мою пользу. Наши отношения – характерный пример тому, что психологическая, моральная и идейная ситуация в те годы была не такой уж простой. Не было тех резких разграничительных линий, которые стали примысливать потом. Этот же человек, которого потом кое-кто зачислил в "недобитые сталинисты", дал мне рекомендацию в партию, зная меня как антисталиниста.

Всеобщее стремление к обновлению, к переменам проявлялось в стране не в прямых требованиях социальных реформ, а в бесчисленных мелких делах, которые казались локальными и частными. О радикальных переменах в системе власти и в образе жизни коллективов открыто не говорил никто. Да и вряд ли кто осознавал необходимость и возможность таких перемен. Потребность в них ощущалась именно в частностях. И в частностях они казались возможными. Те, кто стремился к ним и ратовал за них, делали это целиком и полностью в рамках принятых норм жизни и идеологии. Все ратовали за лучшее исполнение воли высшего руководства и лично товарища Сталина.

На нашем факультете эта общая тенденция проявилась в своеобразном бунте студентов, аспирантов и молодых преподавателей против низкого уровня философской культуры и против застоя в философии, в борьбе за дальнейшее развитие марксизма-ленинизма. Тем не менее это был бунт. Дух бунтарства захватил и ряд профессоров старшего поколения. Заседания кафедр и ученых советов стали превращаться в очень острые баталии. Они продолжались затем во всякого рода забегаловках.

ДИССЕРТАЦИЯ

Темой моей диссертации был метод восхождения от абстрактного к конкретному на материале "Капитала" К. Маркса, т. е. логический анализ структуры "Капитала". Этот метод был открыт и в общей форме описан Гегелем и затем Марксом как "технический" (логический) прием, удобный для исследования и понимания таких сложных и изменчивых предметов, каким является человеческое общество. Этот метод и был не чем иным, как логическим аспектом диалектического метода.

В моей диссертации я осуществил анализ этого метода и описал его составные элементы, такие, например, как изолирующая и конкретизирующая абстракции, абстрактные модели, клеточка целого, переход от отдельного явления к множеству однородных взаимодействующих явлений. Короче говоря, я в диссертации установил, что диалектический метод мышления есть просто научное мышление в условиях, когда, по словам Маркса, приемы эмпирического и экспериментального исследования должна заменить сила абстракции, а также теоретических допущений и дедукции применительно к сложному, изменчивому переплетению связей и процессов. В прошлой истории философии еще до Гегеля попытка описания такого метода была предпринята Дж. С. Миллем, но ее почему-то никто не ставил в связь с диалектикой. В России об этом методе писал Чернышевский, переводивший сочинения Милля на русский язык.

На многих студентов и аспирантов моя диссертация произвела сильное впечатление. Диссертацию размножали во многих копиях. Это организовал Г. Щедровицкий, который в те годы был моим последователем. Но она была враждебно встречена руководителями советской философии. И это не случайно. Превращение марксизма в господствующую государственную идеологию сопровождалось превращением диалектики из орудия познания сложных явлений действительности в орудие идеологического жульничества и оглупления людей. Всякая попытка описать диалектический метод мышления как совокупность особого рода логических приемов (а именно такой была ориентация моей работы) была обречена на осуждение в силу сложившегося в советской философии понимания диалектики как некоего учения об общих законах бытия. На основе идей моей диссертации образовалась небольшая группа. В нее, помимо Г. Щедровицкого, входили Б.Г. Грушин, М. Мамардашвили и другие, но через пару лет группа распалась.

СТАЛИНСКИЕ КАМПАНИИ

Сталинские кампании (против космополитизма, например) коснулись моих мыслей и чувств лишь как материал для шуток и анекдотов. Мое отношение к сталинизму имело место совсем в ином разрезе жизни. Все эти кампании казались мне явлением на поверхности, а не в глубине потока жизни. Но все же и меня они зацепили. На одной студенческой вечеринке я потешал собравшихся шуточными импровизациями, которые зашли слишком далеко. В результате я удостоился вызова в деканат

факультета. В беседе участвовали руководители факультета и активисты курса. Я вспылал и наговорил много такого, за что тогда следовало исключение из университета и еще более суровое наказание. Но как это ни странно, меня выручила именно моя резкость и искренность. Кроме того, мой друг Василий Громаков был секретарем партбюро курса и членом партбюро факультета, а один из студентов нашей группы (Петр Кондратьев) стал даже секретарем парткома университета. С ним я вместе поступал в МИФЛИ в 1939 году. Он помнил мою скандальную историю. Во время войны он стал политруком, затем заместителем начальника политотдела крупного авиационного подразделения (не то дивизии, не то корпуса), получил чин майора. Мы бывали в одних и тех же дружеских компаниях. Он был осведомлен о моих умонастроениях, но солидарность бывших фронтовиков оказалась сильнее. Оба они поручились за меня лично, и меня оставили в университете. Случай этот характерен для общей ситуации в стране: репрессии имели место одновременно с явным сопротивлением им со стороны бывших фронтовиков.

По моим наблюдениям, сталинские кампании не вызывали особого энтузиазма у населения страны и породили множество анекдотов, чего раньше не было. Мы в стенной газете факультета рисовали карикатуры по поводу раздувания русской философии, по поводу поисков основных законов в различных сферах природы и общества (в подражание "открытому" Сталиным "основному закону социализма"), по поводу превращений одних видов животных в другие (сатира на идеи Лысенко). И как это ни странно, нам все это сходило с рук.

Кампания против космополитизма, имевшая целью возродить русское национальное самосознание, обнаружила бесперспективность русского национализма. Ему сразу же придавали уродливые формы, и потому он становился предметом нападков как со стороны представителей других национальностей, так и властей.

СМЕРТЬ СТАЛИНА

Умер Сталин, Но я не был этому рад. Исчез мой эпохальный враг, делавший мою жизнь осмысленной. Мой антисталинизм терял смысл. Мертвый Сталин не мог быть моим врагом. Состояние было такое, как после окончания войны. Ведя антисталинистскую пропаганду, я чувствовал себя как на войне. Каждый острый разговор угрожал доносом и арестом. Я переживал его, как боевой вылет. И вот ничего подобного теперь не будет. Конечно, на место Сталина придет другой вождь. Но у меня к нему не может быть такого отношения, как к Сталину.

Прощаться со Сталиным я не пошел. И в Мавзолей, куда на короткое время поместили труп Сталина, я не пошел принципиально. Большинство моих знакомых переживали смерть Сталина как искреннее горе. Мой тогдашний друг Э. Ильенков рыдал, возлагал надежды на Мао. При этом он готовился разоблачить вместе со всеми сталинскую вульгаризацию марксизма. Его реакция была характерной. Со Сталиным сжились настолько, что он стал не только символом эпохи, но и частью личной

жизни. Все чувствовали, что эта эпоха окончилась. И горевали поэтому. Все чувствовали, что эта эпоха навечно ушла в прошлое. И радовались этому.

Моя мать вырезала из газеты фотографию Сталина и вложила ее в Евангелие. Я спросил ее, зачем она это сделала. Ведь Сталин был злодей! Она ответила, что Сталин взял на свою душу грехи всех других, что теперь его все будут ругать и что кто-то должен за него помолиться. И вообще нельзя знать, чего больше вышло из его дел – добра или зла. И неизвестно, что сделал бы на его месте другой.

IX. ЮНОСТЬ КОММУНИЗМА

МОЙ АНТИСТАЛИНИЗМ

Мой антисталинизм возник как реакция на тяжелые условия жизни окружавших меня людей. Все зло жизни я персонифицировал в личности Сталина. Это обычное с психологической точки зрения явление. Необычным тут было то, что самый страшный и самый могущественный человек в стране стал предметом ненависти для мальчика, жившего на самом дне общества. К семнадцати годам моя ненависть лично к Сталину достигла апогея. Я готов был ценой жизни убить его. Одновременно я начал подозревать, что причины зол коренятся не столько лично в Сталине, сколько в самом социальном строе. Во время странствий по стране в 1939 и 1940 годы мое подозрение переросло в уверенность. Зародилось интеллектуальное любопытство к самому социальному строю страны, желание понять его механизмы, порождающие зло. Но Сталин и его сообщники еще оставались для меня олицетворением советского социального строя. Это продолжалось вплоть до смерти Сталина. Ведя тайную агитацию, я не столько стремился нанести ущерб лично Сталину, сколько уяснить самому себе и разъяснить другим сущность реального коммунизма. К концу сталинского периода я понял, что сталинизм был исторической формой возникновения нового общества, его юностью.

В моей агитационной деятельности сыграло роль и то, что она была опасной. Я чувствовал себя тайным борцом против зла, заговорщиком. Теперь, со смертью Сталина, эта ситуация, казалось, исчерпала себя. Встал вопрос, как дальше жить. Жить так, как жили прочие нормальные люди, т. е. приспособливаться к обстоятельствам и начинать мелочную борьбу за жизненные блага, я уже не мог. Интуиция подсказывала, что судьба уготовила мне что-то другое, что я должен просто ждать, и ход жизни сам собой подскажет направление дальнейшего пути. В наступившей суматохе надо было прежде всего выбраться из толпы, уйти в сторону и обдумать пережитую эпоху. В 1953 – 1956 годы я выработал

свою концепцию сталинской эпохи. Она осталась неизменной для меня на всю жизнь. Она не была связана ни с какой конъюнктурой и не подлежала влиянию времени. Впоследствии я посвятил Сталину, сталинизму и сталинской эпохе много страниц своих книг. К тридцатилетию смерти Сталина написал книгу "Нашей юности полет". Но при этом я лишь записал и предал гласности идеи тех лет.

МОЙ ПОДХОД К ЭПОХЕ

Сталинская эпоха есть явление чрезвычайно сложное и многостороннее. К ней можно подходить с самых различных точек зрения и с самыми различными критериями. Но не все подходы равноценны. Я прочитал множество сочинений на эту тему. Но ни одно из них не могу считать адекватным предмету. И сочинения А. Солженицына в том числе. Во всех этих сочинениях выделяются лишь отдельные аспекты эпохи, раздуваются сверх меры и подгоняются под априорные установки. Чаще всего это борьба Сталина за личную власть и массовые репрессии. Однако при этом целостность исторического процесса исчезает и невольно получается односторонне ложная его картина. Историческая эпоха рассматривается либо со стороны, т. е. в том виде, как она представляется западному наблюдателю, либо сверху, т. е. в том виде, как она представляется с точки зрения деятельности партий, групп, отдельных личностей. И потому получается поверхностное и чисто фактологическое описание. Основное содержание эпохи, т. е. все то, что происходило в массе населения и послужило базисом для всех видимых сверху и со стороны явлений, почти не принимается во внимание. Главным объектом описания становится не глубинный поток истории, а его поверхностные завихрения и пена. Явления прошлого вырываются из их конкретно-исторического контекста. К ним применяются чуждые им понятия и критерии оценок, взятые из нашего времени. В результате сталинизм представляется лишь как обман масс населения и как насилие над ними, а вся эпоха – как черный провал в истории и как сплошное преступление. Поведение вождей представляется как серия глупостей и своекорыстных поступков. Это удобно многим. Не нужно большого ума, чтобы понимать банальности "мыслителей". И любой дурак чувствует себя мудрецом в сравнении со сталинскими недоумками, а любой прохвост – образцом моральности.

Не составляет на этот счет исключения и советская наука и идеология. Они вынуждаются на полуосуждение и полупризнание эпохи, в лучшем случае – на признание "отдельных ошибок" Сталина и фактов репрессий, а в худшем случае на бессовестные спекуляции за счет безответного и безопасного прошлого. Горбачевские "смельчаки", размахивающие кулаками после окончившейся давным-давно драки, заслуживают лишь презрения. И еще большего презрения заслуживают те люди на Западе, которые восхищаются кривляньями горбачевских клоунов. В наше время настоящее мужество нужно для того, чтобы судить о сталинской эпохе по ее фактическому {вкладу} в эволюцию человечества.

Сталинская эпоха прошла. И если я не хотел заостряться в моей внутренней эволюции на уже сыгравшем свою роль прошлом, если я хотел

двигаться вперед, я должен был с полной ясностью отдать самому себе отчет в том, что на самом деле было, что исчезло навсегда, что осталось в силу исторической инерции и что осталось навечно. Когда эта проблема встала передо мной, я уже имел профессиональную подготовку для ее решения.

Понять историческую эпоху такого масштаба, как сталинская, – это не значит (так думал я) описать последовательность множества ее событий и их причинно-следственную связь. Это значит понять сущность общественного организма, созревшего в эту эпоху. Сталинская эпоха была эпохой становления нового, коммунистического общества. В эту эпоху сложился социальный строй нового общества, его экономика, система власти и управления, идеология, культура, образ жизни миллионов людей. Это была юность нового общества.

Первым делом я отбросил оценку сталинской эпохи как преступной. Понятие преступности есть понятие юридическое или моральное, но не историческое и не социологическое. Оно не применимо к историческим периодам, к целым обществам и народам. Сталинская эпоха была страшной. В ней совершались бесчисленные преступления. Но нелегко говорить о ней в целом как о преступлении. Нелепо также рассматривать как преступное общество, сложившееся в эту эпоху, каким бы плохим оно ни было.

О ТЕРМИНОЛОГИИ

Новое общество строилось из данного человеческого материала и в рамках исторически данных возможностей. Оно строилось людьми, а не богами. Строилось методами, которые были доступны в то время. Эти методы отчасти достались в наследство от прошлого, отчасти навязывались обстоятельствами, отчасти явились продуктом свободного творчества масс и воли вождя. Многие из того, что изобреталось и использовалось при этом, изжило себя, было отброшено и стало достоянием истории. Но многое сохранилось, вошло в самое тело нового общества, превратилось в постоянно действующие методы воспроизводства общественного организма. Что считать сталинизмом? То, что отброшено ходом истории, или то, что сохранилось? Но и это еще не все. Как в том, что отброшено, так и в том, что сохранилось, имеется два аспекта: то, что связано с личными особенностями Сталина, и то, что от них не зависело, но что точно так же ассоциировалось с именем Сталина. Как тут произвести разграничение? Что отнести к сталинизму и что нет? Когда над такими вопросами задумаешься, то обнаруживаешь, что выражение "сталинизм" оказывается не таким уж ясным, каким оно кажется на первый взгляд. Плюс к тому сталинизмом можно называть и определенную совокупность идеологических принципов, причем не только высказанных публично, но и замалчиваемых по тем или иным соображениям. За долгие годы после смерти Сталина никакой ясности в определение этого понятия не было внесено. Наоборот, было сделано много, чтобы превратить его в идеологическую пустышку, служащую средством замутнения мозгов, запугивания и дискредитации неугодных.

Аналогично обстоит дело с выражением "сталинист". Этим словом называют человека из сталинской правящей группы, типичного руководителя сталинской эпохи, активного проводника сталинской политики, сталинского идеолога и апологета. Сталинистами называют также партийных и государственных руководителей, склонных к методам руководства сталинских времен.

К какой категории, например, отнести Хрущева, бывшего верным соратником и подручным Сталина, а после смерти последнего возглавившего десталинизацию страны и проводившего ее сталинскими методами? Как называть с этой точки зрения горбачевцев, нападающих на Сталина на словах, но на деле во многом следующих сталинским образцам руководства и поведения? К какой категории отнести человека наших дней, который положительно оценивает какие-то действия Сталина? Можно ли его считать сталинистом? Можно ли считать сталинистом человека, который оценивает Сталина как великого исторического деятеля?

Соответственно неопределенны и выражения "антисталинизм", "антисталинист", "антисталинский", "антисталинистский". В употреблении их доминирует субъективное отношение ко всему, связанному с именем Сталина, и это усиливает неопределенность словоупотребления. Например, человек может считать виновником зол сталинского периода самого Сталина, хотя Сталин был тут ни при чем. Человек может быть противником лишь того, что специфически связано со сталинизмом. Так что, называя человека антисталинистом, мы тем самым еще не определяем его позицию достаточно точно. Я был антисталинистом, но я счел бы оскорблением для себя, если бы меня зачислили в одну категорию с нынешними "антисталинистами".

Терминологическая неопределенность, о которой я говорил, не есть лишь результат отсутствия общепринятого соглашения. Тут действуют факторы, исключающие мирное соглашение. Возьмем, например, горбачевскую критику Сталина. Она служила средством маскировки тенденции самих горбачевцев к волюнтаризму сталинского типа и к сталинским методам обращения с массами. Горбачевцы обвинили в сталинизме брежневское руководство и нынешних "консерваторов". А между тем, если разобраться по сути дела, именно брежневизм явился самозащитой советской системы власти от хрущевской тенденции к сталинскому волюнтаризму. Именно консерваторы в горбачевском руководстве были противниками сталинских методов управления, а не реформаторы. Так что рассчитывать на терминологическую ясность тут не приходится. Ее избегают умышленно. В кругах теоретиков, пишущих на темы, связанные со Сталиным, действуют другие многочисленные причины, точно так же исключающие четкость и однозначность терминологии.

Чтобы избежать недоразумений, я здесь буду употреблять такие выражения. Сталинизмом историческим (или просто сталинизмом) я называю ту историческую форму, в которой новое коммунистическое общество создавалось в Советском Союзе в результате сознательных и волевых усилий самого Сталина, его соратников и вообще всех тех, кто исполнял их волю и действовал в духе их идей и распоряжений (этих

людей можно назвать историческими сталинцами). Коммунистическое общество не является произвольным изобретением Сталина и сталинцев. Оно формировалось в силу объективных социальных закономерностей. Но эти закономерности действуют и проявляются в субъективной деятельности людей, влияющей на то, в какой форме они реализуются. И в этом смысле Сталин и сталинцы наложили свою печать на исторический процесс. Если бы Ленин прожил еще двадцать лет и удержался бы у власти, историческая форма построения нового общества была бы несколько иной, хотя суть дела была бы та же самая. И эта форма вошла бы в актив ленинизма. Если бы на месте Сталина оказался другой человек, он дал бы ей свое имя. Сталинским или сталинистским типом (или методом) руководства процессом построения коммунистического общества и руководства построенным обществом я называю тип руководства, обладающий существенными чертами исторического сталинизма. Этот тип руководства можно наблюдать и в других коммунистических странах. Попытки его повторения имели место и у Хрущева, и у Горбачева. Говорить о сталинистском типе руководства обычно избегают, одни – претендуя на то, что они "сами с усами", другие – желая избежать аналогий со Сталиным (Горбачев, например). Но первооткрывателем этого типа руководства был Сталин. Приверженцев такого типа руководства можно было бы назвать сталинистами, если бы имела место историческая справедливость в отношении признания авторства. Ниже я кратко охарактеризую основные черты сталинской эпохи, исторического сталинизма и сталинского типа руководства.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

При Ленине произошла политическая революция, расчистившая путь новому обществу. Но само это общество сложилось при Сталине. Социальная революция в собственном смысле слова, т. е. изменение социального положения и социальной структуры многомиллионных масс населения, произошла при Сталине и под его руководством. Это исторический факт. Отрицание и замалчивание его, как это делалось во все послесталинские годы и делается теперь, есть фальсификация истории, какими бы благородными намерениями при этом ни руководствовались. Социальная революция заключалась не в том, что были ликвидированы классы капиталистов и помещиков, что была ликвидирована частная собственность на землю, на фабрики и заводы, на средства производства. Это были лишь условия для социальной революции. Это был лишь негативный, разрушительный аспект политической революции. Сама же социальная революция, как таковая, в ее позитивном, созидательном содержании означала создание новой стандартной структуры, новой организации масс населения. Это был грандиозный и беспрецедентный процесс объединения миллионов людей в коммунистические коллективы с новой социальной структурой и новыми взаимоотношениями между людьми, процесс образования многих сотен тысяч социальных клеточек, объединенных в единое социальное целое. Причем этот процесс заключался не столько в переорганизации того, что досталось в наследство от прошлого, но в создании новых социальных ячеек, по сравнению с которыми перестроенные из прошлого материалы оказались в незначительном меньшинстве. Какими бы целями

ни руководствовались строители нового общества, их политика коллективизации и индустриализации в огромной мере способствовала этому процессу и составляла его часть. Главный результат деятельности Сталина и всех тех, кто под его руководством строил новое общество, заключался именно в создании новой социальной организации населения. И он совершенно выпал из поля внимания всех, кто писал на тему о Сталине и сталинизме. Этот главный результат оказался заслоненным ужасами и нелепостями коллективизации, индустриализации, массовых репрессий.

Легко творить воображаемую историю, сидя в кабинете в окружении сотен и тысяч томов ученых книг. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны, сказал поэт. Реальная история – не Невский проспект, писал Н.Г. Чернышевский. В реальной истории обычное дело, когда люди не ведают того, что творят, когда получается не то, что хотели, когда добрые намерения оборачиваются злом. Верно, что во всем том, что делалось в сталинские годы, было много нелепого, ошибочного, преступного. Но во всем этом неуклонно совершался один великий исторический процесс – процесс образования клеточек нового общества, процесс роста их числа, процесс объединения их в более сложные группы, процесс обучения и тренировки людей на жизнь в этих новых объединениях. Сталинские годы были прежде всего годами создания коммунистических коллективов и годами обучения людей правилам жизни в этих коллективах. Причем сами эти правила в подавляющей части вырабатывались заново. Это были годы грандиозного исторического творчества миллионов людей, а не исполнением злых и коварных замыслов тиранов.

В отношении к прошлому любой дурак может выглядеть умником и любой трус смельчаком. В представлении умников и смельчаков нашего времени прошлая советская история выглядит так. Был добрый и умный Ленин. Он ввел НЭП, и люди стали хорошо жить. Власть захватил злой и глупый Сталин, отменил НЭП, загнал крестьян силой в колхозы, велел арестовать миллионы людей. Эти умники и смельчаки (задним числом) создали такую идейную атмосферу, что всякий протест против такого идиотизма в оценке русской трагической истории изображается ими как апологетика сталинизма. Но в реальности ленинский НЭП вовсе не был тем, как его изображают его нынешние поклонники и запоздалые антисталинисты. НЭП не был отменен, от отмер сам, не дав желаемого результата. Колхозы выдумал не Сталин и даже не Ленин. Идеи такого рода возникали в России уже до революции в связи с проблемами крестьянской общины. Коллективизация была не злым умыслом, а трагической неизбежностью. Процесс бегства людей в города все равно нельзя было остановить. Коллективизация ускорила его. Без нее этот процесс стал бы, может быть, еще болезненнее, растянувшись на несколько поколений. Дело обстояло вовсе не так, будто высшее советское руководство имело возможность выбора пути. Для России в исторически сложившихся условиях был один выбор: выжить или погибнуть. А в отношении путей выживания выбора никакого не было. Сталин явился не изобретателем русской трагедии, а лишь ее выразителем. Сейчас реабилитировали Бухарина и заговорили о его идеях, противопоставляя их как мудрость сталинской глупости. Бухарин не был "врагом народа". Но это не значит, что он был мудр. Он был такой же исторический кретин, как и его нынешние поклонники,

стремящиеся возвыситься за счет фальсификации истории в дискредитации предшественников, действовавших в реальной, а не воображаемой истории.

Моя мать, действительно пострадавшая от коллективизации и пережившая все ее кошмары, чувствовала разницу между глубинным потоком и пеной истории гораздо правильнее, чем все критики Сталина и его эпохи, вместе взятые. Она хранила в Евангелии портрет Сталина. Но она же благословила меня, когда я встал на путь бунта против Сталина, угрожавший мне гибелью. Сталин стал моим принципиальным врагом. Но я этого врага все-таки уважаю неизмеримо больше, чем всех нынешних умников и смельчаков, воюющих против призраков уже неуязвимого прошлого. Он был для меня врагом эпохальным и историческим, а не конъюнктурно выгодной темой, как для нынешних "антисталинистов".

Индустриализация советского общества так же плохо понята в советской и западной литературе, как и коллективизация. Важнейший аспект ее, а именно аспект социологический, совсем выпал из поля зрения как апологетов, так и критиков советского общества. Вот что говорил мне один из деятелей сталинских времен, осужденный при Сталине, реабилитированный при Хрущеве, но оставшийся убежденным сталинистом до конца жизни.

"Возьмем любое, казалось бы, бессмысленное мероприятие тех времен, говорил он, – и я вам покажу, что оно оправдало себя, несмотря ни на какие потери. Вот мы строили завод. Экономически и технически стройка оказалась нелепой. Ее законсервировали и потом о ней забыли совсем. Но это был грандиозный опыт по преодолению трудностей, по организации больших масс людей в целое, руководству. Сколько людей приобрело рабочие профессии! Многие стали высококвалифицированными мастерами. Сколько инженеров и техников! А ликвидация безграмотности многих тысяч людей! И уроки, уроки, уроки. Знаете, как нам все это пригодилось в войну? Не будь такого опыта, мы, может быть, не выиграли бы войну. Какое руководство без такого опыта рискнуло бы эвакуировать завод, имеющий военное значение, прямо в безлюдную степь! И через несколько дней завод стал давать продукцию, важную для фронта! Буквально через несколько дней! Что же – все это не в счет?! Игнорировать это несправедливо по отношению к людям той эпохи и исторически ложно".

Этот сталинист, как и многие другие, понимал, что политика индустриализации была прежде всего формой организации жизни людей и лишь во вторую очередь явлением в экономике, в индустрии. Он не употреблял, конечно, понятий социологии. Но социологически он был неизмеримо ближе к истине, чем нынешние образованные спекулянты за счет безответного прошлого.

ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ

В эти годы происходило, с одной стороны, объединение разбросанных по огромной территории различных народов в единый социальный организм,

а с другой стороны, происходили внутренняя дифференциация и структурное усложнение этого организма. Этот процесс с необходимостью порождал разрастание и усложнение системы власти и управления обществом. А в новых условиях он породил и новые функции власти и управления. Именно в сталинскую эпоху была создана та система партийно-государственной власти и управления, которая существует сейчас в Советском Союзе. О ней я специально буду говорить дальше. Сейчас же остановлюсь лишь на одной особенности сталинской эпохи с этой точки зрения.

Современная советская система власти и управления появилась на свет не сразу после революции. Нужны были многие годы на ее создание. Но страна нуждалась в управлении с первых же дней существования нового общества. Как же она управлялась? Конечно, до революции существовал государственный аппарат царской России. Но он был разрушен революцией. Его обломки и опыт работы потом использовались для создания новой государственной машины. Но опять-таки нужно было что-то еще другое, чтобы это сделать. И этим другим средством управления страной в условиях послереволюционной разрухи и средством создания нормальной системы власти явилось рожденное революцией народовластие.

Употребляя выражение "народовластие" или "власть народа", я не вкладываю в них никакого оценочного смысла. Я не разделяю иллюзий, будто власть народа – это хорошо. Я имею здесь в виду лишь определенную структуру власти в определенных исторических обстоятельствах и ничего более. Вот основные черты народовластия. Подавляющее большинство руководящих постов с самого низа до самого верха заняли выходцы из низших слоев населения. А это миллионы людей. Вышедший из народа руководитель обращается в своей руководящей деятельности непосредственно к самому народу, игнорируя официальный аппарат. Для народных масс этот аппарат представляется как нечто враждебное им и как помеха их вождю-руководителю. Отсюда волюнтаристские методы руководства. Потому высший руководитель может по своему произволу манипулировать чиновниками нижестоящего аппарата официальной власти, смещать их, арестовывать. Руководитель выглядел народным вождем. Власть над людьми ощущалась непосредственно, без всяких промежуточных звеньев и маскировок.

Народовластие есть организация масс населения. Народ должен быть определенным образом организован, чтобы его вожди могли руководить им по своей воле. Воля вождя – ничто без соответствующей подготовки и организации населения. Были изобретены определенные средства для этого. Это прежде всего всякого рода активисты, зачинатели, инициаторы, ударники, герои... Масса людей в принципе пассивна. Чтобы держать ее в напряжении и двигать в нужном направлении, в ней нужно выделить сравнительно небольшую активную часть. Эту часть следует поощрять, давать ей какие-то преимущества, передать ей фактическую власть над прочей пассивной частью населения. И во всех учреждениях образовались неофициальные группы активистов, которые фактически держали под своим наблюдением и контролем всю жизнь коллектива и его членов. Руководить учреждением без их поддержки было практически невозможно. Активисты были обычно людьми, имевшими сравнительно невысокое социальное положение, а порою – самое низкое.

Часто это были бескорыстные энтузиасты. Но постепенно этот низовой актив перерастал в мафии, терроризировавшие всех сотрудников учреждений и задававшие тон во всем. Они имели поддержку в коллективе и сверху. И в этом была их сила.

Характерным для народовластия было непосредственное обращение руководства к массам, возбуждение энтузиазма масс и провоцирование всякого рода "починов" снизу. При этом массам в качестве врагов противопоставлялись некие "бюрократы" и "консерваторы", засевшие в бесчисленных управленческих учреждениях. Вожди всех сортов и рангов выступали в роли защитников "народа" в борьбе против этих актуальных и потенциальных врагов. Хотя в сталинские годы репрессиям подвергались миллионы "простых" людей, главное острие репрессий как средства управления было направлено именно против всякого рода начальников и начальничков.

Для сталинского периода было характерно своеобразное двоевластие. Наряду с народовластием, под его защитой и вместе с тем в борьбе с ним выростала система партийно-государственной (государственно-бюрократической, нормативно-законной) власти и управления. Она выростала из самой социальной организации населения. Тут имело место живое историческое противоречие. Сталинизм способствовал созданию ее, использовал ее, укреплялся на ее основе. Вместе с тем он боролся против нее, стремился сдержать ее разрастание и рост ее силы. Постепенно народовластие с его системой вождей и активистов, с волюнтаризмом, призывами, массовым энтузиазмом, насилием, репрессиями и прочими атрибутами стало уступать решающую роль официальной, нормативно-законной, партийно-государственной власти с ее бюрократизмом, иерархией начальников и подчиненных, рутинной, профессионализмом и прочими чертами. Народовластие было эффективно в условиях полной разрухи и бедности, когда все заводы, стройки, учреждения можно было запомнить одному человеку, когда функции управления и контроля были сравнительно примитивны. Развернув грандиозное строительство и начав великую культурную революцию, сталинизм тем самым подписал себе смертный приговор, создаваемое им детище не могло уместиться в его утробе и функционировать по его примитивным правилам. Сыграло роль и изменение человеческого материала. Тот человеческий материал, на котором держался сталинизм и который сам держал сталинизм, в значительной мере был уничтожен, поредел, постарел, утомился, переродился. Конечно, были пополнения из молодежи. Но это уже было не то. Все равно это были уже другие люди по психологии, образованию, условиям жизни. Хотя масса новых людей была послушна и делала все то, что нужно (одобряла, клеймила, разоблачала, аплодировала), это все-таки в самой основе была другая масса. И сказались это, в частности, в том, что был нанесен сокрушительный удар по роли самодеятельного актива, о котором я уже говорил. Над активистами стали открыто издеваться. Доносы утратили былую эффективность. Многих самых заядлых и активных сталинистов стали проваливать на выборах в комсомольские и партийные бюро.

К концу сталинского периода государственно-бюрократическая система власти и управления разрослась до такой степени и приобрела такую фактическую силу, что народовластие оказалось излишним и даже опасным для существования социального строя страны. Ослабление его и

превращение в подсобное орудие "нормальной" власти явилось актом самосохранения общества.

СВЕРХВЛАСТЬ

В системе власти и управления советского общества уже в сталинские годы можно было различить два аспекта: 1) отношение власти и управления к подвластному и управляемому обществу; 2) внутреннее расчленение самой системы власти и взаимоотношения внутри нее. Во втором аспекте речь идет о таком элементе в самой системе власти, который позволяет контролировать самое систему власти и заставлять ее функционировать как единое целое, – о сверхвласти или о власти над самой системой власти. Последняя здесь разрастается до такой степени, что превращается в своего рода сверхобщество, в свою очередь нуждающееся в управлении. Эти аспекты переплетаются самым причудливым образом. Отношение их меняется в смысле изменений личного и институционального состава сверхвласти и их взаимоотношений с прочими членами и институтами системы власти. Функционирование сверхвласти внутри системы власти переплетается с функционированием последней в обществе. В сталинские годы аппарат сверхвласти сложился из сочетания элементов народовластия и партийно–государственного аппарата. Он образовался из личной канцелярии Сталина, группы близких ему помощников и сообщников (правлящей мафии), так называемой номенклатуры и органов государственной безопасности.

ОРГАНЫ

Органы государственной безопасности в сталинские годы играли исключительно важную роль, выходящую за пределы карательных функций. Они были инструментом сверхвласти, связывавшим вождя и массы и позволявшим держать в своих руках аппарат государственной власти. Органы государственной безопасности пользовались высшим доверием народных масс. Им верили безусловно. Им помогали.

Одной из задач "органов" было поддержание такого орудия народовластия, как система разоблачений врагов (обычно воображаемых), открытых и тайных доносов, репрессий. Сейчас много критикуют тайное доносительство в то время. Но открытое доносительство и разоблачительство было распространено еще более, приносило еще больший эффект. Причем эти доносы и разоблачения не могли оставаться без последствий, иначе они утратили бы силу. Эта система доносительства и разоблачительства была естественной формой проявления подлинно народной демократии. Это была самодеятельность масс, поощряемая свыше, поскольку высшая власть была властью народной и стремилась остаться ею. Эта система ослабла в теперешнее время, поскольку кончилась эпоха расцвета народовластия.

НОМЕНКЛАТУРА

Хотя советское общество является самым интересным, самым значительным и вместе с тем самым трудным для понимания социальным феноменом нашего времени, на Западе до сих пор преобладает стремление отделаться на этот счет несколькими универсальными словечками, одним махом и без всяких усилий объяснить все происходящее в советском обществе. О чем бы ни зашла речь, вездесущие и всеведущие словечки вроде "тоталитаризм", "репрессии", "ГУЛАГ", "партократия" немедленно появляются в разных комбинациях, претендуя на исчерпывающее объяснение. К их числу относится и словечко "номенклатура", якобы раскрывающее секрет советской системы власти. Что такое номенклатура на самом деле? В сталинское время это был один из рычагов системы управления обществом. В номенклатуру входили особо отобранные и надежные с точки зрения центральной власти партийные работники, осуществлявшие руководство большими массами людей в различных районах страны и различных сферах жизни общества. Ситуация руководства была сравнительно проста, общие установки были ясны и стабильны, методы руководства были примитивны и стандартны, культурный и профессиональный уровень руководимых масс был низок, задачи деятельности масс и правила их организации были сравнительно просты и более или менее единообразны. Так что практически любой партийный руководитель, включенный в номенклатуру, мог с одинаковым успехом руководить литературой, целой территориальной областью, тяжелой промышленностью, музыкой, спортом. Главная задача руководства такого рода состояла в том, чтобы создать и поддерживать единство и централизацию руководства страной, приучить население к новым формам взаимоотношения с властью, любой ценой решить некоторые проблемы общегосударственного значения. И эту задачу номенклатурные работники сталинского периода выполнили.

В послесталинский период, когда завершилось формирование современной советской системы власти, институт номенклатурных работников в сталинском смысле почти полностью исчез. Осталось слово "номенклатура". Но теперь оно обозначает важные должности в системе власти и управления, назначение на которые контролируется и утверждается партийными органами власти различных уровней (общесоюзного, республиканского, краевого, областного, районного). Номенклатурой данной партийной инстанции являются не определенные люди, а посты в органах власти и управления, которые находятся вне этой инстанции и назначение на которые контролируется и утверждается этой инстанцией. Теперь от лиц, назначаемых на посты, требуется некоторый уровень профессиональной компетентности. Категория номенклатурных работников, профессия которых быть в номенклатуре, практически уже не существует как важный элемент системы власти советского общества. Слово "номенклатура" теперь играет роль средства дезинформации, скрывающей реальную структуру советского общества и его системы власти.

КУЛЬТ СТАЛИНА

На эту тему написаны тонны книг. Скажу лишь несколько слов. Культ Сталина был элементом народовластия. Он рос главным образом снизу, хотя насаждался и сверху. Сталин был народным вождем в самом строгом смысле слова. Гораздо более народным, чем Ленин и все преемники Сталина. Все культы вождей после него создавались аппаратом власти и средствами пропаганды сверху, без поддержки в массах населения. Они все были карикатурными с самого начала. Замечу также, что Запад в огромной степени способствовал культу Сталина.

О ДОНОСАХ

Пару слов о доносах. Ходили слухи, будто после хрущевского доклада было решено уничтожить архивы "органов". Я готов в эти слухи поверить: хозяевам общества надо было уничтожить следы своих прошлых преступлений. Во всяком случае, Хрущев сам ухитрился ликвидировать все материалы, касающиеся его деятельности в качестве одного из активных сталинских палачей. Те, кто помог Хрущеву в этом, были щедро вознаграждены. В частности, в Киеве, где самые страшные репрессии проводились под руководством Хрущева, было широко известно, что этим делом занимался заведующий партийным архивом, награжденный за это Ленинской премией и избранный в члены-корреспонденты Академии наук, хотя он был полным ничтожеством в науке даже по украинским критериям.

Но я очень сожалею о том, что доносы и вообще документы такого рода были уничтожены. Дело в том, что они имели колоссальную ценность с социологической точки зрения. Мне случайно повезло в течение целой недели просматривать десятки папок с доносами перед тем, как их должны были уничтожить (так мне сказали). Тут я в концентрированной форме и в огромных масштабах увидел, чем на самом деле живут люди в фундаменте общества, каковы мотивы и цели их деятельности. Я буквально почувствовал, какую роль играют так называемые ничтожные явления. Уничтожение доносов – огромная потеря для науки. Тысячи людей, не подозревая об этом, в течение многих лет собирали уникальный материал для научных обобщений. И все впустую.

НАСИЛИЕ, ПРАВО, МОРАЛЬ

О сталинских репрессиях сказано также достаточно много. Ограничусь лишь краткими замечаниями в духе моей концепции сталинизма.

В систему насилия были вовлечены миллионы людей. Сваливать вину за это на горстку сталинцев, на органы государственной безопасности и на Сталина лично есть грубая фактическая и историческая ошибка. В основе насилия сталинской эпохи лежала массовая добровольность. Насилие явилось средством организации стихии добровольности. Точнее говоря, насилие сверху явилось организацией стихии насилия, поднявшейся снизу.

Считается, что в сталинские годы имело место систематическое нарушение некоей законности. Это мнение есть исторический абсурд. В те годы происходило формирование специфических коммунистических правовых отношений. Нарушать какие-то правовые нормы было просто невозможно, поскольку они еще не вошли в практическую жизнь. Написанные на бумаге правовые нормы еще нельзя считать реальными правовыми нормами. Они скорее играли роль средств идеологии, пропаганды, а не роль норм, практически регулировавших жизнь людей. Лишь к концу сталинского периода сложились более или менее устойчивые правила поведения людей, допускавшие интерпретацию в понятиях права, да и то лишь отчасти.

Бессмысленно рассматривать судебные процессы тех лет в юридических понятиях. Они были явлениями вне правовых отношений. Они лишь принимали видимость правовых, чтобы произвести нужное впечатление на Западе и воздействовать на свое население в желаемом для правящей клики духе. Эти явления имели свои нормы, ритуалы и процедуры, похожие на правовые, но мало что общего имевшие с последними.

Обвинения людей сталинского периода в аморальности точно так же лишено смысла. Дело тут не в том, что они были моральными (они, как правило, не были такими) или руководствовались какой-то другой моралью. Дело в том, что они были поставлены в условия, в которых для принципов морали просто не осталось места. Правила морали вообще не всеобъемлющи. Часто ли политики, бизнесмены, генералы и другие категории людей на Западе следуют правилам морали?! Так что можно требовать от людей на низших уровнях иерархии, оказавшихся к тому же в жутких и непривычных обстоятельствах?!

СТАЛИНСКИЙ ТИП РУКОВОДСТВА

В сталинскую эпоху обнаружилось огромные возможности коммунистической власти манипулировать массами. Власть присвоила также те функции, которые раньше выполняли частные владельцы и предприниматели. Это привело к беспрецедентной гипертрофии волюнтаристского аспекта власти. Кроме того, коммунизм обнаружил способность быстро поднимать общество из состояния разрухи на сравнительно высокий уровень. Возникла иллюзия неограниченных возможностей в развитии общества и способности власти использовать их, заставить общество стремительно прогрессировать во всех отношениях. Стремление высшей власти заставить общество жить и развиваться так, как того хочет высшее руководство во главе с вождем, стало характерной чертой сталинизма как типа власти. Сталинизм еще не успел столкнуться в ощутимых масштабах с тем, что как само общество, так и его власть ограничены объективными закономерностями самого социального строя страны. Лишь Хрущев испытал на себе границы системы власти, а Брежнев – социальной организации населения.

Вторая важнейшая черта сталинского типа руководства – создание аппарата сверхвласти, стоящего над аппаратом партийно-

государственным. Благодаря ему вождь с его кликой мог обращаться к массам непосредственно, минуя партийно–государственный аппарат и изображая его в глазах масс как одну из причин недостатков и трудностей.

Обе черты сталинского типа руководства можно отчетливо видеть в намерениях горбачевского руководства. Об этом я еще буду говорить в разделе о горбачевизме.

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Сталинский период советской истории был периодом беспрецедентной в истории человечества культурной революции, коснувшейся многомиллионных масс всего населения страны. Это был сложный, многосторонний и противоречивый процесс. Культурная революция была абсолютно необходимым условием выживания нового общества. Человеческий материал, доставшийся от прошлого, не соответствовал потребностям нового общества во всех основных аспектах его: в производстве, в системе управления, в армии. Требовались миллионы образованных и профессионально подготовленных людей. В решении этой проблемы новое общество продемонстрировало свое колоссальное преимущество: самым легкодоступным для него оказалось то, что было самым труднодоступным для прошлой истории, – образование и культура. Оказалось, что гораздо легче дать людям хорошее образование и открыть им доступ к вершинам культуры, чем дать им приличное жилье, одежду, пищу. Доступ к образованию и культуре был самой модной компенсацией за бытовое убожество.

Люди переносили такие бытовые трудности, о которых теперь страшно вспоминать, лишь бы получить образование и приобщиться к культуре. Тяга миллионов людей к этому была настолько сильной, что ее не могла остановить никакая сила в мире. Всякая попытка вернуть страну в дореволюционное состояние воспринималась как страшная угроза этому завоеванию революции. Быт играл при этом роль второстепенную. И казалось, что образование и культура автоматически принесут бытовые улучшения. И это происходило на самом деле для многих, что вселяло надежды на будущее.

Культурная революция шла по трем основным направлениям: 1) ликвидация безграмотности и повышение образовательного уровня взрослого населения;

2) создание колоссальной сети учебных заведений всякого рода для новых поколений; 3) централизованная и систематическая просветительская деятельность, создание публичных библиотек и читален, издание книг для массового читателя, кинофильмы, театры, концерты, радио. Заслуга сталинизма в организации этого процесса бесспорна. И до сих пор не сделано ни одного фундаментального исследования этого процесса. За кратчайший срок было подготовлено такое огромное число образованных людей и всякого рода специалистов, что Советский Союз провел войну с Германией, не испытывая острого

дефицита в людях в этом отношении. В частности, после сталинских "чисток" в армии и после первых поражений в войне с Германией удалось удовлетворить потребности в офицерах. Выпускники школ буквально за несколько месяцев благодаря образованию становились гораздо более лучшими офицерами, чем их малограмотные предшественники, прослужившие много лет в армии.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Все пишущие о сталинской эпохе много уделяют внимания коллективизации, индустриализации и массовым репрессиям. Но в эту эпоху произошло еще одно событие грандиозного масштаба, о котором пишут мало или умалчивают совсем, а именно – идеологическая революция. С точки зрения формирования нового общества эта революция, на мой взгляд, не менее важна, чем все остальное.

В сталинские годы определилось содержание идеологии, определились ее функции в обществе, методы воздействия на массы людей, наметилась современная структура идеологических учреждений и выработались правила их функционирования. Кульминационным пунктом идеологической революции был выход в свет работы Сталина "О диалектическом и историческом материализме". Существует мнение, будто эту работу написал на самом деле не сам Сталин, а кто-то другой или другие. Возможно, что это так и было. Но если даже Сталин присвоил чужой труд, в появлении этого идеологического сочинения он сыграл роль неизмеримо более важную, чем сочинение довольно примитивного с интеллектуальной точки зрения текста: он дал этому тексту свое имя и навязал ему историческую роль. Эта сравнительно небольшая статья явилась идеологическим шедевром в полном смысле этого слова. И все те, кто обвинял Сталина в вульгаризации марксизма–ленинизма и стремился вернуться к более совершенному марксизму прошлого или уйти дальше вперед, так или иначе следовали сталинскому образцу. Этому образцу будут следовать и все последующие реформаторы идеологии. Почему? Отнюдь не из уважения к Сталину и не из-за неспособности сочинить нечто лучшее. Людей, которые способны сочинять лучше, чем Сталин, миллионы и миллионы. Но есть законы идеологии как особого социального феномена. И дело тут не в том, чтобы сочинить лучше, а совсем в ином: дело в адекватности идеологических сочинений условиям и потребностям своего общества.

После революции и Гражданской войны перед паршой, захватившей власть, хотела она этого или нет, сознавала она это или нет, встала задача навязать свою партийную идеологию всему обществу. Иначе она у власти не удержалась бы. А это практически означало идеологическое "воспитание" широких масс населения, создание для этой цели армии специалистов идеологических работников, создание постоянно действующего аппарата идеологической работы, проникновение идеологии во все сферы жизни. А с чем приходилось иметь дело сначала?

Малограмотное и безграмотное население, процентов на девяносто религиозное. В среде интеллигенции преобладали всякие формы "буржуазной" идеологии. Партийные теоретики – недоучки и болтуны, начетчики и догматики, запутавшиеся во всякого рода старых и новых идейных течениях. Да и свой марксизм они знали так себе. Как признавал сам Ленин, через пятьдесят лет после опубликования "Капитала" его понимало всего несколько десятков человек, да и то неправильно. А теперь, когда возникла задача переориентировать основную "идеологическую" работу на массы, да еще массы низкого образовательного уровня и зараженные старой религиозно-самодержавной идеологией, партийные теоретики оказались совершенно беспомощными.

Нужны были идеологические тексты, соответствующие возникшей задаче. Нужна была идеология как таковая, с которой можно было бы уверенно, настойчиво и систематично обращаться к массам. Те люди, которые создавали сталинский идеологический шедевр и сами писали тексты того же уровня, были историей поставлены в положение, аналогичное положению студентов, которым предстояло в кратчайшие сроки подготовиться к экзамену по малознакомому предмету. Главной проблемой для них стало не развитие марксизма как явления культуры, а отыскание наиболее простого метода создания марксистскообразных фраз, речей, текстов, статей, книг. Сталинистам надо было занизить уровень исторически данного марксизма настолько, чтобы он фактически стал идеологией интеллектуально примитивной и плохо образованной массы населения. Занижая и вульгаризируя марксизм до логического предела, сталинисты тем самым вышелушивали из него его рациональное ядро, сущность, единственно стоящее, что в нем вообще было. А то, что они отбросили, оказалось пустой словесной шелухой, пригодной лишь для словоблудия некоторой части умствующих философов.

Короче говоря, задача состояла не в том, чтобы поднять интеллектуальные хижинки до уровня интеллектуальных дворцов, а в том, чтобы низвести дворцы до уровня хижин. То, что в этих хижинах нельзя было жить, не играло роли. Они строились не для жилья, а лишь для подобия жилья. Они казались общедоступными. Они возвышали ничтожества из интеллектуальной грязи сразу на божественные вершины сверхгениальности. С такой задачей академические невежды и бездарности могли справиться лучше, чем академические эрудиты и гении.

"Есть марксизм догматический и марксизм творческий, – говорил Сталин. – Я стою на позициях последнего". Это заявление Сталина было затем истолковано как лицемерное теми, кто относился к марксизму как к вершине премудрости, как к самой научной науке. А между тем именно Сталин, а не его противники, отнесся к марксизму творчески.

Сталин обошелся с марксизмом с точки зрения интересов идеологии наилучшим образом. Он вроде бы сохранил в марксизме абсолютно все, лишив это все действенной силы. Он выжал из марксистской словесной массы ее идеологические соки. Роль сталинистов заключалась именно в том, что они отделили чисто идеологическую часть (ядро) марксистских текстов от прочих словес. В марксистской писанине зародилось и вызрело идеологическое учение. Сталинисты очистили идеологическое учение коммунизма от шелухи марксистской писанины. Потом началось

попятное движение. Но оно уже не способно было фактически выйти за заданные ими рамки. Оно производило лишь новую шелуху, не затрагивая ядра учения.

Работа Сталина "О диалектическом и историческом материализме" была фокусом, ориентиром, острием идеологической революции в Советском Союзе. Она была своего рода главнокомандующим и одновременно знаменосцем армии прочих идеологических текстов и речей. Но она не исчерпывала собою всю идеологическую революцию и всю порождаемую ею идеологическую массу. Идеологическая революция охватила все сферы жизни общества и все слои населения. Идеологическая масса заполнила все социальное пространство страны. К концу сталинского периода идеологическая революция завершилась. Советская идеология появилась на свет как целостное социальное явление и как неотъемлемый элемент советского образа жизни.

После смерти Сталина в среде марксистов стало модным свысока смотреть на Сталина как на вульгаризатора марксизма. А между тем именно Сталин обнажил суть марксизма. Он внес в марксизм некоторую фундаментальную ясность. После разоблачения Сталина опять расцвело словоблудие, хотя, по существу, за все после-сталинские годы десятки тысяч философов не прибавили к марксизму ни крупинки нового. То, что сделал Сталин, примитивно, убого, нелепо. Это так. Но это необходимая предпосылка создания жизненной идеологии. Сейчас наступил идеологический спад. Причин тому много. И одна из них – возврат марксизма к досталинскому словоблудию. Идеология растворилась в научно-популярной и псевдонаучной болтовне.

Предметом насмешек также стал язык Сталина. А между тем его языком говорила эпоха. Идеологическое учение должно быть изложено именно как идеологическое. Не обязательно его излагать так, чтобы любой смог его понять. Не обязательно даже излагать его так, чтобы его нельзя было не понять. Его надо изложить так, чтобы никто не осмелился его не понять!

ИДЕОЛОГИЯ ВМЕСТО РЕЛИГИИ

Общеизвестно, какая настойчивая и ожесточенная борьба против религии и церкви велась в Советском Союзе после революции. Почему? По меньшей мере наивно рассматривать это просто как проявление беспричинной злобности, глупости и прочих отрицательных качеств деятелей революции и строителей нового общества. Причины для этого были, причем самые глубокие и серьезные с точки зрения хода истории. Это была не криминальная операция группы злодеев, а грандиозный исторический процесс. Указать на эти причины – не значит оправдать историю. История не нуждается ни в каком оправдании. Она проходит, игнорируя всякие морализаторские оценки ее событий и результатов. И нам остается лишь ломать голову над тем, как и почему это случилось.

Было бы также недостаточно объяснять эту борьбу против религии и церкви тем, что последние оказались на стороне контрреволюции и что

вожди революции организовали эту борьбу в угоду марксистской доктрине относительно религии. На религию и церковь действительно были обрушены репрессии сверху. Марксистская доктрина действительно сыграла какую-то роль в деятельности отдельных людей. Но дело не столько в этом и даже в каком-то смысле совсем не в этом. Это лишь поверхность исторического процесса, его пена, а не глубинный поток. Дело тут главным образом в том, что массы населения, совершенно незнакомые с марксистской или иной доктриной, сами с ликованием ринулись в безбожие как в новую религию, сулившую им рай на земле и в ближайшем будущем. Более того, они ринулись в безбожие даже не ради этогорая, в который они в глубине души никогда не верили, а ради самого безбожия, как такового. Это была трагедия для многих людей. Но для еще большего числа людей это был беспрецедентный в истории человечества праздник освобождения от пут религии. Какую бы великую историческую роль религия ни играла, она играла эту роль, накладывая на людей тяжелые обязательства и ограничения на их поведение. Религия действительно давала людям то, на что она и претендовала, но она при этом взваливала на людей тяжелый груз и служила средством их порабощения. Подобно тому как многомиллионные массы населения в революцию и в Гражданскую войну сбросили путы социального гнета, игнорируя все их позитивное значение и не имея ни малейшего представления о том социальном закреплении, которое их ожидало в будущем, они в последующий мирный период сбросили путы религиозного духовного гнета, даже не подозревая о том, какого рода духовное закреплениие идет ему на смену. Новое закреплениие приходило к ним прежде всего как освобождение от старого, которое, согласно законам массовой психологии, воспринимается как наихудшее. Массы населения сами шли навстречу насилию и обману сверху. Они стимулировали его, становились его носителями и исполнителями. Без поддержки населения власти не смогли бы добиться такой блистательной и стремительной победы над религией, прораставшей в душах людей в течение многих столетий. Репрессии и обман "сверху" означали в тех условиях организацию самих масс на эти репрессии и этот обман.

Но это было не только насилие и самонасилие, не только обман и самообман. Чтобы новое общество, рожденное революцией, выжило и укрепилось, оно должно было определенным образом перевоспитать и воспитать многомиллионные массы населения, оно должно было породить многие миллионы более или менее образованных людей, способных хотя бы на самом минимальном уровне выполнять бесчисленные и разнообразные функции в обществе, начиная от простых рабочих и кончая государственными руководителями всех рангов и профилей. Коммунистическая идеология должна была в этом беспрецедентном в истории социальном, культурном и духовном перевороте сыграть решающую роль. Религия и церковь, доставшиеся в наследство от прошлого, разрушенного революцией социального устройства, встали на пути этого переворота как одно из главных препятствий. Началась битва за души и умы масс населения. Коммунистическая идеология должна была занять в обществе то место, какое до революции занимала религия, причем всемерно и всесторонне расширить и усилить эту роль.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ИСКУШЕНИЕ

Как это ни странно на первый взгляд, жестокость в отношении миллионов людей в сталинские годы сочеталась с поразительной заботой о миллионах других людей. Причем число таких, кто чувствовал эту заботу, намного превосходило число тех, кто становился жертвами насилия и репрессий. Забота о людях проявлялась в организации просвещения, образования, развлечений, обучения профессиям, спорта и в улучшении бытовых условий. Хотя последнее было незначительным по нынешним понятиям, людьми той эпохи они воспринимались как грандиозные. Каждое снижение цен проводилось по всей стране как массовое мероприятие и переживалось как праздник. А главное люди освободились от пут собственности и ото всего того, что вносила в их жизнь власть денег. Люди на самом деле почувствовали себя во многих отношениях свободными. Уже в сталинские годы стали ощущаться такие блага коммунизма, как гарантия удовлетворения минимальных жизненных потребностей и уверенность в завтрашнем дне. Пропаганда умело использовала это и усиливала эффект достоинств коммунистического образа жизни. Для миллионов людей жизнь в их трудовых коллективах на первых порах компенсировала все их потери. Коммунизм приходил в мир прежде всего как искушение. За блага коммунизма приходилось платить. Но эта плата еще воспринималась как временные трудности. И опять—таки тут мы имеем пример реальной диалектики: чем лучше становились условия жизни, тем слабее становились соблазны коммунизма. В послесталинские годы уровень жизни населения поднялся сравнительно со сталинским периодом настолько, что, если бы в тридцатые годы нам рассказали об этом, мы не поверили бы. Но люди уже изменились. Изменились их претензии к жизни и представления о хороших условиях. И соблазны коммунизма утратили свою силу.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Как я писал, уже в 1939 году мне было ясно, что социалистическая революция не изобретает коммунистические (социалистические) социальные отношения как нечто совершенно новое, что те социальные отношения, которые становились всеобъемлющими и доминирующими после революции, в той или иной мере и форме можно было наблюдать и в дореволюционной России. Я имел в виду прежде всего образование гигантской армии всякого рода начальников и разрастание государственного аппарата власти и управления. К концу сталинского периода я еще более укрепился в этой мысли. Однако теперь я обратил внимание на другой аспект исторического процесса. И понять его мне помогли мои занятия логикой. Дело в том, что отношения между людьми существуют и сохраняются совсем не в том же смысле, в каком существуют и сохраняются люди, вступающие в такие отношения. Например, отношение между начальником и подчиненным существует, если существуют какие-то люди, вступающие в это отношение. Эти конкретные люди могут исчезнуть, а само отношение сохранится, если появятся другие люди, вступающие в такое же отношение. Государственный аппарат может сохраниться как элемент структуры общества и социальных отношений, хотя все люди, ранее олицетворявшие его, могут

быть уничтожены, хотя он может быть перестроен радикальным образом. Он сохранится в другой форме и в форме организации других людей. Социалистическая революция уничтожила капиталистические и феодально-помещичьи отношения, уничтожив классы частных собственников и создав условия, когда стало невозможно появление людей, вступающих в эти отношения. Но она создала условия, благоприятные для социальных отношений, которые стали базисом нового общества. Процесс превращения их в базис общества и процесс изменения всех аспектов жизни общества применительно к новому базису оказался длительным процессом исторического творчества многомиллионных масс населения. Сталинский период был периодом творческим в самом строгом смысле слова, какими бы ни были результаты творчества и как бы мы к ним ни относились. Тогда все создавалось заново – организация коллективов, система управления, идеология, культура, человеческие типы, формы поведения, ритуалы и процедуры мероприятий, юридические нормы и т. д. Когда процесс в основных чертах завершился, продукты исторического творчества миллионов людей стали восприниматься как нечто само собой разумеющееся. И даже отъявленные прохвосты и дураки почувствовали себя в состоянии и вправе критиковать самый трагический, но самый творческий период истории своей страны. Десталинизация страны, принесла людям облегчение, означала вместе с тем переход к рутинно-заурядной истории, особенно сильно проявившейся в брежневские годы. Горбачевская попытка вернуть страну в состояние исторического творчества масс подобна попытке взрослого человека вернуться в состояние юности. Она напоминает мне бабье лето перед наступлением холодной осени и зимы.

Ко времени смерти Сталина первый в истории человечества коммунистический эксперимент в основных чертах завершился, причем завершился успешно во всех основных аспектах жизни советского общества. Несмотря на сталинский террор и несмотря на кошмарные события этого периода, советское население приняло новый социальный строй и оценило его достоинства. Оно почувствовало и недостатки нового строя. Но оно смотрело на них как на исторически преходящие и чуждые самому новому строю, а не как на неизбежную плату за его достоинства. Сталинизм не потерпел крах. Он одержал блистательную историческую победу, подготовив тем самым условия своего ухода со сцены истории. Он сошел со сцены истории, исчерпав себя и сыграв свою роль. Сошел осужденный, осмеянный, окарикатуренный, но непонятный до сих пор. Непонятный не в силу недомыслия, а в силу умышленного стремления к фальсификации истории и сущности реального коммунизма как в Советском Союзе, так и на Западе.

МАСШТАБЫ ЭПОХИ

Сталинская эпоха была великой по масштабам событий и мероприятий. Последние измерялись миллионами участников. Вступление в партию – миллионы. Образование слоя начальников – миллионы. Ликвидация класса единоличного крестьянства – миллионы. Репрессии – миллионы. Стройки – миллионы. Ликвидация безграмотности – миллионы. Армия – миллионы.

Потери в войне – миллионы. И так во всем. Страна превращалась в единый социальный организм в муках и с потерями, но в муках грандиозных и с потерями грандиозными. И с результатами грандиозными. Страна стала коммунистической, выстояла в годы великого строительства и великого террора, победила в беспрецедентной в истории войне, вынесла послевоенные трудности. И все это было связано с именем Сталина. Хрущевский "переворот", сыграв свою историческую роль, вместе с тем унизил и опошлил самый великий период советской истории. Брежневизм создал карикатуру на него. Горбачевизм, имея скрытую тягу к нему, соединил в себе пошлость, карикатурность и неблагодарность хрущевизма и брежневизма. Именно отношение к Сталину и к сталинской эпохе обнаруживает мелкость деятелей сегодняшней советской истории, обнаруживает мелкую и подлую натуру всего советского общества, рожденного в великих исторических муках и победах. Карлики становятся судьями деяний великанов. Карлики убивают великанов, чтобы самим выглядеть великанами. Великая историческая эпоха становится предметом смеха и демагогии для ничтожеств.

ЛЕНИН И СТАЛИН

После XX съезда КПСС стали Сталина противопоставлять Ленину, а сталинизм стали рассматривать как отступление от ленинизма. Для меня такой подход к проблеме отношений Ленина и Сталина был всегда чужд. Советская пропаганда и идеология в сталинские годы преподносила нам Сталина как "Ленина сегодня". Я их вообще не разделял. Мой антисталинизм был одновременно и антиленинизмом, если иметь в виду практическую деятельность ленинского руководства. Проблема "Ленин и Сталин" в юности не возникала передо мною в силу незнания реальной советской истории в этом ее аспекте. Со временем, особенно после хрущевского "переворота", я многое узнал о фактической истории в том ее аспекте, который стал объектом разоблачительства. К этому времени я стал профессиональным философом, досконально изучив сочинения Ленина и Сталина. И я пришел к тому же, с чего начал, а именно к рассмотрению ленинизма и сталинизма как единого явления. Сталин действительно был "Ленин сегодня". Конечно, были многочисленные различия. Но они были второстепенные. А по сути дела именно сталинизм был продолжением ленинизма как в теории, так и на практике. Сталин дал наилучшее изложение марксизма–ленинизма как идеологии. Сталин был верным учеником и последователем Ленина в практике строительства коммунизма.

АНЕКДОТЫ СТАЛИНСКИХ ЛЕТ

Анекдоты по поводу жизни в послереволюционные годы и о Сталине лично мне приходилось иногда слышать еще в школьные годы и во время войны, а в послевоенные годы – довольно часто. Должен сказать, что анекдоты о Сталине не были унижительными для него. Чаще они вообще

рассказывались как реальные истории. Приведу несколько примеров. Сталин вызвал к себе высших руководителей какой-то отрасли промышленности, находившейся в трудном положении, посоветовал им подумать о мерах преодоления трудностей, а сам вышел из кабинета, сказав, что вернется через час и выслушает мнение "командиров" этой отрасли промышленности. Точно через час он вернулся. Министр начал докладывать: "Мы, товарищ Сталин, подумали и решили..." И далее министр изложил, что именно решили собравшиеся. Сталин молча выслушал, расхаживая по кабинету и куря трубку. Министр кончил речь. "Так, значит, "подумали и решили"?" – сказал Сталин. После этих слов у одного из присутствовавших случился инфаркт. Его унесли. Идя в обратном направлении, Сталин опять сказал: "Так, значит, "подумали и решили"?" У второго из присутствовавших случился инфаркт. Его унесли. Таким образом Сталин ходил по кабинету, повторяя все ту же фразу. Постепенно всех собравшихся унесли с инфарктом. Когда унесли самого министра, Сталин сказал: "И правильно решили, товарищи!"

Другая "реальная" история случилась во время войны с генералом по фамилии Курочкин. Однажды Сталин столкнулся с генерал-майором Курочкиным в коридоре и сказал: "А, товарищ Курочкин! Саботируете, да?!" С Курочкиным инфаркт. Пролежав полгода в больнице, Курочкин вернулся на работу уже в чине генерал-лейтенанта. Однажды он опять столкнулся со Сталиным в коридоре. Сталин сказал: "Продолжаете саботировать, товарищ Курочкин?!" С генералом опять инфаркт. Через полгода он вернулся на работу в чине генерал-полковника. Кончилась война. Во время бала в Кремле в честь победы Сталин сказал: "Трудное время было, товарищи! Но мы, вот товарищ Курочкин не даст соврать, находили время для здоровой шутки!"

Вскоре после войны я слышал такой анекдот. Молотов сказал Сталину, что в Москве появился человек, очень похожий на Сталина. Сталин приказал, чтобы этого человека расстреляли. Ворошилов сказал, что достаточно было бы побрить двойнику Сталина усы. "Хорошая мысль! – воскликнул Сталин. – Побрить этому мерзавцу усы. А затем расстрелять!"

Но все же анекдотов в сталинские годы было мало. За них арестовывали и судили. Рассказывали их лишь тогда, когда были уверены в том, что не донесут. Жертвой доноса такого рода стал известный впоследствии философ Спиркин. Он уже после войны рассказал в компании какой-то анекдот о Сталине или не донес о человеке, рассказывавшем анекдоты.

Несколько осмелели после войны. И рецидив массовых репрессий уже не мог остановить этот процесс. Анекдоты становились все более острыми. Например, я в самых разных местах слышал анекдот о человеке, которого осудили на десять лет и который спросил судью, за что такое наказание, а судья ответил, что если бы знали, за что, то дали бы не десять, а двадцать пять лет. Но те анекдоты, что касались лично Сталина, оставались на том же уровне почтения ко всепильному диктатору. Сталин как личность был не анекдотичен, в отличие от его преемников Хрущева и Брежнева.

ОБЩИЙ ВЫВОД

Я был антисталинистом и не превратился в сталиниста. В результате многолетних размышлений я пришел к такому выводу. Сталинский путь в условиях краха бывшей Российской империи и послевоенной разрухи был самым эффективным путем построения коммунизма, а может быть, и единственным. Дело не в том, что Сталин был злодей. Дело в том, что натура нового общества проявила себя наиболее ярко именно на этом пути. Сталин был сыном своего времени, наиболее полно и четко отразившим в себе сущность реального коммунизма. Сталинский период пока что остается самым значительным в советской истории. Этот период заслуживает, конечно, критики. Но в гораздо большей мере он заслуживает объективного понимания. Сталин был, есть и навечно останется главной личностью в истории реального коммунизма.

Негативное отношение к Сталину объясняется тем, что он обнажил сущность марксизма–ленинизма как идеологии и сущность реального коммунизма. Сталин сыграл свою историческую роль. И теперь на него можно сваливать все те негативные явления, которые на самом деле суть неотъемлемые атрибуты коммунизма. Его сделали козлом отпущения за грехи истории и за непредвиденные следствия реальности коммунизма. Советское руководство и его холуи проявляют свою собственную натуру, "разоблачая" Сталина, а не натуру сталинизма. Они поступили со Сталиным нечестно, подло, коварно, как это и соответствует их собственной сущности.

Поистине верно: мертвого льва может лягнуть даже осел.

Х. ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

ЭВОЛЮЦИЯ СТРАНЫ И ЛИЧНОСТИ

Период после смерти Сталина и до свержения Хрущева по своей социальной сущности был переходным от состояния юности коммунизма к состоянию зрелости.

На короткое время на вершине власти возник Маленков, один из ближайших соратников Сталина. Сделал доклад по сталинскому образцу. Но материальное положение резко улучшилось. В магазинах появились заграничные вещи и продукты питания. Стали в изобилии показывать иностранные фильмы. Маленков скоро с позором "слетел". На его место пришел Хрущев. И потому начавшийся период оказался связанным с его именем. Такая персонификация исторических эпох в моем изложении есть

лишь дань традиции и способ обозначения их. Я не рассматриваю происходившее в эти эпохи как результат замыслов и воли отдельных лиц, стоявших у высшей власти. То, что произошло в сталинский период, произошло бы при любом другом вожде, в том числе и при Ленине, проживи он еще двадцать или более лет. Произошло бы в несколько иной форме, с иными жертвами и последствиями, но все-таки произошло бы. Тем более это верно в отношении Хрущева. Остался бы во главе страны Маленков или захватил бы власть Берия, общество так или иначе уже вступало в период зрелости и должно было преодолеть инерцию и рецидивы юности. В том слое и в том разрезе общества, в которых протекала моя жизнь, это было совершенно очевидно. К переменам на высотах власти и к верхушечным спектаклям власти я и окружавшие меня люди относились либо с полным равнодушием, либо с любопытством любителей слухов и сплетен, либо с презрением и насмешкой.

Периоды моей личной жизни в самых существенных чертах совпадали с периодами жизни страны. Это объясняется тем, что отражение, осмысление и переживание эволюции коммунистического общества в моей стране при всех обстоятельствах оставалось основой моей личности. Это не значит, что я постоянно занимался наблюдениями за событиями общественной жизни, постоянно думал о них и переживал их. Процесс эволюции личности является до некоторой степени автономным. В моей жизни были периоды, когда я полностью погружался в личные дела или в научные исследования чисто академического характера. Мне самому часто казалось, что я насовсем покончил с моими социальными интересами. Вплоть до 1974 года мне даже в голову не приходила мысль, что я когда-нибудь буду писать статьи и книги на темы о советском обществе и коммунизме. И все же глубокая обусловленность моей личности социальными интересами уже не могла исчезнуть совсем. Моей доминирующей и неизменной страстью так или иначе оставался коммунизм во всех его аспектах и проявлениях.

Периоды моей жизни совпадали в самом главном с периодами истории страны совсем не в том смысле, что я шагал в общем строю "строителей коммунизма", но лишь в смысле моей реакции на них и моего поведения. Я никогда не испытывал восторгов по поводу перемен в стране. Я относился к ним всегда критически. Конечно, я, как и все, радовался бытовым улучшениям. Но я никогда не воспринимал их как свидетельство неких достоинств и преимуществ коммунизма. Тем более эти улучшения в моем личном положении никогда не соответствовали моему социальному положению. Например, я получил отдельную однокомнатную квартиру лишь в возрасте сорока пяти лет, будучи доктором наук и профессором, опубликовав множество книг, имея международную известность. И успехи в науке мне доставались всегда в бесконечной борьбе с властями, коллегами и "друзьями". Так что периоды моей жизни совпадали с периодами истории страны в смысле изменения моих умонастроений и форм борьбы за выживание и сохранение в качестве автономной личности.

ПОСЛЕ СМЕРТИ СТАЛИНА

Сталин умер. Но в стране ничто не изменилось как непосредственное следствие его смерти. Те изменения, которые происходили в стране, были независимы от Сталина и его смерти. Они начались при Сталине. Формальные преобразования высших органов власти еще при жизни Сталина нисколько не меняли существа власти. После смерти Сталина они были ликвидированы, была восстановлена прежняя структура высших органов власти, что тоже не изменило ничего по существу.

На Западе этим ничтожным, на взгляд советских людей, изменениям в органах власти придали огромное значение, как сейчас здесь преувеличивают значение горбачевской суеты. Но даже среднеобразованные советские люди понимали (как они понимают и теперь), что все махинации в высших органах власти были связаны с борьбой за власть в правящей верхушке, и вообще игнорировали их. От того, что высший орган власти стал бы называться Президиумом ЦК КПСС, а не Политбюро ЦК КПСС, его статус и роль в системе власти не изменились бы.

Вскоре после смерти Сталина у меня состоялся разговор с В. Громаковым, тогда секретарем партбюро факультета. Он сказал, что мне следовало бы вступить в партию, что начинается такое время, когда мои антисталинские настроения могут быть полезными для страны, что, находясь в партии, я могу сделать более, чем оставаясь беспартийным. Его слова мне показались убедительными. Он был одним из тех, кто дал мне рекомендацию. Другую рекомендацию дал мне друг-враг Э. Ильенков. Не помню, кто дал третью. Осенью 1953 года я был принят кандидатом в члены КПСС.

Громаков оказался прав в том смысле, что после смерти Сталина в партийных организациях учреждений и предприятий началась острая борьба. В этой борьбе приняли активное участие миллионы членов партии.

Сталин умер, но остались сталинисты и образ жизни, сложившийся при нем. А сталинисты – это не горстка высших партийных руководителей, а сотни тысяч (если не миллионы) начальников и начальничков на всех постах грандиозной системы власти, сотни тысяч активистов во всех учреждениях и предприятиях страны. Годы 1953 – 1956-й превратились в годы ожесточенной борьбы с этим наследием Сталина. По форме это не была борьба, открыто направленная против сталинизма. Никакой определенной линии фронта и никакого четкого размежевания лагерей не было. Борьба проходила в форме бесчисленных стычек по мелочам – по поводу кандидатур в партийные и комсомольские бюро, назначения на должности, присвоения званий и т. д. Но по существу это была борьба против негативных явлений сталинского периода и сталинского режима. Вот некоторые особенности этой борьбы. Бывшие сталинисты все, за редким исключением, перекрасились в антисталинистов или, по крайней мере, перестали заявлять о себе как о сталинистах. Лишь немногие потеряли посты и власть или были понижены. Большинство осталось. Многие даже сделали дальнейшие успешные шаги в карьере. Эта борьба происходила главным образом как перерождение массы сталинистов в новую форму, соответствующую духу времени. Но происходило это под давлением массы антисталинистов, которые отчасти открыто стали

проявлять свои прежние тайные настроения, но главным образом появились теперь, в новых условиях, когда исчезла острая опасность быть антисталинистом и когда роль борца против сталинизма становилась более или менее привлекательной. Это не значит, что эта роль не имела своих неприятных последствий. Но эти последствия уже не были такими, какими они могли быть ранее. Антисталинистское давление снизу становилось таким, что с ним нельзя уже было не считаться. Никакой четкой линии фронта в борьбе, повторяю, не было. Она была распылена на бесчисленное множество стычек по конкретным проблемам, каждая из которых по отдельности была пустяковой, но сумма которых составила проблему грандиозного исторического перелома. В этой борьбе порою бывшие сталинисты поступали как смелые критики отживших порядков, а антисталинисты выступали как реакционеры. Имела место мешанина слов, действий и настроений. Но в ней вырисовывалась определенная направленность, результировавшаяся потом в решениях XX съезда партии. Борьба шла внутри партийных организаций и органов власти и управления, что было не делом случая, а проявлением сущности самого социального строя, его структуры, роли упомянутых феноменов.

О том, насколько еще силен был сталинизм, говорил тот факт, что ближайшие соратники Сталина оставались на высотах власти. Сталина набальзамировали и положили в Мавзолее рядом с Лениным. Но уже ощущалось, что сталинизм изжил себя и потерял былую силу. Репрессии прекратились. По поводу помещения Сталина в Мавзолей рассказывали анекдоты. Например, такие. Один журналист посетил Мавзолей и спросил Ленина, как он себя чувствует после того, как Сталина положили рядом с ним. Ленин ответил: "Не думал, что ЦК подложит мне такую свинью". Другой анекдот. Два грузина пришли в Мавзолей. Сталина они, конечно, узнали. Один из них спросил другого, указывая на Ленина, кто это такой лежит рядом со Сталиным. А другой ответил, что это – сталинский орден Ленина. За эти анекдоты не сажали. Начали появляться многочисленные "правдивые" рассказы о Сталине, имевшие характер анекдотов.

Борьба, о которой я говорил, послужила основой и подготовкой хрущевского "переворота". Десталинизация страны началась еще до доклада Хрущева на XX съезде партии. Доклад Хрущева был итогом этой борьбы. Фактическая десталинизация страны произошла бы и без этого доклада и без решений XX съезда партии, произошла бы явочным порядком. Хрущев использовал фактически начавшуюся десталинизацию страны в интересах личной власти. Придя к власти, он, конечно, отчасти способствовал процессу десталинизации, а отчасти приложил усилия к тому, чтобы удержать его в определенных рамках. Ему не удалось до конца довести ни то ни другое, что потом послужило одной из причин его падения. Десталинизация страны была сложным историческим процессом. И нелепо приписывать ее усилиям и воле одного человека с интеллектом среднего партийного чиновника и с повадками клоуна. И тем более нелепо сравнивать роль Хрущева с ролью Горбачева. Хрущевский и горбачевский периоды имели противоположную социальную направленность. Хрущев осуществлял десталинизацию страны, приведшую к брежневизму. Горбачев осуществляет дебрежневизацию страны, ведущую к новой форме волюнтаризма сталинского типа.

Но Громаков оказался не прав в отношении моего личного участия в этой борьбе. Я оказался человеком беспартийным по натуре, абсолютно непригодным к внутрипартийной борьбе. И в моих услугах и поддержке, как выяснилось, никто не нуждался. Но я не жалею о том, что вступил в партию. Это открыло мне возможность лучше наблюдать жизнь советского общества, ибо наиболее активная социальная жизнь в этом обществе протекает именно в партийных организациях. Благодаря пребыванию в партии я смог лучше разобраться в том, как устроена и как функционирует специфически коммунистическая система власти и управления. Я говорю так, глядя назад с точки зрения того, что мне удалось сделать много лет спустя. А тогда, в пятидесятые годы, я рассматривал вступление в партию как ошибку. Впрочем, я скоро к этому привык и рассматривал свое пребывание в партии как чистую формальность. На мою научную карьеру это не оказало существенного влияния.

Я был не единственным антисталинистом, вступившим в партию после смерти Сталина. После смерти Ленина масса людей вступала в партию с намерением продолжать дело Ленина. Это был "ленинский призыв" в партию. Люди, вступившие в партию в "ленинский призыв", стали затем опорой сталинизма. После смерти Сталина масса людей вступила в партию с сознательным намерением бороться против сталинизма. Трудно сказать, в какой мере они способствовали десталинизации страны.

Летом 1953 года я проходил очередные военные сборы. На этот раз они продолжались целых три месяца. В середине сборов вдруг отобрали летчиков, которые были кандидатами или членами партии, и на военном транспортном самолете доставили на военный аэродром под Москвой. Формально мы должны были летать в отряде самолетов, которые должны были образовать в небе слова "Слава КПСС!" во время предстоявшего воздушного парада. Я должен был летать в букве "П" в слове "КПСС". Но потом выяснилось, что это был лишь предлог сосредоточить вокруг Москвы надежных военнослужащих, которых можно было бы использовать против попытки захвата власти Берией. Последний начал стягивать к Москве подчиненные ему войска МВД. В это время мой брат Алексей служил в Кантемировской (или в Таманской, точно сейчас не помню, в какой из них именно) дивизии, располагавшейся в восьмидесяти километрах от Москвы. Их дивизию подняли ночью по тревоге и ввели в Москву. Они окружили все здания МВД, включая Лубянку. Все это было сделано быстро, так что москвичи почти ничего не заметили.

О событиях в высшем руководстве ходили всякие слухи, в частности – будто Молотов или Жуков лично застрелили Берию в Кремле. Мы не верили в их надежность и были в общем и целом равнодушны к ним. Это были верхушечные, "генеральские" дела. А у нас были другие интересы, другая жизнь, другая ориентация сознания. Солдаты не знают забот генералов.

В ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ КРУГАХ

В наших идеологических и философских кругах характер происходившей

борьбы обнаружился особенно отчетливо. Тут были сосредоточены самые чудовищные монстры сталинского периода. После смерти Сталина далеко не сразу потерял свое положение в ЦК КПСС махровый сталинец Г.Ф. Александров (где-то после 1956 года). Понизился академик М.Б. Митин. Но он остался академиком, занимал больше десяти различных постов и везде получал деньги. На посту редактора журнала "Вопросы философии" остался М. Каммари, автор огромного труда о роли Сталина в истории. Теперь он срочно переписывал свой холуйский труд в новом духе. И уже через год он вышел в свет с названием "Роль народных масс в истории". Я по этому поводу написал для стенгазеты стихотворение, в котором были слова от имени Каммари: "Я воспевать теперь намерен роль личности... тьфу, извиняюсь, масс". И за это я жестоко поплатился. После Каммари редактором журнала стал Митин. Кстати сказать, он был лучшим редактором журнала, чем сменившие его "либералы". Продвинулись по служебной лестнице сталинисты П.Н. Федосеев и Ф.В. Константинов. Они по очереди были директорами института и академиками-секретарями Отделения АН СССР, стали полными академиками. Федосеев стал вице-президентом Академии наук. Оба они занимали одновременно множество руководящих постов. Короче говоря, все крупнейшие фигуры в идеологии сталинского периода сохранили в своих руках руководство идеологией. Десталинизация идеологии происходила под их руководством. Один из самых гнусных сталинистов М.А. Суслов стал главой советской идеологии и со временем одной из главных и зловещих фигур в советском руководстве.

Но эти зубры идеологии были где-то наверху. Нам приходилось иметь дело со сталинскими монстрами рангом поменьше. В Институте философии этих монстров возглавляла Е.Д. Модржинская, бывшая начальником личной канцелярии Берии и полковником "органов". Она была необычайно энергичной и фанатичной коммунисткой. Во всяком случае, она претендовала на такую роль. Личность она была в высшей степени колоритная. В моей книге "Желтый дом" она послужила прототипом для "Суки Тваржинской".

МОЯ ЖИЗНЬ

Весной 1954 года я сдал свою диссертацию на обсуждение на "малом" ученом совете. Обсуждение превратилось в настоящее сражение, длившееся более шести часов. Профессора обвиняли меня во всех возможных отступлениях от марксизма-ленинизма. Студенты и аспиранты моей группы громили их и высмеивали их невежество. На обсуждение пришло много людей с других факультетов и даже извне университета – слух о необычной диссертации распространился по Москве. Пришел, в частности, молодой кинорежиссер Г. Чухрай с группой своих артистов. Потом мы стали друзьями. С Чухраем меня познакомил мой друг Карл Кантор, о котором я уже упоминал.

Ученый совет решил не выпускать диссертацию на защиту на "большом" ученом совете.

После обсуждения мы с Карлом и Чухраем пошли к М. Донскому, одному

из ведущих тогда советских кинорежиссеров, надеясь на то, что тот сможет мне помочь. Наши надежды оправдались. Тогдашний заведующий отделом пропаганды ЦК КПСС Г.Ф. Александров, бывший одним из ближайших идеологических советников Сталина, был другом М. Донского. Последний позвонил Александрову, рассказал о решении ученого совета не допускать диссертацию на защиту. Александров пообещал уладить дело. Буквально через день мне сообщили, что ученый совет пересмотрел свое решение путем личного опроса членов совета, и моя диссертация была допущена к защите. Таким образом, один из самых заядлых бывших сталинистов поддержал работу бывшего антисталиниста, даже не посмотрев ее. Такие явления в сталинские годы были возможны. Я уверен в том, что в послесталинские "либеральные" годы такие книги, как "Тихий Дон" Шолохова и "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок" Ильфа и Петрова, не были бы напечатаны – не допустили бы сами писатели. Опять-таки один из парадоксов советской жизни: если бы сталинисты во главе с Г. Александровым удержались еще три-четыре года, моя немарксистская диссертация о Марксе была бы напечатана, я сразу стал бы доктором наук и профессором, а может быть, был бы даже назначен на высокий пост. Несмотря ни на что, у сталинистов было больше пиетета к таланту, чем у "либералов".

Защита диссертации тоже превратилась в манифестацию. Многие выступавшие требовали напечатать ее. Это напугало философское начальство. Степень кандидата мне присудили, но потом четыре года не утверждали: покровительствовавший мне Александров потерял все свои позиции. Диссертацию изъяли из открытого фонда Библиотеки имени В.И. Ленина и из Библиотеки имени Горького (последняя – университетская библиотека). Выдавали ее читать только по особому разрешению. Насколько мне известно, этот запрет сохранился вплоть до выхода "Зияющих высот". Один из моих почитателей попытался в 1977 году получить разрешение, но ему отказали.

Одна характерная деталь, связанная с диссертацией. Пока Сталин был жив, я принципиально не хотел ссылаться на него, как это по обязанности делали все. Мой научный руководитель не хотел выпускать главы диссертации на обсуждение на кафедре из-за этого. После смерти Сталина сразу же прекратились ссылки на него. Я из духа противоречия включил работу Сталина "О диалектическом и историческом материализме" в список использованной мною литературы. Мой научный руководитель на сей раз был категорически против. Сталинизм пустил корни в души людей настолько глубоко, что сталинисты начали предавать своего кумира сразу же. как только предательство становилось неопасным и даже выгодным для них. Последующая история страны дала бесчисленные примеры такого рода. Шут Хрущев, плясавший и кривлявшийся по приказу Сталина, превратил критику Сталина в личное оскорбление и окарнаментирование последнего.

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ

В декабре 1954 года я был принят на работу в Институт философии Академии наук СССР. Произошло это при довольно комичных

обстоятельствах. В Институте философии уже знали обо мне и о моей диссертации. Институтские монстры во главе с Модржинской были категорически против принятия меня на работу в институт. Модржинская специально приходила на факультет наводить обо мне справки. Она сколотила целую группу с целью предотвратить мое поступление в институт – у нее был нюх старой чекистки, она чуяла, что я – "не наш человек". Так что никаких шансов поступить в Институт философии у меня не было. Но вот однажды я присутствовал там на ученом совете, на котором защищалась докторская диссертация. Диссертант, бывший сталинист, теперь стал, как и многие другие бывшие сталинисты, антисталинистом. Меня это возмутило. Я выступил и охарактеризовал поведение диссертанта как типичную подлость. Я сказал тогда в заключение восточную пословицу: "Мертвого льва может лягнуть даже осел". Директором института был Ц.А. Степанян, бывший сталинист. Услышав мое выступление, особенно последнюю фразу, он молча вышел из зала и отдал приказ зачислить меня в институт на должность машинистки–стенографистки – это была единственная свободная ставка. Так я попал в Институт философии АН СССР. Через несколько месяцев меня перевели в младшие научные сотрудники.

Забавно, что со мной и на этот раз серьезно беседовали представители райкома партии и "органов". Они тоже восприняли мое выступление как защиту Сталина и расценили его как противоречащее новой генеральной линии партии. Важно было не то, что ты говорил по существу, а то, насколько говоримое тобою соответствовало общей установке. Важно было не то, куда именно шла масса людей, а то, чтобы и ты шел в ногу с нею. Еще в сталинские годы рассказывали такой анекдот один старый большевик в пункте анкеты, в котором спрашивалось, колебался ли он в проведении генеральной линии партии, написал, что он колебался вместе с генеральной линией партии. Этот анекдот рассказывали открыто, над ним открыто смеялись, но за это почему-то не сажали.

АНТИСТАЛИНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Я пришел в Институт философии АН СССР в конце 1954 года, когда там уже существовала влиятельная антисталинистская группа. Эта группа – явление, характерное для того времени. Такого рода группы возникали тогда повсюду в той или иной форме. Хотя они и не объединялись в единое антисталинистское движение с четко сформулированными лозунгами, все же есть основания говорить в данном случае о них как об элементах массового движения. Организационное единство исключалось условиями коммунистического общества. Но оно и не требовалось. Однообразие условий и проблем во всех подразделениях советского общества тех лет обуславливало одинаковую направленность такого рода групп и отдельных личностей.

У нас в институте антисталинистскую группу возглавлял В.П. Доброхвалов личность, заслуживающая огромного уважения и памяти потомков. Заслуживающая, но, увы, не удостоившаяся. По образованию Доброхвалов был биологом, защитившим кандидатскую диссертацию еще до войны. Во время войны был офицером, потом фронтовым журналистом,

стал полковником. После войны работал в газете "Красная Звезда". В институт попал как человек, интересующийся философией естествознания. Он был человеком умным и мужественным. Вместе с тем был опытным во всякого рода внутривнутрипартийных делах. В группу Доброхвалова вошли молодые сотрудники и аспиранты. Мы в нем единодушно признали своего лидера. Он действительно был прирожденным вождем сталинского периода. Но его способности вождя оказались направленными в другую сторону – против сталинизма.

Доброхвалов возглавлял борьбу против сталинистских монстров в течение пяти лет. Надо сказать, что эта борьба была далеко не безопасной. Прекратились массовые сталинские репрессии, но в ход пошли другие методы. В отношении меня, например, с первого дня работы в институте была организована настоящая травля. Мою диссертацию не утверждали. Мои статьи не печатали. Редактор "Вопросов философии" Каммари заявил, что, пока он жив, ни одно мое сочинение не будет нигде напечатано. Он сдержал слово. Печататься я начал лишь после его смерти, причем сначала в Польше и Чехословакии и лишь затем у себя дома. Несколько молодых сотрудников уволили из института. Самого Доброхвалова в конце концов выжили из института, испортив всякого рода клеветническими измышлениями всю его последующую жизнь. Причем это сделали "либералы" при поддержке сталинских монстров. Я восхищаюсь этим человеком и пользуюсь случаем, чтобы воздать ему должное.

Тактика Доброхвалова заключалась в следующем расколоте сталинистских идеологов и философов на две группы, вынуждая "левую" их часть, имевшую формальную власть, бороться против "правой" части, имевшей фактическое влияние в коллективах. Тактика эта полностью оправдала себя. В течение этих пяти лет удалось добиться того, что из института уволили несколько десятков наиболее гнусных сталинских монстров и на их место набрали молодых людей, гораздо лучше образованных и более "либеральных" в своих воззрениях и настроениях. Сталинским зубрам вроде Митина, Федосеева, Константинова, Юдина, Иовчука, Степаняна и других навязали роль десталинизации советской идеологии и философии.

Это были годы неутомимой и последовательной борьбы, выразившейся в тысячах мелочей. Наша институтская стенная газета стала органом и орудием борьбы. Она приобрела широкую известность, не раз была причиной больших скандалов, не раз обсуждалась на уровне партийных органов вплоть до ЦК КПСС, не раз запрещалась. Вокруг газеты сложилась группа художников, фельетонистов, поэтов. Выпуск стенгазеты превращался в праздничное событие. Мы с Э. Ильенковым рисовали карикатуры, выдумывали подписи. Потом к нам присоединились художники Б. Драгун и Е. Никитин. Великолепные сатирические стихи сочинял Лев Плющ, бывший старший лейтенант. Жизнь его потом сложилась печально. Он был одним из тех, кто послужил прообразом поэтов в моих книгах. Несколько позднее в газете стал участвовать другой поэт Э. Соловьев, ставший автором ряда книг по философии, имевших успех. Фельетоны для газеты писал известный советский философ А. Гулыга. Он был долгое время редактором газеты. Замечу между прочим, что газета играла в институте выдающуюся роль вплоть до начала семидесятых годов. А в первые послесталинские годы ее роль

была особенно эффективной.

Другими формами нашей борьбы было участие в партийных собраниях, заседаниях ученых советов и кафедр, в симпозиумах и конференциях. Почти все они превращались в маленькие и порою серьезные битвы. Борьба шла за каждую мелочь – за формулировки резолюций собраний, за кандидатуры в партийные бюро, за премии, за рекомендации в печать книг или за отклонения. Модржинскую, например, каждый раз кто-то выдвигал в партийное бюро института, и каждый раз мы проваливали ее. Расширялись и умножались философские учреждения. Стремительно росло число выпускников учебных заведений. Они просто численно стали подавлять сталинистов, не говоря уж о лучшей образованности и раскованности.

Как я уже говорил, после смерти Сталина мой антисталинизм потерял для меня прежний смысл. То, что происходило в сталинские годы, вызывало у меня протест, гнев, возмущение. А то, что стало происходить в послесталинские годы, стало вызывать у меня презрение. Появилось осознанное стремление выработать свой жизненный путь. Мое участие в институтской "фронде" стало определяться просто качествами характера, дружескими отношениями, сатирическим отношением к философской среде и еще тем, что мой путь временно совпал с путем послесталинских антисталинистов и либералов преуспевающего хрущевизма.

БЫТ

Первый раз я женился в 1943 году. Это был случайный брак военного времени. От этого брака у меня сын Валерий (родился в 1944 году), с которым у меня были всегда хорошие отношения. Они и остаются такими до сих пор. Этот брак расторгнут вскоре после войны. Вторично я женился в 1951 году на девушке, с которой учился на одном курсе в университете. В 1954 году у нас родилась дочь Тамара. Мы с трудом нашли комнату. Снимать комнату в советских условиях – это совсем не то же самое, как снимать жилье в странах Запада.

Жильцы квартир, сдающие комнаты или части комнат (угол, койку), не являются собственниками квартир и комнат, хотя и живут в них постоянно и передают детям. Сдают они часть своей жилой площади практически нелегально. И стоит это для людей с малой зарплатой очень дорого. С детьми пускают неохотно. И весьма ограничивают в бытовом поведении. Жена имела право на годичный отпуск, но за свой счет. Моя стипендия была мизерная. Приходилось подрабатывать. В школах я уже не работал: преподавание логики и психологии в школах после смерти Сталина отменили. Но теперь я мог подрабатывать более легкими путями: вел занятия в вечернем университете марксизма-ленинизма, рецензировал курсовые работы слушателей Высшей партийной школы, отвечал на письма в журнале "Коммунист". Больше всего я заработал, помогая сочинить диссертацию какому-то грузинскому чиновнику. Так что мы с грехом пополам могли существовать. Через год жена стала получать на работе зарплату и иногда гонорары за статьи.

Мне в институте стали платить зарплату младшего научного сотрудника. В 1956 году жене дали от работы комнату размером 8 кв. м. Мы были счастливы. Я в моем институте не мог рассчитывать на получение жилья: когда меня брали на работу, с меня взяли подписку, что я не буду претендовать на это. В этой комнатухе мы прожили до 1961 года.

Семейная жизнь по многим причинам не ладилась. Жена работала журналисткой, много времени проводила в газете, часто дежурила по ночам и разъезжала по стране. Дочь родилась больная – с дефектом ноги и позвоночника. На меня обрушилось горе. Болезнь дочери сыграла в моей жизни роль очень значительную. Вылечить ее во что бы то ни стало превратилось, наряду с научными интересами на работе, на много лег в одну из главных жизненных целей. Я должен был проводить с дочерью все свободное от работы время, выходные дни, отпуска. Я разработал для нее свою систему лечения. Научил ее плавать, скрыв от тренеров ее болезнь. Уже в десять лет она принимала участие в серьезных спортивных соревнованиях и занимала призовые места. Дома я сделал для нее ящик с песком, в котором она "ходила" каждый день по нескольку раз, в общей сложности до часа. Несколько раз ездил с ней дикарем в Крым, где заставлял ее часами плавать и ходить по песчаному берегу моря иногда более десяти километров в день. Слово "дикарем" означает, что мы обо всем должны были заботиться сами, в том числе должны были часами стоять в очередях, чтобы поесть. Регулярно ходил с дочерью в туристические походы по Подмосковию, таская на себе еду на несколько дней и ночуя в палатке. Все это вырывало меня из нормальных общений с другими людьми, обрекало на одиночество. Для меня это было мучительно, так как по натуре я всегда был склонен к коллективистской жизни. Я был склонен к разговорам, которые были для меня формой уяснения проблем для самого себя, а тут я был обречен на молчание и на диалог с самим собою. Но в этом вынужденном молчании и одиночестве были и свои плюсы. Я был вынужден вести упорядоченный образ жизни, занимался спортом.

В эти годы я выработал все свои основные идеи, касающиеся понимания общества и принципов жизни.

Дочь выздоровела полностью. В 1964 году медицинская комиссия в Центральном институте ортопедии установила, что она совершенно здорова. По мнению врачей, это был уникальный случай. Он был даже описан в какой-то книге (кажется, в докторской диссертации заведующего отделением). Разумеется, врачи приписали заслугу себе. Но меня это нисколько не обидело. Я уже привык к этому времени к тому, что люди охотно присваивают себе результаты чужого труда. И к тому же я не претендовал на вклад в медицину.

Мои надежды на нормальную семейную жизнь не оправдались. Наш брак превратился в пустую формальность и источник неприятностей. Лишь долг перед дочерью и практическая невозможность жить раздельно поддерживали его. У дочери рано обнаружили способности к рисованию. И мне приходилось проводить с ней время не только в бассейне, но и в кружках рисования и живописи. Посвящать свою жизнь служению чему-то и кому-то стало чертой моего характера.

В том же 1956 году получили отдельную трехкомнатную квартиру мои

родители, братья и сестра. В одной комнате стали жить мать, отец и сестра Анна с мужем и сыном. В другой комнате – брат Алексей с женой и двумя детьми. В третьей брат Владимир с женой и дочерью. Но это было колоссальным благом для них. Хотя у них было тесно по нынешним критериям, я часто ночевал там, особенно после семейных ссор. И мне там были рады. Вечером обычно все собирались в комнате родителей и сестры. Хотя еда была скудная и очень редко появлялось вино, мы были веселы. Жизнь явно улучшалась. Братья учились и делали хотя и маленькие, но все же успехи в работе. И общее настроение в стране было на подъеме.

ХРУЩЕВСКИЙ "ПЕРЕВОРОТ"

Говоря о хрущевском "перевороте", как и о любом другом значительном событии и периоде советской истории, надо различать его внешние признаки, специально обнаруживаемые и подчеркиваемые для общественного сознания и заметные для любого, даже самого невежественного и глупого наблюдателя (т. е. заметные для всех), и глубинные явления, образующие социальную сущность этого явления и обнаруживаемые лишь в результате серьезного профессионального исследования. Этот общий принцип познания сложных социальных явлений игнорируется как в Советском Союзе, так и на Западе. Игнорируется по разным причинам, но игнорируется. Во-первых, увидеть поверхностные и специально пропагандируемые признаки легко, а докопаться до скрытых не так-то просто. Для этого мало проглядеть газеты и послушать радио. Нужны усилия, нужна специальная подготовка, нужны методы, которые не имеются в наличии или отвергаются специалистами (как это имеет место в отношении познавательных приемов диалектики). А во-вторых, в истине заинтересованы лишь одиночки. Множество людей, в чьих руках находится дело познания и средства массовой информации, имеют совсем иные интересы, ничего общего не имеющие со служением истине. Они вольно или невольно прилагают усилия к тому, чтобы помешать объективно-научному пониманию социальных явлений определенного рода. Так было и так обстоит дело со всеми важнейшими явлениями советского общества и его истории, включая хрущевский период.

Социальную сущность явлений, о которых идет речь, образуют не некие секреты Кремля и закулисные махинации, которые стремятся разгадать западные разведывательные службы и кремленологи и которые становятся сенсациями в средствах массовой информации Запада. Такие секретные и сенсационные явления суть еще в большей мере пена исторических процессов, чем любые другие. Сущность интересующих нас явлений образуют точно так же обыденные, доступные наблюдению эмпирические факты. Но чтобы понять, что именно они образуют сущность видимых явлений, нужны особые методы исследований всей совокупности явлений реальности, нужно следовать определенным принципам научной этики, нужно иметь мужество пойти против общепринятых мнений и быть готовым к тому, что мир не встретит с восторгом твои открытия.

Внешне хрущевский "переворот" выглядел так. Хрущев зачитал на XX

съезде партии доклад, разоблачавший "отдельные ошибки периода культа личности". Доклад зачитали во всех партийных организациях. Никакого обсуждения не было. Просто предлагалось принять его к сведению. Одновременно всем партийным органам были даны инструкции, что делать. Убрали портреты, бюсты и памятники Сталина. Прекратили ссылки на него. Позднее выбросили труп Сталина из Мавзолея. Сделали кое-какие послабления в культуре, особенно в литературе и кино. Заменили каких-то деятелей сталинского периода в руководстве. Стали предавать гласности кое-какие неприглядные факты прошлого. На Сталина начали сваливать вину за тяжелое положение в стране и за потери в ходе войны. Все эти и другие факты общеизвестны. Совокупность этих фактов и называют десталинизацией советского общества.

Что означала эта десталинизация по существу с социологической точки зрения? Сталинизм исторический как определенная совокупность принципов организации деловой жизни страны, принципов управления и поддержания порядка и принципов идеологической обработки населения сыграл свою великую историческую роль и исчерпал себя. Он стал помехой для нормальной жизни страны и дальнейшей ее эволюции. В силу исторической инерции он еще сохранял свои позиции. Миллионы людей, которые были оплотом сталинизма, привыкли и не умели жить по-иному, сохраняли свои руководящие позиции и влияние во всех подразделениях общества. Вместе с тем в стране отчасти благодаря сталинизму и отчасти вопреки ему созрели силы и возможности его устранения. В годы войны и в послевоенные годы предприятия и учреждения страны уже во многом стали функционировать не по-сталински. Благодаря культурной революции изменился человеческий материал, и потери в войне не остановили этот процесс. В массах населения назрела потребность жить иначе, назрел протест против сталинских методов, ставших бессмысленными.

В сфере управления обществом сложился государственный чиновничий аппарат, который стал играть более важную роль сравнительно с аппаратом сталинского народовластия и сделал последний излишним. В сфере идеологии сталинский уровень идеологии перестал соответствовать интеллектуальному уровню населения и его настроениям. В стране выросли огромные кадры идеологически подготовленных людей, которым сталинские идеологи казались примитивными и мешали делать то же дело лучше, чем раньше. Десталинизация страны происходила вопреки всему и несмотря ни на что, происходила объективно, явочным порядком. Происходила как естественный процесс созревания, роста, усложнения, дифференциации социального организма. Так что хрущевский "переворот" означал приведение официального состояния общества в соответствие с его фактическими тенденциями и возможностями.

Хрущевский "переворот" имел успех лишь в той мере, в какой он был официальным признанием того, что уже складывалось фактически. Он имел успех лишь в той мере, в какой нес облегчение и улучшение условий жизни широким массам населения. Он был прежде всего в интересах сложившегося к тому времени мощнейшего слоя руководящих работников всех сортов и уровней (начальников и чиновников), которые стремились сделать свое положение стабильным, обезопасить себя от

правлящей сталинской мафии, опиравшейся на органы государственной безопасности и массовые репрессии, и от мафий такого рода на всех уровнях социальной иерархии. Этот правящий слой больше всех был подвержен произволу народовластия. Он стал господствующим фактически и хотел иметь личные гарантии своего привилегированного положения.

НАША РЕАКЦИЯ

Доклад Хрущева на XX съезде партии читался у нас в институте на закрытом партийном собрании. Но содержание его не было секретом. Он произвел впечатление тем, что был сделан на высшем уровне и одобрен высшими партийными органами и теми конкретными данными, какие в нем приводились. Но принципиально нового он для нас ничего не содержал. Все продолжалось так, как уже наметилось до этого. Как я уже сказал, убрали лишь портреты и бюсты Сталина, запретили ссылки на его сочинения. Когда уносили огромный бюст Сталина из зала заседания института в подвал, его уронили на лестнице и разбили. Завхоз института, бывшая восторженной сталинисткой, сказала по этому поводу: "Туда ему и дорога!" У меня такого рода явления вызывали отвращение и возмущение тем, что в них проявлялись гнусные качества советского человека. Особенно противно было видеть, как бывшие сталинские холуи начали изображать из себя жертв "культа личности" и цинично использовать новую конъюнктуру в своих корыстных интересах. Это явление, как выяснилось впоследствии, стало характерным для советского человека. В горбачевские годы многие ловкачи, процветавшие при Брежневе, тоже стали изображать из себя жертв брежневизма, поскольку это оказалось чрезвычайно выгодным. В хрущевские же годы такое массовое хамелеонство было новостью.

В среде людей, с которыми мне приходилось тогда сталкиваться, ходил слух, будто зачитанный Хрущевым доклад был подготовлен еще помощником Берии, будто Берия сам собирался его зачитать, и это якобы было главной причиной того, что его убрали. Несколько лет спустя я встретил человека, который утверждал, будто этот доклад был приготовлен для самого Сталина, будто Сталин сам собирался выступить в роли освободителя от террора, который без его ведома учинили его соратники. Сейчас невозможно установить, насколько правдивы были такие слухи. Это и не важно. Важно то, что в них проявлялось убеждение в объективной предрешенности крушения легенды сталинизма и десталинизации страны.

ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ ГОДЫ

При Хрущеве в наших кругах началась веселая, радостная и даже разгульная жизнь. Мы были молоды. Начинались первые успехи.

Защищались диссертации. Печатались первые статьи и книги. Присваивались первые звания. Делались первые шаги в служебной карьере. Началась оргия банкетов. Успехи были достаточно ощутимы, чтобы создать общий оптимистичный тонус жизни. Они еще были не настолько заметны, чтобы соображения карьеры и стязательства стали разделять нас на разные социальные категории. Так что в наших компаниях участвовали пока еще на равных правах самые различные личности: работник ЦК и известный журналист А. Бовин; будущие диссиденты и эмигранты Б. Шрагин, А. Пятигорский и Н. Коржавин (Мандель); будущий редактор журнала "Вопросы философии", помощник высшего партийного чиновника Демичева, академик и помощник Горбачева, член Политбюро ЦК КПСС И. Фролов; будущий директор Института психологии В. Давыдов; будущий известный философ Э. Ильенков, который будет членом комиссии, подготовившей судилище над мною в Институте философии (по поводу "Зияющих высот"), будущий редактор журнала "Коммунист" Н. Биккенин; будущий помощник высокого партийного чиновника и околodиссидент Ю. Карякин; будущий скульптор и эмигрант Э. Неизвестный и многие другие лица, ставшие известными в брежневские годы. В эти годы начало свою успешную карьеру поколение всякого рода карьеристов, составивших затем интеллектуальную элиту брежневского руководства и всплывших на поверхность в горбачевские годы. Многие из них появлялись в наших кругах, наши пути пересекались в частных компаниях, на бесчисленных заседаниях, на банкетах.

Наше единство (если тут уместно это слово) определялось не какими-то общими принципами и единством цели. Ничего подобного не было изначально. Мы все с самого начала видели наши различия, знали, кто и что есть. Оно определялось просто тем, что нам приходилось сталкиваться друг с другом по работе и по сфере активности вообще, и мы испытывали друг к другу какие-то симпатии. Общая атмосфера в стране для нас была такая, что наши различия еще не разъединяли нас принципиально. Будущие сотрудники партийного аппарата еще выглядели потенциальными деятелями культуры. Актуальные сотрудники КГБ и того же партийного аппарата еще пьянствовали вместе с деятелями культуры, изображая покровителей наук и искусств. Короче говоря, начинались годы не только политического, но и идеологического, и психологического, и карьеристического либерализма. Они описаны мною в "Зияющих высотах".

Надо сказать, что отличие этих лет от сталинских было весьма ощутимым. И мы все понимали это, чувствовали это и, естественно, использовали это. Нам казалось, что пришло именно наше время стать важными фигурами если не в политической, то, по крайней мере, в идейной и культурной жизни страны.

Во второй половине пятидесятых годов Институт философии АН СССР, где я работал, стал превращаться в один из ведущих идейных центров страны, а с точки зрения свободы мысли – в самый значительный центр свободомыслия. В тесной связи с институтом были журнал "Вопросы философии", редакция "Философской энциклопедии" и философский факультет университета. Директором института был бывший сталинист П. Федосеев, а затем – Ф. Константинов, редактором "Вопросов философии" бывший сталинист И. Митин, редактором энциклопедии – бывший

сталинист Ф. Константинов. Но тон задавали молодые и сравнительно молодые (в районе сорока и более лет) философы, в большинстве окончившие образование уже в послесталинские годы. Возникло множество журналов и издательств, тяготевших к Институту философии как к идейному центру и поставщику авторов. Появилось довольно большое число энтузиастов, сделавших много для оздоровления идейной атмосферы в философии и околофилософских кругах, а через них – в интеллектуальной и творческой среде вообще. Среди этих людей были такие, которые впоследствии приобрели известность, например П. Копнин, Э. Ильенков, В. Давыдов, П. Гайденко, Э. Соловьев, Э. Араб-Оглы, М. Мамардашвили, А. Гулыга, И. Нарский, А. Богомоллов, Ю. Замошкин, Н. Мотрошилова, Б. Грушин, Шубкин и многие другие. Но большинство осталось неизвестными, хотя их фактическая роль в оздоровлении идейной ситуации в стране была неизмеримо значительнее, чем это стало известно. Эти люди были работниками невысокого ранга. Но от них зависела публикация книг и статей. Они консультировали начальников более высокого ранга, готовя им статьи, книги и доклады. Хочу в этой связи упомянуть имя Г. Гургенидзе, долгие годы работавшего в "Вопросах философии". Это был человек редкостных моральных качеств, фронтовик, настоящий коммунист в том смысле, о каком я говорил выше. Он, оставаясь в тени, сделал для публикации в журнале молодых авторов и для повышения интеллектуального уровня журнала больше, чем кто бы то ни было. Мои статьи в "Вопросах философии" стали публиковать благодаря его усилиям. Первую мою статью он опубликовал под псевдонимом, чтобы обмануть бдительность редактора. Хочу отметить также большую роль, которую сыграли старые профессора, сохранившие достоинство в сталинские годы, в особенности такие, как Асмус, Бакрадзе, Лосев, Маковельский.

Одним словом, хрущевские годы были годами десталинизации советской идеологии, философии, культуры, вообще – духовной жизни страны. Это был длительный и болезненный процесс. Он оказался весьма ограниченным. Но когда он начался, он породил оптимизм и энтузиазм, выходящий за рамки потенциальных возможностей социальной системы. Кое-кто воспользовался этим и пошел настолько далеко, насколько позволяли его личные способности и творческие амбиции. Я эту ситуацию в стране использовал максимально. Я прорвался благодаря ей.

Вместе с тем тогда с самого начала давали о себе знать объективные факторы нашего общества, отрезвлявшие общее опьянение. Мы все понимали, что для закрепления и усиления жизненных успехов нужно было избрать один из двух возможных путей: либо настоящий вклад в культуру, либо действия по законам приспособления и карьеры. Большинство пошло по второму пути, используя свои маленькие способности и более или менее приличное образование как средство. Но лучшие сравнительно с людьми сталинского периода способности и образование, а также "либерализм", придававший им видимость оппозиционеров, породили у этих людей непомерно высокое самомнение, ставшее затем одной из черт горбачевизма: они сами вообразили себя идейными лидерами общества и стали изображать из себя "диссидентов у власти". Пройдя школу разворота в идейных бардаках хрущевских и брежневских лет, эти люди, выбравшись на поверхность, стали изображать идейное и творческое целомудрие. Нам всем с самого начала было ясно, что нужно было окунуться в трясины, болота и помойку

советской реальности, чтобы действительно приобщиться к правящей и задающей тон жизни элите общества. Встав на этот путь, "лучшие люди" хрущевских лет сами заглушили загоревшийся было энтузиазм и превратились к тому моменту, когда они смогли сказать "Остановись, мгновенье!", в одно из самых гнусных порождений советской истории.

ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Хрущевские годы были годами расцвета дружеских взаимоотношений в тех кругах, в которых мне приходилось вращаться. Во всяком случае, я не могу пожаловаться на недостаток таких отношений. Я не могу здесь перечислить всех людей, с которыми у меня были дружеские отношения в эти годы, так как их было очень много. Я не могу назвать никого, с кем у меня были бы лично плохие отношения. Ко мне лично прекрасно относились даже те, кто причинял мне зло. В этом смысле моя ситуация была чисто социальной, до такой степени социальной, что трудно было понять, откуда исходило зло. Бывший заведующий кафедрой логики В. Черкесов, который написал на меня донос в экспертную комиссию, утверждавшую ученые степени, много раз заявлял, что я был самым способным логиком в советской философии. Упоминаясь выше Модржинская устраивала мне возможность подрабатывать в вечернем университете марксизма-ленинизма. С моими коллегами, провалившими мою книгу, мы отправились после этого в ресторан и весело отметили это радостное событие. Чтобы понять, почему и как это было возможно, надо вспомнить о тех качествах и принципах поведения, которые я вырабатывал в себе с детства. Я к людям относился всегда сугубо лично, игнорируя исполняемые ими социальные роли и следствия этих ролей в моей судьбе. Я никого и никогда не считал моим личным врагом, хотя многие воспринимали сам факт моего существования как личную угрозу.

Вообще должен сказать, что в хрущевские годы и в первые годы брежневского правления (до семидесятых годов) жизнь в наших кругах была интересной, динамичной и веселой, несмотря ни на что. Спад начался в конце шестидесятых годов, в особенности после подавления чехословацкого "бунта". Думаю, что советское руководство испугалось возможности аналогичного "бунта" у себя дома. Ведь в Чехословакии все началось с философских кругов!

У нас начали постепенно "закручивать гайки".

РАБОТА

Годы 1955 – 1956-й я работал над идеями моей кандидатской диссертации. Я хотел придать им логически завершенную форму. При этом я вышел за рамки материала "Капитала" Маркса и решил иллюстрировать приемы метода восхождения от абстрактного к конкретному (в моем понимании диалектического метода) на материале

анализа советского общества. В 1956 году я закончил книгу и представил на обсуждение в сектор диалектического материализма (сектора логики еще не было). Книгу разгромили, причем не сталинысты, а "либералы" во главе с заведующим сектором П.В. Копниным.

Копнин был характерным и ярко выраженным "либералом" хрущевского и брежневского периода. Мы с ним дружили с 1938 года. Вместе поступали в ИФЛИ. Во время войны он как-то избежал армии и фронта. Когда я демобилизовался из армии, он уже защитил кандидатскую диссертацию. Когда я попал на работу в Институт философии, он был уже в докторантуре. Вскоре он защитил докторскую диссертацию и стал заведующим нашим сектором. Он был человеком приятным в обращении, легким, веселым и остроумным. И чрезвычайно ловким в карьеристическом отношении. Вот один из его "трюков". На каком-то важном совещании идеологических работников речь шла о творческом подходе к марксизму. Он сказал, что в марксизме многое нуждается в пересмотре. Хотя и наступил "либеральный" период, но до такой смелости дело еще не дошло. В зале наступила мертвая тишина. И тогда Копнин, выдержав паузу, сказал, что этот пересмотр марксизма уже осуществлен: это сделал Ленин. Зал вздохнул с облегчением и разразился бурными аплодисментами.

Копнин сделал блестящую карьеру. Стал директором Института философии в Киеве, членом Академии наук Украины, членом-корреспондентом АН СССР и затем директором нашего института. Если бы он не умер сравнительно молодым (ему не было пятидесяти), он наверняка стал бы одной из ведущих фигур в советской идеологии.

Став директором института, Копнин первым делом дал всем понять, что не имеет со мной ничего общего, и завел дружбу с бывшими сталинистами Иовчуком, Федосеевым, Константиновым и даже Митиным. Он поступал в соответствии с правилами делания большой карьеры. Дружба со мной могла ему повредить.

При обсуждении моей книги он уличил меня в логическом позитивизме, предложил не рекомендовать книгу к печати и посоветовал мне обратиться полностью к логике. И я ему благодарен за это.

Книгу я тогда уничтожил. Но от идей ее не отказался. Впоследствии я их частично опубликовал в ряде статей и параграфов в других книгах, но уже независимо от марксизма, а как общефилософские и общелогические идеи.

В судьбе моей книги сыграло роль еще одно обстоятельство. Произошли известные "венгерские события". Моя аспирантка Правдина Челышева выступила на партийном собрании с протестом против поведения советского руководства в отношении Венгрии. Ее исключили из партии и из института и выслали в Казахстан. Конечно, этот мужественный поступок не имел резонанса ни в стране, ни тем более на Западе. До диссидентского движения еще было далеко. Я выступил против исключения Правдины из института, за что мне было поставлено на вид. Я отделался дешево, хотя я неоднократно высказывал свое сочувствие восставшим венграм. Не исключено, что имя Правдина в формировании

этой мужественной женщины сыграло какую-то роль, как фамилия Зиновьев – в моем.

Одновременно я занимался логикой, причем в ее современной форме "математической" логики. Я организовал в институте "партизанским" путем (т. е. без ведома начальства) семинар по логике. Его хотели запретить, но меня спас польский логик и философ К. Айдукевич, посетивший Москву. Он был у меня на заседании семинара и пришел в восторг. Потом он говорил об этом семинаре в президиуме Академии наук и опубликовал о нем очень хвалебную статью. И семинар признали официально. С докладами в моем семинаре выступали такие известные ранее или впоследствии личности, как Э. Кольман, С. Яновская, А. Есенин-Вольпин, С. Шаумян, Г. Поваров и другие. На основе семинара мы с П.В. Таванцом создали группу логики, которую затем официально превратили в особый сектор. Заведовать официально стал П.В. Таванец, предоставивший мне полную свободу действий. Из докладов на моем семинаре был подготовлен сборник статей, опубликованный лишь в 1959 году после длительных баталий со всякого рода "консерваторами". Сборник сыграл большую роль в официальном признании математической логики.

В печать мои работы до 1958 года вообще не выпускали. Сталинисты тут были ни при чем. Это делали "либералы", многие из которых считались моими друзьями. Они упорно стремились сделать из меня такого же типичного советского философа, какими были сами, я столь же упорно не поддавался этому. Я хотел результаты моих собственных размышлений предавать гласности как мои личные, а не приписывать их классикам марксизма и не изображать их как развитие марксизма. Первые мои работы были опубликованы в Польше и затем в Чехословакии в 1958 году. Лишь после этого было разрешено напечатать некоторые мои статьи в советских журналах и сборниках статей.

В 1958 году в институте состоялась конференция по проблеме логических и диалектических противоречий. Конференция была локальной. Наши выступления были отпечатаны в нескольких экземплярах и соединены в сборник для внутреннего пользования, не для печати. Копии этого сборника валялись без надобности на канцелярском шкафу в нашем секторе. Институт посетила делегация западных философов. Они поинтересовались нашей конференцией. Я отдал им одну копию никому не нужного сборника выступлений. Через некоторое время (в 1959 г.) в каком-то журнале на Западе появилась статья Н. Лобковица о разногласиях в советской философии. Обо мне он писал, будто я "имел мужество свергать диалектические противоречия". Меня, конечно, вызывали в КГБ по поводу передачи материалов конференции на Запад. А тот факт, что я якобы отвергал диалектические противоречия, стал предметом нападок на меня со стороны институтских защитников чистоты марксизма. Упоминание обо мне Н. Лобковицем было первым в западных журналах. Почти через двадцать лет (в 1978 г.), когда встал вопрос о моей высылке из Советского Союза, профессор Н. Лобковиц был ректором Мюнхенского университета. Он пригласил меня в университет гостевым профессором. Под этим предлогом меня и выслали из страны.

ЗАБАВНЫЙ КУРЬЕЗ

В институт я был принят на должность машинистки–стенографистки, хотя я печатать на машинке не умел и до сих пор не умею. На первых порах мне поручили работать с сумасшедшими, которые десятками осаждали идеологические учреждения. Я отвечал на их письма, читал, рецензировал их сочинения, беседовал с ними. Хотя я скоро был переведен на должность научного сотрудника, эта обязанность работать с сумасшедшими оставалась за мною в течение многих лет. Впоследствии я использовал опыт этой работы в моих литературных произведениях, в особенности в книге "Желтый дом", основанной на фактах жизни Института философии АН СССР. Один из моих "психов" свихнулся на теме индивидуального террора. Это был очень интеллигентный и милый инженер. Он пришел в институт и спросил сотрудников, толпившихся на лестничной площадке и от безделья занимавшихся зубоскальством, кто в институте интересуется проблемами индивидуального террора. Все не сговариваясь назвали ему меня. Стоило ему взглянуть на меня, как он сказал, что я и есть тот человек, какой ему нужен, и проникся ко мне полным доверием. Он посвятил меня в свои планы. А планы были далеко идущие: взорвать Лубянку или какое-либо правительственное здание. Последнее желательно взорвать, когда там будет проходить какое-либо торжественное заседание и все члены Политбюро ЦК КПСС будут в сборе. В качестве объекта взрыва фигурировал и Мавзолей Ленина. Техническую сторону дела он брал на себя. От меня требовалось философское обоснование необходимости покушения.

Этот сумасшедший (я назвал его Террористом) посещал меня в институте, узнал мой домашний адрес и приходил домой, ловил меня в самых неожиданных местах. Однажды он пришел к нам в сектор. Институт находился неподалеку от Кремля. Мой Террорист начал развивать идеи насчет транспортировки взрывчатки на Кремль по воздуху, направляя устройство из окна института. Нашу беседу подслушал один из сотрудников сектора, сидевший за шкафом, так что мы его не заметили. Он немедленно донес в КГБ. Моего Террориста после этого я не видел. За мной пришли два человека с Лубянки. Лишь после объяснения в дирекции, что беседа с такими сумасшедшими была моей служебной обязанностью, меня оставили в покое.

Среди моих "психов" были самые разнообразные типы. Когда много лет спустя появились диссиденты и до меня дошел слух об их идеях, ничего нового для меня в этом не было: все диссидентские идеи мне высказывали мои "психи", только в гораздо более ясной форме. За исключением, правда, одной идеи: никто из них не помышлял об эмиграции.

ШУТОВСКАЯ ФОРМА НАУЧНОЙ ТЕОРИИ

Уже в школьные годы у меня наметилась склонность к шуткам и злословию насчет марксизма и социального аспекта жизни общества. В годы армии и войны эта склонность усилилась, а в хрущевские и

брежневские годы обрела черты роли, которую я принял для себя в разговорах с отдельными людьми и в компаниях. Оказалось, что я имел способности к этому, как другие имели способности петь, играть на музыкальных инструментах, плясать, рисовать, руководить людьми. Высмеивать святыни марксизма и основы коммунизма стало моим призванием и, употребляя западное словечко, хобби.

Но высмеивать со смыслом. Например, согласно Сталину, марксизм – не догма, а руководство к действию. Я это утверждение несколько "исправил": марксизм – не догма, а руководство к ней. Это была шутка, стоившая мне неприятных разговоров с ответственными лицами. Но эта шутка выражала серьезную научную истину, а именно такую: идеология действительно играет роль руководства к действию, но лишь в догматической форме.

В этой роли она касается лишь больших исторических периодов, эпохальных проблем, устойчивых явлений. Идеология требует конкретно-исторического подхода к явлениям, но она не является мелочно-конъюнктурной. Для нее этот конкретно-исторический подход есть лишь приспособление к зигзагам истории и использование их в интересах некоей генеральной линии истории. Дело не в том, что в самой реальной истории такая генеральная линия есть. Дело в том, что идеология в ее роли руководства к действию есть установка на такое поведение в сложной ситуации мировой истории, как будто бы такая генеральная линия есть на самом деле. И надо признать как факт, что с точки зрения больших исторических перспектив такая идеологическая установка удобна для руководства страной. Она есть своего рода алгоритм для движения в лабиринте истории.

Другой случай произошел еще при Маленкове. Были опубликованы виды на урожай в том году. Я в шутовском разговоре на эту тему предсказал, что реальный сбор зерна будет, по крайней мере, в два раза меньше. После снятия Маленкова было сообщение, подтвердившее мое предсказание. А я свое предсказание сделал, введя коэффициенты системности. В прогнозах позитивные величины надо было делить на эти коэффициенты, а негативные – умножать. Негативный пример получился, когда я утроил предполагавшиеся затраты на строительство нового здания университета, и это предсказание тоже подтвердилось.

Мои шутки принимали обычно гротескно-сатирические формы. Но самое удивительное заключалось в том, что именно эта форма мысли была наиболее близкой к научной истине: она включала в себя элемент научной абстракции.

КОЛХОЗЫ

В течение всего хрущевского периода мне приходилось регулярно ездить в колхозы Московской области. Иногда я это делал в составе агитационной бригады, иногда – в составе рабочей бригады. Это была моя "общественная работа" в качестве члена партии. Приходилось это делать и в брежневские годы, но уже довольно редко: как доктор и

профессор я уже мог уклоняться от такой "общественной работы". Я участвовал в таких поездках с удовольствием. Хотя жили мы при этом в свинских условиях, много работали и плохо питались, мы проводили время на воздухе и отдыхали от сидячего образа жизни и умственного труда, а главное – хотя бы на короткий срок оказывались в условиях {идеального} коммунистического коллектива. Мы вырывались из обычной социальной среды, в которой мы были подвержены действию законов {реального} коммунистического коллектива. Эти поездки дали богатейший материал для моей литературной деятельности, сначала – для устного балагурства в московских компаниях, затем – для книг. Несколько разделов на эту тему читатель может найти в книге "В преддверии рая", а в "Желтом доме" этому посвящена одна из четырех частей книги.

Несколько раз наши агитационные бригады возглавляли В. Доброхвалов и И. Герасимов. С последним я учился в одной группе. Он тоже был фронтовиком. Еще на фронте вступил в партию. Был искренне озабочен положением и судьбой русского народа. Я с обоими из них много разговаривал на эту тему во время наших поездок и после них. Оба они прекрасно понимали сущность колхозов и видели их обреченность. Доброхвалов считал, что будущим русской деревни должны стать сельскохозяйственные предприятия, подобные городским фабрикам и заводам, т. е. колхозников должны заменить сельскохозяйственные рабочие, а мелкие деревушки – большие поселки городского типа. Хрущевская идея агрогородов не была его личной выдумкой. Об этом думали тогда многие. Герасимов же считал идею агрогородов преждевременной и даже авантюристичной. Он развивал идеи, которые теперь стали модными в среде горбачевских теоретиков. В частности, он считал одним из путей улучшения жизни крестьян (и как следствие – городских жителей) создание вокруг городов сети фермерских хозяйств, снабжающих городские рынки и магазины сельскохозяйственными продуктами без всяких посредников. Я критиковал идеи как того, так и другого. Но не в смысле их отрицания. Я просто акцентировал внимание на реальных условиях и последствиях осуществления той и другой программы. На создание агрогородов просто не хватит средств. Можно построить для примера несколько. Кстати сказать, они уже существовали в виде больших совхозов. Но это пока еще нереальный путь для всего сельского хозяйства. Что касается частных приусадебных участков, на опыте которых сторонники фермерского пути базировали свои программы, то этот путь вообще не годился для отдаленных от городов деревень, а для окологородских районов он таил скрытые опасности в виде усиления преступности и взвинчивания цен на рынках. И экономическая выгодность этого пути была иллюзорной. На этом пути высокая производительность достигалась за счет каторжного труда на маленьких личных участках. На участках большего размера это уже невозможно. К тому же молодежь стремится избавиться именно от такого образа жизни.

Повесть А. Солженицына "Матренин двор", вызвавшая восторги у тех, кто не имел ни малейшего понятия о реальности русской деревни, не встретила никакого одобрения даже со стороны таких страдальцев за русский народ, как И. Герасимов. Впоследствии надуманной ("высосанной из пальца") солженицынской Матрене я противопоставил мою реальную Матренадуру (в "Желтом доме"). Русский народ уже избрал

свой исторический путь. И уже никакими силами не заставишь его вернуться в прошлое. Каким бы жестоким и трагическим ни был сталинский путь коллективизации, он с социологической точки зрения гораздо больше соответствовал исторической тенденции эволюции народа, чем всякие попытки удержать его в положении трудолюбивого производителя дешевой картошки и капусты для городских прожектеров.

ИДЕАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Помимо поездок в колхозы, мы регулярно ходили в туристические походы по Подмосковию. При этом мы образовывали идеальные коммунистические группы, как во время поездок в колхозы. Сходные группы возникали в домах отдыха. Я любил бывать в таких группах. Из всех человеческих объединений они больше всех соответствовали моим юношеским идеалам. В таких группах люди на время забывали о своих житейских тревогах и о тех ролях, какие они играли в своих деловых коллективах. Однако и в таких условиях идеальные коммунистические отношения между людьми сохранялись недолго. Наблюдение таких ситуаций давало мне достаточно материала для размышлений о фактических основах коммунистического социального строя. Уже в те годы мне стало ясно, что коммунистические феномены так или иначе проявляют себя даже в, казалось бы, идеальных условиях жизни людей. Однажды я отдыхал в одном из домов отдыха Академии наук. Там я задумал написать книгу о коммунистическом эксперименте в условиях изобилия всего необходимого для жизни ("по потребности"). Я в моем воображении поселил подопытных людей в некоем изолированном районе, в котором волею обстоятельств скопились в изобилии продукты питания, одежда, жилье, средства развлечения. Людям оставалось лишь одно: наладить разумное распределение жизненных благ. По моему замыслу, создание системы распределения и органов сохранения общественного порядка привело к тому, что все феномены коммунизма (распадение на группы, система власти и управления, идеология, неравенство, карательные органы и т. д.) возникли очень быстро. Получилось коммунистическое общество еще более страшное, чем в условиях дефицита всего необходимого. Причем дефицит здесь возник как следствие изобилия. Впоследствии я эти идеи высказал в материалах к книге "В преддверии рая". А в "Желтом доме" я этой теме посвятил особую часть.

ПРОРЫВ

Несмотря на всяческие препоны, которые чинили мне "либеральные" друзья и доброжелатели, я все-таки вырвался на "стратегический простор" – сделал первый и очень успешный шаг на пути завоевания независимого и исключительного положения, причем в самом центре советской идеологии. Занимаясь "проталкиванием" в печать нашего сборника статей по логике, я узнал все детали формальных процедур издания книг и решил (по совету Л. Митрохина) попытаться напечатать мою собственную книгу, что по тем временам и в моем положении было

неслыханной дерзостью. У меня к этому времени накопились знания по многозначной логике, вполне достаточные для книги. В советской философии я тогда оказался единственным специалистом в этой области. За рекордно короткий срок я написал книгу "Философские проблемы многозначной логики". Слово "философские" я вставил в название, поскольку книга издавалась под грифом Института философии. Чтобы получить одобрение сектора, ученого совета и дирекции, я насытил книгу ссылками на классиков марксизма и марксистских философов. Мои коллеги были чрезвычайно довольны тем, что я наконец-то "образумился" и превратился в такого же марксистского болтуна, как и они сами. Все указанные инстанции одобрили книгу. Я оформил нужную документацию и отнес книгу в издательство "Наука". Теперь издательство должно было включить книгу в свои планы. Книга по принятым нормам должна была выйти в свет не раньше, чем через два года. Но я знал, что к концу отчетного года в издательстве образуется дефицит денег для гонораров, т. е. образуется избыток книг, за которые надо платить гонорары, и возможность "протолкнуть" безгонорарную книгу вне очереди. Хотя моя книга была неплановая и я за нее имел право на гонорар, я решил отказаться от гонорара, лишь бы книга вышла в свет быстрее. Кроме того, по дороге в издательство я заменил текст книги другим, не имеющим абсолютно ничего общего с марксизмом. В результате книга была издана буквально в течение нескольких месяцев, причем книга совершенно немарксистская. И это в идеологическом учреждении! Это произошло в начале 1960 года. Но было уже поздно принимать против меня меры.

Книга очень быстро принесла мне известность не только в Советском Союзе, но и за рубежом. Ее вскоре перевели на польский язык, что было важным признанием: польская логика имела высокий международный авторитет. Затем книга была издана по-английски и по-немецки. Когда директор нашего института П.Н. Федосеев посетил США и увидел мою книгу в библиотеке конгресса, он с гордостью заявил, что давал разрешение на ее публикацию. Замечу кстати, что книга оказалась за рубежом нелегально. Я игнорировал все советские законы, касающиеся издания советских книг за рубежом. В дальнейшем мне удалось опубликовать еще ряд книг, тоже зачастую обходя законы и жертвуя гонораром. В наших кругах стало фигурировать выражение "безгонорарная логика Зиновьева". Но зато я смог на этом пути завоевать исключительное положение. Я завоевал возможность развивать свои собственные, причем немарксистские идеи, работая в важнейшем идеологическом учреждении страны, создавать свою собственную логическую группу, печатать результаты моих исследований и исследований моих учеников, издавать наши работы на Западе. Нигде в другом месте в Советском Союзе я такую возможность получить не смог бы. Моему примеру последовали многие другие молодые советские философы, занимавшиеся логикой и методологией науки. Наш сектор в Институте философии стал организующим центром этого интеллектуального прорыва рамок советской философии.

Занять такую позицию для меня было принципиально важно. Я не хотел работать в пользу марксизма. Это не значит, что я перестал считать марксизм серьезным явлением. Наоборот, я стал относиться к нему серьезнее после многих лет специального изучения. Дело в том, что я установил для себя различие между научным подходом к природе,

обществу и познанию и идеологическим. Несмотря на отдельные научные элементы, марксизм превратился в идеологию, очень похожую на науку, но наукой не являющуюся. Моя личная попытка развивать научные идеи в рамках марксизма потерпела крах. Я заметил, что мне скорее простят полностью немарксистский подход к проблемам, которые находятся в сфере интересов марксистской идеологии, чем намерение реформировать ее изнутри. Эту ситуацию я специально описал в книге "Светлое будущее". У меня, далее, появилось научное честолюбие. Я почувствовал, что могу идти своим путем и добиться своих результатов, и хотел, чтобы мои результаты выглядели именно как мои собственные, а не как интерпретация и пересказ чужих. Наконец я начал выработать для себя совершенно сознательную жизненную концепцию, одним из принципов которой стало идти своим путем вопреки всем и всему.

В моей профессиональной сфере начался новый процесс, к которому я не мог отнестись одобрительно. Многие ограничения сталинского периода рухнули. Но вместо настоящего творчества, как я его себе представлял, появились тучи посредственностей, изображавших из себя самых что ни на есть прогрессивных мыслителей и прикрывавших свою посредственность ссылками на новейшие достижения науки и техники. Если против мракобесия сталинистов можно было еще как-то бороться, ссылаясь на упомянутые достижения науки, то против того словоблудия и идиотизма, какие выросли на основе этих достижений и прикрывались ими, бороться уже было нельзя. Тебя немедленно зачисляли в мракобесы. Например, перестали рассматривать теорию относительности Эйнштейна как буржуазную идеалистическую философию. Но бросились в другую крайность. Теперь при попытке доказать, что спекуляции за счет теории относительности логически несостоятельны, на тебя обрушивались так, будто это ты организовал ГУЛАГ и гитлеровские лагеря. Начав создавать свою собственную логическую теорию, во многом отличавшуюся от принятых и признанных систем математической логики, я сразу же ощутил, что чем крупнее дело ты затеваешь, тем мельче и многочисленнее становятся твои враги и тем больше становятся их укусы. Их социальная функция – не допустить того, чтобы ты вырос в нечто значительное, отличное от них самих.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

При Хрущеве, как известно, из лагерей выпущены и реабилитированы миллионы жертв сталинских репрессий. Дело, безусловно, благородное. И уж одним этим Хрущев навечно заслужил добрую память человечества. Я коснусь этой темы лишь в той мере, в какой это затронуло меня лично и мои интересы. То, что я скажу ниже, не имеет целью хоть в какой-то мере унизить жертвы сталинских репрессий. Я буду это говорить исключительно в интересах истины.

Вклад освобожденных из лагерей и реабилитированных бывших заключенных в дело десталинизации советского общества фактически оказался ничтожным. Они уцелели благодаря десталинизации, осуществленной не ими, но сами не были ее источником. Они не

породили ни единой свежей идеи насчет преобразований общества, которая заслуживала бы внимания и уважения. Наиболее активные из уцелевших, претендовавшие на некую роль в истории, несли всякую чепуху как о прошлом, так и о будущем России и вообще всего человечества. Все рекорды на этот счет побил А. Солженицын. Нельзя жертвам приписывать то, на что они не способны ни при каких обстоятельствах. Фактическую десталинизацию советского общества осуществили не те, кто был в ГУЛАГе, а те, кто в нем не был и даже не очень пострадал от сталинизма. Антисталинистское движение зародилось в широких массах свободного населения еще во время войны. Оно достигло огромных размеров после войны. Борьба против сталинизма шла на всех уровнях советского общества. И она дала результаты. Запад проглядел эту грандиозную борьбу. Это характерно для западного отношения к советской жизни. Зато сравнительно слабое диссидентское движение, не имеющее корней в массе населения, было раздуто и до сих пор раздувается на Западе до размеров эпохального явления. Хрущевский "переворот" был результатом, а не началом антисталинистского движения. Реабилитация заключенных – тоже. Повторяю и подчеркиваю: роль реабилитированных в десталинизации советского общества практически равна нулю в сравнении с тем, что сделалось объективно, т. е. самим изменением образа жизни широких масс населения. И если серьезный мыслитель искренне хочет блага своему народу и существенных преобразований в пользу своего народа, он должен прежде всего принимать во внимание интересы, возможности и положение самой активной, деловой и творческой части населения, причем в ее нормальной жизнедеятельности.

Хрущевский "переворот" произошел прежде всего в интересах тех, кто не был в ГУЛАГе, и лишь в ничтожной мере в интересах реабилитированных. "Освободители" думали сначала о себе и о своем будущем и лишь во вторую очередь о жертвах прошлого и о прошлом. Места в обществе уже были заняты новыми людьми, роли уже были распределены и в значительной мере сыграны. А в наших кругах реабилитированные вообще оказались ничуть не лучше сталинских мракобесов. Во всяком случае, я на самом себе испытал это. На место сталинского холуя Каммари редактором "Вопросов философии" стал слегка пострадавший М. Розенталь. Его ближайшим помощником стал некто Е. Ситковский, отсидевший в ГУЛАГе много лет. И первой акцией этих жертв сталинских палачей было то, что они подряд отклонили ряд моих статей. А Ситковский совместно с Модржинской, сотрудницей Берии, в течение многих лет преследовали меня открытыми и закулисными доносами и клеветой. По отношению ко мне сталинские палачи и их жертвы, сталинские "реакционеры" и хрущевские "либералы" проявили удивительное единодушие. Если я и пробился в какой-то мере, то произошло это благодаря общей тенденции к "либерализации", случайностям, моей предприимчивости и, как это ни странно, пиетету по отношению ко мне со стороны бывших сталинских зубров. Первую мою статью в "Вопросах философии" опубликовали по указанию одного из самых гнусных сталинистов – М.Б. Митина. Мои первые книги к печати подписали бывшие ведущие сталинисты Федосеев и Константинов. Бывший сталинист А.Ф. Окулов, одно время исполнявший обязанности директора института, выпустил меня на защиту докторской диссертации и настаивал на избрании в Академию наук. Мое избрание несколько раз срывали "либералы" и "прогрессисты". Я, говоря это, не хочу

реабилитировать сталинистов. Я хочу лишь сказать, что мой конфликт со сталинистами исчерпал себя. Его место занял более глубокий конфликт с самими основами коммунистического социального строя, олицетворявшегося теперь не сталинистами, а "либералами". Кто становится твоим врагом, зависит от того, что ты сам есть и что ты делаешь.

В общественной жизни место сталинистов стремительно занимали "либералы". Они оказались также враждебными мне, как и сталинисты. Но глубже. И не явно. Сталинисты были врагами открытыми. Тогда было как на войне. "Либералы" же даже не считали себя моими врагами. Зачастую это были приятные, умные, образованные и дружелюбные люди. Но в тысячах мелочей ощущалось, что мы существа разной породы. Видимый враг исчез. Появился другой враг. Он расплылся, принял очертания друзей. Врага вроде бы не было совсем, но он был повсюду. Врагом становилась сама нормальная среда советского общества. Она становилась чужеродной мне. Меня призывали раствориться в этой среде, жить и действовать как все. А я не мог. И обрекался на одиночество среди множества людей. Состояние этого периода я описал в моих книгах довольно подробно, особенно в "Зияющих высотах" и в "Евангелии для Ивана".

Мои либеральные, прогрессивные и образованные друзья и коллеги наперегонки бросились устраивать свои делишки, стремясь получше устроиться и урвать побольше жизненных благ. Именно в эти годы начали рваться к власти и привилегиям те либеральные карьеристы, ловкачи и хапуги, которые потом преуспели при Брежневе и вышли на поверхность. Поскольку эта оргия приспособленчества, стяжательства и карьеризма происходила еще на низших ступенях социальной иерархии и касалась ничтожных преимуществ, она была особенно омерзительной. Я имел много больше шансов добиться социального успеха, чем другие, если бы захотел. Но я уже не мог захотеть этого.

Важным явлением хрущевских лет стало оживление в области культуры, выходящее за официально дозволенные и принятые ранее рамки. Появились рассказы "Оттепель" И. Эренбурга и "Собственное мнение" Д. Гранина, роман "Не хлебом единым" В. Дудинцева, "Один день Ивана Денисовича" А. Солженицына. Стал полулегально выступать Б. Окуджава, а затем А. Галич. Появились художники-нонконформисты. Стал приобретать популярность скульптор Э. Неизвестный. С последним я был знаком уже несколько лет и имел дружеские отношения. Стали появляться фильмы в духе новых идей, например фильмы Г. Чухрая, с которым я тоже дружил. Разумеется, мне все это было известно. Но я не могу сказать, что все это производило на меня впечатление и как-то влияло на мою идейную эволюцию. Я в своем критическом отношении к советскому обществу ушел настолько далеко, что все эти явления культурной "оттепели" казались слишком слабыми или направленными в прошлое. Я в них видел не столько то, что в них удалось сделать, сколько то, как мало было сделано. Я, естественно, сравнивал критику прошлого и настоящего страны в этих произведениях культуры с тем, что знал и что понимал я сам. Кроме того, хрущевская "оттепель" оказалась очень робкой. В силу снова вступили запреты и ограничения. В оценке хрущевской культурной политики последние для меня были важнее, чем послабления. Слегка ослабив систему запретов и

ограничений, хрущевское руководство поспешило вновь их восстановить. Но уже никакие меры властей не могли остановить начавшийся процесс культурного "ренессанса", приведший к культурному взрыву в брежневские годы.

Я признаю, что появление А. Солженицына было значительным явлением в духовной жизни страны в хрущевские годы. Но я остался равнодушен к нему по двум причинам. Во-первых, он был напечатан в советских журналах и был на первых порах обласкан самим Хрущевым, что само по себе было для меня признаком того, что писатель не был на самом деле таким значительным, как о нем заговорили вокруг. Во-вторых, сама его литературная манера и образ мыслей были не в моем вкусе и не соответствовали моему образу мыслей. Я с самых первых произведений Солженицына почувствовал в нем неприемлемую для меня направленность в прошлое как по изобразительным средствам, так и по социальной концепции. Впоследствии я познакомился с другими его сочинениями, но мнения своего не изменил.

ХРУЩЕВСКАЯ "ПЕРЕСТРОЙКА"

По замыслу идеологов коммунизма, коммунистическое общество должно превзойти передовые капиталистические страны ("Запад") по производительности труда, по экономической эффективности предприятий и вообще по всем показателям деловой жизни страны. С первых же дней существования советского общества был выдвинут лозунг: догнать и перегнать капиталистические страны в этом отношении. Предполагалось осуществить этот лозунг в кратчайшие сроки. Но прошло семьдесят лет, а лозунг "догнать и перегнать" не только не осуществился на деле, но стал казаться гораздо более утопическим, чем в первые годы после революции. Более того, его даже ослабили, оставив лишь первую часть – "догнать". Изменили несколько ее формулировку. Теперь говорят о том, чтобы подняться до высшего мирового уровня. Вторую часть лозунга ("перегнать") потихоньку опустили. Как шутят советские люди, перегонять Запад не следует, так как в случае, если перегоним, наш голый зад всем виден будет. Но даже в такой ослабленной форме лозунг "догнать" или "подняться" теперь выглядит как намерение огромного исторического масштаба.

Уже при жизни Ленина коммунистический социальный строй стал обнаруживать свои враждебные пороки.

Последние статьи и письма Ленина свидетельствуют о том, что он был близок к состоянию паники по этому поводу. Но он никак не мог допустить даже малейшего подозрения насчет того, что новорожденное коммунистическое общество является не столь уж совершенным, каким оно представлялось в прекраснотушных мечтаниях идеологов. Лозунг догнать и перегнать передовые капиталистические страны в экономическом отношении в сталинские годы казался более реальным,

чем сейчас. Иногда все начинали с нуля, и в процентном выражении улучшение жизни в стране и всякого рода успехи выглядели ошеломляющими. А "железный занавес" позволял создавать такое впечатление о жизни на Западе, что массы советского населения еще верили в декларируемые пропагандой лозунги. Во время войны и после войны миллионам советских людей открылось реальное соотношение экономики и уровня жизни Советского Союза и Запада. Наступило отрезвление.

Хрущев и его либеральные помощники официально признали и без того очевидные недостатки советского общества и приняли решение осуществить перестройку всех аспектов жизни страны, более чем на четверть века предвосхитив горбачевское "новаторство". Решили усовершенствовать работу предприятий, начав переводить многие из них на те самые "самофинансируемость" и "самокупаемость", о которых потом на весь мир трубили горбачевцы как об открытии в советской экономике. В результате число нерентабельных предприятий возросло, и о лозунге "самокупаемости" забыли. Тогда употребляли словечко "хозрасчет", являющееся сокращением для столь же бессмысленного выражения "хозяйственный расчет". Усовершенствовали работу системы управления. Ввели некие "совнархозы" ("советы народного хозяйства"), в результате чего бюрократический аппарат увеличился. Потом их ликвидировали, и бюрократический аппарат увеличился еще более. Делили, объединяли, перекомбинировали и переименовывали министерства, комитеты, управления, тресты и т. п. А число бюрократов росло и росло. В те годы советские люди шутили: принято решение разделить министерство железнодорожного транспорта на министерство "туда" и министерство "обратно".

Хрущев начал ликвидировать "железный занавес". Результатом поездки Хрущева с его либеральными помощниками в США явилась пресловутая "кукурузная политика", намерение привести с помощью кукурузы уже "нынешнее поколение" советских людей в полный коммунизм. Эта нелепая политика принесла Хрущеву презрительную кличку "кукурузник". Мы тогда переформулировали ленинскую формулу "Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны" в хрущевскую формулу "Коммунизм есть советская власть плюс кукурузизация всей страны". Я хотел было сделать на эту тему карикатуру в стенгазету с соответствующей подписью, но ее не пропустили. Хрущевская "гласность" была лишь предшественницей горбачевской.

Из США хрущевцы привезли также сенсационную тогда идею, что начальники не должны сами затачивать карандаши, поскольку их драгоценное время и творческие силы нужны для более важных дел. Напечатали по этому поводу миллионным тиражом брошюру привезенного из Америки менеджера Терещенко, потомка дореволюционного российского миллионера и известного деятеля смутного периода революций. Кабинеты начальников украсились стаканами, наполненными карандашами, остро отточенными секретаршами. Спроектировали специальную машинку для затачивания карандашей. Дело ограничилось, конечно, проектами. Начальники же, освободив свои творческие силы от затачивания карандашей, бросили их на усиленное взяточничество и карьеристские интриги.

От внимания человечества ускользнуло одно из важнейших новаторств хрущевского периода. Это новаторство было очень локальным, не получило широкого распространения и вскоре было задушено консерваторами того периода. Заключалось оно в том, что небольшие порции водки (50 и 100 грамм) стали помещать в закрытые стаканчики, спрессованные из закуски. Это было чрезвычайно удобно для пьяниц. Покупаешь такой "комбайн" (мы их так называли), прокусываешь дырочку, высасываешь водку и стаканчиком закусываешь! Думаю, что, если бы это новаторство вошло в жизнь, оно стало бы одной из самых выдающихся вех в истории коммунизма. Но, увы! "Аппарат" оказался сильнее реформатора Хрущева.

ХРУЩЕВ И ХРУЩЕВСКИЙ ПЕРИОД

В хрущевской эпохе, как и в самом Хрущеве, было все смешано и перепутано. В них слились и перепутались (именно перепутались самым курьезным образом) самые различные, часто прямо противоположные характеристики, процессы и тенденции. Этот период можно назвать периодом социального эклектизма. В книге "Зияющие высоты" я назвал его периодом растерянности. Практически в Хрущеве и его времени очень трудно различить, что именно в них относится к социальной закономерности и что к индивидуальной и исторической случайности. С именем Хрущева связана десталинизация советского общества. Любой руководитель после Сталина так или иначе должен был бы проводить политику десталинизации. Но в какой форме должен был бы совершиться этот перелом и как далеко он мог зайти, это зависело от индивидуальных черт руководителя партии. Хрущев наложил на этот перелом печать своей личности, причем настолько мощно, что он (перелом) уже немыслим в иной, не хрущевской форме.

Лично Хрущев был простой, доступный, скромный и нравственный в быту, сравнительно добрый, отходчивый. И вместе с тем хитрый, своевольный, импульсивный, склонный к внезапным порывам и решениям. Волюнтаристское сталинское руководство состояло не только из многочисленных безликих пешек, но и из волевых и инициативных вождей более низких рангов. Хрущев не был пешкой. Он был образцовым руководителем волюнтаристского сталинского типа. Когда он пришел к власти, эти его качества развились еще более. Исчезли сдерживающие начала страха перед Сталиным и приспособления к далеко не легким условиям работы руководителя того времени. Необузданная и вздорная натура дала себя знать в многочисленных нелепых поступках, начиная с затеи с кукурузой и кончая выходками в ООН. Но вместе с тем именно эта натура была одним из условий специфически хрущевской формы десталинизации. Он действовал в разоблачении сталинизма волюнтаристскими методами самого сталинизма, а не теми методами, которые шли им на смену. Действуя он в рамках норм партийно-государственной законности – ти, ради которых свергался с пьедестала Сталин, последний не был бы низвергнут с такими последствиями. Сталинизм был бы преодолен "правильно", а не по-хрущевски. Именно поэтому он не был удостоен чести быть похороненным в Кремлевской стене и стал, как и был всю свою жизнь, исключением.

Конечно, Хрущев не использовал в полной мере представившуюся ему неповторимую возможность покончить со сталинизмом и либерализировать советское общество, испугался сделанного самим собой и начал действовать в обратном направлении. Но заслуги исторического деятеля определяются не тем, что он мог бы сделать, но не сделал, а тем, что он сделал и что сделалось само собой, может быть, даже вопреки его намерениям.

А сделалось много. Сделалось много больше того, что допускалось нормами советского строя жизни. И одна из задач брежневского руководства состояла в том, чтобы загнать страну снова в допустимые рамки. Либерализация советского общества, о которой советские люди ранее и не мечтали, приход к общественной деятельности большого числа молодых, образованных и способных людей, возникновение диссидентства, взлет культуры – все это и многое другое было в значительной мере обязано лично Хрущеву.

Материальный уровень людей при Хрущеве стал заметно улучшаться, причем даже в колхозах. В эти годы мне неоднократно приходилось ездить по колхозам с агитационными бригадами. Мы видели своими глазами эти улучшения. "Железный занавес" на самом деле начал ослабляться, причем в значительной мере явочным порядком. Советский Союз стали посещать западные делегации и многие советские люди стали ездить на Запад. Мы, во всяком случае, сами принимали практическое участие в разрушении этого занавеса. Я, например, занимался тем, что сотни ранее запрещенных западных книг пустил в открытые библиотеки, давая подписку, что в них не было ничего антисоветского. Я также использовал эту ситуацию для посылки своих статей и книг для публикации на Западе. При Хрущеве завязались многочисленные личные контакты советских людей с Западом, сыгравшие потом важную роль в возникновении диссидентского движения.

АНЕКДОТЫ ХРУЩЕВСКИХ ЛЕТ

Уже в хрущевские годы начался расцвет советского анекдота. Я обращаю внимание на советские анекдоты по двум причинам: 1) они точно и глубоко отражают сущность общества; 2) они являются, пожалуй, одной из самых значительных форм массового творчества советского общества. Анекдоты о Хрущеве и о событиях его десятилетия отличаются от анекдотов о Сталине и сталинском периоде тем, что все стало предметом насмешки. Но в этой насмешке еще чувствовалась некоторая доля симпатии к Хрущеву и оптимизма. В брежневские годы к насмешке прибавится презрение и пессимизм. Над Хрущевым смеялись, но чуточку любя. Он был шутком, но не был таким ничтожеством, как Брежнев. Приведу в качестве примера несколько анекдотов о Хрущеве.

Советский Союз посетила делегация западных бизнесменов и специалистов в экономике и технике. Хрущев решил показать им новую фабрику. Он любил хвастаться. "Производительность этой фабрики, – сказал он, – будет вдвое выше, чем старых фабрик такого же типа.

Более того, она будет выше, чем производительность аналогичных фабрик на Западе!" Один из западных гостей сказал, что производительность фабрики будет ниже, чем старых. Хрущев возмущился и попросил объяснить, почему этот человек так думает. А последний сказал, что на фабрике сделали всего один туалет, да и то на одного человека, так что рабочие будут весь день простаивать в очереди в туалет.

При Хрущеве стала с большой силой обнаруживаться семейственность и мафиозность власти. Советские люди шутили по этому поводу: не имей сто рублей, а женись как Аджубей (А. Аджубей был зятем Хрущева). В США Хрущев со свитой посетил квартиру рядового американца. "Здесь у нас спальня, объяснял американец, – здесь столовая, здесь гостиная, здесь детская комната, здесь мой кабинет. А как в Советском Союзе устроена квартира, господин Хрущев?" – "Так же, – ответил Хрущев, – только у нас нет перегородок".

"Я хочу сообщить вам две новости, причем одну плохую, а другую хорошую, сказал Хрущев на съезде партии. – Кукуруза у нас растет плохо, поэтому в этом пятилетии трудящимся придется питаться дерьмом. Но зато дерьма, товарищи, у нас будет в изобилии!"

Хрущев пообещал, что "нынешнее поколение будет жить при коммунизме", понимая под коммунизмом общество изобилия, а под "нынешним поколением" молодежь. По этому поводу возник анекдот. "Как ты думаешь, доживем мы до коммунизма?" – спрашивает один человек другого. "Мы – то не доживем, отвечает тот, – а детей вот жалко!"

"Почему после XX партийного съезда не было партийной чистки?" спрашивает один человек. "Чтобы не засорять ряды беспартийных", – отвечает другой.

В хрущевские годы начал разрастаться бюрократический аппарат и прекратились массовые репрессии. "Почему исчезли из продажи ондатровые шапки?" – спрашивает один человек. "А потому, – отвечает другой, – что чиновники размножаются в геометрической прогрессии, а ондатры – лишь в арифметической. Причем отстрел чиновников после смерти Сталина прекратился".

В хрущевские годы предметом осмеяния стали все аспекты советского общества и его истории.

БЫТ

Признаюсь, и я привносил в наши семейные отношения свою долю зла тем, что часто участвовал в попойках, какие в то время были обычными. Скоро наша совместная жизнь с женой стала настолько нестерпимой, что мне пришлось покинуть семью. Это произошло в 1960 году. Снова началась моя бродячая жизнь. Продолжалась она до ноября 1967 года, когда я впервые в жизни, будучи уже международно известным ученым, получил однокомнатную квартиру, да и то случайно.

Значительную часть времени я все равно посвящал дочери. Мне приходилось днем заботиться о дочери. Поэтому я снимал комнату поблизости. На работе я стал старшим научным сотрудником и получил право посещать институт лишь два раза в неделю. Считалось, что остальное время я работал в библиотеке. В 1962 году я защитил докторскую диссертацию. Стал получать довольно высокую зарплату. Кроме того, я работал по совместительству (на половине ставки) как преподаватель институтов и, наконец, университета. Так что финансовое положение мое стало по советским условиям более чем благополучным. Я теперь смог больше давать денег родителям и сыну, с которым стал более или менее регулярно встречаться. Себе я оставлял денег необходимый минимум, возведя это в один из принципов жизни.

Годы скитаний способствовали выработке моих принципов жития. Я вновь свел свое имущество к такому минимуму, что в случае перемены места жительства мог все унести в руках. Единственное неудобство мне причиняли тяжелые гантели, но я и их ухитрялся уносить с прочими вещами. Я не держал у себя дома никаких книг, читая нужные мне книги в библиотеках и научных кабинетах. Когда я познакомился с моей будущей женой Ольгой (в 1965 году) и мы по какому-то делу зашли в снимавшуюся тогда мною комнатушку, она была потрясена ее убожеством и не поверила, что это – жилье профессора, уже имевшего мировую известность.

В эти годы скитаний я в избытке насмотрелся на то, как живут люди на низших ступенях социальной иерархии. Очень многие истории в моих книгах суть описания реальных случаев.

Я полностью перестал употреблять алкогольные напитки. Произошло это так. Конец 1963 года был для меня особенно тяжелым в психологическом отношении. Все предпосылки для перелома в моей личной жизни были уже налицо, но сам перелом, как оказалось, тоже требовал времени и был болезненным. В это время я пил водку особенно в больших количествах. В январе я почти полностью перестал есть, выпивая в сутки иногда несколько бутылок водки. Спал раздетым при открытом окне, но мне не было холодно. Потом вдруг наступило протрезвление и абсолютная ясность в мыслях и намерениях. После этого алкоголь даже в ничтожных дозах стал вызывать у меня отвращение. Возможно, специалисты по алкоголизму имеют этому какое-то медицинское объяснение. Я же в объяснении не нуждался. Просто перестал пить, и все. И странное дело, у всех моих друзей и сослуживцев это вызвало недовольство и даже гнев. Меня стали убеждать в том, что вредно пить много, но немного выпить – это полезно для здоровья и компании. Стали обвинять меня в том, что я, став трезвенником, утратил былую тонкость ума и остроумие. Другие стали распускать слухи, будто я начинаю делать служебную карьеру, будто ухожу на работу не то в аппарат ЦК КПСС, не то в закрытое военное или кагэбэвское учреждение. Чтобы как-то утихомирить противников моей трезвости, я сам распустил слух, будто принял особое лекарство и теперь даже малая доза алкоголя для меня может оказаться смертельной. Забавно, что некоторые искушенные в этих делах алкоголики предложили научить меня, как избавиться от этого лекарства и продолжать пить. Описание этой "техники" есть в моих книгах. Кое-кто запомнил, когда (по моим словам) я принял антиалкогольное лекарство, и ко времени окончания его действия

пригласили меня отпраздновать это событие грандиозной попойкой. Они были очень раздосадованы, когда я отказался.

В больнице, в которой пытались лечить людей от алкоголизма, я действительно был и получил от врача упомянутое лекарство. Но это было уже после того, как я перестал пить. И лекарство я просто выбросил. Но врач решил, что я вылечился благодаря его усилиям. Я спорить не стал. Потом подарил ему мои книги. Он в своей книге описал мой случай как пример эффективности его методов лечения. Я у него был единственным пациентом, полностью излечившимся от алкоголизма.

Я начал вести здоровый, педантично упорядоченный, почти аскетический образ жизни. Регулярно плавал в бассейне. Зимой лыжи. Летом – туристические походы. Каждый день по нескольку раз гимнастика, причем с эспандерами и гантелями. Строгий режим питания. Стал членом Дома ученых, в котором была хорошая столовая. Через Дом ученых можно было также доставать путевки в дома отдыха, причем я мог там отдыхать вместе с дочерью.

Все свои способности и силы я решил посвятить научной и педагогической работе в области логики и методологии науки. Я почувствовал в себе способности к этой деятельности и чисто творческую потребность реализовать их. Эта деятельность приобрела для меня жизненно важное значение сама по себе, независимо от моих прошлых и настоящих интересов в отношении к советскому обществу. У меня появились студенты и аспиранты, работавшие под моим руководством и в духе моих идей. Они отнимали у меня массу времени. Я уж не говорю о том, сколько времени и сил у меня отнимала моя научная деятельность.

ПРОПОВЕДНИК

Хотя после хрущевского "переворота" мой антисталинизм утратил смысл, моя деятельность как своего рода агитатора и пропагандиста не прекратилась. Она лишь приняла проповеднический характер. Разговоры стали менее опасными. И круг людей, с которыми я их вел, многократно расширился. Расширилась и тематика разговоров. Она охватила все аспекты жизни общества и положения человека в нем. Я стал проповедником наподобие моего литературного героя Ивана Лаптева в книге "Иди на Голгофу". Моя реальная проповедническая деятельность дала мне много материала также для книг "Зияющие высоты", "В преддверии рая" и "Желтый дом".

Благодаря этой проповеднической деятельности я уже к концу хрущевского периода в основных чертах выработал свою жизненную концепцию, кратко выразившуюся формулой "Я есть государство", и более или менее четкий план построения своего внутреннего суверенного государства. Я полностью в моих разговорах с людьми преодолел марксизм. Не просто отверг, а именно преодолел, сформулировав основы своей логико-философской и социологической

концепции. В бытовом отношении я оценил достоинства одиночества. Просыпаясь утром, я говорил себе: как хорошо, что я один! В середине дня я не раз говорил себе: как хорошо, что я один! Ложась спать, я говорил себе: как хорошо, что я один! Это одиночество в огромной степени стимулировало мою роль проповедника. Я выполнял свои служебные, сыновние и отцовские обязанности. Но все мои силы и чувства поглощала интенсивная интеллектуальная деятельность. При этом чем меньше практической выгоды и признания мне сулили результаты моей деятельности, тем с большим азартом я в нее погружался. Невозможно измерить, сколько времени и сил я потратил, например, на логический анализ шахматной проблемы и на вычисление коэффициента стабильности идеальной коммунистической социальной системы. А такого рода проблем прошло через мою голову многие сотни.

Я занимался проповедническими импровизациями до 1974 года. Все мои импровизации пропали безвозвратно. То, что я после 1974 года опубликовал в своих литературных, социологических и публицистических работах, было лишь одной из таких импровизаций. Причем я думаю, что это были далеко не лучшие из моих импровизаций. С годами способность говорить и думать ослабевает. И опубликовал я лишь незначительную часть из того, что прошло через мою голову в течение более чем двадцати лет деятельности в качестве проповедника. Тот факт, что я стал публичным (печатаемым) проповедником, явился результатом чистой случайности. В мои намерения до 1974 года это вообще не входило. Более того, встав на этот путь, я нарушил один из фундаментальных принципов своего проповедничества: разбрасывать мысли, не претендуя на авторство, видеть людей в лицо и не возвышаться над ними ни материально, ни в смысле известности.

ПОТЕРЯ ИДЕАЛОВ

Подытожу кратко то, что я пережил к моменту хрущевского "переворота". В ранней юности я увлекался социалистическими и коммунистическими утопиями домарксистского периода. Под их влиянием я создал для себя идеал общества, в котором я хотел бы жить, и идеал моего собственного поведения в этом обществе. В этом идеальном обществе люди должны жить большими коллективами—коммунами. Все богатства должны находиться в общем пользовании. В личном пользовании человек должен иметь самый необходимый минимум. Все свои силы и способности человек должен отдавать обществу через свою коммуны. Он должен жить и трудиться на виду у членов своей коммуны, которые должны оценивать его поведение по самым высшим критериям справедливости. Этот идеалистический коммунизм соответствовал моему положению, воспитанию и личному характеру. Отдельная койка с чистыми простынями, утоляющая голод еда, одежда без дыр и заплат были для меня мечтой. К духовным богатствам, накопленным человечеством, я, как казалось мне, имел неограниченный доступ. Эти богатства представлялись мне прежде всего в виде общественных библиотек. Не имея у себя дома ни единого тома, я "пожирал" книги в огромном количестве, беря их в библиотеке и у знакомых.

Я любил всякую работу и выполнял ее с самоотверженностью и азартом. Я чувствовал в себе силы и способности к самой различной деятельности, быстро обучался и работал лучше других. Мне доставляло удовольствие то, что окружающие видели это.

Я чувствовал себя неловко, когда меня хвалили взрослые вслух, и стеснялся этого. Мне было достаточно того, что другие видят, на что я способен, что я не трус, что я не ябеда, что я надежный товарищ, короче говоря – самый подходящий человек для коммунистического коллектива. Естественно, я создавал для себя такой идеал общества, который лучше всего соответствовал мне самому. Должен признаться, что и теперь, прожив жизнь и испытав все возможные разочарования, я все же сохранил мое юношеское желание прожить жизнь в том идеальном коммунистическом обществе. И лучшими моментами моей жизни были такие, когда мне доводилось быть в коллективах, приближавшихся в какой-то мере и на какой-то срок к моему юношескому идеалу, и в которых я имел возможность проявить свои личные качества очевидным для окружающих образом.

Я был рожден для того, чтобы стать образцовым гражданином идеального коммунистического общества. И именно поэтому у меня вызвали протест реальные люди реального коммунистического общества. Я с детства стал замечать, что в реальности люди стремятся получить как можно больше благ в личное пользование с наименьшими усилиями и что справедливая оценка качеств человека и его деятельности имеет место лишь в порядке исключения и в очень узких пределах. Мои качества идеального коммуниста стали приносить мне лишь неприятности и огорчения.

В семнадцать лет я сделал для себя величайшее открытие моей предшествующей жизни, суть которого заключалась в следующем. Никогда не существовало и никогда не будет существовать общество всеобщего благополучия, равенства, свободы, братства и справедливости. Коммунистическое общество не есть исключение на этот счет. И в нем неизбежны неравенство людей, насилие, вражда, несправедливость и многое другое, что советская идеология приписывала лишь антагонистическим обществам прошлого. К такому выводу я пришел, наблюдая реальность, изучая марксизм и читая более серьезно философские и социологические сочинения немарксистских авторов прошлого. Думаю, что марксизм тут сыграл свою роль в смысле провоцирования во мне духа противоречия. Я не знаю ни одного марксистского утверждения относительно коммунистического общества, которое тогда не вызывало бы у меня сомнения.

Мой наивный коммунистический идеал не исчез совсем. Он остался романтической и несбыточной мечтой, но где-то на самом заднем плане самосознания. Его место заняла странная комбинация трезвого реализма, отчаяния, бунтарства, стремления к саморазрушению. Критическое отношение к реальности и к любым идеалам переустройства общества стало доминирующим в моих умонастроениях. Дух разоблачительства, скептицизма и насмешки завладел моими мыслями и чувствами. Причем это коснулось лишь моих мыслей и чувств, но не формы поведения. В моих поступках я оставался таким же образцовым коллективистом, каким был, и еще более укрепился в этих качествах, проявляя их в делах более серьезных, уже совсем не детских. Мой

антисталинизм этого периода был в известной мере спасением от разъедавшего душу негативизма и нигилизма. Будучи доведен до предела, он стал положительным идеалом и стержнем моего образа жизни. Такое состояние продолжалось до хрущевского "переворота". После него разоблачительство вообще и антисталинизм в особенности потеряли смысл идеала жизни.

НАПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

Можно поставить вопрос: зачем нужны были все эти душевные тревоги и метания, почему бы не жить так, как жили все, отдавая дань юношеским увлечениям, но в конце концов подчиняясь здравому смыслу и нормальному стремлению лучше устроиться в жизни?! Не скрою, такие настроения появлялись у меня, и не раз. В 1940 году во время моего бродяжничества по стране я хотел жениться, поселиться в глуши, стать лесником, обзавестись домашними животными и детишками. Но жизненный путь человека иногда бывает предопределен неподконтрольными ему силами и обстоятельствами. Моему намерению не суждено было осуществиться. Судьба властно скомандовала мне даже не "Иди!", а "Беги!". В 1943 году у меня на мгновение вновь мелькнуло желание уединиться от общества таким же образом, о каком я думал в 1940 году, и я женился. Но и тут я быстро сообразил, что это был путь деградации и падения. В 1951 – 1954 годы на меня не раз нападали настроения обывательского благополучия. Но мои соученики, коллеги, друзья и жена позаботились о том, чтобы это не случилось. Теперь, подводя итоги жизни, я хочу поблагодарить всех тех, кто помешал мне жить спокойно, благополучно, без проблем, без тревог, без страданий, без потерь. Через них Судьба определила направление эволюции моей личности и жизненного пути.

Вот человек живет и растет среди других, аналогичных ему людей. По каким-то причинам он обращает внимание на одни факты жизни, а не на другие. Выбирает для чтения определенные книги. Дружит с определенного рода людьми. Играет определенные роли в играх. Предпочитает совершать такие-то поступки. Каждый из этих выборов и каждое из этих предпочтений сами по себе не представляют ничего особенного и не привлекают к себе ничьего внимания. Но в человеке постепенно складывается определенное направление процесса его формирования как личности. У прочих людей направление их личности оказывается сходным, так что можно говорить о некоторой принятой норме. Этот же исключительный индивид отклоняется от нормы, причем порою настолько, что развивается в существо иной социальной породы. Внешне до поры до времени это остается незаметным не только для окружающих, но даже для самого уклонившегося от нормы индивида. Лишь в некоторых исключительных ситуациях вдруг обнаруживается, что вместе со всеми выросло существо, совсем не похожее на других. Это проявляется в поступках уклонявшегося от нормы, вызывающих недоумение и порицание у окружающих. Эти поступки могут быть на первых порах импульсивными. Чаще всего они и остаются на этом уровне. Лишь у немногих из таких "ненормальных" индивидов эти поступки повторяются и осознаются, а сам факт "ненормальности"

становится основной социальной чертой личности.

По этой схеме произошло и мое выпадение из нормы. Моя чужеродность породившему меня обществу проявлялась в множестве мелочей, настораживавших окружающих, но еще не дававших оснований выносить мне приговор как существу иной социальной породы. Первый раз я нарушил всякую меру и обнаружил свое отклонение от нормы осенью 1939 года. Потом я вроде бы вошел во внешне терпимые рамки. Но изменить сложившееся направление моей личности я все равно уже не мог. Я много раз отклонялся от него, как самолет отклоняется от заданного маршрута. Но какой-то заключенный во мне самом пилот каждый раз исправлял отклонение и выводил меня на предназначенный мне маршрут. Я не знал, куда именно движусь, – конечной цели маршрута не было. Я чувствовал лишь направление маршрута и приказ Судьбы "Иди!", "Беги!", "Ползи!", "Лети!".

РАСТЕРЯННОСТЬ

В послесталинские годы я установил для себя, что с концом сталинизма не наступило мое примирение с советским обществом. Самый крупный перелом в истории реального коммунизма совершился, как я думал. Общество в основном уже вступило в стадию зрелости. Эта стадия будет длиться века с незначительными доделками и переделками, не меняющими ее сути. Я не видел возможностей радикальных изменений общества, которые устроили бы меня. И я чувствовал себя не способным до конца интегрироваться в это общество, стать в нем своим. Вставал вопрос о том, как дальше жить. Научная и педагогическая работа увлекали меня, но все же они не могли заглушить главную тревогу моей жизни, мешавшую мне остановиться и властно диктовавшую мне приказ "Иди!". Но куда идти? И для чего?

Наступило состояние растерянности. Передо мною встала проблема: как жить дальше, если нет никакой веры в коммунистический идеал, если реальное коммунистическое общество пошло по пути, вызывающему у меня протест, если я не верю в будущий земной рай, если не имею никакого другого идеала, если моя прежняя форма критики реальности потеряла смысл, а новая еще не назрела в качестве мотива жизнедеятельности? Я искал решения этой проблемы лично для себя и в одиночку. Все окружавшие меня люди, за редким исключением, жили по правилам приспособления к объективным условиям коммунистического общества. Те люди, которые были исключением, над моей проблемой не задумывались вообще или задумывались в очень малой степени и на очень поверхностном уровне. Мне же надо было решить, как жить вопреки принципам приспособления, причем решить на моем уровне культуры и самосознания, требовавших систематической и обоснованной жизненной концепции.

Для меня эта проблема была не отвлеченно-теоретической, а практической. Я изобретал свои правила жизни, живя согласно им на самом деле и лишь время от времени осознавая их и возводя в ранг общих принципов. У некоторых людей из моего окружения мое поведение

вызывало восхищение, у других – насмешку и мнение, будто я – непрактичный дурак, не способный использовать свои возможности для лучшего устройства своих дел и наслаждения жизнью. Мои либеральные и прогрессивные друзья, угадывавшие в моем поведении определенную систему, обвиняли меня в том, что я якобы хочу "остаться чистеньким", уклониться от той черновой (по их мнению) работы, которую они якобы выполняли на благо общества и прогресса. Лишь одно время у меня образовалась сама собой группа учеников, которых я обучал моей системе психофизической гимнастики. Это было нечто вроде самодельной йоги и составляло самую несущественную часть моего учения о житии и приложение этого учения к физическому аспекту жизни.

О многих принципах моего поведения можно сказать, что они были известны ранее. Я не претендую здесь на приоритет, на роль первооткрывателя. Но должен подчеркнуть, что я эти принципы не вычитывал из книжек. Я жил в реальном коммунистическом обществе, какого еще не знала история человечества. Я совершал конкретные поступки в конкретных ситуациях. Если я совершал эти поступки так, а не иначе, если я решал и впредь поступать так же, то это было открытием для жизни в новом обществе, независимо от того, совершалось это раньше или нет. Опыт жизни людей в прошлом, описанный в виде различного рода теоретических концепций, идеологических, моральных и религиозных учений, сам по себе не мог служить образцом для жизни в обществе, в котором эти люди никогда не жили. Сходство жизненных ситуаций не давало оснований для переноса прошлого опыта на современность. Лишь на основе осмысления опыта жизни в новых условиях можно было сравнивать его с опытом людей в прошлом и делать какие-то более широкие обобщения.

Одним словом, если я в своих поисках "открывал Америку", это не играло для меня принципиальной роли. Все равно это было мое открытие. К тому же открываемая мною для себя "Америка" была не той, которую открыли и обжили другие люди, а совсем другая, лишь внешне похожая в некоторых чертах на последнюю.

ИДЕЯ ЭЛИТАРНОГО ОБЩЕСТВА

Будучи склонным по натуре и воспитанию к коллективизму, я сначала пытался решить свою проблему как проблему коллективную, т. е. вместе с другими людьми, которые казались подобными мне в отношении к явлениям окружающей жизни. Я вел с ними бесконечные разговоры на эти темы. Они охотно участвовали в таких разговорах, соглашались со мною во многом, но не более того. Эти разговоры играли роль средства прояснить и оформить словесно мои собственные идеи для меня самого, а не роль пропаганды некоего готового учения.

Моя основная идея в этих беседах заключалась в следующем. Мир сходит с ума. Эволюция человечества пошла в направлении, неприемлемом для нас. Мы не способствуем этому направлению и сами не идем в нем. Возможно ли уклониться от мощного потока мировой истории? Наше

общество пронизано всеми пороками. Мы не в силах противостоять этому, не в силах изменить общество. Жизнь в нем причиняет страдания. Уйти из него невозможно. Раньше люди уходили из своего общества и открывали новые страны, основывали новые общества в необжитых ранее краях. Теперь это невозможно. Да и мы не хотим покидать наше общество – мы все-таки сами суть продукт цивилизации. Возможно ли уйти из своего общества, вызывающего отвращение, оставаясь одновременно в нем? В нашем обществе индивид находился под контролем коллектива и властей. Есть ли какая-то возможность выйти из-под этого контроля и создать в рамках большого общества свое маленькое элитарное общество, независимое в каких-то отношениях от большого? Как это сделать?

Мы образованные люди, мыслящие, творческие. Нам не безразлично многое такое, к чему большинство населения равнодушно. Мы видим, что мировую сцену вновь захватила сравнительно небольшая кучка людей. Массы населения и в нашем обществе отстранены от активных ролей на сцене истории. Разговоры насчет масс как решающей силы истории – обман и самообман. Это способ, при помощи которого небольшая часть населения дурачит все население страны и живет за его счет. Те, кто вырвался на активные роли в спектакле истории, суть далеко не лучшие экземпляры рода человеческого и далеко не лучшие образцы цивилизации. Они устраивают свои пошлые спектакли и навязывают их нам. Видеть все это оскорбительно. Мы же все равно не участники этих спектаклей. Мы в лучшем случае зрители или статисты. Так плюнем на них! Затеем свои спектакли. Пусть маленькие. Пусть кустарные. Но свои. Такие, в которых мы сами будем главными актерами. Не надо нам зрителей. Не надо статистов. Мы все играем самые главные роли. И играем их для самих себя.

Моя идея была очень простая. Мы должны создать свое маленькое общество, объединенное идеей какого-то дела. Члены общества регулярно встречаются, обмениваются мыслями и информацией, обсуждают общие проблемы. В этом миниатюрном обществе вырабатываются свои моральные и эстетические принципы, свои критерии оценки явлений жизни, культуры, политики. Мой тогдашний друг и ученик Г. Щедровицкий серьезно отнесся к этой идее и создал полулегальную группу такого рода. Но из такого человеческого материала и на таком интеллектуальном уровне, что получилась карикатура на мою идею. И я от нее отказался. Многочисленные группки возникали в нашей среде постоянно, но они даже в ничтожной мере не приближались к моему идеалу. Их участники оставались полностью в рамках официального общества, практически живя как обычные приспособленцы. Сама житейская практика разрушила мою идею элитарного частичного общества внутри обычного общества как бесперспективную. И я нашел для себя иное решение моей главной жизненной проблемы на пути социального индивидуализма.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

К концу хрущевского периода я построил свою систему правил жизни.

Она отвечала на вопрос, как должен жить я сам, а не на вопрос, как должны жить другие люди. Я шел фактически и намеревался идти и впредь своим путем, что бы по этому поводу ни думали и ни говорили другие. Иду, чего бы это мне ни стоило. Иду, независимо от того, идут другие тем же путем или нет.

Я не собирался записывать и предавать гласности мою концепцию жизни. Впоследствии я использовал ее в литературных произведениях, приписав отдельные ее принципы литературным персонажам, причем не всегда положительным персонажам и не всегда в положительном виде. Я думаю, что на Западе мало кто понял основную направленность моего творчества. Западным людям проблема, как жить в условиях коммунистического общества, кажется совсем не актуальной. К тому же проблемы такого рода принципиально важны лишь для одиночек, а не для масс людей. Интеллектуальная жизнь Запада ориентирована на массовое сознание, а не на исключительных одиночек. Даже интеллектуальная элита здесь живет категориями и интересами массовой культуры, так или иначе подвержена влиянию индустрии массового сознания. Зная это, я никогда не рассчитывал на массовое понимание и признание моих идей. Я стал включать элементы моей концепции жития в литературные произведения просто из потребности очистить душу от накопившегося в ней содержания, а не с целью обратить в свою веру потенциальных читателей. Исторически случилось так, что в России возникло первое коммунистическое общество. Здесь оно впервые в истории достигло зрелости и обнаружило свою натуру. Волею обстоятельств я был обречен на то, чтобы оно стало моей всепоглощающей страстью и всю жизнь думать о том, как жить в нем. Герой моей книги "Иди на Голгофу" Иван Лаптев сформулировал эту проблему так: проблема теперь заключается не в том, как построить земной рай, а в том, как жить в этом раю.

ХІ. МОЕ ГОСУДАРСТВО

ФОРМУЛА ЖИЗНИ

Уже находясь в эмиграции, я высказал в одном из интервью формулу моей жизни: "Я есть суверенное государство". Ее истолковали как проявление мании величия и ассоциировали ее с известным заявлением французского короля Людовика Четырнадцатого: "Государство – это я". Историкование абсолютно ложное. Король был на вершине социальной иерархии, я же – на ее низших ступенях. Король обладал властью над миллионами подданных, я же вообще не имел подчиненных, а если таковые появлялись, я тяготился ролью начальника, игнорировал ее и скоро терял. Король отождествлял себя с государством из многих миллионов граждан, я же объявлял себя государством, состоящим всего

из одного гражданина – из самого себя. Для короля его формула выражала его положение абсолютного монарха. Моя же формула выражала намерение рядового гражданина коммунистического общества завоевать и отстаивать личную свободу и независимость в условиях господства общества и коллектива над индивидом.

Еще во время допроса на Лубянке в 1939 году я заявил, что добровольно не позволю никому, даже самому Сталину, распоряжаться мною по своему произволу. От этого мальчишеского заявления до моего заявления самому себе, что я есть суверенное государство, прошла почти четверть века. Первое заявление выражало эмоциональный и моральный протест против реальности сталинизма. Второе же было формулировкой целой рациональной концепции. Первое было проявлением отчаяния, второе – программой его преодоления.

При моей склонности к коллективизму было не так-то легко встать на этот путь. Я знал, что обрекал себя на судьбу одиночки. Но мысль о том, чего может достичь одиночка в условиях, когда люди добиваются успеха лишь группами и в группах, сыграла роль не столько предостережения, сколько интригующей проблемы. Я отдавал себе отчет в том, что моя позиция есть лишь индивидуальная защита от крайностей коллективизма, массовости, мафиозности, идейного безумия и морального разложения, овладевшими миром.

Я не могу утверждать, что мой жизненный эксперимент удался полностью. Но это не столь важно. Суть дела состоит не в том, чтобы создать свое личное государство и жить в нем с душевным комфортом, а в том, чтобы стремиться к этому, т. е. в самой попытке построения такого личного государства, пусть эта попытка и кончается неудачей. Я отдавал себе отчет в том, что я затеял, и не строил никаких иллюзий насчет успеха. Я знал, что пошел не просто против отдельных людей, а против хода истории.

Мое намерение стать суверенным государством не осталось незамеченным. Правда, мои коллеги и знакомые понятия не имели о масштабах моего замысла. Если бы они об этом догадались, мой эксперимент закончился бы в самом начале. Представьте себе муравья в огромном скоплении подобных себе муравьев, который заявил бы о своем намерении создать свой индивидуальный муравейник в рамках общего муравейника и начал бы это делать. Что сделали бы с ним? Конечно, уничтожили бы. То же самое случилось бы и со мною. Окружающие меня человеки-муравьи болезненно реагировали на все мои попытки стать автономным государством-муравейником из одного человека. Человек, выходящий из-под контроля коллектива и общества, воспринимается как угроза существованию целого. Поэтому коммунистическое общество так нетерпимо по отношению к независимым одиночкам. Причем это прежде всего есть реакция не высших властей и карательных органов, а непосредственного окружения индивида, уклоняющегося от общей нормы. Власти и карательные органы вступают в силу тут в последнюю очередь.

ОТНОШЕНИЕ К ОБЩЕСТВУ

То общество, в котором я появился на свет и жил, как я говорил себе тогда, было дано мне независимо от моей воли и желаний. Я его не создавал. И я никогда не ставил перед собой задачу его разрушать. Я с ним считался как с исторической данностью, как с эмпирическим фактом. Я не был его поклонником. Но я не был и его противником. Мое отношение к нему было иного рода. Мне много раз приходилось на Западе отвечать на вопрос моих читателей и слушателей: я за коммунизм или против него, коммунист или антикоммунист. Я отвечал, что я ни за и ни против, ни то и ни другое. И боюсь, что меня не понимали или истолковывали мои слова как стремление уклониться от прямого ответа. А между тем мой ответ был искренним и точным. Нельзя делить людей на коммунистов и антикоммунистов, на сторонников коммунизма и его противников. Есть множество людей, которым все эти явления безразличны, и они не причисляют себя ни к той, ни к другой категории. Не всякая критика коммунизма есть антикоммунизм. Не всякие положительные суждения о коммунизме суть его апологетика. Не всякая критика Советского Союза есть антисоветизм, как и не всякие похвалы в его адрес суть просоветизм. Но люди со слабо развитыми логическими способностями, каких в мире большинство, склонны все человечество делить на две категории: на тех, кто "за", и тех, кто "против". Мое же отношение к советскому обществу было еще более сложным, чем упомянутые выше три возможности (за, против, ни за и ни против). Я был противником этого общества, но в качестве члена этого общества, не имеющего желаний его разрушать и даже причинять ему ущерб. Я был критиком коммунизма, но не с позиций антикоммунизма, а совсем с иных, которые немислимы в обществе некоммунистическом. Просто вопрос о существовании коммунистического социального строя, о его преобразовании и свержении никогда не был моей проблемой. Я не был безразличен к советскому обществу, но я был безразличен к проблемам, которые разделяют людей на просоветских и антисоветских, на прокоммунистов и антикоммунистов.

Я тогда говорил себе, что советское общество явилось воплощением в жизнь многовековых чаяний страдающего человечества, реализацией лучших идеалов лучших его представителей. Это и есть тот земной рай, о котором мечтали веками. Никакого другого земного рая нет и не будет. Одно дело – прекрасные идеалы, и другое дело – их реальность. В реальности появляется то, что нельзя предусмотреть в идеалах. Идеалы возбуждают массы людей на определенные действия. Но что получится в результате этих действий, зависит прежде всего от объективных законов организации масс людей в большие человеческие объединения. Людям остается лишь приспособливаться к объективным условиям своего объединения.

Коммунистический социальный строй в моей стране не есть отклонение от неких социальных норм. Хотя в его возникновении сыграли свою роль исторические случайности, он так или иначе выжил в труднейших условиях, защитил себя в войне против сильнейшего врага и обнаружил огромные жизненные потенции. В мире сейчас нет силы, способной его сокрушить. Он распространяется по планете, заражая собою все человечество. Он растет и внутри стран Запада из самых различных источников. Он имеет шансы жить столетия, а может быть, и тысячелетия. Хотя он еще молод (с исторической точки зрения), он уже

обнаружил качества своей природы и основные тенденции. Я этот строй не принимаю в качестве моего идеала общественного устройства.

Но я не стремлюсь и к его уничтожению и к замене его каким-то другим. Я не вижу для этого никакой возможности в современных условиях. Более того, любое другое социальное устройство было бы на этом месте еще хуже, а все усилия по его ограничению и уничтожению имеют результат, противоположный намерениям. Он от этого становится еще живучее и настойчивее. Этот строй является началом нового цикла истории. Вся последующая эволюция общества будет происходить на его основе. Возможно, со временем наши потомки придумают какую-то новую форму социальной организации, которая будет лучше теперешней, но все равно это будет форма в рамках коммунистических. А скорее всего он, поглотив все человечество, начнет стремительно деградировать в силу внутренних причин. Коммунистические страны будут истощать и уничтожать друг друга в жестоких и бесперспективных войнах. Возможно, уцелеют какие-то очаги цивилизации и дадут рост новому взлету человечества. Но это лишь возможно. И на это уйдут тысячелетия.

У меня нет никакой позитивной программы социальных преобразований. Нет не потому, что я не способен что-то выдумать на этот счет, а в принципе. Любые положительные программы социальных преобразований имеют целью и отчасти даже результатом построение некоего земного рая. Но опыт построения земных раев всякого рода показывает, что они не устраняют жизненных проблем, драм и трагедий.

Наблюдая жизнь и изучая историю, я убедился в том, что самые устойчивые и скверные недостатки общества порождаются его самыми лучшими достоинствами, что самые большие жестокости делаются во имя самых гуманных идеалов. Нельзя устранить недостатки того или иного общественного строя, не устранив его достоинства. Нельзя реализовать в жизни положительный идеал без отрицательных последствий. Всякое улучшение коммунистического социального строя имеет результатом усиление его прирожденных качеств, вызывающих мой протест. Всякое ослабление этого строя имеет результатом разгул сил, точно так же вызывающих мой протест. Улучшения усиливают одни качества коммунизма, ухудшения – другие. И те и другие для меня неприемлемы. В трясине коммунистической жизни всякое движение ускоряет твоё погружение в неё.

Я строил эти свои выводы не на основе чистых эмоций и общих рассуждений, а на основе конкретного анализа советского общества. Я пересмотрел все логически мыслимые преобразования: централизацию, децентрализацию, самоуправление, многопартийность, раздробление страны, федерацию автономных государств, частную инициативу и т. д. И установил, что любое из таких преобразований и любая их комбинация будет иметь необходимым следствием эффект, противоположный задуманному, или другие негативные следствия, еще худшие того, против чего были направлены преобразования. Я сделал вывод, что лишь живой исторический процесс может дать решение всех проблем, причем не наилучшее с некоей априорной точки зрения, а наиболее вероятное с точки зрения борьбы социальных сил и тенденций.

Отказываясь от позитивных программ преобразований общества, я не призывал к этому других. Я не был руководящим партийным и государственным чиновником и идеологом руководства. Я не участвовал ни в каком оппозиционном движении. Антисталинизм уже исчерпал себя. Я не видел никакого иного движения, к которому я мог бы присоединиться и для которого мог бы думать о некоей программе. Я был частным лицом, одиночкой. Мой отказ от программ преобразований касался лишь лично меня.

МОЙ ПУТЬ

Думать о перестройке общества в интересах такого индивида, каким был я, в самом начале истории этого общества так же бессмысленно, как препятствовать наступлению долгой и суровой зимы в самом ее начале путем зажигания спичек. Пусть этим занимаются сами власти – это их социальная функция. В самом начале истории реального коммунистического общества любая его перестройка не даст такого результата, о котором я мог бы сказать, что он отвечает моим идеалам. У меня такого идеала нет и быть не может. Я появился на свет, когда осуществились самые лучшие идеалы, но осуществились так, что обнаружили бессмысленность всяких идеалов. Моим идеалом мог бы быть утопический (романтический) коммунизм, включая марксистские сказки о "полном коммунизме". Но он был практически невозможен. Другой идеал я просто не мог помыслить. Может быть, со временем люди изобретут новые идеалы, да и то только для того, чтобы пережить очередное историческое разочарование.

А в спектаклях властей по реорганизации общества я не принимаю участия принципиально, зная заранее, что и они не в состоянии отменить неумолимое действие объективных законов эволюции общества. Я должен думать не о перестройке общества, а о своей собственной жизни в нем, какие бы изменения и преобразования ни происходили в нем. Есть два пути для этого. Первый путь – путь приспособления к условиям общества по законам приспособления, обеспечивающим людям лучшие личные условия жизни, карьере, успех, благополучие, т. е. движение в общем потоке истории. Этот путь я отверг для себя в качестве сознательной цели и программы. Второй путь – создать свое маленькое автономное общество, соответствующее моему идеалу. Но это означает на деле, что я должен идти против потока истории, поступать вопреки законам массового приспособления. На этом пути я буду иметь против себя все силы общества.

Одно дело – когда ты имеешь против себя отдельных людей, множество людей, группы людей, учреждения, организации и даже массы. И другое дело – когда ты имеешь против себя объективный ход будущей тысячелетней истории. В том и другом случае тебя раздавят. Но в первом случае есть какая-то надежда на то, что твои усилия не пропадут впустую и есть даже надежда на успех. Во втором случае никакой надежды на успех нет, а есть зато уверенность в том, что все усилия – впустую. Что же толкает человека в такой ситуации на бунт против неумолимого хода истории? Конечно, тут какую-то роль играет

сознание того, что он восстает против самого могущественного врага и сам ощущает себя поэтом гигантом, соразмерным своему противнику. Жертва тут оправдывается иллюзией грандиозности бунта. Тут не имеет значения то, что его бунт в глазах окружающих, если бы они о нем узнали, выглядит смехотворно ничтожным, выглядит манией величия червяка, обреченного быть раздавленным подошвой идущего человека, который даже не подозревает о существовании этого червяка. Важно, как сам бунтарь переживает свой бунт. Но такое объяснение было бы весьма односторонним. Я думаю, что главным тут все же является то глубокое направление личности, о котором я говорил выше.

Я сейчас уже не могу припомнить, в каких именно словах я объяснял самому себе свой путь. Словесное оформление было разнообразным, порою – поэтическим и почти что религиозным. Вот одно из них. Тот, кто идет против объективного хода истории, не обязательно реакционер. Тот, кто способствует объективному ходу истории, не обязательно прогрессивен. История не есть непрерывный прогресс. В истории бывают попятные движения. В истории имеет место и регресс. Прогресс в одних отношениях сопровождается регрессом в других. Более того, исторический прогресс был следствием не только подчинения объективному ходу истории, но и сопротивления ему. Прогресс достигался лишь благодаря тому, что людям удавалось на пути потока истории строить плотины, делать отводные каналы, короче – сопротивляться течению и карабкаться вверх. Без такого сопротивления человечество не смогло бы подняться даже на низшие ступени цивилизации. И в наше время эти две тенденции так же живы, как и на заре человечества. Подчинение объективному потоку истории в нашу эпоху тянет человечество в пропасть, к катастрофе, к деградации. Это падение по законам исторического тяготения. Ему надо противиться, чтобы избежать катастрофического действия силы исторического тяготения. Это сопротивление должно начаться с одиночек. Мой личный жизненный путь и будет началом сопротивления падению, началом карабканья вверх.

Меня несколько не обидит и не обескуражит то, что я буду иметь репутацию консерватора или даже реакционера. В наше время безудержного прогресса, ведущего к разрушению нравственности, к разрушению эстетических критериев, к буйству бездарности и посредственности в ложном обличии ума и таланта, к извращению всех нормальных отношений людей и даже к физической гибели природы и человечества, быть консерватором и реакционером в тысячу раз прогрессивнее и революционнее, чем быть прогрессистом и революционером. Это человечнее. Для этого нужно больше мужества. Нынешние прогрессисты и революционеры играют в наше время роль, аналогичную роли мракобесов средневековья.

Если ты бессилен изменить реальное общество в соответствии со своими идеалами, изменись сам, говорил я себе, построй в себе самом это идеальное общество, создай из самого себя идеального человека, как ты его себе представляешь. Наверняка найдутся и другие люди, которые пойдут тем же путем, что и ты. Я – одиночка. Но общество с необходимостью порождает таких, как я, регулярно. Сходные условия жизни с необходимостью вынуждают их идти тем же путем, что и я. Со временем их будет много, и они своим примером изменят жизнь гораздо

радикальнее, чем все реформаторы, вместе взятые. История уже знает примеры такого рода. Возьмите хотя бы христианство. Христос появился тоже как результат крайнего отчаяния. И он тоже утверждал, что Царство Божие в самом человеке. Он тоже говорил, что надо начинать с изменения самого себя. Правда, он уже мог обращаться к людям. А сейчас даже это пока еще невозможно. И прошли многие столетия, прежде чем программа Христа дала какой-то результат. А чтобы такие, как я, стали играть роль в истории, на это нужно время, причем время историческое. Нужно историческое терпение.

Построить индивидуальное государство (мое идеальное общество), изолировавшись от других людей, невозможно не только потому, что в такой изоляции нельзя выжить физически, да и не позволят так жить, но прежде всего потому, что в изоляции от жизни современного общества возможно лишь существование на примитивном интеллектуальном, духовном и культурном уровне. Мне же нужно было такое индивидуальное государство, которое использовало бы высшие достижения цивилизации и в некоторых важнейших аспектах превосходящее их. Практически это означало намерение завоевать исключительное положение в обществе. Но не путем проникновения в привилегированные и правящие слои и не методами делания карьеры и приспособленчества, а совсем иначе.

Я мог создать свое государство в границах возможностей, имевшихся в моем распоряжении. Я решил создавать его не как экономическое или политическое, а как социальное явление, т. е. в самих основах общества. Естественно, мне надо было выяснить, что вообще на этом уровне во власти отдельного человека и что нет. Почему люди не властны над своими же социальными законами, спросил я себя. Да потому, что в основе их лежат такие правила поведения людей, которые обеспечивают им наилучшее приспособление к социальным условиям существования. Без соблюдения этих правил люди живут хуже, чем с соблюдением их, или вообще погибают. Люди сами стремятся соблюдать эти правила. В основе того, что социальные законы неподвластны людям, лежит то, что люди не хотят над ними властвовать, хотят, наоборот, подчиняться им. Социальные законы в той мере, в какой они касаются поведения отдельных людей, предоставляют им некоторую свободу выбора и принятия решений. От человека, например, зависит, предавать друга ради личной выгоды или нет, добиваться повышения по службе или нет, холуйствовать перед начальством или нет. От человека зависит, удовольствуется он данным жильем или будет добиваться лучшего, купит дешевую или дорогую мебель. Короче говоря, даже в условиях коммунистического общества человек в своих поступках имеет свободу выбора и принятия решений. Диапазон этой свободы вполне достаточен для того, чтобы я смог выработать для себя определенный тип внутренней и внешней жизнедеятельности, соответствующий искомому идеалу. Все это можно сделать в рамках общепринятых норм и законности, на первых порах даже заслужив одобрение. Когда же заметят, что из дозволенных по отдельности кирпичиков я сложил здание, которое как целое выглядит уже нарушением принятых норм, я уже завую экстерриториальность, и с ней вынуждены будут примириться, так думал я тогда.

К тому времени, когда я сам для себя объявил себя суверенным

государством, я уже подготовил все необходимые предпосылки для этого. Я уже выработал в какой-то мере свое понимание мышления, познания, бытия, общества, а также свои принципы отношения ко всем явлениям моего социального окружения, к другим людям, к работе, к творчеству, к коллективу, к власти, к семье, к материальному благополучию. Конечно, я это выработал в той мере, в какой это дало мне основания на самое претензию стать автономным государством. Потом я все элементы моего государства достраивал, расширял, усовершенствовал, но уже вполне сознательно и планомерно.

В СОВЕТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ

На пути к построению моего внутреннего государства мне, естественно, пришлось иметь дело с марксизмом-ленинизмом. Я не мог его игнорировать, поскольку он был официальной советской идеологией, претендовавшей на объяснение всего того, что становилось предметом внимания моего государства. Кроме того, идеология была непосредственной средой моей жизнедеятельности. Большинство моих друзей, близких, знакомых и коллег по образованию и по профессии были философами, а философия составляла ядро советской идеологии. Я мог наблюдать все аспекты функционирования и эволюции советской идеологии. И не только наблюдать. Она касалась меня лично как во внешней деятельности, так и в моей внутренней жизни. Естественно, взаимоотношения с идеологией стали одним из важнейших элементов моей жизни.

Я пришел в философию, уже имея определенное отношение к советскому обществу и к советской идеологии. Я пришел с намерением получить образование, которое позволило бы мне лучше понять мое общество и определиться в нем в качестве личности особого рода, как я уже начал это себе представлять ранее. Поэтому я учился усерднейшим образом. И досконально изучал марксизм-ленинизм, поскольку он непосредственно касался волновавших меня проблем. Мое отношение к марксизму было двойственным. С одной стороны, он доходил до меня в том виде, в каком он стал ядром советской идеологии и заслуживал презрения и насмешки. С другой стороны, изучая его в подлинниках, я включал его в контекст мировой философской культуры и видел в нем многое такое, что заслуживало уважения. Будучи от природы склонным к диалектически гибкому способу мышления, я уже в студенческие годы обратил внимание на самое интересное для меня в марксизме, на диалектический метод. Я уже писал о том, что мое понимание диалектического метода встретило враждебное отношение со стороны философских властей. Поэтому я оставил намерение разрабатывать диалектический метод в рамках марксизма и в интересах марксизма. Мое отношение к марксизму стало полностью критическим. Я стал относиться к нему как человек второй половины двадцатого столетия, знакомый с высшими достижениями современной науки, профессионально занимавшийся логикой и методологией науки.

ШУТОВСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К МАРКСИЗМУ-ЛЕНИНИЗМУ

Марксизм–ленинизм очень рано (уже в школьные и армейские годы) стал для меня предметом насмешки. Я сочинял бесчисленные шутки и короткие юмористические истории на марксистские темы. В частности, еще в армии я определил производственные отношения как отношения между людьми в процессе их производства, определил женщину как объективную реальность, данную нам в ощущениях. В таком духе я потешал моих сослуживцев. И странно, что среди множества доносов, написанных на меня, не было ни одного по поводу моих шуток такого рода. Может быть, доносчики просто не увидели в них скрытой насмешки над святынями марксизма.

В тех рукописях, которые я уничтожил в 1946 году, было много коротких рассказов на марксистские темы. В частности, там была описана дискуссия о коммунизме, о которой я вспомнил много лет спустя, сочиняя раздел "Беседа о светлом будущем" для книги "Зияющие высоты". Многие сатирические куски такого рода в моих литературных произведениях были написаны на основе припоминания того, что я придумал в более ранние годы.

В студенческие годы издевательство над марксизмом стало моим призванием в наших компаниях. Забавно, что иногда я это делал даже во время лекций. Вот один из примеров тому. Профессор излагал нам марксистскую концепцию происхождения человека от обезьяны. При этом он сослался на известные в то время слова Сталина о том, что, когда обезьяны спустились на землю, кругозор их расширился. Я сказал довольно громко, что с деревьев–то вроде бы виднее. В аудитории начался смехок. Профессор от неожиданности растерялся. Но он был старый марксист–ленинец, набивший язык на диалектических выкрутасах. "Когда обезьяны сидели на деревьях, – воскликнул он ликующе, – они смотрели вниз! А когда слезли на землю, стали смотреть вверх! Ясно?" – "А зачем нужно им было смотреть вверх?" – спросила наивная девочка, относившаяся к белиберде такого рода с полной серьезностью. "Они с тоской вспоминали о том, что раньше на ветках сидели в безопасности", – поддержал мой шуточный тон один студент, бывший офицер. "Но дело не только в этом, – продолжал развивать прерванную гениальную мысль лектор. – Когда обезьяны слезли на землю, у них высвободились передние конечности для трудовой деятельности". "Передние конечности у обезьян высвободились прежде всего для того, чтобы было удобнее держать стакан с водкой", – сказал я под одобрительный хохот аудитории.

Сам марксизм преподносился нам в таком виде, что избежать насмешливого отношения к нему было просто невозможно. Вот, например, описание одной реальной истории. Мы изучали статью Ленина о профсоюзах, в которой вождь мирового пролетариата хотя и признавал формальную логику в сфере домашнего обихода, все же громил Бухарина именно за то, что тот подходит к профсоюзам с позиции формальной, а не диалектической логики. "По Бухарину, – говорил Ильич, – профсоюзы, с одной стороны, то, а с другой стороны – другое. Это типичная формальная логика. А на самом деле, т. е. с точки зрения логики диалектической, профсоюзы со всех сторон суть школа

коммунизма". Иллюстрируя ограниченность формальной логики, Ленин ссылаясь на стакан. "Стакан, говорил он (очевидно, он вертел стакан в руках в это время или пил воду, наливая из неперемного на таких заседаниях графина), – с одной стороны, можно использовать как инструмент для забивания гвоздей, а с другой – как орудие для питья". Это все нам и разжевывал доцент, специалист по диалектической логике. Он так долго и дотошно это делал, что в конце концов запутался сам и заявил, что стакан, согласно Ленину, со всех сторон есть школа коммунизма, а что профсоюзами можно заколачивать гвозди.

Я не был исключением в моих насмешках над марксизмом. Это было обычным делом в нашей студенческой среде. Причем все шутники при этом добросовестно сдавали экзамены по марксизму, защищали дипломы и диссертации, становились профессиональными теоретиками марксизма, преподавателями и пропагандистами. Шутили многие, но основы для этого и последствия у нас были различными.

В пятидесятые годы я имел счастье пару лет подрабатывать на жизнь в заочной Высшей партийной школе при ЦК КПСС. Многие анекдотические ситуации для моих книг я почерпнул в этой кузнице идеологических кадров. Все слушатели этой ВПШ должны были писать курсовые и дипломные трактаты, в которых они должны были показать свою способность подходить к проблемам марксизма–ленинизма творчески. А таких новаторов были сотни из всех районов страны и из всех сфер жизни общества: партийные работники из Якутии и с Кольского полуострова, профсоюзные деятели с холодного Урала и из солнечного Крыма, директора ювелирных магазинов и плодоовощных баз из Москвы и Алтайского края, офицеры, бухгалтеры, сталевары, хлеборобы и даже коменданты тюрем. И все должны были творчески развивать марксизм! И это в стране, где даже главному идеологу запрещено переставлять запятые в никем не читаемых сочинениях классиков, написанных ими еще до достижения половой зрелости! Творческие идеи курсантам должны были подсказывать мы, преподаватели. А так как нам платили поштучно (не помню сейчас, сколько именно, кажется, рубля по два за один трактат в переводе на нынешние деньги), мы были заинтересованы в том, чтобы охватить как можно больше таких "новаторов". И чего только я тогда не измышлял! А таких, как я, было десятки. Если бы все эти творческие вклады в марксизм собрать вместе, предать гласности и включить в марксизм, то последний не то что поднялся бы на новую недостижимую высоту, а просто–напросто умчался бы в пространство с космической скоростью. Только бы его и видели!

В какой–то из моих книг описан партийный работник высокого ранга, который обращался к преподавателю философии на "ты", а к категориям диалектического материализма на "вы". Эта история на самом деле случилась со мной. Я "натаскивал" такого партийного бонзу в заочной партийной школе.

Как член партии, я должен был выполнять общественные поручения. Первое время я должен был читать пропагандистские лекции на разные темы, в том числе на темы о коммунизме. Я, хотя и старался быть серьезным, долго выдержать не мог. Мои лекции стали превращаться в "балаган", как записали потом в решении партийного собрания, и меня

от пропагандистской работы отстранили. Произошло это после лекции, в которой я сделал предметом посмешища утверждение Ленина о том, что при коммунизме денег не будет, а из золота будут делать унитазы. Лекция была у строителей. Они живо реагировали на эту ленинскую мысль. Один рабочий сказал, что золото на унитазы не годится, так как слишком тяжелое. Другой рабочий заметил, что золото сразу же разворуют, унитазы распилят на кусочки, которые будут циркулировать вместо денег. И коронки для зубов все будут делать. Третий рабочий сказал, что у золотых унитазов придется ставить охрану, чтобы не разворовали. Идешь в туалет, а там у унитаза с одной стороны стоит милиционер, а с другой сотрудник КГБ. Кто-то сказал, что тогда тем более разворуют, сговорятся и пропьют на троих. Кто-то заметил, что при коммунизме милиции и КГБ отомрут. Ему возразили, что лучше пусть не отмирают. И тюрьмы тоже пусть лучше останутся. Без них нельзя. Разворуют. Ограбят. Изнасилуют. Зарежут. Вот в таком духе под общий хохот проходила моя беседа. Но кто-то написал донос в райком партии, и мне устроили головомойку за "глумление над святынями марксизма".

Но я так и остался бы в моем отношении к марксизму на уровне шутовства, если бы не занялся серьезным профессиональным его изучением и если бы не стал специалистом в области логики и методологии науки. Лишь на этой основе я отнесся к марксизму как в высшей степени важному явлению в истории человечества. Я не просто отверг его. Я выработал для себя учение, которое касалось тех же проблем, но удовлетворяло требования моего государства. Я изложил его в многочисленных социологических, публицистических и литературных сочинениях, к которым я отсылаю читателя.

"ЗИНОВЬЙОГА"

То, о чем я писал выше, касалось интеллектуального аспекта моего государства. В аспекте поведенческом (внешнем) я построил для себя систему правил поведения (правил жития). Когда у меня появились ученики в этом деле, они назвали ее в шутку "зиновьюгой".

Я создавал свою "зиновьюгу" для моего личного употребления. Но иногда я в шуточной форме рассказывал кое-что из нее моим знакомым. Обычно над ней смеялись. Некоторые же из моих слушателей относились к ней всерьез и даже практиковали ее. Некоторые ее элементы изложены мною в книгах "В преддверии рая", "Евангелие для Ивана", "Живи" и "Иди на Голгофу". В последней я назвал ее лаптизмом, или иванизмом, по имени моего героя Ивана Лаптева. Разумеется, там она дана в литературизированной форме и со многими дополнениями, не входящими в "зиновьюгу" как мое личное средство.

Моя "зиновьюга" похожа на известные формы религии, особенно на христианство и буддизм. Но в отличие от них, она рассчитана была на меня как на человека второй половины двадцатого века, выросшего в

атеистическом обществе и знакомого с высшими достижениями культуры. Кроме того, она была рассчитана не на человека, уходящего в себя, думающего только о себе и уклоняющегося от нормальной общественной жизни, а на человека, живущего обычной жизнью в советском обществе, вынужденного и стремящегося работать, жить в коллективе и соблюдать его правила, выполнять служебные и общественные обязанности, сталкиваться с властями, пользоваться транспортом, стоять в очередях, сидеть на собраниях, одобрять постановления властей, участвовать в кампаниях и починах, заводить семью и друзей, короче говоря погруженных в суматоху и трясину заурядной жизни. Мой литературный герой Иван Лаптев определил эту особенность "зиновьюги" (в его терминологии "лаптизма") так: как быть святым без отрыва от греховного производства, как жить в трясине нашего общества так, чтобы она в нашем сознании и в наших переживаниях отошла на задний план, а на первый план выступило бы нечто иное, а именно – наш особый внутренний мир со своими критериями оценок и ценностей и со своими внешними проявлениями в наших поступках. Приведу в качестве примера некоторые принципы "лаптизма", которые были принципами и моей личной "зиновьюги".

Я отвергаю стремление к материальному благополучию, но я не настаиваю на отказе от него. Современное общество в изобилии рождает соблазны. Но оно одновременно создает возможности довольствоваться малым. Оно создает возможность иметь все, не имея ничего.

Лучше не иметь, чем терять. Надо суметь жизнь построить так, чтобы иметь не имея. Значит, надо установить, обладание чем означает одновременно отсутствие его. Надо установить, в чем можно свести потребности к минимуму и в чем развить до максимума. Причем с минимальными затратами и максимальным успехом. Учись терять. Учись оправдывать свою потерю и находить ей компенсацию. Не приобретай того, без чего можно обойтись.

Стремление к удовольствиям (к наслаждению) есть характерная болезнь нашего времени. Сумей устоять против этой эпидемии, и ты поймешь, в чем состоит истинное наслаждение жизнью – в самом факте жизни. А для этого нужны простота, ясность, умеренность, душевное здоровье, короче говоря, самые простые, но теперь самые труднодоступные феномены жизни. Для подавляющего большинства нашего населения убогий быт и дефицит всего того, что приносит удовольствие, даны на века. Надо думать о том, как к этому приспособиться, чем это компенсировать. Единственное средство для этого, если исключить борьбу за жизненные блага как цель жизни, – развить духовный мир и культуру духовного общения. Верно, что человек стремится к счастью. Нет счастья без способности к самоограничению и без самоконтроля. Счастье есть плата за самоограничение, есть результат самоконтроля. Ограничивая и сдерживая себя в обычном житейском разрезе бытия, ты поворачиваешь свое "я" в иной разрез, в котором лишь можешь испытать счастье. Без этого возможна лишь мимолетная и кратковременная иллюзия счастья. Удовлетворение есть результат победы над обстоятельствами. Счастье же есть результат победы над самим собой.

Я в каждом человеке признаю такое же суверенное государство, каким считаю себя, причем независимо от его социального положения,

возраста, пола, образования. Я отношусь к людям не по рангам, не по богатству, не по известности и не по полезности для меня, а по тому, до какой степени и как у них развито их "я" и их душа, каково их поведение в обществе. Я руководствуюсь при этом такими принципами. Сохраняй личное достоинство. Держи людей на дистанции. Сохраняй независимость поведения. Относись ко всем с уважением. Будь терпим к чужим убеждениям и слабостям. Не унижайся, не холуйствуй, не подхалимничай, чего бы это ни стоило. Не смотри ни на кого свысока, если даже человек ничтожен и заслужил презрение. Воздай каждому должное. Гения назови гением. Героя назови героем. Не возвеличивай ничтожество. С карьеристами, интриганам, доносчиками, клеветниками, трусами и прочими плохими людьми не будь близок. Из общества плохих людей уйди. Обсуждай, но не спорь. Беседуй, но не разглаговльствуй. Разъясняй, но не агитируй. Если не спрашивают, не отвечай. Не отвечай больше того, что спрашивают. Не привлекай к себе внимания. Если можешь обойтись без чужой помощи, обойдись. Свою помощь не навязывай. Не заводи слишком интимных отношений с людьми. Не лезь к другим в душу, но и не пускай никого в свою. Обещай, если уверен, что сдержишь обещание. Пообещав, сдержи обещание любой ценой. Не обманывай. Не хитри. Не интригуй. Не поучай. Не злорадствуй. В борьбе предоставь противнику все преимущества. Никому не становись поперек дороги. Никому не мешай. Не обгоняй. Не соревнуйся. Не конкурируй. Выбирай путь, который свободен или по которому не идут другие. Уходи как можно дальше вперед по своему пути. Если этим путем пошли многие, смени его – этот путь для тебя ложен. Истину говорят одиночки. Если многие разделяют твои убеждения, значит, в них есть удобная для них идеологическая ложь. В случае выбора "быть или слыть" отдай предпочтение первому. Не поддавайся власти славы и известности. Лучше быть недооцененным, чем переоцененным. Помни о том, кто судьи и ценители. Лучше один искренний и адекватный тебе ценитель, чем тысячи ложных.

Не насилуй других. Насилие над другими не есть признак воли. Лишь насиле над собой есть воля. Но не позволяй другим насиловать тебя. Сопротивляйся превосходящей силе любыми доступными средствами.

Вини во всем себя. Если у тебя выросли жестокосердные дети – ты воспитал их такими. Если тебя предал друг – ты виноват, что доверился ему. Если тебе изменила жена – ты виноват, что дал ей возможность измены. Если тебя угнетает власть – ты виноват, что внес свою долю в ее мощь.

Не действуй от имени и во имя других. Думай о последствиях своих действий для других – ты за них (за последствия) в ответе. Благие намерения не оправдывают плохие последствия твоих действий, хорошие последствия не оправдывают дурные намерения.

Тело съедают незримые бактерии. Душу съедают мелкие заботы и переживания. Не допускай, чтобы мелочи жизни овладели твоей душой.

Никогда не рассчитывай на то, что люди оценят твои поступки объективно, такой "объективной" оценки вообще нет. То, что мы считаем объективной оценкой, есть то, как нам самим хотелось бы, чтобы люди оценили наши поступки. Мотивы твоих поступков не

совпадают с тем, какие мотивы припишут им другие. Твои мотивы сами меняются со временем, а часто многосторонни и противоречивы. Ты сам невольно ищешь подходящие обоснования своим поступкам и даже оправдания их. Люди смотрят на твое поведение с точки зрения своих интересов и в системе своего миропонимания. Люди различны. Один и тот же поступок есть зло для одних и добро для других. Более того, при оценке поступков людей даже истина фактов достижима лишь иногда и лишь частично. Ты живешь непонятый другими и умрешь непонятым. Это общий закон. Только тот, кто не претендует на некое объективное понимание своего поведения другими, живет достойно человека. Смерть и забвение исправляют все "несправедливости" в этом отношении. Добавь ко всему прочему умышленную ложь и клевету, а также стремление людей идеализировать избранные личности.

Человек, как таковой, если не имеет внешнего и внутреннего контролера поведения, способен на любую пакость по отношению к ближнему. Лишь другие люди ограничивают его. Общими усилиями люди изобретают систему ограничителей для поведения отдельного человека и закрепляют ее в форме обычаев, права, религии, морали. Но эти ограничители не всесильны и не абсолютны.

Даже в самом хорошем человеке сидит подлец, который может заявить о себе в случае ослабления или отсутствия контроля – отсутствия внешнего и внутреннего судьи его поведения. Так что нельзя доверяться людям полностью. Надо всегда принимать во внимание то, что они могут тебя подвести, обмануть, сделать тебе пакость. Это в особенно сильной мере касается близких тебе людей. Они могут причинить тебе самые болезненные удары, поскольку ты меньше всего это ожидаешь от них, а они, зная тебя и рассчитывая на близость, меньше опасаются расплаты за свои подлости. Враги человека, говорил Христос, суть ближние его.

Людям нельзя просто доверять. Их нужно ставить в такие условия, чтобы они сделали то, что тебе нужно, не ради тебя, а ради себя. Избегай ситуаций, в которых ты можешь быть обманут. Привязывайся к людям в меру, чтобы потери не были катастрофическими.

Будь сдержан с женщинами. Если можешь избежать связи, избеги. Не поддавайся общей сексуальной распущенности. Сохрани в себе чистое романтическое отношение к любви, если даже в реальности видишь грязь и окунаешься в грязь. Избегай скабрёзности, пошлости, цинизма, грязных слов. Душевная чистота и непорочность приносят человеку неизмеримо больше наслаждения, чем житейская грязь и пороки.

Презирай врагов своих. Делай вид, что они для тебя не существуют. Игнорируй их – они недостойны твоей борьбы с ними. Ни в коем случае не люби их – этого они тем более недостойны. Избегай быть жертвой твоих врагов и избегай того, чтобы они были твоими жертвами. Не персонифицируй своих врагов. Считаешь ли ты комаров и мух, кусающих тебя, врагами?! А гнилостные бактерии и черви?.. А они ведь уничтожают тебя! Отнесись к врагам как к комарам и мухам, как к гнилостным бактериям и могильным червям.

Будь добросовестным работником. Будь во всем профессионалом. Будь на

высоте культуры своего времени. Это дает какую-то защиту и внутреннее ощущение правоты. Что касается прочих объединений и коллективных действий уклоняйся. Не вступай в партии, секты, союзы. Не присоединяйся ни к каким коллективным акциям. Если участие в них неизбежно, участвуй в них как автономная единица, не поддавайся настроениям и идеологиям толпы, действуй в силу личных убеждений. Делай это как свое личное дело, а не как дело других.

Будь хорошим членом коллектива, но не растворяйся в нем. Не участвуй в интимной жизни коллектива. Не участвуй в интригах, в распространении слухов и клеветы. Не делай жизнь коллектива своей личной жизнью. Стремись занять в нем независимое положение, но не нарушая своих принципов. Избегай карьеры. Если она делается помимо воли, останови ее, ибо иначе она разрушит твою душу.

В творчестве главное – не успех, а результат. Оценивай себя с точки зрения того, что нового ты внес в данную сферу творчества. Если чувствуешь, что не способен сделать что-то новое и значительное, оставь эту сферу и уходи в другую, что бы ты ни терял при этом. Не поддавайся массовому мнению, массовым увлечениям, вкусам и модам. Вырабатывай свой вкус, свое мнение, свой путь.

Не совершай ничего противозаконного. Не участвуй во власти. Не участвуй в спектаклях власти. Игнорируй все официальное. Не вступай в конфликт с властью по своей инициативе, но не уступай ей. И ни в коем случае не обожествляй власть. Власти не заслуживают доверия даже тогда, когда стремятся говорить правду и делать добро. Они лгут и делают зло в силу своей социальной природы. Игнорируй официальную идеологию. Любое внимание к ней укрепляет ее.

Не болей. Лечись сам. Избегай врачей и медицины. Регулярно делай физические упражнения. Но соблюдай меру. Чрезмерность и тут вредна, как и недостаточность. Лучше всего разработаи систему упражнений, которые можешь выполнять в любое время и в любых условиях, и делай их каждый день, что бы ни случилось. Если хочешь сохранить молодым свое тело, позаботься о молодости духа. Вечная молодость есть прежде всего состояние духа. Физическую старость можно оттянуть до последних нескольких лет жизни, а то и месяцев. Молодость души можно сохранить до самой последней секунды. Жизнь можно построить так, что физическое старение придет как нечто естественное, не вызывая ужаса старости и смерти. Для этого есть система технических приемов тренировки. Но главное – систематическое следование всей системе "зиновьиоги". В проблеме продолжительности жизни главным является не число прожитых лет, а само ощущение длительности бытия. Можно прожить биологически долгую жизнь как миг, а биологически короткую как вечность. Только богатая внутренняя жизнь дает ощущение длительности жизни внешней.

Человек одинок. Твой жизненный путь пролегает так, что ты лишь внешне и случайно соприкасаешься с другими людьми, причем без взаимного проникновения душ. Это самое мучительное состояние человека. Можно вынести любые страдания, кроме одиночества. Против одиночества нет лекарств и нет упражнений, как преодолевать его. От одиночества нет спасения. Есть две формы одиночества – внешнее и

внутреннее одиночество. Первое является вынужденным обстоятельством. Оно может исчезнуть вместе с обстоятельствами. Гораздо более серьезным является другая форма одиночества. Это состояние, когда человек окружен людьми, ни от кого не отделен, свободен в выборе знакомств, но при этом не имеет близких себе людей. Это одиночество человека в любом коллективе, среди людей. Такое одиночество ужасно. Человек постоянно живет в состоянии обреченности в ожидании конца. Никакой надежды, никакого просвета. Моя система учит, как со временем избежать состояния одиночества такого рода, как уклониться от него. Это профилактика от одиночества, точнее – подготовка к одиночеству как к неизбежному итогу жизни. Она учит, как встретить одиночество во всеоружии, – как норму, как неизбежное, как состояние, имеющее свои неоспоримые достоинства: независимость, беззаботность, созерцательность, презрение к потерям, готовность к смерти.

Надо жить в состоянии постоянной готовности к смерти. Каждый день надо жить так, как будто он последний. Старайся жизнь закончить так, чтобы после тебя ничего не осталось. Малое наследство вызывает насмешки и презрение. Большое наследство порождает злобу и вражду наследников. Любое наследство оставляет людям хлопоты. Старайся уйти так, чтобы никто не обратил внимания на твой уход и чтобы люди не злились на то, что после тебя остался мусор и нужно очистить мир от твоего пребывания. Ты явился в мир незванным и уйдешь неоплаканным. Не завидуй остающимся: их ждет та же участь.

В конце концов, мы уйдем все, и никто и никогда не узнает о том, что мы были. Лучше умереть в драке или в какой-то катастрофе. Постарайся дойти до могилы на своих двоих, не причиняя другим хлопот. Лучше умереть здоровым, чем больным. Слабые цепляются за жизнь. Сильные готовы с большей легкостью расстаться с нею. Лучше умереть, не ведая того и внезапно, чем глядя в лицо смерти и медленно. Счастливы убитые в спину и из-за угла.

В моих книгах часто встречаются разговоры литературных персонажей с самими собою и некие внутренние голоса. А в "Желтом доме" у главного героя обнаруживаются десятки различных "я" и внутренних голосов. Это не просто литературный прием. Если это и прием, то он отражает одно важное качество моего государства, а именно внутреннее расчленение личности на множество различных личностей. Это не есть раздвоение личности в медицинском смысле. Личность сохраняет единство. Она просто оказывается коллективом многих личностей, объединенных в единое органическое целое. Медицинское раздвоение личности похоже на западное плюралистское общество. Мое же умножение личности можно рассматривать как коммунистическое общество, перенесенное в сознание отдельного человека и очищенное от дефектов реального коммунизма. Мое государство должно было стать идеальным коммунизмом, но лишь в сознании и поведении одного человека. В нем возникали конфликты между различными "я", возникали тенденции к порокам и ко злу. Но все же мой внутренний коллектив должен был все это преодолевать, сохранять единство и идеальность. Такое внутреннее умножение личности, кроме того, должно было обеспечить самодостаточность человека и оградить его от страданий, связанных с одиночеством. Внутреннее расчленение моего "я" на множество различных, часто

конфликтующих "я" стало одним из принципов моего государства.

Естественно, встал вопрос о том, кто является высшим судьей моего поведения согласно принципам моей системы жизни. Люди в массе своей несправедливы, склонны к заблуждениям, самообману и насилию. Некое высшее существо (Бог), которое было бы абсолютно справедливым, видело бы все и все понимало бы правильно, не существует. Значит, я сам должен выполнять роль такого высшего судьи в моем индивидуальном государстве. Одно из моих "я" должно было стать моим собственным Богом со всеми его атрибутами. Принципиальной разницы между моим личным богом и Богом как творцом всего сущего и высшим судьей всего происходящего нет, ибо я в качестве своего бога сам сотворил свою Вселенную и сам установил ее законы.

Изложенным принципам надо было следовать в рутине обычной жизни, состоявшей из тысяч мелких поступков. Каждый из них сам по себе еще не выделял меня из окружающих людей в качестве личности, претендовавшей на нечто исключительное. Но систематическое поведение, проявлявшееся в множестве таких поступков, не могло ускользнуть от окружающих. Они одобрительно относились к какой-то части принципов моего поведения.

В частности, я не конкурировал ни с кем в борьбе за жилье, за посты, за награды. Я не получал за мои сверхплановые работы гонорары. Я был в дружеских отношениях со всеми, участвовал в дружеских компаниях. Все знали, что я пользовался минимумом вещей. Никого не подводил, не подхалимничал, не доносил. Я многим жертвовал в пользу других. Помогал близким и вообще всем, кто обращался ко мне за помощью. Хотя я сам бросил пить, я охотно участвовал в пьяных компаниях, расплачиваясь так, как будто и я пьянствовал. Я был справедлив и вступался за тех, кого обижали несправедливо. Я был хорошим собеседником, умел выслушивать других. Я разбрасывал вокруг идеи, не заботясь об авторстве. Поведение такого рода создавало мне хорошую репутацию в моем окружении, уважение и даже любовь.

Я имел вполне достаточно жизненных благ в личном пользовании, довольствовался этим и не стремился к большему. У меня был обширный круг знакомств. Были ученики. Были последователи.

Я имел неограниченный доступ к достижениям культуры. Я был здоров, весел, окружен вниманием. Казалось, что мой идеал человека-государства был близок к реализации. Но и тут диалектика реальной жизни сказала свое роковое слово: чем ближе мой идеал был к завершению, тем уязвимее он становился для атак извне.

XII. ЖИЗНЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

БРЕЖНЕВСКИЙ ПЕРЕВОРОТ

Снятие Хрущева и избрание на его место Брежнева в моем окружении не произвело особого впечатления. Оно прошло как заурядный спектакль в заурядной жизни партийной правящей верхушки, как смена одной правящей мафии другою. По моим наблюдениям также равнодушной была вообще реакция населения, которого смена лиц на вершинах власти вообще не касается непосредственно. Хрущевский "переворот" был переворотом прежде всего социальным. Он был подготовлен глубокими переменами в самих основах советского общества. Он отражал перелом в эволюции общества, перелом огромного исторического масштаба и значения. Брежневский же "переворот" был верхушечным, лишь в высших этажах аппарата власти. Он был направлен не против того состояния общества, какое сложилось в послесталинское время, а лишь против нелепостей хрущевского руководства, против Хрущева лично, против хрущевского волюнтаризма, исчерпавшего свои позитивные потенции и превратившегося в авантюризм, опасный для множества лиц в системе власти и для страны в целом. С социологической точки зрения брежневский период явился продолжением хрущевского, но без крайностей переходного характера. В наших кругах никаких антихрущевцев не было и никакой борьбы против хрущевцев не велось. Все те, кто холуйствовал перед Хрущевым, без всяких конфликтов и переживаний начали делать то же самое в отношении Брежнева. И даже еще усерднее.

Принято считать снятие Хрущева реакцией неких консерваторов на попытку Хрущева реформировать советское общество в прозападном духе, будто некий консервативный аппарат помешал прогрессивному Хрущеву осуществить эту перестройку общества. Это сущий вздор. На самом деле всемогущий аппарат помешал Хрущеву в его сталинских амбициях и рецидивах. Он сохранил основные итоги десталинизации страны и направил ее по пути нормальной (для этого типа общества) эволюции зрелого социального организма. В первые годы брежневского руководства улучшения условий жизни и либерализация были гораздо более значительными, чем в хрущевские годы. Хрущевские улучшения казались более значительными, поскольку сравнивались непосредственно со сталинскими годами. После брежневского "переворота" сравнение производилось уже с достижениями периода хрущевского, что создавало ложное впечатление брежневской "реакции", якобы наступившей после хрущевской "либерализации".

Иллюзия поворота советского общества вспять создавалась за счет того, что стали обращать внимание в первую очередь на недостатки брежневского периода, особенно во вторую его половину, считая достижения чем-то само собой разумеющимся. Так, в отношении диссидентского движения стали прежде всего видеть репрессии против диссидентов, а не тот факт, что они появились в большом количестве и распустились до такой степени, какая была немыслима при Хрущеве. Недостатки стали выступать на первый план не потому, что они только теперь появились, а потому, что стало свободнее и о них можно было говорить гораздо смелее, чем ранее. Именно улучшения брежневского

периода способствовали тому, что недостатки стали занимать больше места в сознании людей. А колоссальный культурный взрыв в брежневские годы не идет ни в какое сравнение с жалкой хрущевской "оттепелью". На этот взрыв были обрушены репрессии. Но он все же произошел, и этот факт для истории не менее важен, чем факт его разгрома.

Хрущевский период был переходом советского общества от состояния юности к состоянию зрелости. Этот переход растянулся на несколько лет. Ничего необычного в этом нет. Исторические процессы протекают во времени, как и любые другие материальные процессы. Кроме того, процессы в руководстве обществом не всегда и не на все сто процентов совпадают с процессами в фундаменте общества. Последние в брежневские годы все более стали уходить из-под контроля властей.

В брежневские годы реальный коммунизм впервые в истории достиг сравнительно завершенной формы. Обнаружилась прозаическая и заурядная натура реального коммунизма, его объективные закономерности, механизмы его функционирования и перспективы на будущее. При Брежневе ввели в употребление выражение "развитой социализм". Мы над этим потешались. Называли прошлое состояние недоразвитым социализмом. Определяли развитой социализм как совокупность пережитков капитализма, позитков социализма и недожитков коммунизма. Слова "социализм" и "коммунизм" тут употреблялись в марксистском идеологическом смысле как обозначения нижней и высшей стадии коммунистической формации. Называя развитой социализм также зрелым социализмом, мы называли полный коммунизм перезрелым социализмом. Хотя я и потешался над выражением "развитой социализм", социологически и исторически оно было верным. Оно соответствовало реальному великому перелому в истории реального коммунизма. Впрочем, и достойная смеха форма осознания этого перелома была вполне адекватна самому результату перелома. Великая история коммунизма, достигнув зрелости, сбросила трагические и романтические наряды юности и обрядилась в наряды прозаически-комические, гораздо более отвечающие ее природе. В этом, кстати сказать, заключалась также одна из особенностей зрелого коммунизма. На место трагического злодея Сталина пришел полуклоун Хрущев, которого отпихнул стопроцентный клоун и маразматик Брежнев, гораздо более подходящий на роль Бога реального коммунизма именно в силу своей из ряда вон выходящей ничтожности. С точки зрения личных особенностей незаурядность Хрущева символизировала незаурядность самого исторического перелома, а заурядность Брежнева – заурядность самого зрелого коммунизма.

БРЕЖНЕВ И БРЕЖНЕВИЗМ

Брежневские холуи называли Брежнева руководителем "ленинского типа". Ему это нравилось. Он охотно играл эту роль. Когда он поднялся на высшую ступень карьеры, в Москве появился такой анекдот. "Как к вам теперь обращаться, Леонид Ильич?" – спросили Брежнева его помощники. Брежнев кокетливо опустил подкрашенные ресницы и сказал скромно:

"Зовите меня просто Ильич". Ильичом с любовью называли Ленина. Ильич Второй – так в насмешку и называли довольно часто Брежнева в наших кругах. Шутили также, что после смерти Брежнева его положат в Мавзолей вместо Ленина и на Мавзолее будет слово "Лёнин" (от уменьшительного "Лёнька" для "Леонид"). Однако доминирующим в его подсознании всегда был образ Сталина. Сталин был для него образцом. Но Брежнев был карикатурой на Сталина. Культ Сталина выросал снизу общества и поддерживался сверху. Культ Брежнева насаждался его холоуями исключительно сверху и презирался как в массе народа, так и в самом брежневском окружении. Он был циничным. Честолюбие Сталина имело под собой деяния эпохального значения. Тщеславие Брежнева превзошло сталинское и было явлением социально-патологическим. Брежнев побил мировой рекорд в отношении наград: 260 орденов и медалей весом в 18 килограммов! Тщеславие Брежнева и его мнимые военные заслуги породили целую серию злых шуток. Вот, например, одна из них. Спрашивается: кто самый выдающийся агроном в мире. Отвечают: Брежнев, так как он собрал самый большой урожай орденов на Малой земле (имеется в виду незначительный эпизод времени войны, раздуваемый до масштабов Сталинградской битвы). Или вот другая шутка. Маршал Жуков обратился к Сталину за советом по поводу готовящейся Курско-Орловской битвы. "Обратитесь к полковнику Брежневу, – сказал Сталин. – Он лучше всех знает, что делать".

Свой путь "вождя" Брежнев начал с коротенькой речи, которую за пять минут сочинил А. Бовин, мой бывший собутыльник и приятель, ставший известным журналистом-международником.

А кончил "эпохальными" многочасовыми речами, которые для него сочинял целый штат помощников. И в теории Сталин не давал Брежневу покоя. Отсюда его вклад в марксизм-ленинизм в виде новой Конституции и новой Программы партии. Он затеял обмен партийных билетов, лишь бы получить билет за номером 2, билет номер 1 вручили давно умершему Ленину.

Брежневские холоуи называли его "пламенным борцом за мир, за коммунизм". Трудно было вообразить пламенность в этом существе, которое напоминало робота первого поколения и могло бы служить наглядной иллюстрацией преждевременного старческого маразма. Особой пламенности в борьбе за коммунизм в нем не замечалось и на более ранних этапах его карьеры. В среде советских руководителей пламенность по отношению к коммунизму теперь встречается изредка, да и то лишь в сусловской форме. А это чисто советская пламенность, замораживающая, удушающая скукой и серостью. А что касается борьбы за мир, вспомните о Чехословакии и Афганистане! Думаю, что в развязывании войны в Афганистане свою роль сыграло и непомерное тщеславие Брежнева. Став маршалом, он возмечтал стать генералиссимусом по примеру Сталина, для этого нужна была хотя бы малюсенькая, но настоящая война.

Полководец, не выигравший ни одного сражения, но имеющий больше наград, чем самые выдающиеся полководцы времен войны; теоретик, интеллектуальный уровень которого не превосходил уровень партийного работника районного масштаба, но под именем которого шел мощный поток словесной макулатуры, таким был Брежнев, символ и характерное

порождение современного советского общества. О Сталине говорили: Сталин – это Ленин сегодня. И не без оснований. О Брежневе тоже можно было сказать: Брежнев – это Ленин и Сталин вместе, но сегодня. Сегодня – вот в чем суть дела. В уже сложившемся, реальном коммунистическом обществе, т. е. в царстве серости, бездарности, скуки, лжи, насилия и прочих уже общеизвестных явлений этой осуществившейся светлой мечты человечества. И культ Брежнева был на самом деле не культом личности в принятом смысле слова "личность", а культом социальной функции, как таковой, т. е. культом обезличенности. Если бы после смерти Брежнева его шкуру набили опилками, то получившееся чучело могло бы выполнять эту функцию не хуже, а может быть, и лучше, чем живой Брежнев. Культ Брежнева был культом правящей мафии, которую он лишь символизировал.

В подражание сталинской Конституции была придумана Конституция брежневская. Была придумана и новая Программа КПСС. И то и другое – явления чисто идеологические. Брежневские подхалимы называли Конституцию 1977 года "подлинным манифестом развитого социализма". Они же называли Программу КПСС тоже "подлинным манифестом", но уже полного коммунизма, "коммунистическим манифестом двадцатого века". Можно сказать, переплюнули "Коммунистический Манифест" Маркса и Энгельса. В "обсуждение" этих идеологических документов было вовлечено чуть ли не все взрослое население, школьники старших классов, студенты, солдаты. Это были грандиозные идеологические кампании, количественно во много раз превосходившие сталинские массовые идеологические оргии. Я знаю, как сочинялись упомянутые "манифесты" и вообще все "теоретические" документы советских вождей. Работу эту в конце концов сваливали на самую плебейскую часть сотрудников идеологических учреждений. Но в истории свои критерии отбора и оценок. Дело тут в том, что даже самые умные, образованные и талантливые идеологические аристократы не смогли бы выполнить эту историческую задачу создания "коммунистического манифеста двадцатого века" лучше, чем самые глупые, невежественные и бездарные идеологические плебеи: эти "манифесты" и прочие вклады в сокровищницу марксизма–ленинизма по самой природе не могли быть иными, и создатели их должны были быть адекватны им.

Сочинялся весь брежневский идеологический идиотизм под руководством именно тех "молодых, талантливых, инициативных" молодых (тогда) людей, которые в горбачевские годы вылезли на поверхность и составили мозговую элиту горбачевизма. Только теперь они в угоду новому хозяину стали поливать грязью своего прежнего хозяина Брежнева.

Ирония истории заключалась в том, что Брежнев, подражая Сталину по внешним формам власти, был его прямой противоположностью. Именно с его именем оказался связанным стиль руководства, противоположный сталинистскому. Сталинистский стиль руководства был волюнтаристским. Он заключался в том, что высшая власть стремилась насильно заставить население жить и работать так, как хотелось ей, власти. Брежневский же стиль руководства, хотел он этого или нет, оказался приспособленческим. Здесь сама высшая власть приспособлялась к объективно складывавшимся обстоятельствам жизни населения. Высшая власть разыгрывала спектакли волюнтаризма, а на самом деле плелась в

хвосте неподвластной ей эволюции страны. Альтернатива сталинизму не есть нечто хорошее. Она может быть столь же гнусной, как и то, альтернативой чего она является. Это лишь две крайности в рамках одного и того же социального феномена.

АНЕКДОТЫ О БРЕЖНЕВЕ

Как я уже писал, анекдоты о Брежневе выражали презрение к нему как к полному ничтожеству. Приведу несколько примеров. Брежнев попросил помощников написать ему доклад на один час. Они подготовили доклад. Но вместо часа Брежнев читал его четыре часа. Он возмутился и начал ругать помощников. Те же сказали, что они доклад подготовили на час, но что Брежнев прочитал все четыре копии его. Или вот такой анекдот, например. В квартире Брежнева зазвонил телефон. Брежнев снял трубку и сказал: "Дорогой Леонид Ильич слушает".

В квартире Брежнева раздался звонок. Брежнев подошел к двери, надел очки, вынул бумажку из кармана и прочитал: "Кто там?"

Как известно, Брежнев был награжден 260 медалями и орденами общим весом в 18 килограммов. Задается вопрос: что будет с крокодилом, если он проглотит Брежнева? Ответ: крокодил будет две недели испражняться орденами.

Сообщение радио: "Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев после тяжелой болезни, не приходя в сознание, приступил к исполнению служебных обязанностей".

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ

В 1963 году я выбрался из очередного душевного кризиса, отбросил все, что было связано с житейской суетой, и сосредоточился на творческой деятельности в области логики и методологии науки. Научная работа увлекала меня так, как никогда до этого. У меня появилось множество учеников. Я относился к ним как к детям. Забота о них наряду с занятиями наукой оттеснила все остальное далеко на задний план. Потребность в близких людях в значительной мере компенсировалась близостью с учениками. И они во мне видели нечто большее, чем просто профессора и научного руководителя.

За годы 1964 – 1974-й я опубликовал множество книг и статей, причем многие на западных языках. Подготовил десятки студентов и аспирантов. Создал свою группу (и школу) в логике, которая стала приобретать международную известность. Получил титул доктора и профессора. Был профессором и заведующим кафедрой логики, членом редколлегии журнала "Вопросы философии", членом важной комиссии Министерства высшего образования. Мои работы имели международный резонанс. Меня постоянно приглашали лично на международные

профессиональные конгрессы и симпозиумы. Я был избран в Академию наук Финляндии, что было серьезным признанием моих заслуг в логике. Я стал одним из самых цитируемых философов в Советском Союзе и самым широко цитируемым советским философом на Западе. Все это пришло ко мне не вследствие моих карьеристических усилий, а благодаря личным результатам и благодаря фактической либерализации советского общества, происходившей фактически и вопреки усилиям властей остановить ее.

Вместе с тем эти годы были самыми успешными годами моего жизненного эксперимента, т. е. попытки реализовать мой идеал личного автономного государства. То, что именно эти годы стали годами моего эксперимента, произошло не случайно. Дело в том, что моя жизненная концепция была создана для зрелого коммунистического общества, как стали говорить при Брежневле для "развитого социализма". А такое состояние наступило лишь в эти годы.

И в моем личном положении в обществе я достиг идеала.

Я стал доктором наук, старшим научным сотрудником и профессором, что обеспечивало мне высокий материальный уровень и почти полную свободу действий. Мое личное положение и мои личные отношения с людьми открывали мне доступ в самые различные слои, сферы и учреждения общества. Я получил возможность наблюдать механизмы советского общества почти что в лабораторно чистом и не прикрытом ничем виде. Я мог в своем поведении позволить себе многое такое, что было фактически запрещено для других, например не быть марксистом, общаться с иностранцами, печататься на Западе; свои лекции, публичные выступления и частные разговоры вести так, "как будто никакой советской власти, никакого марксизма, никакой партии не существовало" (это слова из одного из доносов, которые на меня в те годы сочинял мой близкий друг и вместе с тем непримиримый враг Э. Ильенков).

Не знаю, как в отношении других, но в отношении меня презираемая на Западе объективная диалектика сыграла свою роковую роль. Мои усилия в науке и в преподавании принесли мне успех и способствовали укреплению моего личного государства. Но они же одновременно стали действовать в противоположном направлении – в направлении разрушения его. Чем больше становились мои успехи, тем сильнее становилось решение моей среды остановить меня. Все эти десять лет были годами постоянной борьбы со средой, борьбы, расплывшейся на тысячи мелких стычек по самым, казалось бы, ничтожным поводам.

МОЕ ОКРУЖЕНИЕ

Мне приходилось, разумеется, сталкиваться с рабочими, крестьянами, конторскими служащими, с людьми из сферы обслуживания. Но все эти категории людей не играли фактически ту роль в советском обществе, какую им приписывала советская идеология и пропаганда. Я жил главным образом в среде людей, которые были самой активной, самой культурной

и самой интересной во многих отношениях частью населения, – в среде той части интеллигенции, которая непосредственно соприкасалась с высшими органами власти (в особенности с ЦК и КГБ), обслуживала их и вместе с тем была погружена в общую среду социально и культурно активной части населения.

В хрущевские и брежневские годы совершенно отчетливо обнаружилась социальная структура советского населения, характерная для коммунистического общества. Марксистское деление советских людей на рабочих, крестьян и интеллигенцию утратило даже идеологический смысл. Многомиллионная армия работников системы власти и управления образовала особый слой, который никак нельзя было отнести к указанным трем категориям. Даже в анкетах в пункте "социальное положение" писали не "интеллигент", а "служащий". Причем сами понятия "рабочие", "крестьяне" и "интеллигенция" лишились прежнего смысла.

Кто-то (кажется, А. Солженицын) предложил ввести в употребление понятие "образованщина". Но я в этом особой надобности не вижу. Тот факт, что многие люди в советском обществе получают среднее и высшее образование, не дает оснований относить этих людей к одной и той же социальной категории. Уровень образования вообще не есть критерий социологический. Дело, в конце концов, не в словах. В советском обществе сложился многочисленный и социально влиятельный слой граждан, которые профессионально работают в области культуры, хранят достижения культуры, передают их новым поколениям и сами вносят в культуру свой вклад. В советском обществе все они (за редким исключением) являются сотрудниками государственных учреждений или членами особого рода организаций вроде Союза писателей, Союза художников, которые фактически суть лишь разновидности все тех же государственных учреждений. И почти все, что делают эти граждане, делается в рамках этих учреждений и под их контролем. Сами же эти учреждения в целом включены в единую систему советских учреждений, находятся под строжайшим контролем органов управления, включая партийный контроль. К этой же категории можно отнести многих профессионально образованных граждан, обслуживающих интеллектуальный аспект работы аппарата власти и управления. Я считаю возможным за этой категорией граждан, профессионально исполняющих культурные, интеллектуальные и творческие функции общества, сохранить название "интеллигенция" (во всяком случае, я буду это слово употреблять здесь именно в таком смысле).

В хрущевские и брежневские годы с полной очевидностью обнаружилось, что с моральной точки зрения советская интеллигенция есть наиболее циничная и подлая часть населения. Она лучше образована. Ее менталитет исключительно гибок, изворотлив, приспособителен. Она умеет скрывать свою натуру, представлять свое поведение в наилучшем свете и находить оправдания. Она есть добровольный оплот режима. Власти хоть в какой-то мере вынуждены думать об интересах страны. Интеллигенция думает только о себе. Она не есть жертва режима. Она носитель режима. Вместе с тем в эти годы обнаружилось и то, что именно интеллигенция составляет наиболее активную часть в оппозицию к той или иной политике властей. Причем эта часть интеллигенции, впадая в оппозицию к режиму, выражает лишь свои личные интересы. Для

многих из них оппозиция выгодна. Они обладают привилегиями своего положения и вместе с тем приобретают репутацию жертв режима. Они обычно имеют успех на Западе. Западу удобно иметь дело с такими "борцами" против советского режима. Среди таких интеллигентов бывают и настоящие борцы против язв коммунистического строя. Но их очень мало.

ЛИБЕРАЛЬНАЯ ФРОНДА

В хрущевские годы в среде советской интеллигенции стали приобретать влияние люди, выглядевшие либералами в сравнении с людьми сталинского периода. Они отличались от своих предшественников и конкурентов лучшей образованностью, "большими" способностями и инициативностью, более свободной формой поведения, идеологической терпимостью. Они вносили известное смягчение в образ жизни страны, стремление к западноевропейским формам культуры. Они стимулировали критику недостатков советского общества, сами принимали в ней участие. Вместе с тем они были вполне лояльны к советской системе, выступали от ее имени и в ее интересах. Они заботились лишь о том, как бы получше устроиться в рамках этой системы и самую систему сделать более удобной для их существования. Если антисталинизм был оппозицией крайностям коммунистического строя, то либерализм был оппозицией провинциализму, застою, серости его умеренного существования.

В брежневские годы "либералы" приобрели настолько сильное влияние на всю интеллигентскую среду, что первую половину брежневского правления можно было бы назвать либеральной, причем с большим основанием, чем хрущевские годы. Во вторую половину брежневского правления "либерализм" пошел на спад. Но это не означало, что "либералов" потеснили некие "консерваторы". Это означало, что сами "либералы" в массе своей стали эволюционировать в сторону "консерватизма", исчерпав свой "либерализм" и урвав свои куски от благ общества.

В тех кругах "либеральной" интеллигенции, в которых мне приходилось вращаться, уже в хрущевские годы началось расслоение. Основная масса стала потихоньку приспосабливаться к новым условиям и устраиваться более или менее комфортабельно за счет науки, искусства, культуры. Наиболее ловкая и предприимчивая часть начала делать успешную карьеру, выделяясь в привилегированные слои. Сравнительно небольшая часть, не способная к карьере или избегавшая ее в принципе, ушла в творческую и в чисто интеллектуальную деятельность, как таковую. Грани между этими тремя группами не были резкими и неподвижными. Происходили всякого рода флуктуации. Но в принципе эти три тенденции можно было видеть в поведении вполне конкретных личностей.

Было бы несправедливо отрицать ту положительную роль, какую "либералы" сыграли в советской истории. Это было движение, в которое было вовлечено огромное число людей. Деятельность "либералов" проявлялась в миллионах мелких дел, в совокупности оказавших влияние

на весь образ жизни советского общества. Если антисталинистское движение проходило в рамках партийных организаций, то либеральное движение вышло за эти рамки и захватило более широкий круг советских учреждений. Подробнейшим образом интеллигентская либеральная фронда описана мною в "Зияющих высотах". Ниже я хочу остановиться еще на одном явлении этого периода, которое вносит дополнительный штрих в это описание. Оно связано с именами Кафки и Оруэлла. Это явление очень важно для меня как писателя и социолога.

КАФКАНЬЕ

В московских интеллигентских кругах начали говорить о Кафке уже в конце хрущевского правления. В 1965 году были опубликованы некоторые сочинения Кафки по-русски – "Процесс" и ряд новелл. Официально творчество Кафки истолковывалось как отражение пороков буржуазного общества, как признак его глубокого разложения и предвестник его скорой гибели. Но московские фрондирующие интеллектуалы использовали его как повод в завуалированной форме похихикать насчет язв своего собственного общества и повздыхать о своей собственной печальной участи. Они, разумеется, истолковали творчество Кафки как разоблачение советского "тоталитарного режима". Вздохи были лицемерны, ибо участь вздыхателей была не столь уж печальна: они делали карьеру, добивались успехов, обогащались материально. Истолкование было притянута за уши. Но это не мешало московским "храбрым" интеллектуалам вести бесконечные разговоры, в которых они блистали своей осведомленностью насчет "современной" культуры и прогрессивностью воззрений. Появился даже особый термин для обозначения разговоров такого рода: "кафкать", "кафканье". Изобрел этот термин философ Э. Соловьев, написавший по этому поводу замечательное стихотворение. Кафканье становилось модой. Те, кому Кафка не нравился по каким-то причинам (в этом мало кто признавался), или кто признавался в том, что понятия не имеет о Кафке (таких было еще меньше), рассматривались как невежды и мракобесы. При этом лишь немногие на самом деле прочитали сочинения Кафки. Большинство же перелистало их наспех или вообще не читало (в силу незнания западных языков хотя бы), получая сведения о них из вторых и третьих рук, причем весьма фрагментарные и искаженные.

Вскоре, однако, мощный поток прямого разоблачения недавней советской истории (периода сталинизма) оттеснил кафканье на задний план. Более или менее широкий интерес к Кафке спал. Это не было случайным. И не было просто ослаблением моды. Произошло это в силу неадекватности творчества Кафки вкусам, менталитету и потребностям московской интеллигентной читающей публики. Вспоминаю, как в начале хрущевской эры в одной компании московских интеллектуалов с вечера до утра спорили о том, в какой мере "Процесс" Кафки соответствует процессам сталинских времен. Никто из спорящих не принимал участия в сталинских процессах ни в качестве жертв, ни в качестве палачей. Когда же "лагерная" литература стала более или менее доступной в наших кругах, выяснилось, что процессы сталинских времен ничего общего не имели с процессом в изображении Кафки. Можно, конечно, тут

заметить, что ошибочно истолковывать сочинения Кафки как реалистическое описание каких-то явлений. Но тут дело было не в литературоведении, а в реальной жизненной ситуации. Творчество Кафки было поводом поговорить о реальности, и этот повод оказался слабым, неглубоким и непродолжительным.

Но, как бы мы ни истолковывали творчество большого писателя, в нем так или иначе отражается реальность. Вопрос лишь в том, какая именно реальность отражается в нем и что происходит с этой реальностью сегодня. В творчестве Кафки отразилась реальность западного общества его времени. Но реальность западного образа жизни того времени (впрочем, и сегодня тоже) обладала чертами, которые являются специфическими именно для этого типа социальной организации, и чертами, которые являются общими всякому развитому обществу, но которые становятся доминирующими лишь в обществе коммунистического типа. В реальности они существовали совместно и казались неразделимыми. Интерпретаторы Кафки, выделяя те или иные из этих явлений и подчеркивая их, могут представить его то критиком умирающего западного (буржуазного) общества, то предтечей нарождающегося коммунистического общества. При этом одни интерпретаторы все то, что им кажется отражением зла в творчестве Кафки, приписывают обществу буржуазному, а другие коммунистическому. А между тем опыт жизни реального коммунистического общества в Советском Союзе позволяет осуществить тут должную дифференциацию.

Опыт реального коммунистического общества обнаруживает, что самые мощные средства порабощения индивида обществом ему подобных заключаются в повседневном образе жизни множества обычных людей. Они настолько привычны и очевидны, что остаются незамеченными даже самими, казалось бы, глубокими мыслителями и художниками. Механизм этого порабощения не имеет ничего общего с той картиной, какую изображает Кафка. Переносить ее на советское общество – значит мистифицировать очевидную реальность, уклоняться от честных и откровенных разговоров о ней. Это было характерно для фрондирующей интеллигенции брежневских лет. В произведениях писателя отбирались определенные идеи и образы. Затем в некоторой реальности подыскивались какие-то явления, которые, по идее, должны были быть осуществлением предчувствий и предсказаний писателя. Реальность подгонялась под литературу. И как правило, реальность искажалась в угоду некоторой априорной концепции для фрондирующих интеллектуалов показать безнаказанно "кукиш в кармане" режиму, которому они сами служили.

НЕВЕЖЕСТВО ЕСТЬ СИЛА

Сочинения Оруэлла стали циркулировать в наших кругах уже в брежневские годы, причем в самодеятельных переводах, сделанных, кстати сказать, добросовестно. Они имели больший успех, чем сочинения Кафки, особенно "1984". Об этой книге много говорили и спорили. Причем ее истолковывали как книгу социологическую и даже как профетическую, предсказывавшую будущее состояние человечества.

Это истолкование делалось отнюдь не против воли и намерений самого Оруэлла. Он сам, по его словам, стремился довести до логического конца "тоталитарные идеи", которые были достаточно сильными уже в его время и которые уже частично реализовались в гитлеровской Германии и в сталинской России. Год 1984-й был на Западе объявлен годом Оруэлла, поскольку именно к этому году были приурочены события его книги. Я сделал в связи с этим ряд выступлений. Но все идеи этих выступлений я высказывал еще в спорах в московских компаниях в брежневские годы, причем еще более резко и детально, чем я это делал, оказавшись на Западе. Московские споры имели для меня более важное значение, поскольку для меня речь шла об объективно научном понимании советского общества. Мои взгляды на коммунистическое общество и на эволюцию человечества в эти годы складывались в значительной мере в полемике с оруэлловской картиной, которая считалась наилучшим описанием реального коммунизма и эволюции человечества в нашу эпоху. Мне же эта картина представлялась поверхностной, примитивной, надуманной. Она была очень эффектной и удобной в сфере идеологически-пропагандистской критики коммунизма. Я же шел по пути критики научной, отвергающей всякие литературные эффекты.

Согласно книге Оруэлла, общественное устройство в 1984 году будет более примитивным, чем пятьдесят лет назад. Если тут и является что-то более примитивным, так это представление об общественном устройстве, а не само это устройство. Посудите сами! Социальный строй будущего послекапиталистического общества выглядит по Оруэллу так. На вершине общественной пирамиды – Большой Брат. Ниже идет Внутренняя Партия, еще ниже – Внешняя Партия, и в самом низу – массы ("пролы"). Большой Брат всесилен и непогрешим. Его роль фокусировать в себе эмоции общества: любовь, страх и другие. Внутренняя Партия есть мозг общества, Внешняя – его руки. Вся система управления сосредоточена в четырех министерствах. Пролы не имеют интеллекта, лишь сорок процентов из них имеют какое-то образование. Дети начинают работать с двенадцати лет. Члены партии отделены от масс и находятся под постоянным контролем полиции мысли. Существенную роль здесь играет особое техническое устройство (телескрин), с помощью которого осуществляется физическое наблюдение за ними. Здесь преследуется как преступление любовь, низводится почти до нуля сексуальное чувство. Люди одиноки, духовно изолированы. Сослуживцы, годами работая вместе, обычно даже не знают друг друга. Власть в обществе принадлежит Партии. Партия добивается власти путем причинения людям боли, мучений, страха. Это общество вообще основывается на ненависти. Прогресс теперь есть движение к еще большей боли, к еще большим страданиям. Партия не передает власть своим детям по наследству. Зачем Партия добивается власти? Тут самый главный секрет Партии. И раскрывается этот самый глубокий, таинственный и интригующий секрет в самом конце книги: оказывается, власть для Партии – не средство, а конечная цель. Партия добивается власти ради самой власти.

Реальное коммунистическое общество мало что общего имеет с таким описанием. Оно не лучше и не хуже оруэлловского. Оно просто совсем иное. Разумеется, в оруэлловское описание вошли те сведения о реальном коммунизме, которые он получил из различных источников. Но

построено это описание в соответствии с понятиями, представлениями, критериями, вкусами, менталитетом и психологией западного читателя. Это, пожалуй, до сих пор есть наиболее сильное и характерное выражение того, как себе представляет коммунистическое общество западный человек, который никогда не жил в условиях реального коммунизма, который имеет о последнем весьма поверхностные и отрывочные сведения, который живет в сравнительно благополучных условиях западной демократии и с иллюзиями насчет неких неотъемлемых потребностей, качеств и прав человека. Оруэлловское описание будущего (для его времени) общества построено так, чтобы вызвать чувство страха, негодования и протеста именно у такого читателя. Потому в нем доминируют чисто негативные явления сталинского периода и нелепые сказки, которые принесли на Запад российские эмигранты и поверхностные западные наблюдатели. А адекватное описание реального коммунистического общества не только не может вызвать подобные эмоции в душе такого читателя, оно вообще обречено остаться непонятым. Нужны иные понятия, критерии, представления, вкусы, чтобы такое адекватное описание коммунизма понять. Нужен опыт жизни в условиях реального коммунизма, чтобы испытать страх, негодование, протест и прочие эмоции такого рода.

Реальное коммунистическое общество приходит в мир прежде всего как искушение и облегчение условий жизни для многих миллионов людей. Лишь на этой основе оно развивает и обнаруживает свою подлинную натуру как новая форма угнетения, рабства, неравенства. Оно при этом порождает новый тип человека как существа социального, с новыми представлениями о мире, об обществе, о ценностях и смысле жизни, с новыми критериями оценки всего происходящего. Оно порождает нового человека, с точки зрения которого оруэлловское общество выглядит лишь как намек на недостатки того реального общества, в котором он живет, в частности на дефицит предметов потребления, доносы, фальсификацию истории.

Приведу лишь несколько разрозненных примеров несоответствия оруэлловского описания реальному коммунистическому обществу, классическим и историческим первым образцом которого является Советский Союз. Это общество поголовной и обязательной грамотности. Причем грамотность здесь не есть показатель некоей душевной доброты властей, она есть абсолютная необходимость для существования всей системы хозяйства, культуры и управления. Детский труд запрещен. Люди чувствуют себя детьми здесь гораздо дольше, чем на Западе. Условия труда здесь значительно легче, чем на Западе. Хотя жизненный уровень тут в целом ниже, чем на Западе, зато тут все основные жизненные факторы гарантированы – работа, образование, жилище, медицинское обслуживание, пенсия. Семья здесь не разрушается, дети не отрываются от родителей. Любовь и секс не преследуются, если они не переходят в разврат и извращения. Коммунистическое общество вообще устраняет проблему одиночества и изолированности индивида. Индивид здесь оказывается во всех своих основных жизненных функциях членом коллектива, полностью подпадает под его (коллектива) контроль. И никакого мистического телескрин тут не нужно, ибо члены коллектива знают друг о друге все, причем знают наперед.

С социологической точки зрения коммунистическое общество разделяется

не на партию и пролов, а совсем на иные структурные элементы и иные категории граждан. Партия здесь имеет совсем иную структуру. И роль ее иная. Члены партии не отделены от прочих граждан общества. Образ жизни большинства из них не отличается от образа жизни беспартийных. Привилегированные слои населения передают свое положение по наследству своим детям благодаря лучшему образованию и связям родителей. Все жизненные блага в этом обществе распределяются в соответствии с социальным положением индивидов. И люди добиваются власти здесь не ради власти, как таковой, а ради тех жизненных благ, какие дает власть. Глубочайший секрет оруэлловской Партии есть на самом деле социологическая нелепость. Никаких мистических секретов в этом обществе нет вообще. Оно страшно своей серостью, прозаичностью, нормальностью, целесообразностью.

Нелепостью выглядит также и идеология оруэлловского посткапиталистического общества в сравнении с идеологией реального коммунистического. "Мы, – заявляет представитель господствующей верхушки оруэлловского общества, – отказались от идеи девятнадцатого века, будто существуют какие-то объективные законы природы. Мы, – утверждает он, – сами создаем законы природы. Реальность существует лишь в коллективном сознании Партии и нигде больше. Реальность находится внутри черепа. Мы контролируем сознание и благодаря этому контролируем материю".

С такой идеологией долго управлять обществом невозможно. Идеология реального коммунистического общества опирается на науку и использует ее достижения. Управление этим обществом в принципе невозможно без признания объективных закономерностей природы и общества.

Оруэлл на самом деле не предсказал будущее посткапиталистическое общество, а отразил страх Запада перед ним.

Кто-то сказал, что масштабы ученого определяются тем, как много людей он ввел в заблуждение и насколько долго. Эту формулу можно применить и к оценке масштабов личности в сфере социальной мысли. С этой точки зрения вклад Оруэлла в формирование западных представлений о будущем посткапиталистическом обществе огромен. И Запад в ближайшие годы вряд ли с ними расстанется. Так что книге Оруэлла предстоит еще немало лет влиять на умы и чувства миллионов людей на Западе. Ничто так долго не застревает в душах людей, как ложные идеи, ставшие предрассудком. Невежество действительно есть сила!

ВРЕМЯ КУКИШЕЙ

По тем же причинам я остался равнодушен к сочинениям Замятина, Платонова, Булгакова и других, которые стали играть роль того же "кукиша в кармане". Вообще это была эпоха "кукишей". Критику "режима" усматривали во всем мало-мальски похожем на нее и всему старались придать намек на критику. В игре стало принимать огромное число людей, включая научных работников, профессоров, писателей,

художников, журналистов, сотрудников аппарата власти и даже КГБ, иностранцев. Характерным примером такого рода был Театр на Таганке, руководимый Ю. Любимовым. Этот период "кукишей в кармане" (и в том числе театр Любимова) я подробнейшим образом описал в "Зияющих высотах". В эти годы значительная часть столичной интеллигенции заняла позицию "как бы расстрелянных". Эти люди прекрасно устраивались в жизни и делали успешную карьеру, но вместе с тем стремились выглядеть так, будто именно они суть жертвы режима. Они стремились урвать для себя все – и все блага слуг режима, и репутацию борцов против режима.

ОЛЬГА

В 1965 году в Институт философии поступила на работу девятнадцатилетняя Ольга Сорокина. Она только что окончила школу и курсы машинописи и стенографии при Министерстве иностранных дел. Ее должны были взять на работу в Президиум Верховного Совета СССР как лучшую выпускницу курсов. Но оформление затянулось чуть ли не на целый год из-за того, что ее сестра была замужем за иностранцем. Хотя этот иностранец был венгр, окончивший военную академию в Москве, с точки зрения КГБ он был все равно иностранцем. И Ольга поступила к нам в институт. Когда ее в конце концов решили все же взять в Президиум Верховного Совета, она отказалась и осталась в институте. Мы познакомились. Она перепечатывала мне на машинке сноски на иностранные источники. Участвовала в выпуске стенных газет. Мы встречались также на праздничных вечерах в институте, ходили в одних компаниях в туристические походы, ездили на экскурсии. Короче говоря, мы подружились. Появились взаимные симпатии. Но о более близких отношениях я и думать не хотел. Хотя я выглядел и чувствовал себя много моложе своих лет, разница в возрасте была слишком большой: двадцать три года. К тому же я крепко обжегся на предыдущей женитьбе и боялся повторения. Ольга была чрезвычайно привлекательной внешне. Около нее всегда крутились поклонники. Рассчитывать на то, что у нас получится мирная и спокойная семья, я не мог. Положение холостяка меня вполне устраивало. Ко всему прочему, женитьба, как мне казалось, могла повредить и даже разрушить мое государство, которое я уже начал успешно строить. Я был окружен студентами и аспирантами. Они поглощали все мои отцовские потенции. Ложась спать, я повторял многократно слова: "Как хорошо, что я один! Боже, благодарю тебя за то, что я один!" Просыпаясь, я говорил себе те же слова. Я говорил это себе много раз и в течение дня.

Однако я не устоял, и мы поженились. В 1967 году я наконец-то получил свое жилье – однокомнатную квартиру площадью 19 кв. м.

В 1971 году у нас родилась дочь Полина. В то время в Москве пользовалась успехом книга американского врача Б. Спока о воспитании детей. Ольга выучила книгу наизусть и отнеслась к рекомендациям автора с полной серьезностью. И результаты сказались. Полина росла здоровым, жизнерадостным и сообразительным ребенком. Никогда не

плакала. У нас из-за нее не было ни одной бессонной ночи. Наши родственники сначала возмущались тем, как мы обращались с дочерью (например, она у нас часами спала на балконе, когда мороз был даже ниже 15 градусов). Но, увидев результаты, стали ставить наше воспитание в пример прочим.

Хотя наша квартирка была маленькая (всего одна комната 19 кв. м.), мы были счастливы. Ольга оказалась прекрасной и гостеприимной хозяйкой. У нас в доме всегда были люди. Я получал сравнительно много денег, но мы их проживали, как говорится, "от полочки до полочки". Мы помогали нашим родственникам и много тратили на гостей.

В 1972 году умер отец Ольги. Ее мать осталась одна в маленькой квартире (31 кв. м.), которую отец Ольги получил лишь в возрасте шестидесяти трех лет, причем на семью в пять человек. Мы решили съехаться, т. е. обменять нашу квартирку и квартирку матери Ольги на одну и жить вместе.

Мы выменяли хорошую по московским условиям квартиру. В новой квартире у меня впервые появился свой кабинет. Хотя и маленький (всего 8 кв. м.), но мне этого было более чем достаточно. Наша квартира стала местом постоянных встреч моих многочисленных учеников и наших еще более многочисленных знакомых. Улучшение жилищных условий вообще сыграло огромную роль в нарастании оппозиционных и бунтарских настроений в стране. За людьми стало труднее следить. В отдельных квартирах стало легче собираться большими группами. Телефон и хороший транспорт улучшили возможности коммуникации и распространения информации. Если прогресс в этом отношении будет продолжаться, условия контроля власти за населением будут все более усложняться.

Эти годы были чрезвычайно напряженными, продуктивными и трудными. Ольга поступила на вечернее отделение философского факультета университета. Одновременно она работала в Институте философии. О том, как я был занят, я уже говорил. Должен признать, что семейная жизнь не ослабила, а, наоборот, укрепила мое государство. Ольга приняла мою концепцию жизни, никогда не осуждала меня за то, что я постоянно упускал возможности служебной карьеры и повышения материального благополучия. Уже тогда стали ощущаться мои расхождения с моим социальным и профессиональным окружением, и Ольга всегда разделяла мою принципиальную позицию, которая стала причинять мне ущерб.

ИНОСТРАНЦЫ В НАШЕМ ДОМЕ

В брежневские годы колоссально расширились связи советских людей с людьми из стран советского блока и стран Запада. У нас в доме стали постоянно бывать люди из стран советского блока, особенно из Польши

и ГДР, где у меня было много учеников и друзей, где регулярно печатались мои книги. Часто посещали нас и западные люди, знавшие меня по моим работам. Через соучеников Ольги по факультету мы познакомились с молодыми французами, работавшими или учившимися в Советском Союзе. После этого нас стали регулярно навещать многочисленные туристы из Франции. Эти связи потом сыграли важную роль в пересылке моих литературных сочинений на Запад. Не случайно потому именно Франция стала моей литературной родиной. Через других наших знакомых (особенно через Э. Неизвестного, с которым я дружил и в мастерской которого встречался с десятками иностранцев) к нам в дом попадали и люди из других стран – из Италии, США, Англии. Еще до моего открытого бунта я познакомился с рядом западных журналистов, в частности с Р. Эвансом из агентства Рейтер (Англия), а также со шведскими и финскими журналистами. Они точно так же бывали у нас дома.

Наши отношения с иностранцами не были секретом для наших сослуживцев. Меня не раз вызывали в партийное бюро института и в КГБ по этому поводу. Но я игнорировал все предупреждения на этот счет. И это вносило свою долю в процесс моего отторжения от советского общества.

ПОПЫТКА ПРИОБЩЕНИЯ К МАРКСИЗМУ

В моей научной и педагогической деятельности я вел себя так, как будто никакого марксизма–ленинизма вообще не существует. Это соответствовало моей установке игнорировать советскую официальную идеологию. Отношение к такой позиции со стороны руководства и философской среды было противоречивым. С одной стороны, они были довольны тем, что я устранился от марксизма и не лез туда со своим новаторством, предоставив им эту сферу в безраздельное владение. Их устраивало то, что я возился со своими "крючками", "значками" и "закорючками", считая это занятие крайне второстепенным сравнительно с их "большими" проблемами. А с другой стороны, моя позиция вызывала у них беспокойство. У меня нашлась масса последователей по стране. Я своим примером показал, что даже в идеологическом центре можно заниматься творческой работой, игнорируя марксизм. Это стало превращаться в моду. Возникла довольно сильная тенденция обходиться без ссылок на классиков марксизма даже в философских работах, затрагивавших проблемы, считавшиеся вотчиной марксизма. Стали учащаться ссылки на мои сочинения. Я приобретал неофициальную популярность среди молодежи в философских и околофилософских кругах. Естественно, возникло желание лишить меня такой "экстерриториальности" и приобщить к марксизму. Выразалось это в том, что меня обязывали делать ссылки на классиков марксизма, угрожая в противном случае не пустить мои работы в печать. Я делал вид, что соглашался с требованиями, но всяческими способами ухитрялся избегать этого. Иногда я вычеркивал эти ссылки уже в корректуре.

Кульминационным пунктом усилий приобщить меня к марксизму была такая

история. В связи с резко возросшим общим интересом и уважением к логике вице-президент АН СССР П.Н. Федосеев предложил выступить мне с докладом в президиуме Академии наук. На докладе присутствовали видные специалисты в области математической логики, в том числе академик П.С. Новиков, выдающийся математик, лауреат Ленинской премии. Мой доклад был одобрен. Казалось, передо мною открывалась прекрасная перспектива. Через некоторое время меня вызвали к Федосееву. Он высоко оценил мою деятельность. Сказал, что меня собираются избирать в члены-корреспонденты академии, что для меня надо создать особый отдел логики или особую лабораторию. Пообещал устроить мои жилищные дела, добиться получения для меня отдельной квартиры сверх норм академии. Но я должен публично обозначить мою "партийную принадлежность", т. е. заявить четко и определенно в печати, что я являюсь марксистом-ленинцем, что я провожу мои исследования не с позиций логического позитивизма, а с позиций марксизма. Федосеев предложил мне написать на эту тему статью для "Вопросов философии", а еще лучше – для "Коммуниста", обещая содействие в печатании. Опубликоваться в "Коммунисте" было не так-то просто без протекции. Сам факт такой публикации означал, что автор статьи имеет поддержку в высших партийных органах. Это являлось важнейшим шагом в карьере. Федосеев был уверен в том, что я ухвачусь за такое лестное и перспективное предложение. В его практике еще не было случая, чтобы кто-то от этого отказался.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Я оказался в затруднительном положении. Отказываясь от предложения Федосеева, я, естественно, лишался тех благ, какие мог иметь в случае их принятия. Но меня эти блага не соблазняли. Я не мог принять это предложение, так как это противоречило моим принципам и испортило бы мою репутацию, которой я дорожил. А мой отказ ухудшил бы мои перспективы. Я решил уклониться от предложения, постепенно "замотав" его. Я рассчитывал на то, что Федосеев "остынет" в отношении своих намерений "поднять" меня. И просто позабудет о такой мелочи. Но я ошибся. Сотрудник "Коммуниста", работавший в отделе, где предполагалась публикация моей статьи, несколько раз спрашивал меня, когда я принесу статью. Я откладывал. Наконец он сам предложил написать за меня статью. От меня требовалось лишь поставить мою подпись. На сей раз я категорически отказался.

Последствия моего отказа я чувствовал во все последующие годы. Меня несколько раз выдвигали в члены-корреспонденты Академии наук и каждый раз мою кандидатуру отклоняли в ЦК.

Меня выдвигали на Государственную премию. Результат был тот же. Попытки приобщения меня к марксизму после этого не прекратились. Их предпринимал и бывший сталинист Ф.В. Константинов, ставший директором нашего института, и либерал П.В. Копнин, сменивший его на посту директора. Забавно, что один из самых отпетых бывших сталинистов М.Б. Митин, опубликовавший мою первую статью в "Вопросах философии", категорически предостерегал меня от "флирта с

марксизмом" (это его слова). Однажды мне позвонили из редакции газеты "Известия" и сообщили, что моя статья принята к публикации. Никаких статей в эту газету я не посылал. Кто-то сочинил эту гнусную марксистскую статью от моего имени. Я предполагаю, что это сделал мой бывший друг Эвальд Ильенков. Он мог это сделать в порядке хохмы, которыми мы регулярно обменивались. Но эта хохма выходила за рамки шуток. Мое предположение основывается на том, что его открытые письма в президиум АН СССР и в ЦК насчет моего "логического позитивизма" по стилю были похожи на "мою" статью в "Известиях". Я потребовал произвести расследование по поводу подлога. Но по указанию Федосеева дело замяли.

Мой отказ заявить о себе как о марксисте помешал мне сделать карьеру, к которой я и сам не стремился, но мое уже достигнутое положение не затронул существенным образом сразу же. Очевидно, он сработал позднее как дополнение к другим причинам моего "падения". Во всяком случае, меня после этого все-таки назначили заведовать кафедрой логики, членом редколлегии журнала "Вопросы философии" и членом экспертной комиссии при Министерстве высшего образования. Когда меня утверждали на заведование кафедрой, произошел комичный случай. Меня спросили, верно ли это, будто я недооцениваю марксистскую диалектическую логику. Я сказал, что это неверно. Мои собеседники, довольные, заулыбались. "Если человек недооценивает что-то, закончил я свою мысль, – то он это все-таки как-то ценит. А я так называемую марксистскую диалектическую логику просто презираю как шарлатанство". Мои собеседники попросили меня не высказывать это мое мнение публично. В должности заведующего кафедрой меня все-таки утвердили. Но мою реплику припомнили мне, когда освобождали от этой должности.

КОНФЛИКТ С "ЛИБЕРАЛАМИ"

Характерным примером моих взаимоотношений с "либералами" было зачисление меня в члены редакционной коллегии журнала "Вопросы философии", второго (после журнала "Коммунист") по значению идеологического журнала в Советском Союзе. Зачислили меня по настоянию И.Т. Фролова, который впоследствии стал членом ЦК КПСС, академиком и высшим начальником над философией. Тогда он был в середине своей успешной карьеры. Перед этим он был помощником П. Демичева, кандидата в члены Политбюро. Работал в журнале "Проблемы мира и социализма" (в Праге). Ко мне он тогда относился с большим почтением. У нас даже было нечто вроде дружеских отношений. Он был назначен редактором журнала. Заместителем его был назначен мой близкий друг М. Мамардашвили, когда-то считавшийся моим учеником и последователем. Потом наши пути разошлись. Он работал вместе с Фроловым в журнале "Проблемы мира и социализма". В редколлегию вошли также "либералы" В. Афанасьев, нынешний редактор "Правды", и Ю. Замошкин, социолог. Афанасьев перед этим опубликовал популярнейший учебник по философии марксизма, один из самых примитивных в советской философии, и сразу вошел в число ведущих философов. Вошли в редколлегию также П. Копнин, Б. Кедров и Т. Ойзерман – все, можно

сказать, лучшие и прогрессивнейшие личности советской философии, все "либералы". Я был назначен заведующим отделом логики.

Сначала все шло вроде бы хорошо. Напечатали ряд неплохих статей. Даже мою статью напечатали. Но вскоре обнаружилась суть "либерализма". Статьи моего отдела стали проходить с большим трудом. Не пропустили и мою статью. Причем Фролов, не желая брать на себя ответственность за помещение моей статьи, предоставил Мамардашвили, который остался на некоторое время за него редактором, решать ее судьбу. И Мамардашвили, считавшийся очень прогрессивным и умным мыслителем, не пустил ее в печать, руководствуясь, как он сказал, некими "интересами дела". Мое пребывание в редколлегии журнала утратило смысл и стало для меня унижительным. Поводом для моего ухода из нее послужило то, что в журнале началось безудержное холуйство перед Брежневым. В одном номере число ссылок на Брежнева превзошло число ссылок на Сталина в журнале "Под знаменем марксизма" в самые мрачные годы сталинизма. Я вышел из редколлегии. После этого друзья—"либералы" прониклись ко мне ненавистью и начали пакостить. Я еще держался на каком-то уровне за счет того, что росла моя репутация за рубежом. Именно "либералы", становившиеся нормальными хозяевами нормального коммунистического общества, стали основными врагами для меня как для активно действовавшей личности. Они сделали попытку приручить меня, сделать своим и использовать в своих интересах. Убедившись в том, что я не пойду на это, они исторгли меня из своей среды и в конечном итоге из советского общества. Они явились потом главным объектом моей сатиры в "Зияющих высотах". Мамардашвили послужил прототипом Мыслителя, Замошкин – Социолога, Мотрошилова – Супруги, Афанасьев – какого-то очень глупого философа. И. Фролов послужил прототипом для Претендента.

НЕВЫЕЗДНОЕ ЛИЦО

Как только появились мои первые публикации, я стал получать личные приглашения на профессиональные встречи и даже просто индивидуально как из стран советского блока, так и из стран Запада. Но меня никуда не выпускали вплоть до эмиграции. Я был, как говорится, "невыездным лицом". И произошло это главным образом потому, что мои друзья и коллеги создали мне репутацию идеологически и политически неконтролируемого человека. Отчасти это соответствовало действительности. Но лишь отчасти, так как все приглашения не имели никакого отношения к идеологии и политике. Просто мои коллеги использовали это как эффективный способ помешать мне наращивать мой авторитет в кругах западных философов и логиков.

В 1967 году произошел скандал из-за того, что меня не выпустили на международный конгресс, на котором я должен был быть одним из трех лично приглашенных докладчиков. Я потребовал, чтобы мне объяснили, в конце концов, причину постоянных отказов. В ЦК КПСС была создана специальная комиссия по этому поводу. В комиссии участвовали сотрудники КГБ. И самым забавным в моем деле было то, что я по сведениям, полученным из ЦРУ, считался агентом ЦРУ.

В агенты ЦРУ я попал при следующих обстоятельствах. В середине шестидесятых годов в Москву приехал один американский профессор, который явно имел разведывательные интересы. Я уже был с ним знаком: он приехал во второй или третий раз. Он попросил меня и нескольких моих друзей, бывших моих студентов, заполнить обширную анкету шпионского характера. Мои знакомые, один из которых потом стал диссидентом, сразу же донесли на американского шпиона в КГБ. Я не стал это делать, хотя не сомневался в том, что этот человек действительно был шпионом. Я заполнил анкету лишь такими сведениями, которые были общеизвестны. Через некоторое время этот американец был выслан из Советского Союза. Заполненная мною анкета почему-то оказалась в руках КГБ. Меня вызвали на Лубянку. Я объяснил, что никаких секретных сведений американцу не сообщил, а доносить на западных шпионов не входит в мои обязанности и не соответствует моим жизненным принципам. На этом инцидент, казалось, был исчерпан. Но, как мне сказали тогда в ЦК, из ЦРУ почему-то передали в КГБ список интеллектуалов, якобы сотрудничавших с ЦРУ. В этом списке был и я. Очевидно, в ЦРУ мое нежелание доносить на их агента истолковали как готовность сотрудничать с ними.

Меня реабилитировали. В этом мне помогли упомянутый И. Фролов, который тогда еще симпатизировал и покровительствовал мне, и бывший друг Б. Пышков, делавший в свое время под моим руководством дипломную работу на факультете. Он после университета стал работать не то в ЦК КПСС, не то в КГБ. (Позднее жена Ольга изобрела термин "ЦК КГБ".) Не знаю точно, по какому ведомству он числился. Но он уже тогда был влиятельным человеком. Фролов и Пышков приложили усилия к тому, чтобы снять с меня запреты на выезд на Запад. Они добились того, что секретари ЦК КПСС Демичев, помощником которого был Фролов, и Б. Пономарев, в штате которого, я предполагаю, тогда был Пышков, изъявили согласие на то, чтобы сделать меня "выездным лицом". Но воспротивился Суслов. И я так и остался "невыездным". После разрыва с группой "либералов" во главе с Фроловым вопрос о том, чтобы сделать меня "выездным", вообще отпал.

БУНТАРСКИЕ ГОДЫ

Брежневские годы считаются годами массовых репрессий сравнительно с либеральными хрущевскими годами. Брежневские репрессии даже сравниваются со сталинскими. Сравнение бессмысленное. Масштабы брежневских репрессий ничтожны сравнительно со сталинскими. А главное – их социальная природа была совсем иной. Брежневские репрессии были ответной реакцией властей и всего общества на массовый бунт, какого еще не было в советской истории. В сталинские годы о таком бунте никто и помышлять не смел. В хрущевские годы он еще не созрел, еще не было такого материала для репрессий. И в хрущевские либеральные годы принимались репрессивные меры, как только возникали явления бунтарского характера. При Хрущеве прекратили печатание книг Солженицына, разгромили выставку художников в Манеже. Сейчас в Советском Союзе нет массовых

репрессий, аналогичных брежневским. Но дело тут не в том, что режим стал терпимее и либеральнее. Дело в том, что бунт шестидесятых и семидесятых годов был подавлен и исчерпал себя внутренне. Не стало материала для новых репрессий.

Брежневские годы были самыми бунтарскими в советской истории. Большой силы достигло диссидентское движение. Появился "самиздат" и "тамиздат", т. е. печатание сочинений советских граждан за границей. Имена В. Тарсиса, В. Ерофеева, Г. Владимова, В. Войновича, Б. Окуджавы, А. Галича и многих других стали широко известны. Произошел нашумевший процесс А. Синявского и Ю. Даниэля. Стали распространяться запрещенные сочинения А. Солженицына. Начали бунтовать деятели культуры (М. Ростропович, Э. Неизвестный). Началась эмигрантская эпидемия. Возникали попытки саможжения и взрывов. Кто-то попытался взорвать Мавзолей Ленина. В 1969 году лейтенант Ильин совершил попытку покушения на Брежнева. Короче говоря, началось беспрецедентное общественное брожение. Оно охватило прежде всего интеллигенцию. Затем стало распространяться и в других слоях общества, в особенности в среде молодежи.

Этот период еще станет предметом скрупулезных исторических и социологических исследований. Я хочу лишь рассказать, как я сам понимал характер этого бунта. На мой взгляд, тут произошло совпадение двух важнейших факторов. Первый из них – хрущевская десталинизация стала приносить плоды лишь в брежневские годы. Нужно было время, чтобы эти плоды созрели и заявили о себе открыто и массовым порядком. В брежневские годы десталинизация не прекратилась, а лишь ушла вглубь. Второй фактор – беспрецедентное доселе внимание Запада к бунтарским настроениям в стране и воздействие на советское общество. Несмотря на всякие защитные меры, западная идеологическая атака на Советский Союз оказалась чрезвычайно сильной. Западные радиостанции работали с учетом того, что происходило в нашей стране, и имели огромный успех. Они реагировали на все факты репрессий, причем даже на самые мелкие. Они поддерживали самые разнообразные формы протеста хотя бы уже тем, что предавали их гласности. Масса западных людей посещала Советский Союз и оказывала внимание всем тем, кто каким-то образом протестовал и бунтовал против советских условий жизни. На Западе издавались книги советских неофициальных авторов, печатались статьи о советских деятелях культуры, вступавших в конфликт с советским обществом и властями. Так что советский интеллигентский бунт и культурный взрыв произошел в значительной мере благодаря вниманию и поддержке со стороны Запада. Многие советские люди ломали свою привычную жизнь, шли на риск и на жертвы с расчетом на то, что на них обратят внимание на Западе и окажут поддержку хотя бы самим фактом внимания. Само собой разумеется, эта общая ситуация массового бунта и его поддержка со стороны Запада оказала влияние и на мои умонастроения. Она открыла перспективу, о которой я раньше и не помышлял, – перспективу прорыва в западную культуру. И я этот прорыв осуществлял в моей профессиональной деятельности, завоевал известность в логико-философских кругах на Западе. Так что я был одним из участников этого бунта.

ДИССИДЕНТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

На Западе советскими диссидентами называли и до сих пор называют всех тех, кто по каким-то причинам вступает в конфликт с советским общественным строем, его идеологией и системой власти, подвергаясь за это каким-то наказаниям. Тем самым в одну кучу сваливают различные формы оппозиции и протеста: и националистов, и религиозных сектантов, и желающих эмигрировать, и террористов, и политических бунтарей, и жаждущих мирового простора деятелей культуры, и пускающих свои сочинения в "самиздат" писателей.

Диссидентами в Советском Союзе называли не всех, вступающих в конфликт с обществом, идеологией и властями, а лишь определенную часть оппозиционеров, которые делали публичные заявления, устраивали демонстрации, создавали группы. Их лозунгами стала борьба за гражданские свободы и права человека.

Вопрос об оценке значительности диссидентского движения, о силе его влияния на население страны и об отношении к нему населения является, пожалуй, наиболее сложным. Здесь любая точка зрения, по-видимому, может быть подкреплена фактами. Я хочу отметить лишь следующее. Все, что было связано с диссидентством, составляло один из главных (а часто главный) предмет разговоров и размышлений в самых различных слоях общества. И хотя бы только как явление в области идейной жизни общества оно не имело себе равных по степени внимания. Было бы несправедливо отрицать то, что некоторые смягчения в области культуры в последние годы явились одним из следствий диссидентского движения. Даже власти благодаря диссидентам получали некоторое представление о реальном положении в стране, вынуждались к более гибким методам руководства.

К концу брежневского периода диссидентское движение пришло в упадок. Свою роль в этом сыграли репрессии со стороны властей. Но дело не только в этом. Были и другие причины. Упомяну лишь некоторые из них. Прежде всего бросаются в глаза преувеличенные расчеты лидеров диссидентского движения на сенсацию, которая переросла в непомерное тщеславие и самомнение. Многие видные диссиденты стали играть социальные роли, аналогичные ролям кинозвезд и популярных певцов. Концентрация внимания общественности на отдельных фигурах диссидентского движения и на отдельных действиях, ставших удобными штампами для журналистской шумихи, нанесла не меньший ущерб движению, чем погромы со стороны властей.

В диссидентское движение приходили, как правило, люди, не имевшие специального политологического, социологического, философского образования и навыков понимания явлений общественной жизни. Исторически накопленная культура в этой области игнорировалась совсем или подвергалась осмеянию. Достаточно было обругать советское общество и разоблачить его язвы, как разоблачающий автоматически возносился в своем самомнении над официальной советской наукой и идеологией, воспринимал себя единственно правильно понимающим советское общество. Достаточно было подвергнуться репрессиям, чтобы

ощутить себя экспертом в понимании советского общества.

Известно, что большое число диссидентов эмигрировало на Запад. Каждый по отдельности нашел оправдание этой эмиграции для себя и для прессы. Но с точки зрения советских людей, подпавших под влияние диссидентов, это было дезертирством. Эта готовность дезертировать свидетельствовала об отсутствии в значительной части диссидентов глубоких психологических оснований для бунта против режима.

МОЯ ПОЗИЦИЯ

Диссидентам я сочувствовал, со многими был знаком, но никогда не восхищался ими и сам никогда диссидентом не был. На Западе меня, однако, упорно зачисляют в диссиденты. Это недоразумение основано на неопределенности понятий и на игнорировании фактического положения с оппозицией в Советском Союзе. До публикации "Зияющих высот" я с диссидентами сталкивался мало, да и то не как с диссидентами.

В конце шестидесятых годов я заведовал кафедрой логики философского факультета. На моей кафедре работали преподавателями два человека, которые оказались диссидентами. Один из них был Ю.А. Гастев. Руководство факультета предложило мне под каким-либо предлогом уволить их. Я отказался это сделать. За это меня самого сняли с заведования кафедрой. Я отказался уволить этих людей не потому, что сочувствовал диссидентам или что высоко ценил их как ученых и преподавателей (ничего подобного как раз не было), я отказался уволить их потому, что мои принципы не позволяли мне сотрудничать с властями и с начальством вообще в их деятельности политического и идеологического характера.

Несколько позднее в Академии наук организовали письмо, осуждающее А. Сахарова. Это письмо подписали ведущие фигуры советской философии. Предложили подписать мне, поскольку я имел международную известность, издавался на Западе, приглашался персонально на международные конгрессы. Я отказался подписать это письмо. Сделал я это не из симпатии к Сахарову и не потому, что одобрял его идеи. Я как раз не питал к нему и его деятельности никаких симпатий. Я отказался потому, что опять-таки не хотел сотрудничать с властями в подавлении и дискредитации любых форм оппозиции в советском обществе. Мой отказ ухудшил мое и без того ухудшившееся положение.

Я дружил с А. Есениным-Вольпиным, уважая его как логика и игнорируя его политическую деятельность. Я приглашал его участвовать в моем семинаре и сумел напечатать его большую статью по логике в нашем сборнике в институте. Несколько раз присутствовал на выступлениях Б. Окуджавы и А. Галича, восторгаясь ими как бардами, но не считал их диссидентами. Я дружил с Э. Неизвестным, находившимся в перманентном конфликте с различными официальными лицами и учреждениями, но тоже не считал его диссидентом. В мастерской Неизвестного я несколько раз встречал В. Максимова, уже вставшего на путь конфликта с советским обществом. Прочитал сборник его повестей, который был опубликован. И

он мне понравился. Я знал, что Максимов начал писать запретные книги. Но опять-таки я не относился к нему как к диссиденту. "Самиздат" и "тамиздат" я читал очень мало. Он попадал ко мне через друзей Ольги. Лишь после опубликования "Зияющих высот" я познакомился с Р. Медведевым, Р. Лерт, С. Каллистратовой, П. Егидесом, В. Ерофеевым, В. Войновичем, Г. Владимовым, А. Гинзбургом, Ю. Орловым и многими другими диссидентами и оппозиционными писателями. Я проявлял интерес ко всем этим людям как к участникам серьезного социального и культурного движения. Но все то, что они писали и говорили, меня глубоко не затрагивало и не волновало. Я в моем понимании советского общества, как я думал, ушел гораздо дальше их всех, а что касается моей личной социальной позиции, то я предпочитал быть одиночкой и не присоединяться ни к каким диссидентским группам, мероприятиям, движениям.

БРЕЖНЕВСКИЕ КАРАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Сейчас говорят о брежневских годах как о годах возрождения сталинских репрессий. Это историческая чушь. В брежневские годы многие люди подвергались репрессиям, многие испытывали всякого рода запреты и ограничения. Но сказать это – значит сказать нечто банальное и пустое. Нужно еще выяснить, почему и какие люди подвергались репрессиям. Брежневские репрессии были, в отличие от сталинских, оборонительными. В после-сталинские годы в стране стал назревать протест против условий жизни, в особенности в среде образованной части населения. Начали сказываться последствия десталинизации и "тлетворное влияние Запада". Поведение довольно большого числа людей стало выходить за рамки дозволенного. Основная масса советского населения встретила враждебно эти бунтарские явления. И брежневское руководство, прибегая к карательным мерам, выражало эту реакцию общества на поведение нарушителей порядка. Власть не изобретала карательные меры по своей инициативе. Она сдерживала назревавший взрыв недовольства. Это было новым явлением в советской истории, а не возрождением репрессий сталинского типа. И число репрессированных было ничтожно. И репресслируемые были не те. Это были не политические противники сталинцев, не крестьяне, не остатки "недобитых контрреволюционеров". Это были люди, воспитанные уже в советских условиях и бунтовавшие в силу специфически социальных причин.

ДВОЙСТВЕННОСТЬ ПОЛОЖЕНИЯ

Мое положение в советском обществе всегда было двойственным – всегда на уровне полупризнания и полузапрета. Мне вроде бы стремились воздать должное, но одновременно проявляли осторожность и на всякий случай останавливались на полпути осуществления этого стремления. Меня вроде бы стремились наказать за делавшееся мною, но и в этом проявляли сдержанность. Как полное и публичное признание, так и

полное и публичное наказание было бы в мою пользу, и потому не делали ни того ни другого. Я приобрел широкую закулисную популярность. Меня приглашали выступать с публичными лекциями и быть оппонентом в самых различных учреждениях и городах. Я выступал в важнейших институтах Академии наук. Вел семинар в институте, которым руководил академик Н. Семенов, один из самых важных в стране, лауреат Ленинской и Нобелевской премий, Герой Социалистического Труда. В моем семинаре участвовали известные ученые, в их числе академик Эммануэль. Но меня не допускали на страницы массовой прессы. Однажды сняли фильм с участием оригинальных ученых с необычными идеями. Попал в этот фильм и я. Но фильм из-за меня запретили. Кому-то не хотелось, чтобы я приобрел широкую, официально признанную известность. Меня выдвигали в члены-корреспонденты Академии наук и на Государственную премию. Но в отделе науки ЦК КПСС мою кандидатуру отклоняли. В академию проходили люди, не сделавшие никакого вклада в науку и философию. Аналогично с премиями. Меня неоднократно пытались ввести в редколлегии журналов, в комиссии, советы и т. п., но каждый раз кто-то запрещал это делать. Я был избран в экспертную комиссию по утверждению диссертаций, но вскоре был исключен из нее, поскольку мое поведение не понравилось министру Елютину. Я был избран в редколлегию журнала "Вопросы философии", но был вынужден уйти из нее, не желая вместе со всеми холуйствовать перед Брежневым. Забавно, что составители всяких сборников боялись включать в них мои публичные доклады, боясь последствий. В частности, один из таких составителей, изображающий сейчас из себя жертву брежневизма и приветствующий "перестройку", выбросил мой доклад на его семинаре из сборника докладов, хотя доклад мой не содержал в себе ничего криминального. Интересно, что своим полупризнанием я обязан главным образом "консерваторам", а полузапретом – "либералам". На защиту докторской диссертации меня выпустил А. Окулов, бывший сталинист. Он тогда временно исполнял обязанности директора института. Он же потом настаивал на избрании меня в Академию наук, причем прямо в академики. Титул профессора я получил в Институте имени Плеханова благодаря усилиям В. Карпушина, считавшегося реакционером. Кстати сказать, у этого "реакционера" Карпушина защитили диссертации такие люди, как Б. Шрагин, П. Гайденко, Г. Шедровицкий и многие другие, считавшиеся тогда одиозными фигурами.

ПРОБЛЕМА СОУЧАСТИЯ

Особенность моего положения заключалась в том, что мои личные жизненные проблемы были также предметом моего теоретического внимания. Эти два аспекта тесно переплетались. Порою их было невозможно разделить. Во многих случаях я шел к теоретическим выводам через мой личный жизненный опыт и через самоанализ. Рассмотрю эту тему подробнее на примере проблемы соучастия. Проблема эта встала передо мною как практически, так и теоретически в такой форме: возможно ли создать свое суверенное личное государство, не вступая в компромиссы с окружающим обществом и не соучаствуя в его делах, противоречащих принципам твоего государства? Иначе говоря,

можно ли остаться чистым и непорочным, будучи так или иначе погруженным в житейскую помойку и трясины?

Возьмем, например, членство партии. Что такое КПСС с социологической точки зрения – это один аспект проблемы. О нем речь пойдет в дальнейшем, при изложении моей социологической концепции. Но для меня лично проблема партийности заявила о себе совсем в ином плане. Я был исключен из комсомола, был принципиально беспартийным до смерти Сталина. Я вступил в партию не с целью карьеры, а, казалось, с благородным намерением вести борьбу против сталинизма. Никакой сознательной концепции личной жизни у меня еще не было. Пребывание в партии не давало мне ничего в смысле улучшения положения в обществе. Я его никак не использовал в личных интересах. Того, чего я достиг в смысле жизненного успеха, я достиг бы, оставаясь беспартийным. Я не собирался делать служебную карьеру. А карьера научная (т. е. получение каких-то результатов в науке и завоевание какого-то признания) могла в те годы совершаться и вне партии даже в рамках идеологических учреждений. Некоторые из моих знакомых достигли гораздо большего служебного успеха, чем я, оставаясь беспартийными. Отчасти это даже поощрялось, нужны были беспартийные для "блока коммунистов и беспартийных" и для создания видимости, будто беспартийность не препятствует карьере. Я сам в течение многих лет был философом немарксистом, допущенным в этой роли для показа иностранцам и для создания видимости свободы в нашей философии.

И все же я вступил в партию далеко не с чистой совестью. В какой-то мере это было отступление от моих прежних установок на беспартийность. Это был, конечно, компромисс с обществом, против которого я внутренне продолжал бунтовать. Когда я выработал свою концепцию суверенного государства, пребывание в партии стало тяготить меня. Хотя я вел себя так, как будто членом партии не был, числясь в партии лишь формально и даже не скрывая того, что я не считал себя марксистом, это все-таки не было решением мучившей меня проблемы.

Я все-таки числился в партии, ходил иногда на собрания, выполнял партийные поручения, читая публичные лекции и участвуя в выпуске стенных газет, вместе со всеми одобрял решения высших партийных инстанций. Одобрял формально, но одобрял. Хотя я и считал все это ничего не значащей суетой, но все-таки это была суета, к которой я относился с презрением, но участвовал в ней без видимого протеста.

Вступление в партию было ошибкой. Но как теперь исправить ее? Если бы теперь я вышел из партии, это был бы конец всему, чего я достиг. Я оказался бы в таком положении, из которого вряд ли смог бы выкарабкаться к более или менее нормальной жизни. Если у меня из-за добровольного выхода из редколлегии журнала "Вопросы философии" произошел разрыв с "либералами" с тяжелыми для меня последствиями, то из-за добровольного выхода из партии я бы потерял все, не сделав ничего позитивного своим бунтом. Это была бы пассивная капитуляция. Это было бы социальное самоубийство. А я уже встал на путь, имеющий далеко идущие цели. Так что пришлось пойти на компромисс с совестью.

Должен сказать, что пребывание в партии расширило мои возможности

наблюдения жизни, что я впоследствии использовал в моей научной и литературной деятельности. Но это впоследствии. А тогда я еще не помышлял об уходе в литературу и в открытую критику коммунистического общества и его идеологии. Если я и критиковал их как-то, это оставалось в рамках внутренних разговоров (в основном шуток) и в завуалированной форме (в логических работах). Так что членство партии все-таки было большим местом для меня. Я, повторяю, стремился внутри партии вести себя так, как будто я был беспартийным. Так поступали многие другие. Это, конечно, приносило мне какой-то ущерб. Но, несмотря ни на что, это было все-таки соучастие во власти.

Проблема партийности разрослась для меня до масштабов более общей проблемы, а именно проблемы соучастия в том виде, как я ее сформулировал выше. Я не был марксистом и писал немарксистские книги, а работал в самом центре советской, марксистско-ленинской идеологии. Мои книги так или иначе использовались в интересах презиравшейся мною советской философии. Я дал согласие быть членом редколлегии журнала "Вопросы философии". Я шел на это ради того, чтобы усилить логическую линию в философии. Но ведь это была деятельность в пользу все той же философии. Да и в этом ли только было дело? Если быть до конца откровенным перед самим собою, членство редколлегии укрепляло мои позиции в сопротивлении атакам на меня со стороны моих коллег и сослуживцев. Так что это тоже был шаг в борьбе за выживание. И тоже компромисс. В журнале постоянно печатались холуйские статьи по адресу Брежнева, и я какое-то время это терпел, оправдываясь перед собою тем, что "проталкивал" в печать "прогрессивные" статьи моих коллег-логиков.

На все нужно время. Лишь в 1968 году я сделал для себя вывод, что бескомпромиссное следование моим жизненным принципам возможно лишь в том случае, если ты вступаешь в открытый конфликт со своим окружением и идешь на жертвы. Но тогда ты вообще теряешь возможность сохранить свое суверенное государство. Выход из этого противоречия я увидел в том, чтобы обеспечить свою безопасность за счет профессиональных успехов. Такая возможность у меня к этому времени открылась. Я опубликовал много книг и приобрел международную известность. Меня уже не так-то просто было раздавить. В эти годы я вышел из редколлегии журнала "Вопросы философии", потерял кафедру логики и был исключен из экспертной комиссии Министерства высшего образования. И несмотря на это, я все еще сохранял прочное положение за счет репутации в философских и научных кругах в стране, а также за счет репутации в странах советского блока и на Западе. Для стран советского блока я был своего рода образцом свободы творчества: многие могли там делать нечто аналогичное, ссылаясь на то, что это дозволено в Москве. В ГДР у меня даже сложилась солидная логическая группа из моих бывших аспирантов. Там издавались мои многочисленные книги, издававшиеся затем и в ФРГ. В 1971 году мне с женой разрешили поездку в ГДР по личному приглашению моего бывшего ученика, друга и соавтора Хорста Весселя, ставшего заведующим кафедрой логики в университете.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ

Принимая решение пробиваться за счет науки, я не думал о том, что тем самым я вынуждаюсь на конфликт с самым сильным, самым неуязвимым, самым замаскированным под благородство и самым беспощадным для меня врагом, – с моей профессиональной средой. Я не думал о том, что, какие бы сверхгениальные открытия я ни делал, без поддержки группы, кафедры, сектора, института, учеников, соратников, государства я не смогу добиться признания их в качестве моих открытий. Гений–одиночка, идущий в наше время против многих тысяч своих коллег, организованных в группы, и так или иначе устроившийся в данной области науки, не имеет никаких шансов на признание. Это я особенно остро почувствовал уже после эмиграции, когда я лишился даже видимой защиты в качестве гражданина великой державы. Это стало одним из самых сильных разочарований в моей жизни. Но тогда, в шестидесятые годы, я начал пробиваться в науку, игнорируя реальные социальные возможности. Кто знает, стал бы я это делать или нет, если бы предвидел заранее тщетность всех усилий в этом направлении. Эти усилия, однако, были оправданы хотя бы уже тем, что я испытал радость творческого труда и творческих открытий. Кроме того, я встал на путь, который привел меня к полному согласию с моими жизненными принципами, – на путь открытого бунта против всего того, что вызывало у меня нравственный и идейный протест в течение всей жизни.

Мой конфликт с коллегами начался не в силу моих идеологических воззрений и не в силу черт моего характера. Я помогал им устраиваться на работу и в аспирантуру, помогал им печатать их работы, писать статьи, в которых высоко оценивал их вклад в науку (хотя на самом деле они не заслуживали этого). Я никому из них не причинял зла, никому не помешал ни в чем. И все же я стал для многих из них предметом ненависти. И все они приложили усилия к тому, чтобы дискредитировать меня, распускать сплетни, клеветать, сочинять тайные и явные доносы. Это произошло помимо моей воли и желания. Просто сам факт моей деятельности и ее содержание вызвали такую реакцию. Сыграло роль также то, что я приобрел лестную репутацию в широких философских кругах, на мои работы ссылались, мои статьи и книги издавались на Западе, мои студенты и аспиранты были лучшими, печатались и добивались успехов. Назову наиболее значительных из них: А. Ивин стал доктором, профессором, автором многих книг и статей; Х. Вессель стал профессором, заведующим кафедрой в университете в Берлине (ГДР); Г. Смирнов; А. Федина; Л. Боброва; Г. Щеголькова; Е. Сидоренко; Г. Кузнецов; В. Штельцнер (ГДР), К. Вуттих (ГДР). Их работы печатались в многочисленных логических сборниках. Мой случай оказался классической иллюстрацией для тех социальных закономерностей, которые я сам обнаруживал в нашем обществе. Скоро я убедился в том, что эти законы универсальны, имеют силу для аналогичных ситуаций и на Западе. Но из этого, однако, не следовало то, что я должен был примириться с советским обществом.

Мои коллеги с особенным остервенением набросились на меня, когда я

сразу потерял три важные позиции и лишился поддержки в президиуме Академии наук и в ЦК. Масла в огонь подлили публикации моих работ в странах советского блока и приглашения на международные конгрессы и конференции. Анонимные и явные доносы посыпались пачками во все учреждения, от которых что-то зависело по отношению ко мне. Моим студентам и аспирантам стали чинить препятствия. Мои ученики и соратники начали демонстративно меня предавать, боясь неприятностей и думая выгадать от этого. Мне потом сотрудники КГБ рассказывали, какие подлости в отношении меня делали те, кто прикидывался доброжелателем. Мне еще никогда до сих пор не приходилось погружаться в такую помойку подлостей, злобы, клеветы и прочих нормальных мерзостей нормальной советской жизни, как в эти годы, причем благодаря усилиям людей, считавшихся моральной и интеллектуальной элитой советской философии. Меня перестали допускать даже на профессиональные встречи в моем институте и по моей теме. В 1974 году меня избрали в Академию наук Финляндии, что в логике было высоким признанием. Это вызвало бурю злобы в наших кругах. В результате советского давления в Финскую академию немедленно избрали вице-президента АН СССР Федосеева. В советской прессе сообщили, что Федосеев был первым советским ученым, избранным в Финскую академию. Чтобы опубликовать мою последнюю книгу по логике ("Логическая физика"), мне пришлось пожертвовать гонораром и прибегнуть к трюку подмены рукописи. Узнав, что написаны доносы, в которых книга оценивалась как враждебная марксизму, я отказался даже от исправления бесчисленных опечаток в верстке, лишь бы книга вышла в свет. Указание приостановить ее печатание вышло тогда, когда книга уже была в продаже. И мне этого тоже не могли простить. Тем более сразу же поступило предложение издать книгу по-английски. А немецкий перевод (в ГДР) вышел уже через несколько месяцев. В 1974 году, как мне передали знакомые из ЦК, там было принято решение "не создавать культа Зиновьева" и прекратить публикацию моих работ.

Нападки на меня моих коллег, людей, в общем, трусливых и ничтожных, не были бы такими явными и настойчивыми, если бы они не имели поддержки в высших инстанциях власти. Фактически органы власти и власти в сфере идеологии и философии предоставили моим коллегам свободу действий, уполномочили их осуществить расправу надо мной. На Западе этот аспект взаимоотношений власти и подвластного общества, а также взаимоотношений индивида и общества совершенно незнаком или игнорируется. Непомерно преувеличивается роль КГБ. А между тем инициатива расправы с непокорным индивидом далеко не всегда исходит из КГБ и даже из ЦК. КГБ есть исполнительный орган ЦК, а ЦК получает информацию о людях из их окружения, из их коллективов, из их профессиональной среды. ЦК и КГБ лишь организуют и направляют ту инициативу, которая исходит из окружения данного индивида, подвергаемого давлению и наказанию. Я это испытал на собственном опыте и видел это, наблюдая аналогичную ситуацию в отношении многих других. Мой теоретический анализ фундаментальных социальных отношений показал закономерность такого рода явлений.

Я десятки лет работал в области логики. Работал на виду. Тысячи людей видели и понимали, что я делал значительное дело. Многие понимали ценность делаемого мною. Многие следовали за мною явно и многие заимствовали без ссылок на меня. Многие кипели черной

завистью. Но я имел официальную защиту сверху и поддержку общественного мнения. Этого было мало для официального взлета, но было достаточно, чтобы как-то жить и продолжать дело. Но вот я потерял защиту сверху. И небольшая группа завистников, отчасти сговариваясь и отчасти не сговариваясь, начала разрушать и дискредитировать все то, что я сделал. На виду у всех. И безнаказанно. Никто не вступился в мою защиту. Причем не из страха перед властями. Бояться было нечего. А в силу своего положения, своей натуры. Друзья и ученики охотно и молниеносно предали меня. Множество людей, понимавших значительность сделанного мною, позволили небольшой инициативной кучке уничтожить в течение кратчайшего срока результаты трудов десятков лет. И это без Сталина, без ГУЛАГа, без распоряжений свыше, без реальных политических и идеологических причин. Достаточно было лишить минимальной защиты человека, который делал большое дело, выходящее за рамки способностей массы, как масса немедленно приводила в действие свои рычаги расправы.

В моем конфликте с советским обществом самым удручающим было не то, что мои усилия пошли прахом, – я привык мужественно переносить потери, – а то, что мои усилия разбились из-за ничтожных обстоятельств и ничтожных людей. Мои замыслы и результаты оказались в вопиющем несоответствии с теми силами, которые им помешали. Удары мне наносили не грозные силы природы и общества, не великаны-злодеи, а ничтожные житейские отношения и социальные карлики, объединившие свои мелкие укусы. Я делал, как мне казалось, огромное дело. А враг был незрим и ничтожен, но непобедим именно благодаря своей ничтожности и неуловимости. На Западе я оказался в той же коммунальной среде и в том же положении. Если все же я в чем-то и как-то "пророс", то это лишь благодаря раздробленности и неоднородности Запада, а также благодаря тому, что интерес к моему творчеству проявили люди, для которых я не был профессиональной угрозой и конкуренцией. Об общей закономерности на этот счет все предпочитают лицемерно помалкивать. Но, увы, она действует с неумолимой силой. Если бы только писатели решали, кого считать хорошим и кого плохим писателем, кого печатать и кого нет, то в мире не было бы Шекспира, Данте, Рабле, Бальзака, Толстого и вообще всех признанных ныне гениев литературы. Если бы музыканты сами решали, кому быть признанным в музыке, в мире не было бы Моцарта, Бетховена, Верди и вообще всех ныне признанных гениев музыки. И так во всех сферах культуры. В наше время эта закономерность действует с особой силой, так как мир оказался перенасыщенным учеными, писателями, художниками, артистами и прочими представителями культуры, и они в силу массовости приобрели большую власть над судьбой собратьев по творчеству.

Складывается противоречивая ситуация. С одной стороны, чтобы власти допустили твое существование, нужна какая-то поддержка со стороны специалистов в твоей сфере деятельности, их мнение как экспертов, с которым власти считаются. Но с другой стороны, нужно покровительство со стороны властей, чтобы защитить тебя от твоих коллег, которые начинают чинить тебе препятствия, если твоя деятельность выходит за рамки их контроля и терпимости. Выход из этого противоречия зависит от твоей изворотливости. Твое положение оказывается неустойчивым.

Достаточно пустякового повода, чтобы лишиться поддержки как со стороны коллег, так и со стороны властей. Если власти и коллеги объединяются в своем намерении поставить предел твоей активности, тебя не защитит никто и ничто.

РАДИ ЧЕГО

Вспоминать о судьбе моих логических исследований мне особенно больно. Больше двадцати лет каторжного труда и творческих усилий пошли впустую. Как будто этого вообще не было. Россия на мне продемонстрировала одно из самых гнусных ее качеств: она готова пожертвовать интересами своей национальной культуры, лишь бы раздавить своего верного и самоотверженного сына, который дерзнул без ведома начальства и холуйствующего перед ним народа стать не таким, как все.

Может быть, случится так, что пройдут многие годы, появятся умные и справедливые люди, которые будут в состоянии беспристрастно оценить, что сделал я в логике сравнительно с предшественниками и современниками, и сделают это. Они будут поражены тем, как мои современники обошлись с моими логическими исследованиями. Наверное, перед ними встанет вопрос: как могло случиться такое, что в мире, в котором были десятки тысяч специалистов в логике и прилегающих к ней областях культуры, не просто игнорировали мой вклад в логику, но приложили усилия к тому, чтобы этот вклад остался незамеченным? Ответ на этот вопрос очень прост: это произошло именно потому, что в мире были десятки тысяч образованных, но бездарных специалистов, объединенных в группы и так или иначе пристроившихся к средствам жизни и славы, а я оказался одиночкой, потерявшим даже слабую защиту со стороны советских органов власти и учеников.

Для меня такая реакция на мои исследования не была чем-то совершенно неожиданным. Я уже говорил выше о том, как была встречена моя попытка начать разработку методов диалектики в рамках логики. Должен заметить, что эту попытку встретили враждебно не только марксистские философы, но и формальные логики. Я вспоминаю, как буквально пришла в ужас профессор Яновская, когда я ей рассказал о своем замысле начать логическую обработку совокупности понятий, относящихся к пространству, времени, движению, связям, процессам, системам. Она призывала меня бросить это и заниматься проблемами математической логики, уже тогда казавшимися мне и на самом деле ставшими банальными по существу. Мой бывший ученик, друг и соавтор Х. Вессель (ГДР) мне не раз говорил еще задолго до того, как я оказался в творческой изоляции, что мои идеи в логике слишком радикальны и что они будут оценены не раньше, чем через пятьдесят лет. Так что не только я сам, но и другие отдавали отчет в том, что я делал. Если бы я делал чепуху и пустяки, такого раздражения не было бы. Моя ученическая работа по многозначной логике (1960) имела большой успех именно потому, что она была еще ученической. Причем основные уже неученические ее идеи, направленные против всякого рода спекуляций за счет идей многозначности, остались незамеченными.

Возникает вопрос: почему же я все-таки много лет упорно шел своим путем, если реакцию на это чувствовал постоянно и предвидел заранее? Читатель должен вспомнить о том, что я уже писал ранее о моей жизни и жизненной установке. Это могло бы выглядеть странным, если бы движущим мотивом моей деятельности было желание славы и благополучия. Но это было не так, хотя я не имел ничего против известности и благополучия. Дело в том, что я обнаружил в себе способности работать именно в логике. Сама эта работа, как таковая, приносила мне удовлетворение. Я мог изо дня в день в течение многих часов трудиться над сложнейшими вычислениями. Мне стоило усилий отрываться от них. Кроме того, это была моя рутинная работа, за которую я в моем учреждении получал средства существования.

Я читал лекции, имел студентов и аспирантов, и эта деятельность меня вполне устраивала. Именно в логике я завоевал независимое положение и делал то, что хотел. Эта моя независимость тоже вызывала у многих раздражение. Других громили за малейшие отступления от текстов марксизма, а мне позволяли на виду у всех развивать явно немарксистские идеи. Меня выручало, между прочим, и то, что я не маскировался под марксиста. Наконец, в логике и через логику я открыл для себя такой взгляд на мышление, мир и познание, какой сам по себе стоил потраченных усилий. Я вырвался из паутины бесчисленных заблуждений и предрассудков, которыми опутали человечество гении и шарлатаны в наш сверхнаучный век. Я создал для моего суверенного государства абсолютно честное и трезвое мировоззрение, выработал для него метод понимания, не оставляющий никакого места для иллюзий и предрассудков. И если бы мне пришлось выбирать одно из двух – сделать в десять раз меньше, но стать мировой знаменитостью за счет пустяков и мистификаций, или сделать в десять раз больше, но остаться вообще никому не известным, – то я предпочел бы второе. Какой бы ни была судьба того, что я сделал в логике, я сам знаю, что именно я сделал и что это сделал я. Я увидел мир, освещенным светом разума. А за такое видение можно уплатить и более высокую цену, чем та, которую пришлось уплатить мне.

ОТЩЕПЕНЕЦ

Процесс выталкивания индивида в отщепенцы происходит постепенно. У меня он растянулся на десятки лет. Фактически он завершился лишь в 1976 году. Я еще сохранял какие-то позиции. Еще сохранял работу. Еще имел курс лекций в университете. Даже иногда премии получал. Получил, например, премию за книгу "Логическая физика". Был даже награжден медалью в связи с юбилеем Академии наук. Был представлен к ордену, но степень награды снизили в ЦК. Тоже характерный случай: уже решено не допускать человека на уровень, какого он заслуживал, но еще на всякий случай решили удержать на уровне более низком. Еще нет полного отторжения, еще есть некоторое признание, но признание такое, что лучше бы его вообще не было. Для меня эта медаль была оскорбительной, и я от нее хотел отказаться. Меня отговорил И. Герасимов, о котором я уже упоминал выше. Он был в то время

секретарем партбюро института. Медаль я сразу же выбросил в мусорную урну. Но даже и эта жалкая подачка вызвала зависть и злобу – я был одним из немногих, получивших награду.

Процесс выталкивания в отщепенцы имеет свои закономерности и проходит ряд этапов. Сначала окружение будущего отщепенца проявляет в отношении его настороженность. Затем принимаются предупредительные меры. Одновременно стараются как-то задобрить, приобщить к коллективу. Если это не действует, принимаются ограничительные и затем карательные меры. Масса людей, как-то связанных с кандидатом в отщепенцы, поощряемая властями, обрушивает на него все доступные средства. Завершается процесс изоляцией отщепенца, изгнанием из коллектива и даже полным ostrакизмом, как это и случилось со мной.

Я еще не встал на путь открытого бунта и еще не начал писать "Зияющие высоты", а в моем окружении уже почувствовали мое отторжение от нормального общества и вносили в это отторжение свою лепту. Вносили по мелочам, но этих мелочей было много. Они углубляли и расширяли психологическую и идейную пропасть между мною и окружающими людьми. Конечно, тут играла роль общая ситуация в стране – эпидемия разоблачительства, "самиздата" и "тамиздата", эмигрантских настроений. Мои работы печатались на Западе, к ним там проявляли внимание, меня посещали многочисленные западные логики и философы. Потом у нас стали регулярно появляться различного рода западные туристы; работавшие в Советском Союзе молодые французы и итальянцы; сотрудники западных посольств. С иностранцами я также часто встречался в мастерской Э. Неизвестного. Мое окружение интуитивно зачислило меня во "внутренние эмигранты". Это отношение моих знакомых, коллег, сослуживцев, бывших друзей и официальных лиц ко мне способствовало тому, что я и сам стал добавлять от себя кое-что в этот процесс отторжения.

В 1974 году я остался почти совсем без нагрузки в университете. Резко снизилось число студентов и аспирантов, писавших дипломные работы и диссертации под моим руководством, моим студентам и аспирантам чинили всякие препятствия, и это стало широко известно. Мои ученики начали предавать меня один за другим и переходить в лагерь тех, кто разворачивал антизиновьевскую кампанию. Этот процесс захватил и моих учеников в ГДР. Видеть все это было не очень-то приятно. Я видел, что остановить эту кампанию было невозможно, так как она поощрялась свыше. Я еще держался за счет инерции, закулисного авторитета, известности на Западе, общественного мнения в философских и околофилософских кругах. И мог бы удержаться, а года через три-четыре мог бы "всплыть" снова. Но во мне уже созрели предпосылки для нового бунта.

ПЕРВЫЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ КРИЗИС

В семидесятые годы начали с ощутимой силой обнаруживаться признаки всестороннего кризиса советского общества, первого в истории человечества специфически коммунистического кризиса. Этот кризис

охватил все основные сферы жизни общества – хозяйственно–деловую, управленческую, идеологическую, морально–психологическую, культурную. Объективные закономерности коммунистического социального строя обнаруживали себя, можно сказать, в лабораторно чистом и очевидном виде. Поразительным было то, что сотни тысяч образованных людей, занятых проблемами общества, не увидели в происходившем самых фундаментальных и глубоких механизмов коммунистического общества, вышедших в эти годы на поверхность жизненного потока. В эти годы я довольно часто выступал с публичными лекциями. Я в них так или иначе привлекал внимание слушателей к этим явлениям. Меня слушали, аплодировали, одобряли. Но никто не воспринял мои идеи как жизненно важные, как ключевые к пониманию реального коммунизма. А большинство вообще относилось к ним как к специфически зиновьевской форме сатиры и юмора. Даже критические и бунтарские умонастроения тех лет оказались адекватными натуре коммунистического общества: поверхностными, скороспелыми, заимствованными, дилетантскими. Сознание этого способствовало тому, что я оказался в одиночестве и в качестве потенциального и затем актуального бунтаря.

Но вернемся к кризису. К проблеме кризисной ситуации в коммунистической стране я тогда подходил, можно сказать, чисто "технически" или "логически". Построив для себя абстрактное описание некоего идеального (нормального) коммунизма, я определил кризисное состояние общества как отклонение от норм коммунистической жизни, выходящее за некоторые экстремальные границы, причем как отклонение от норм, обусловленное стремлением соблюдать эти нормы. В моей абстрактной, логико–математической модели общества я мог логически доказать, что именно следование нормам общества с необходимостью ведет к отклонениям от этих норм. Я не был оригинален в этой общей идее: прекрасные иллюстрации на этот счет можно найти в "Капитале" Маркса. Мое новаторство заключалось в том, что я аналогичное явление открыл в коммунистическом обществе и пытался строить теоретические конструкции в духе идей конца XX века.

Разумеется, реальные процессы в Советском Союзе, приведшие к кризисной ситуации, были неизмеримо сложнее моих абстрактных моделей. Но последние были для меня вполне достаточны, чтобы констатировать факт приближения кризиса и рассматривать его как неизбежное следствие внутренних закономерностей коммунизма. Коммунистическое общество потеряло в моих глазах еще одно иллюзорное преимущество: бескризисность плановой и централизованной организации.

На поверхности общественной жизни приближение кризисной ситуации обнаруживалось прежде всего в идеологическом и морально–психологическом состоянии общества.

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Для механизма идеологии мало быть огромным, сильным, всепронизывающим. Он по своей природе должен быть абсолютным и

безраздельным господином и контролером общественного сознания. Он исключает всякие сомнения и колебания, всякие насмешки, всякую критику, всякую конкуренцию. Кризис идеологии состоит в том, что все это было нарушено в послесталинский период. И до сих пор социальный статус идеологии не восстановлен.

Бесспорно то, что в порождении этого кризиса большую роль сыграли обстоятельства внешнего порядка, среди них в первую очередь то, что в советской пропаганде называют тлетворным влиянием Запада. На советских людей в эти годы хлынул такой мощный поток информации о жизни на Западе, западной культуры и западной идеологии, что огромный идеологический аппарат оказался неспособным его контролировать. Советские люди, в особенности образованные и привилегированные слои, испытали сильнейшее влияние Запада, какого до сих пор в советской истории не было. Оно оказалось во многом неожиданным для советских правящих кругов. Советские люди, выяснилось, не имели иммунитета против такого влияния.

Но главные причины идеологического кризиса суть все-таки причины внутреннего порядка. Не будь их, "тлетворное" влияние Запада не оказалось бы столь значительным. Среди этих причин решающими являются следующие. В хрущевские и брежневские годы широкие слои советского населения на своем личном опыте и на основе здравого смысла убедились в том, что никакого райского коммунизма, какой им обещали классики марксизма, не будет. Они поняли следующую фундаментальную истину нашей эпохи: то, что они сейчас имеют, и есть настоящий коммунизм. Идеологическая картина советского общества стала восприниматься людьми как вопиющая ложь, как жульническая маскировка неприглядной реальности.

Этот процесс созревания реального коммунистического общества и обнажения его природы совпал по времени с нарушением принципа соответствия интеллектуального уровня руководства обществом и интеллектуального уровня руководимого им населения. Последний вырос колоссально, а первый остался почти тем же, что и в сталинские годы. В лице Брежнева советские люди видели на вершине власти маразматика с непомерно раздутым тщеславием. Многие чувствовали себя оскорбленными тем, что вынуждены подчиняться такому глупому и аморальному руководству. Именно это чувство толкнуло лейтенанта Ильина на покушение на Брежнева – на символ развитого социализма. Пренебрежительное и даже презрительное отношение массы советских людей к своим руководителям стало важным элементом идеологического состояния советского общества. Это отношение охватило все слои общества снизу доверху. Ядовитые анекдоты на этот счет можно было услышать в самых высших слоях общества, порою даже в кругах, лично близких к самим высмеиваемым деятелям партии и государства. Ничего подобного не было и не могло быть в классические сталинские годы не только из-за страха репрессий, но также и потому, что еще не сложилось такое вопиющее расхождение в интеллектуальном уровне руководства и общества в целом.

В хрущевские годы и первые годы брежневского правления далее началась всесторонняя критика сталинизма во всех слоях советского общества. Эта критика постепенно переросла в критику советского

коммунистического строя вообще. Это происходило внутри советского общества, можно сказать, для внутренних нужд. То, что вырвалось наружу и получило известность на Западе, составляло лишь незначительную долю этой критической эпидемии. Крайним проявлением этой эпидемии явилось диссидентское движение, "самиздат" и "тамиздат". Критике подверглась и сталинская "вульгаризация" идеологии, которая постепенно переросла в пренебрежительное отношение к идеологии вообще. Даже в кругах самих идеологов и партийных деятелей, занятых в идеологии, стали стыдиться апеллировать к идеологии и ссылаться на нее. Появились бесчисленные статьи и книги в рамках идеологии и в околоидеологических сферах, в которых, однако, идеология третировалась или игнорировалась совсем, в лучшем случае от нее отделялись несколькими ничего не значащими цитатками и упоминаниями. Даже бывшие ярые сталинисты оказались захваченными этой эпидемией, зачастую опережая "новаторов" (из конъюнктурных соображений, конечно). В область идеологии устремились толпы всякого рода "теоретиков", т. е. неудачников, графоманов и карьеристов из различных наук, которые буквально заполнили идеологию модными идейками и словечками. И все это делалось под соусом творческого развития марксизма. Причем сами эти творцы в своих узких кругах издевались над развиваемым ими марксизмом. Они воображали, будто делают духовную революцию, лишь в силу необходимости прикрываясь интересами марксизма. На самом деле они ничего другого, кроме безудержного словоблудия, производить не могли. Однако они наносили ущерб идеологии, имея за это награды и похвалы.

МОРАЛЬНЫЙ КРИЗИС

Процесс морального разложения общества (особенно правящих и привилегированных слоев) принял неслыханные доселе размеры. Сами высшие руководители страны, республик и областей превращались в главарей уголовных мафий. Достаточно привести в качестве примера превращение всей системы власти Грузии и Азербайджана в уголовные мафии. Мафиозная группа сложилась под крылышком Брежнева. В нее вошли дочь и зять Брежнева, ставший первым заместителем министра внутренних дел. Причем все это происходило на глазах у всех, с циничной наглостью и откровенностью.

Моя жизнь и деятельность протекали в кругах идеологов и сотрудников аппарата высшей власти. Морально-идейное состояние правящих слоев общества мне было хорошо известно. Я не мог быть равнодушным к тому, что творилось у меня на глазах. Это в большой степени способствовало созреванию во мне бунтарских настроений. Я сочувствовал лейтенанту Ильину. Но я был уже не юноша, а зрелый человек. Я тоже хотел выстрелить в то состояние общества, которое символизировал Брежнев, но выстрелить иначе и серьезнее, а именно рассказав людям о том, что из себя представляет коммунистическое общество в самих его основах и что из себя представляют люди, являющиеся его носителями и оплотом.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Логические исследования и педагогическая работа отнимали все мои силы. Мои социологические интересы были оттеснены куда-то далеко на задний план. Они настолько ослабли, что их можно было бы совсем не принимать во внимание, если бы они со временем не вспыхнули вновь. В эти годы в Советском Союзе была допущена и стала поощряться конкретная социология в западном смысле. Масса людей, никогда не читавших никаких социологических сочинений и боявшихся самого слова "социология", вдруг стали социологами. Появились группы, сектора, отделы и даже целые институты, занятые социологическими исследованиями. Стали проводиться социологические конференции и симпозиумы, издаваться монографии и сборники статей. Коммунистическое общество демонстрировало на этом примере одну из своих особенностей: раз было принято решение что-то допустить и поощрить, то в поразительно короткие сроки создавалась армия паразитов и паразитических учреждений, создающих видимость успешного выполнения этого решения. Социология была таким явлением, что имитация дела вполне заменяла реальное дело, а с какой-то точки зрения была предпочтительнее. Тучи шарлатанов и имитаторов дела удовлетворяли потребности в социологии, решая банальные частные задачи и не вникая глубоко в запретные проблемы общества.

Я интересовался социологическими исследованиями спорадически и в порядке хобби. Кое-что почитывал. Участвовал в конференциях. Иногда принимал участие в работе социологических групп в секретных учреждениях. Но все это не столько повышало мои познания в социологии, сколько способствовало критическому отношению к тому, что делалось в ней. Я по опыту в логике уже знал, что если для дела достаточно десяти хорошо подготовленных и талантливых специалистов, а в это дело вовлекаются сотни и тысячи посредственностей, то в этой сфере разрушаются всякие моральные нормы творчества и справедливые критерии оценки. А в социологию вовлекалось бесчисленное множество невежд, бездарностей и проходимцев. Так что самому погружаться в интеллектуальную помойку еще худшего сорта, чем логическая, не было никакого смысла. Но как бы то ни было, социологический бум способствовал ослаблению идеологического контроля в кругах творческой интеллигенции и большей свободе мысли.

И мой интерес к социальным исследованиям несколько подогревался. А главное – я стал задумываться над тем, чтобы использовать мои логические идеи и результаты для разработки точной теории коммунистического общества. Это стимулировало сами мои логические исследования в определенном направлении – в направлении разработки логики и методологии исследования эмпирических явлений и особенно сложных эмпирических систем и процессов, эмпирических связей и массовых явлений. Меня стали приглашать для консультаций именно как специалиста такого рода, после того как я сделал несколько докладов и опубликовал несколько работ на эту тему.

Постепенно я стал все больше и больше вовлекаться в размышления на такие темы. Я никому не говорил о том, что интересуюсь именно

социологией, а не просто логико–математическими методами, обращаясь к социальным явлениям лишь как к примерам. Почему я так делал? Дело тут вовсе не в том, что я опасался КГБ. Последнее для меня, как и для прочих в моем окружении, потеряло прежние функции. В дело вступили другие, более глубокие факторы зрелого коммунизма, а именно взаимоотношения людей в самих основах общества. Почувствовав, что я начал делать нечто оригинальное и значительное в области логики и методологии науки, мои либеральные и прогрессивные коллеги, сослуживцы и друзья насторожились и начали не сговариваясь предпринимать меры, чтобы помешать мне выделиться из их среды. Я на своей шкуре ощутил действие тогда уже открытого мною социального принципа препятствования, вытеснившего на задний план принцип конкуренции в форме соревнования. А если бы в моем окружении узнали, что я, ко всему прочему, еще и занимаюсь социологическими исследованиями в нестандартном "зиновьевском" духе, мне не дали бы никакой возможности работать и в области логики. Я до некоторой степени мог свободно работать в логике, поскольку имел какую–то защиту от коллег со стороны вышестоящих властей и более широкой общественности. Как только я этой защиты лишился, меня "сожрали". В социологии же меня "сожрали" бы уже в самом начале. Кроме того, я не имел явного намерения делать научную карьеру за счет социологии. Самое большее, что я держал в голове, это применение моих методологических идей для построения теории коммунизма.

Некоторое время я работал в физико–техническом институте, вел специальный семинар с аспирантами. Здесь я познакомился с математиком Н.Н. Моисеевым, деканом одного из факультетов института, впоследствии академиком, заместителем начальника вычислительного центра. Он интересовался проблемами "математического обеспечения социальных исследований" (это его выражение). Мы с ним не раз разговаривали на эти темы. Мне пришлось консультировать студентов, придумавших математическую модель капиталистических кризисов. После этого я сам начал выдумывать такого рода математические модели для отдельных проблем теории советского общества. У меня стали получаться любопытные результаты.

Мои социологические исследования в Советском Союзе шли по двум линиям: 1) по линии создания общей картины коммунистического общества; 2) по линии разработки точных методов решения отдельных проблем. По второй линии я, например, построил логико–математическую модель абстрактного коммунистического общества, с помощью которой доказал неизбежность кризисных ситуаций в этом обществе. Общий кризис советского общества в конце брежневского правления подтвердил мои расчеты. Моя модель имела силу лишь для абстрактного общества в том смысле, что предполагала сильное упрощение ситуации. А выводы имели силу лишь в смысле предсказания тенденции к кризису, а не времени наступления и конкретной формы кризиса. Но мой результат был все же важен для меня в смысле уверенности в правоте моей концепции коммунизма. Особенно много я занимался изобретением методов измерения и вычисления различных характеристик общества в целом и его отдельных подразделений, например коэффициентов системности, степени стабильности, жизненного потенциала, скорости протекания различных процессов, степени эксплуатации, числа лиц различных социальных категорий, показателей экономической и социальной

эффективности, паразитизма, экстремальных состояний и т. д. Такого рода задачами я часто занимался просто в порядке развлечения и упражнений в вычислениях. При этом я убедился в том, что введение параметров, подлежащих измерению и вычислению, и изобретение подходящих методов для этого зависело от общей социологической теории коммунизма. У меня уже тогда возникла идея построить всю концепцию коммунизма на уровне точных методов современной науки. Но для этого не хватало ни времени, ни сил. И не было помощников и соратников. И стимулов не было.

XIII. "ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ"

ПОВОРОТ К БУНТУ

В моем душевном состоянии и в моем поведении всегда действовали две тенденции. Одна из них – тенденция к бунту. Она особенно остро проявилась в моем поведении осенью 1939 года, а затем в многочисленных поступках гораздо меньшего масштаба. Вторая тенденция – тенденция к спокойной и строго урегулированной жизни согласно рациональным принципам. Эта тенденция была доминирующей в моей жизни в годы 1962 – 1968-й. В эти годы я жил согласно моей концепции человека как автономного государства. Но в 1968 году начался постепенный поворот к бунтарскому состоянию. Я уже начал ощущать, что мое государство начинает рушиться под давлением превосходящих сил противника. Это не означало, что я усомнился в принципах моего государства. Ни в коем случае! Я им следовал всегда и намерен следовать до конца жизни. Это означало, что мое окружение не могло допустить спокойную жизнь моего государства.

Существенную роль в повороте к новому бунту сыграл разгром Пражской весны в августе 1968 года.

Вступление советских войск в Прагу застало нас с Ольгой в Грузии, в туристическом лагере Московского дома ученых. Мы буквально окаменели. Отдых был испорчен. Для нас Чехословакия и Польша были не просто социалистическими странами, но странами, так или иначе бунтующими против советского насилия и советскости вообще. И мы им в этом сочувствовали, как тысячи других московских интеллектуалов. Мы восприняли разгром пражского восстания как удар по самим себе. Я тогда сказал Ольге, что такое терпеть нельзя, что за это надо мстить "Им", что "Им" надо дать в морду. С тех пор мысль "дать Им в морду" уже не оставляла меня.

Мой второй бунт существенно отличался от первого. Первый бунт имел

место в условиях жесточайших сталинских репрессий, второй – в сравнительно либеральных условиях брежневизма, когда открыто начали бунтовать сотни и даже тысячи людей. В первом я был никому не известным студентом первого курса, во втором – довольно широко известным профессором и автором многих книг, переведенных на западные языки. В первом я был лишь в начале моего пути познания советского общества, во втором – на вершине его. Теперь я чувствовал себя увереннее. Я видел, как Запад поддерживал советских диссидентов и писателей, печатавших свои сочинения на Западе или пускавших их в "самиздат". А у меня уже были многочисленные контакты с Западом.

Я знал, что в результате моего бунта я потеряю все, чего добился в течение многих лет каторжного труда. Но я также знал, что имею какую-то защиту и не буду раздавлен незаметно и бесшумно, как это могло со мною случиться в 1939 году. В таком положении оказался не я один. Тогда вообще бунтовать начинали многие деятели культуры, защищенные известностью и сравнительно высоким положением (А. Сахаров, И. Шафаревич, Ю. Орлов, В. Турчин и многие другие). Так что с внешней стороны в моем поведении не было тогда ничего оригинального. Оригинальность моего пути заключалась во мне самом, в прожитой жизни и в созданном мною моем личном государстве. Но это не было заметно для посторонних. Суть моей "зиновьюги" замечали лишь в моем непосредственном окружении. То, что я сделал в логике и философии, знали и понимали лишь немногие из моих учеников. Мои социологические идеи вообще не были зафиксированы в виде книг и статей. А "Зияющие высоты" еще не были написаны. И это (скрытость моего внутреннего государства) роднило мой второй бунт с первым. Он лишь по времени совпал с общими бунтарскими настроениями в стране и испытал их влияние. Но в большей мере он был результатом моей внутренней индивидуальной эволюции.

ОБРАЩЕНИЕ К ЛИТЕРАТУРЕ

Второй мой бунт был по существу социально-нравственным, а по форме литературным. Литература явилась для меня не самоцелью, а прежде всего средством выразить мое идейное и моральное возмущение тем, что происходило в моей стране и с моим народом, а также со мною лично.

В литературной деятельности я имел возможность выбора: либо бить в лоб, т. е. записать на бумаге результаты моих социологических размышлений в форме научного эссе или памфлета, либо действовать по принципу айсберга, т. е. сочинить на моем скрытом социологическом фундаменте своего рода литературную "надстройку" – видимую часть моего идейного "айсберга". Я избрал второй путь, принимая во внимание обстоятельства, о которых уже говорил выше.

Летом 1974 года я начал писать "Зияющие высоты", отодвинув на задний план все прочие дела. Начал писать с намерением создать именно литературное произведение и с уверенностью, что мне это удастся сделать, если, конечно, мне не помешают внешние препятствия. Те сведения о коммунистическом обществе, которые я изложил впоследствии

в ряде эссе и статей, я принимал во внимание как нечто само собой разумеющееся. Я начал писать книгу о том образе жизни людей, какой вырастал на этой основе, вернее – начал изображать кусок реальной жизни коммунистического общества, который мог бы стать репрезентативным для всего общества.

Обращение к литературе для меня не было чем-то абсолютно неожиданным, новым и случайным. Думаю, что это был естественный выход из положения, в котором я оказался. Литературным творчеством я в той или иной форме занимался всю мою жизнь с ранней юности. Как я уже писал выше, я постоянно сотрудничал в стенных газетах, участвовал в составлении "капустников" и текстов для самодеятельных концертов, занимался литературными импровизациями в дружеских компаниях, сочинял шутки и анекдоты, практиковал литературные "отступления" в школьных уроках и университетских лекциях, читал публичные лекции, отработанные в литературном отношении и насыщенные литературными импровизациями, а также уже отделанными ранее короткими рассказами. Кроме того, я время от времени сочинял стихи, рассказы и фельетоны просто так, для самого себя, из потребности это делать, а не для печати. Для печати мои сочинения не годились по самой их сути.

Было еще одно обстоятельство, удерживавшее меня от попыток сочинения для печати: это мой литературный вкус и эстетические воззрения. Мысль о том, чтобы написать большую книгу, у меня появлялась довольно часто. Но я хотел написать книгу необычную, т. е. и в литературе сделать что-то свое, специфически "зиновьевское". У меня было и название для нее: "Зияющие высоты". Я это название придумал еще в 1945 году, когда начал интенсивно заниматься сочинительством. Я образовал это название из выражения "сияющие высоты", которое употреблялось в отношении к будущему коммунистическому раю. Это название выражало мою идейную направленность. Но тогда я еще не был готов к написанию книги, адекватной такому замыслу.

Условия для создания такой книги у меня появились лишь в начале семидесятых годов. Накопился огромный материал, который уже трудно было удерживать в своем сознании лишь в качестве интеллектуального багажа своего личного государства. Возникло неодолимое желание дать "Им" (всему моему социальному окружению) в морду, как выразился один из моих будущих литературных персонажей. Общая бунтарская ситуация тех лет усилила мое старое бунтарство. Появилась некоторая надежда напечатать мое сочинение в "тамиздате", т. е. на Западе. Многие печатали свои произведения на Западе, отделяясь незначительными (сравнительно со сталинскими годами) наказаниями. К тому же у меня у самого уже был опыт на этот счет с логическими статьями и книгами. Я их пересылал за границу, не считаясь ни с какими законами.

В 1971 – 1973 годы я написал целый ряд публицистических статей. Они были опубликованы в Польше и Чехословакии, которые для нас играли роль своего рода полузапада. В 1973 году польский журналист З. Подгужец опубликовал мою беседу с ним в католической газете "Тыгодник повсехны" (в Кракове). В 1975 году эта беседа в сокращенном виде была напечатана в Италии в сборнике "Россия", изданном Витторио Страда. Это была фактически первая публикация

отрывка из будущих "Зияющих высот".

В эти же годы я часто выступал с публичными лекциями. Лекции имели успех. Я стал их записывать и обрабатывать литературно. Они потом также вошли как части в "Зияющие высоты". Одну из этих лекций я читал в военной артиллерийской академии. Она была посвящена проблемам руководства. О ней стоит рассказать подробнее. Когда я с встретившим меня офицером шел к месту моего выступления, я увидел на одном из зданий лозунг "Наша цель коммунизм". Я обратил внимание моего спутника на этот лозунг. Он сначала не понял, что я имел в виду. Когда же я сказал ему, что это учреждение артиллерийская академия, он вдруг понял двусмысленность лозунга. После лекции я заметил, что лозунг исчез. Я рассказал об этой истории моим знакомым, и она стала циркулировать по Москве в качестве анекдота. На моей лекции присутствовало несколько сот офицеров. Два первых ряда полностью занимали генералы. Я импровизировал, а мои слушатели были уверены в том, что в ЦК вышла какая-то новая установка, иначе я на свой страх и риск не отважился бы говорить то, что я говорил. Лекция имела успех. Дома я ее кратко записал. Она ПОТОМ также стала одной из частей "Зияющих высот", причем одной из самых критичных. Таких лекций у меня накопилось несколько штук. Это были фактически законченные литературно-социологические рассказы в моем духе. Они предопределили стиль будущей книги.

Отмечу наконец еще одно сочинение "долитературного" периода, послужившее подготовкой к "Зияющим высотам". Это эссе о творчестве Э. Неизвестного, которое я написал для него по его просьбе. В этом эссе я в обобщенной форме развил мои идеи о положении гения в обществе всемогущих посредственностей. Творчество Э. Неизвестного послужило лишь поводом для этого. Я выбрал судьбу именно гения, поскольку на ее примере очень четко можно было показать действие законов коммунальности при коммунизме. Основные идеи были следующие. Самым тяжелым в этом обществе является положение сильного человека, являющегося творческим гением. Общество глубоко враждебно подлинному гению. Оно предпочитает ложные личности, ложных гениев. Людей больше устраивает официальное признание посредственности в качестве гения, чем подлинного гения. Подлинный гений вносит в массы посредственностей тревогу, страх, что на его фоне будет видна их ничтожность. Признавая имитацию гения за гения, они успокаиваются. Они знают, что они не хуже его. Они надеются, что такого ложного гения всегда можно сбросить с пьедестала. В стремлении же помешать подлинному гению проявить себя и добиться признания массы посредственностей действуют единодушно и согласованно без всякого сговора. Эти идеи составляли основу эссе. Помимо них, я описал также империю изобразительного искусства как совокупность характерных для коммунизма учреждений и правила их функционирования. Э. Неизвестный дал прочитать мое эссе различным московским интеллектуалам. Мое авторство он при этом утаил, мотивируя это опасениями за плохие последствия для меня. Эти люди, не зная, что я был автором эссе, высказывались о нем с восторгом. Я дал почитать эссе некоторым из моих знакомых. Они тоже были в восторге. Подруга моей жены Марина Микитянская, бывшая замужем за французским инженером Жильбером Карофф, предложила переслать эссе во Францию с целью опубликовать его там. Я на пересылку согласился, но с публикацией попросил

подождать: я уже решил писать большую книгу.

"ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ"

Я начал писать книгу, и она захватила меня целиком и полностью. Я думал над ней на работе, в дороге, в гостях, дома, во время прогулок с дочерью, днем и ночью. Я был буквально одержим ею. Были случаи, когда я писал по двадцать часов подряд, прерываясь лишь на несколько минут. Такой творческий подъем я до этого испытывал лишь тогда, когда искал доказательства наиболее значительных (на мой взгляд) теорем. Ощущение было такое, будто долго сдерживавшаяся лавина мыслей вдруг прорвала плотину и ринулась неудержимым потоком на бумагу. Зато внешние условия, в которых я писал книгу, были такими, что в истории литературы трудно найти писателя, который писал бы сочинение такого масштаба в условиях еще худших.

В моем окружении еще до этого возникли предположения, что я должен был, как говорится, "выкинуть какой-нибудь номер" – совершить что-нибудь в духе бунтарских настроений тех лет. И я уже тогда находился в поле пристального внимания КГБ. Вокруг меня крутилось множество осведомителей КГБ. Узнать их не представляло никакого труда. Мы их узнавали даже по звонку в дверь и предвидели их появление. Когда мы оказались на Западе, нам не раз задавали вопрос, как мы определяем, кто из наших соотечественников является агентом КГБ. Мы отвечали, что для нас узнать агента КГБ так же легко, как западным людям узнать японца или китайца в массе европейцев. У нас выработался многолетний опыт на этот счет. Мы узнаем их по интонациям голоса, по взглядам, по тому, как и что они говорят. Советские власти уже имели достаточно много хлопот с диссидентами и непокорными деятелями культуры. Они хотели остановить процесс бунта и предотвратить новые случаи, которые могли бы подогреть его. А мой характер, мои принципы и способности были хорошо известны в кругах "аппаратчиков", обслуживавших представителей высшей власти. Потому внимание ко мне со стороны тех, кто хотел предотвратить мое "падение", было усиленным. Я его чувствовал во множестве мелочей, а также более серьезных дел. В это время, как проговорился один из знакомых из аппарата ЦК, было принято решение прекратить публикацию моих научных работ и ссылки на них. Эта профилактическая мера властей совпала с затаенной мечтой моих коллег. Да она и была принята по их инициативе – в доносах с их стороны по поводу моей "внутренней эмиграции" и возможной "внешней эмиграции" в случае, если я буду выпущен на Запад, не было недостатка.

Избрание в Академию наук Финляндии меня обрадовало как дар судьбы. Но и оно вызвало раздражение у властей. Власти и коллеги тщательно следили за тем, чтобы мне не перепал кусочек жизненных благ, не положенных мне согласно неписаным законам коммунальности. Появление у меня бывшего президента Академии наук Финляндии фон Вригта, журналистов из Финляндии и Швеции, взявших интервью по поводу моего избрания, еще более усилило атмосферу настороженности вокруг меня.

Я начал было читать отрывки из "Высот" Э. Неизвестному. Но он в пьяном виде разболтал о том, что я писал, причем в присутствии офицера КГБ, какие постоянно бывали в его мастерской. После этого надзор за мною со стороны КГБ усилился и стал регулярным. За мною повсюду следовали агенты КГБ, даже в общественный туалет. Нашу квартиру стали обыскивать в наше отсутствие. Я понял, что мое спасение – скорость. Я должен был опередить меры властей, которые могли бы помешать появлению книги. Я лихорадочно писал. Ольга перепечатывала рукопись на машинке на папиросной бумаге, причем очень плотно и часто на обеих сторонах страницы. Наши знакомые переправляли сделанное кусками во Францию, так что я даже не имел возможности делать редакторские исправления.

Летом 1974 года мы снимали дачу под Москвой. Хозяин дачи – бывший секретарь одного из районных комитетов партии Москвы. Этот человек послужил прототипом одного из персонажей книги "В преддверии рая". У нас бывало множество людей, и он подслушивал все наши разговоры. Он по своей инициативе стал собирать обрывки моих рукописей, которые я выбрасывал в бочку с мусором, и отвозил их в Москву. Заметив это, я пошел на такой трюк. Я стал прятать мои логические рукописи, разбрасывать по окрестности обрывки черновиков моих логических работ, которые я готовил к изданию за границей, я не прекращал занятий логикой, хотя и уделял им много меньше времени. Хозяин дачи аккуратно собирал эти обрывки, а в это время страницы "Зияющих высот" открыто лежали на столе около пишущей машинки Ольги. Их он не трогал – он, очевидно, думал, что в том, что не прячется, нет секретов.

Неподалеку от дачи, где мы жили летом, находилась одна из многочисленных дач КГБ. Она была обнесена высоким забором, по верху которого была натянута колючая проволока, а внизу бегали сторожевые собаки.

Был виден особняк и мачта радиостанции. Что это была дача КГБ, об этом знали все в поселке. Так на этой даче поселили целую группу людей, которые следили за каждым нашим шагом и за теми, кто нас навещал. И все же за это лето я написал основную часть "Зияющих высот" и сумел переслать ее во Францию. Переправкой занимались друзья Ольги, и в том числе Кристина Местр, француженка, работавшая в Советском Союзе и часто бывавшая у нас. Главное, как я уже говорил, надо было написать книгу как можно быстрее.

Эти условия в значительной мере определили форму книги. Полной уверенности в том, что я смогу написать большую книгу, у меня не было. Процесс писания мог быть прерван в любую минуту. Поэтому я писал каждый кусок книги так, как будто он был последним. Потому книга и получилась как сборник из нескольких самостоятельных книг, а каждая из этих книг – как сборник многих самостоятельных коротких произведений. Единство сочинению придавало единство идей и персонажей. Сюжет в обычном смысле слова играл роль весьма второстепенную. И книга могла быть как угодно большой или маленькой.

Все это я делал, одновременно занимаясь логикой и моими семейными и служебными делами. В это время под моим руководством работала целая

группа аспирантов из ГДР, что отнимало много времени. Мои книги и статьи издавались в ГДР, Польше, Венгрии. Некоторые мои ученики еще работали по инерции со мною. Готовились сборники с их участием. Я совместно с Х. Весселем готовил большую книгу по логике в качестве учебника в ГДР, включив в нее многие мои результаты. Так что мне приходилось иногда делать перерывы в работе над "Зияющими высотами".

К концу 1974 года я написал, как мне казалось, достаточно много для книги. В начале 1975 года представилась удобная возможность переслать во Францию новый текст, и я буквально за несколько дней написал последний раздел книги. Книга была закончена в том смысле, что находилась на Западе, в недосыгаемости для КГБ. Я уничтожил все черновики, что было с моей стороны глупо, и я потом из-за этого имел несколько месяцев неприятных переживаний. Но вместе с тем спрятать их так, чтобы до них не добрался КГБ, было нелегко. Главное – книга была написана и находилась, как я тогда думал, в безопасности на Западе. К счастью, я не знал, какие мытарства ей предстояло испытать в этой "безопасности". Если бы я знал заранее ситуацию с книгой на Западе, то, может быть, я не стал бы вообще писать такую книгу, а написал бы что-то другое, допустим – научный трактат или социологический памфлет.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ РОМАН

Решив начать писать мою, "зиновьевскую", книгу, я некоторое время колебался относительно ее формы: что писать – роман, научный трактат или научно-критический памфлет? Я уже имел опыт с логикой и понимал, что рассчитывать на признание моих социологических идей и моей теории коммунизма в огромной массе западных социологов, советологов, политологов и т. п. я не мог. Потому я решил отдаться во власть моей природы, моего стиля думанья и речи и писать так, как напишется, т. е. смесь фрагментов науки, социологических памфлетов, чисто литературных сочинений. Так что не столько я сам выбрал литературную форму моего сочинения, сколько она сама выбрала меня. Я просто вообразил себя читающим очень длинную публичную лекцию или ведущим длинный застольный разговор со своими друзьями. И у меня книга стала писаться как бы сама собой, без всяких затруднений в смысле оформления мыслей и образов. Пригодился старый опыт в сочинении стихов, в выдумывании шуток, в обработке реальных историй и в балагурстве.

Но дело не только в этом. Я все-таки с самого начала ведал, что творил. Я сознательно писал роман, но роман особого рода – социологический. Отношение социологического романа к социологии как науке похоже на отношение исторического романа к науке истории или психологического романа к науке психологии. Но в моем случае дело обстояло не так, будто независимо от меня уже существовала социологическая наука и от меня лишь зависело использовать ее результаты в моем романе. Социологическую теорию, используемую в моем романе, я разработал сам, и для меня речь шла о том, чтобы изложить идеи моей теории в особой литературной форме. Я решил

сделать сами законы бытия активными персонажами книги, показать, как они чувствуют себя в нашем обществе, чем занимаются, как общаются между собой. Но показать их не теми мистическими, то благородными, то жестокими, то добрыми, то страшными, но всегда великими феноменами бытия, какими их изображает официальная идеология и жалкая социологическая, с позволения сказать, наука, а обычными грязными ничтожествами, какими они и являются на самом деле.

Но раз я избрал в качестве героев своей книги сами законы человеческой жизни, для описания, естественно, потребовался особый стиль языка и мышления, которыми я овладел вполне профессионально, – научный стиль образного мышления. Многочисленные критики, писавшие о моей книге, стремились увидеть в ней то, что было похоже на книги других авторов, и не заметили в ней главного – того, что отличает меня от них, а именно то, что я ввел в литературу особый научный стиль образного мышления. Меня сравнивали со многими великими писателями прошлого, а по сути дела я был не вторым Свифтом, Рабле, Франсом, Щедриным и т. п., а первым Зиновьевым.

После выхода в свет "Зияющих высот" меня спрашивали, к какой литературной традиции я отношу себя сам. И я обычно отвечал: ни к какой. Этот ответ имел известное оправдание. Для писателя важно бывает иногда отстоять свою оригинальность.

А я, ко всему прочему, на самом деле пришел в литературу уже зрелым человеком, пришел извне литературы, имея за плечами несколько десятков лет научной работы в области философии, логики и социологии. Теперь же, глядя на свое творчество отдаленно и как бы со стороны, я с очень большими оговорками отнес бы себя к тому направлению в русской литературе, которое некоторые литературоведы называют социологическим реализмом. Наиболее яркими представителями этого направления считают Салтыкова–Щедрина и Чехова. Но я вижу черты этого направления у всех крупных писателей дореволюционной России, начиная с Лермонтова. Суть этого направления заключается в его ориентации на объективные социальные отношения между людьми и на обусловленность всех прочих важных явлений человеческой жизни этими отношениями, а также изображение самих людей как своего рода функций в системе этих отношений.

Думаю также, что я довел это направление в литературе до логического конца, придав ему вид сознательной литературно–логической концепции и связав его с научной критикой общества.

Основная задача литературы социологического реализма не развлекать читателя, а побуждать его задумываться над важными жизненными проблемами. Это литература для работы мысли. Именно для работы. Причем, чтобы понимать ее и получать от нее эстетическое удовольствие, нужно иметь привычку и навыки в ней, нужно прилагать усилия, чтобы читать и понимать ее. Иногда нужно перечитывать много раз, чтобы понять заложенные в ней мысли и ощутить интеллектуальную красоту. Здесь нужно обладать эстетическим чувством особого рода, способностью не просто понимать, а замечать эстетический аспект абстрактных идей.

В моем случае речь шла не просто о продолжении традиций социологического реализма русской литературы, а о создании целого романа как романа социологического. Такой роман в моем понимании есть не просто роман, в котором затрагиваются социальные проблемы, т. е. не просто социальный роман. Социальными романами являются такие романы, например, как "Война и мир" и "Анна Каренина" Льва Толстого, "Преступление и наказание" и "Братья Карамазовы" Достоевского и многие другие. Социологический роман должен исходить из научного социологического исследования общества и лишь использовать некоторые литературные средства для выражения результатов исследования.

Когда я начал писать свою книгу, в мире уже были широко известны книги Солженицына и других авторов, разоблачавших ужасы сталинского периода. Это ставило меня в затруднительное положение, так как эти книги стали сенсацией и приковали к себе внимание читателей. Писать очередную разоблачительную книгу было бессмысленно. Но в этом был свой плюс: я мог целиком и полностью сосредоточиться на описании вполне нормального, здорового, развитого коммунистического общества, каким советское общество стало в брежневские годы. Моим объектом стали не крайности, а именно норма жизни масс людей в самом фундаменте общества. Так что социологический роман тут был наиболее адекватной формой.

ВЫМЫСЕЛ И РЕАЛЬНОСТЬ

Местом действия в моем романе я избрал воображаемый город-государство, назвав его Ибанском. В русском языке это изобретенное мною слово, как и название романа, имеет издевательский смысл, не переводимый на другие языки. Но главное тут не в словесном каламбуре.

Некоторые рецензенты и читатели считают, что я выдумал Ибанск из неких соображений самозащиты (чтобы не говорить открыто о Советском Союзе, поскольку это было бы опасно). Это неправда. Ибанск – это литературный прием, причем, как мне кажется, не ослабляющий, а усиливающий критический эффект.

И никакой защиты он не давал. Я выдумал его прежде всего как средство представить результаты своих исследований советского общества в качестве результатов, имеющих силу в той или иной мере для любого достаточно большого и развитого современного человеческого коллектива.

Вымысел стал просто необходимым элементом литературной формы для выражения результатов научного исследования. Почему? Да хотя бы потому, что само научное исследование в этом случае невозможно без абстрактных моделей, без гипотетических примеров, без пояснений на воображаемых ситуациях. Но если в науке это суть формы и средства научной абстракции, то в литературе такого рода, о которой я говорю, они приобретают свойства художественного вымысла, становятся

изобразительными средствами. Так что все конкретные (с точки зрения традиционной литературы) ситуации в моих книгах было бы ошибочно рассматривать просто как запись виденного и слышанного мною. Конечно, я присматривался и прислушивался к происходящему. Но я видел и слышал нечто такое, что само по себе не могло еще стать фактами литературы. Все упомянутые ситуации я на самом деле выдумал. Я выдумывал даже тогда, когда как будто бы были аналоги в жизни. Я лишь опирался психологически на эти аналоги, да и то лишь иногда, а в языковом отношении заново изобретал даже факты прошлого. Опираясь методами науки, я буквально высчитывал логически мыслимые ситуации и типы людей. И порой я сам лишь постфактум обнаруживал совпадение своих вымыслов с историческими фактами и конкретными людьми.

Когда я писал "Зияющие высоты", перед моими глазами разворачивался реальный процесс жизни советского общества. Многие делали карьеру и добивались жизненного успеха. Другие, наоборот, вступали в конфликт с обществом, терпели неудачи, становились отщепенцами. Они служили прототипами для моих персонажей не непосредственно, а как представители характерных явлений и тенденций общества. Значительная часть моих персонажей отражала целое поколение карьеристов в различных сферах жизни общества, в те годы находившихся еще на низших и средних ступенях власти, но уже уверенно двигавшихся к ее вершинам. Сейчас эти люди составили инициативное ядро горбачевского руководства, вошли в личное окружение Горбачева. Уже в те годы было ясно, что они добьются успеха.

Однако важнее здесь не то, что кто-то дал мне материал для литературы, а обобщенность и характерность персонажей. Верно, что Сталин, Хрущев, Брежнев, Солженицын, Галич, Неизвестный, Евтушенко и др. послужили прообразами для Хозяина, Хряка, Заибана, Правдеца, Певца, Мазилы, Распашонки. Но не более того. Даже Мазила не есть Эрнст Неизвестный, хотя факты его жизни я часто использовал в книге. Вообще мысли всех персонажей книги – это мои собственные мысли, лишь розданные разным персонажам, а не подслушанные у других.

Очень многое из моей биографии и из моей социологической теории я приписал таким персонажам книги, как Шизофреник, Болтун, Учитель, Крикун, Клеветник. Но никто из них не есть я. И никто из них не есть выразитель авторской позиции, вернее, все они совместно с прочими персонажами выражают мое миропонимание.

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Начав писать "Зияющие высоты", я решил использовать все доступные мне литературные средства именно как средства, а не как самоцель, – поэзию, прозу, анекдоты, шутки, теоретические рассуждения, публицистику, очерк, пьесу, исторические экскурсии, социологию, сатиру, трагедию, короче говоря, все, подчинив все это единой цели – цели изображения реального коммунистического общества как сложного и многостороннего социального явления. У меня к тому времени выработался свой взгляд на литературу и на ее средства. Особенно это

касалось поэзии. Подавляющее большинство писателей, в особенности поэтов, встретили мои поэтические произведения весьма враждебно, но нашлись и поклонники. Я знаю, почему писатели отнеслись к моей поэзии враждебно. Я знаю цену тому, что сделал я, и тому, что в этом отношении сделали они. Может быть, когда-нибудь найдется человек со вкусом, который произведет нужный анализ и сравнение и выскажет свои суждения. Но пока все критики обошли молчанием этот аспект моего творчества. Я здесь упомяну лишь о двух его чертах.

Я использовал поэзию в комбинации с прозой в таких масштабах, в каких, как мне кажется, еще не делал никто. Думаю, что и качество ее само по себе, если рассматривать ее как особый жанр социологической поэзии, вполне соответствует уровню моей прозы. Уже при написании "Зияющих высот" я решил создавать большие литературные произведения в поэтической форме. Таким образом я реставрировал "Балладу о неудавшемся летчике", которая по условиям пересылки рукописей не попала в "Зияющие высоты" и вошла потом в мой литературный архив ("В преддверии рая"). В этой "Балладе" я умышленно отказался от всякого рода "технических" поэтических тонкостей и изощрённостей, сделав главный упор на содержание, на содержательные образы, на содержательные (интеллектуальные) средства вообще. Живя в эмиграции, я продолжал эту линию своего творчества, насыщая стихами свои романы и сочиняя самостоятельные поэтические произведения. Так появился роман в стихах "Мой дом – моя чужбина" и поэма "Евангелие для Ивана". В обоих я следовал тем же принципам использования содержательных средств поэзии. Я уверен в том, что, если бы мои поэтические произведения имели возможность свободно и широко распространяться в России, успех им был бы обеспечен. Разумеется, не в среде профессиональных поэтов и писателей. Хотя тут было одно исключение. Александр Галич, прочитав "Зияющие высоты", сказал, что он подписался бы под каждым моим стихотворением. Это мнение одного из моих любимых поэтов для меня было чрезвычайно ценно. Очень высоко оценил мои стихи Карл Кантор, являющийся, на мой взгляд, самым тонким знатоком поэзии из всех, кого я знал.

"СПОКОЙНАЯ" ПАУЗА

1975 год и начало 1976-го были относительно спокойными. В ГДР и в ФРГ вышла моя совместная книга с Х. Весселем. В ней излагалась моя концепция логики, Х. Вессель сделал перевод на немецкий и несколько дополнений и комментариев. Меня даже выпустили по его приглашению в Восточный Берлин на две недели. Я написал большую работу по логике, в которой изложил мою теорию кванторов (логику предикатов). Она должна была войти в сборник статей по логике советских авторов, подготовленный для публикации в США. После 1976 года статью из сборника изъяли, и ее напечатали лишь в 1983 году. В это же время я переработал для издания на немецком и английском языке мою книгу "Логическая физика". На немецком языке она вышла в ГДР в 1975 году, а на английском – лишь в 1983 году. Западные логики поступали в отношении моих логических исследований в удивительном согласии с тем, как это требовалось советским властям и их помощникам – моим

бывшим коллегам.

Лишь несколько лет спустя один мой хорошо осведомленный знакомый рассказал мне об одном обстоятельстве, благодаря которому меня на короткое время вроде бы оставили в покое. Дело в том, что какие-то части моей рукописи все-таки попали в руки КГБ. В таких случаях тексты передаются на экспертизу особым лицам, сотрудничающим с КГБ и работающим в соответствующих сферах науки и культуры. Мои рукописи рецензировали для КГБ какой-то писатель и какой-то социолог. Недавно мне сообщили, что этим экспертом-социологом был Ю. Замошкин, послуживший одним из прототипов для персонажа "Зияющих высот", по имени Социолог. Согласно заключению этих экспертов, мое сочинение не имело никакой научной и литературной ценности и что в случае публикации на Западе (а это, по их мнению, было маловероятно) книга не будет иметь никакого успеха. Очевидно, это успокоило лиц, ответственных за профилактические меры в отношении меня. В отношении меня решили сделать некоторые "послабления". Меня даже наградили медалью в числе немногих сотрудников института в связи с юбилеем Академии наук, как я об этом писал выше.

Мои тайные рецензенты были близки к истине в одном: шансов напечатать книгу на Западе у меня было ничтожно мало. Потом наши друзья, предпринимавшие попытки издать книгу, рассказывали, что все русскоязычные издательства отказались издавать ее, включая издательство "Имка-Пресс", контролировавшееся А. Солженицыным. Последнее в особенности: заболевший "комплексом Бога" Солженицын не мог допустить появления другого писателя, который мог бы составить ему конкуренцию.

ПРОПАВШИЕ ЧАСТИ, ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

В 1975 году обнаружилась пропажа двух частей книги. Одна из них называлась "Сказка о Московии", а другая – "Исповедь Отщепенца". Человек, который должен был переправить их на Запад, клялся, что он их передал там своему знакомому с просьбой переслать моим друзьям. Но те рукописи не получили. Я предполагаю, что этот человек либо передал рукописи в КГБ, либо уничтожил их из страха быть схваченным с ними. Я решил восстановить их в виде самостоятельных книг. В результате в 1975 – 1976 годы я, восстанавливая первую из упомянутых потерянных частей, написал книгу "Светлое будущее", а восстанавливая вторую – книгу "Записки ночного сторожа".

КРИЗИСНЫЕ МЕСЯЦЫ

Весенние и летние месяцы 1976 года были для меня и моей семьи чрезвычайно тяжелыми. Эмигрировавший на Запад Э. Неизвестный стал проявлять странный интерес к моей книге вопреки моим категорическим протестам. Он звонил мне по телефону и говорил о книге, зная, что

телефонные разговоры с границей прослушивались. Прислал открытое письмо (открытку) одному из моих знакомых живший в Лондоне Ж. Медведев, в котором писал о моей книге, – с ним каким-то образом вступили в контакт мои друзья, предпринимавшие попытки напечатать книгу. К счастью, он высказался о книге в своей открытке очень плохо. Но и без этого ситуация стала для нас ухудшаться. Очевидно, о книге ходили слухи на Западе, и это становилось известным в КГБ. Потом вдруг всякие сведения о судьбе книги прекратились. У меня создалось впечатление, что рукопись куда-то исчезла.

На время моего летнего отпуска мы сняли комнату в дачном месте под Киевом. Ольга с дочерью уехала туда. Я с матерью Ольги, которая жила с нами, остался в Москве. Я проходил оформление для поездки в Финляндию на симпозиум по логике. Советская делегация на симпозиум должна была состоять из 20 человек или более. Хотя "Зияющие высоты" уже были написаны, у меня еще не было намерения пойти на открытый разрыв с моим обществом. Судьба книги мне была неизвестна. На то, чтобы радикально перестроить свою жизнь за ее счет, я не рассчитывал. Эмигрировать я не хотел ни в коем случае. Я знал, что и на Западе я в логике окажусь в таком же положении, как и в Советском Союзе, а то еще того хуже. Но вместе с тем у меня на душе наболело настолько, что я уже не мог дальше терпеть. Вопрос о разрешении на поездку в Финляндию стал для меня принципиальным. Если уж меня, члена Академии наук Финляндии, не выпустят на сей раз, то стерпеть это было бы с моей стороны просто безнравственно. Буквально накануне отлета делегации мне сообщили, что мне в разрешении отказано. Я послал Ольге телеграмму об отказе и о моем решении заявить по этому поводу публичный протест. Она ответила телеграммой же, что мое решение одобряет.

Я встретился с западными журналистами – это были корреспондент "Ле Монд" Жак Амальрик, шведская журналистка Диса Хосту и ряд других журналистов, имена которых я забыл. Мое заявление было опубликовано в западных газетах и передано по радио. Решающий шаг в моей жизни был сделан.

На другой день я пришел в институт с намерением отдать партийный билет секретарю партбюро И. Герасимову, но он взять билет отказался. Надо отдать ему должное, он вообще считал, что я со своими выходками являюсь гораздо более честным советским человеком и коммунистом, чем те, кто меня вынудил на такие выходки. Он настаивал на том, чтобы я начал борьбу против этих людей. Но я от этого отказался, аргументируя свой отказ бесперспективностью официальной борьбы. Я сказал, что именно мой печальный опыт, может быть, заставит кое-кого задуматься над положением в стране. Партийный билет я оставил техническому секретарю.

В тот же день мне начали названивать мои бывшие друзья. Они заявили мне, что порывают со мною всякие отношения. Поразительно то, что всем им моя ситуация с приглашением на международные профессиональные встречи и с запретами властей на выезд в западные страны была хорошо известна. Все они возмущались тем, что меня не выпускали. Но достаточно было мне заявить публичный протест по этому поводу, как все они отреклись от нашей многолетней дружбы и осудили

меня. Между прочим, если бы даже не было "Зияющих высот", я за одно только это мое публичное заявление был бы подвергнут остракизму.

Я взял очередной отпуск. Мне его охотно дали, так как это отвечало желанию властей удалить меня из Москвы подальше от западных журналистов. Не задерживаясь ни дня в Москве, я уехал в Киев, где меня ждали Ольга и Полина. Ольга уже слышала о моем заявлении по радио – соседи по даче слушали передачи западных радиостанций.

Буквально через день после того, как я оказался под Киевом, в доме, где мы снимали комнату, поселился человек, приехавший с женой и двумя собаками на своей машине из Москвы.

Он представился как Н.А., работник Министерства иностранных дел. Но для нас было ясно, кто он такой. Одно то, что он поселился в комнате хозяйки дома, а хозяйку на это время куда-то выселили, говорило о его функциях. Скоро Ольга опознала его. Когда она училась на курсах машинописи и стенографии в Министерстве иностранных дел, был устроен вечер встречи девушек их курсов с курсантами военного института иностранных языков, и курсантов представлял Н.А., бывший тогда полковником. Все время под Киевом мы жили под надзором этого Н.А.

В конце августа мы вернулись в Москву. Относительно книги все еще не было никаких известий. В Институте философии создали специальную комиссию по моему делу. В нее вошли Т.И. Ойзерман (сейчас академик), В. Семенов (тогда редактор журнала "Вопросы философии") и Э. Ильенков. Последний через несколько лет покончил жизнь самоубийством. Как мне говорили, его незавидная роль в моем деле была одной из причин самоубийства.

Комиссия настаивала на том, чтобы я объявил сообщения западной прессы и радио вымыслом, обещая оставить на работе и ограничиться строгим выговором по партийной линии. Я отклонил это предложение. Тогда меня срочно уволили с работы. Было это сделано с нарушением всех законов. Меня на работе восстановили, но лишь затем, чтобы уволить "законным порядком".

Как я уже упоминал выше, еще до выхода в свет книги многие мои старые друзья порвали со мной отношения только из-за того, что мой голос протеста прозвучал по западному радио. Знакомые и сослуживцы перестали здороваться при встрече. Рядовые советские люди по доброй воле выражали свое отношение к моему бунту. Меня уволили из университета. Повсюду изъяли из печати мои статьи. Исключили из философского общества, членом которого, кстати, я не был.

Наконец 26 августа западные радиостанции объявили о выходе в свет в Швейцарии в издательстве "Век человека" книги "Зияющие высоты". По радио о ней рассказал писатель Владимир Максимов, живший в Париже. Хотя я уже почувствовал, какая расправа ожидала меня за это, я успокоился. Совесть моя была чиста.

С души свалился камень, тяготивший меня долгие годы. Мой бунт состоялся. Я привел мое внешнее положение в соответствие с моим внутренним состоянием.

ОСТРАКИЗМ

В моем случае, как в лабораторно чистом эксперименте, можно наблюдать процесс выталкивания человека в отщепенцы и поведение всех подразделений общества в такой экстремальной ситуации. Наиболее интересным здесь является поведение массы обычных людей, не занятых в системе власти и в карательных органах, но связанных с отщепенцем деловыми или дружескими отношениями.

Общее мнение коллектива Института философии, в котором я проработал двадцать два года, считался одним из лучших работников, был уважаем и даже любим, одна моя старая приятельница выразила одним словом: "Проглядели!" Проглядели – это значит не распознали еще до того, как взорвалась моя книжная бомба. Действительно проглядели, но не в смысле не распознали мою натуру, а в том смысле, что не сумели помешать проявиться ей с таким "шумом". В моем окружении все и всегда знали, что я такое был. Меня уважали и любили именно в таких моих качествах, которые потом стали предметом осуждения. Знали и принимали меры к тому, чтобы мои качества были локализованы рамками интимной жизни коллектива. Если бы я не приобрел известность на Западе как логик, если бы мои статьи и книги не переводились, если бы у меня не было преуспевавших учеников, я так и остался бы для всех хорошим человеком. Иногда обо мне говорили бы: талант, а вот пропадает ни за что. И именно за это любили бы. Стоило мне начать выделяться из общей массы, как немедленно началось постепенное отторжение меня от коллектива. Но и это еще было терпимо. Профессиональная известность – слишком узкая известность, чтобы ее пугаться. Тем более были приняты меры ограничить ее. И я мог бы продолжать жить, время от времени добиваясь успехов, наград, уважения. Лишь бы это не выходило за рамки, определенные мне властями и коллективом. Пойдя на публичный скандал, я нарушил тем самым неписаный закон коммунальности, который мои литературные персонажи выражали словами: "Мы все ничтожества", "Будь как все", "Не высывайся".

Но самым большим моим преступлением с точки зрения моего окружения было даже не то, что я напечатал книгу на Западе, это была не первая моя книга, напечатанная на Западе. Самым моим большим преступлением было то, что это была книга о моем окружении, книга правдивая, причем книга, имевшая раздраживший многих успех. Если бы книга была написана плохо, если бы она была действительно клеветой на советскую реальность и мое окружение, на меня не обрушились бы с такой силой, как это произошло. Меня бы наказали, но не очень сильно. Многие мои старые друзья и знакомые сохранили бы со мной приличные отношения и даже похваливали бы за книгу. Хвалили бы именно потому, что знали бы, что хвалить не за что. В Москве очень скоро появились многочисленные копии книги и стали с поразительной быстротой

распространяться. В определенных кругах москвичей книга стала сенсацией. И это усугубило реакцию моего окружения на мой поступок.

Меня в конце концов уволили с работы, лишили всех ученых степеней и званий, лишили наград. Мои работы были объявлены лишенными научного значения. Сделали это те же люди, которые до этого присуждали им премии и выдвигали на Государственную премию, рекомендовали к печати и к изданию на иностранных языках. Мои бывшие ученики стали публиковать мои идеи и результаты как свои собственные и, разумеется, без ссылок на меня.

Мою единственную ученицу, не порвавшую дружеских отношений с нашей семьей – Анастасию Федину, – уволили с работы и вообще выбросили из логики, хотя она была гораздо способнее большинства советских логиков. Меня начали дискредитировать и всячески порочить люди, знавшие меня десятки лет и дружившие со мною. Чтобы оправдать свое поведение, мою книгу объявили доносом на творческую и либеральную интеллигенцию. И это делали люди, прекрасно устраивавшиеся в жизни и делавшие успешную карьеру. Интересно, что западные логики и философы не проявили в отношении меня никакой профессиональной солидарности. Скорее наоборот, они проявили солидарность с моими преследователями. Польский философ А. Шафф, ранее восторгавшийся моими работами и способствовавший их изданию в Польше, отклонил мою кандидатуру в Международный институт философии, предложив вместо меня П. Федосеева. А известный историк логики Бохенский, считавший меня одним из трех крупнейших логиков в мире, осудил тот факт, что я опубликовал "Зияющие высоты". Мои логические работы перестали рецензироваться и упоминаться в издававшемся им журнале.

В помещении, где раньше находился опорный пункт милиции, установили пункт постоянного наблюдения за мною. У дома постоянно стали дежурить агенты КГБ. Иногда дежурили целые группы на машинах. Они фотографировали всех, посещавших нас, иногда снимали киноаппаратами. Меня стали регулярно вызывать в милицию как тунеядца, угрожая выслать из Москвы куда-нибудь в Сибирь. Предложили работу рядовым программистом в Омске. Куда бы мы ни шли, нас повсюду сопровождали агенты КГБ. В одиночку выходить было небезопасно. Случаи избиения диссидентов и даже убийства некими "хулиганами" уже имели место в Москве. В первую же неделю после выхода "Зияющих высот" мы почувствовали опасность прогулок в одиночку. Однажды я выбежал позвонить из автомата какому-то западному журналисту – домашний телефон прослушивался. Когда я возвращался домой, ко мне на лестничной площадке пристал "пьяный" огромного роста парень, изображавший пьяного. Хотя я был довольно крепок физически и умел драться, справиться с таким верзилой я не мог. Ольга услышала возню на площадке, выбежала, пыталась оттащить "пьяного" от меня, но и ее сил было мало. Тогда она сбегала на кухню, схватила металлический пестик (довольно тяжелый) и ударила им по плечу "пьяного". И вовремя: он начал душить меня. "Пьяный" от Ольгиного удара сразу "протрезвел", рука у него повисла, обессиленная, он оставил меня и, спускаясь по лестнице, все время оборачивался и произносил вполне трезвые угрозы.

Мои коллеги и сослуживцы потребовали предать меня суду. Позднее один

мой знакомый, имевший связи в аппарате ЦК и в КГБ, рассказал при "случайной" встрече о реакции на мою книгу Суслова. По его словам, Суслов якобы сказал: "Мы возились лишь с диссидентами, а главную сволочь проглядели". По его же словам, Суслов якобы настаивал на том, чтобы меня осудили самым суровым образом, а Ю. Андропов, бывший тогда главою КГБ, якобы предлагал выпустить меня на Запад работать в каком-нибудь университете. Не берусь судить о том, насколько все это соответствовало истине. Но и из других источников мне стало известно о таком распределении мнений "вверху". Я склонен поверить в эту информацию. На собрании в Институте философии, на котором единогласно меня подвергли публичному осуждению, мои коллеги и среди них мои бывшие многолетние друзья требовали предать меня суду. А присутствовавший на собрании под каким-то видом представитель КГБ сказал им, что это не их дело. Я не хочу обелять КГБ. Я хочу сказать, что на Западе да и многие в Советском Союзе думают, будто все зло исходит из КГБ. В этой легенде заинтересованы и сотрудники аппарата ЦК КПСС: они хотят выглядеть чистыми. На самом деле КГБ есть лишь исполнительный орган ЦК КПСС. За все то, что кажется мрачными делами, ответствен прежде всего ЦК.

Почему, спрашивается, в Советском Союзе не нашлось ни одного ученого и ни одного писателя, которые открыто выступили бы в мою защиту? Почему мои ученики и соратники в логике, которым ничто не угрожало со стороны властей, поспешили предать меня и "отмежеваться" от меня? Этот вопрос еще более серьезный, чем вопрос об отношении КГБ и ЦК КПСС. Это вопрос о реальной социальной структуре населения коммунистической страны. Я на эту тему уже писал выше. Здесь хочу остановиться на ней еще раз специально.

УЧЕНЫЕ И ПИСАТЕЛИ

На Западе была распространена легенда, будто многочисленные талантливые и моральные деятели советской культуры стремятся творить во имя истины и красоты, но злодейское руководство мешало им делать это благородное дело. Эту легенду поддерживали сами представители советской интеллигенции. Она удобна для них – дает оправдание их поведению и возможность выглядеть жертвой в глазах Запада, да и в своих собственных. Но эта легенда не имеет ничего общего с советской реальностью. В среде советской интеллигенции появляются и настоящие жертвы, но как редкое исключение. И многие представители интеллигенции в чем-то страдают, но эти страдания суть неизбежная плата за совсем не жертвенное положение и роль интеллигенции в обществе. В этом смысле и работники аппарата власти являются жертвами своей собственной системы власти. В этом смысле даже короли были жертвами своей роли королей.

В коммунистическом обществе сохраняются и разрастаются профессии ученых и писателей. Но наличие таких категорий граждан не характеризует социальную структуру советского общества по существу, как и наличие рабочих и крестьян. Тот факт, что человек является ученым или писателем, еще не определяет сам по себе его социальное

положение и поведение. Возьмите любое научное учреждение коммунистической страны, проанализируйте его социальную структуру и положение людей в ней, и вы увидите, что поведение людей определяется принципами, ничего общего не имеющими с принципами морали и некоей профессиональной солидарности. В число ученых включаются бесчисленные чиновники различных уровней, сделавшие карьеру за счет науки, но мало что давшие ей. В ученые включаются и научные работники опять-таки различных рангов, которые делают карьеру в качестве рядовых сотрудников и руководителей групп. Включаются в ученые и всякого рода ассистенты, лаборанты, технические помощники. Так что словом "ученые" называют представителей различных социальных категорий, подобно тому как словом "военные" называют и рядовых солдат, и высших генералов, и маршалов. Научные карьеры делаются по законам социальным (коммунальным), а не по законам "чистой науки", какой на самом деле нет. Для отдельных людей делаются исключения из каких-то соображений (например, создать видимость "научности" всей далеко не научной системы, соображения престижности советской науки, покровительство властей), но они не меняют социальной организации научных учреждений.

Я мог бы выбиться на высший уровень за счет науки. Но для этого я должен был бы вступить в компромисс со всей социальной системой и вести себя по правилам поведения карьеристов в системе науки. Я имел бы тогда покровительство "сверху".

У меня появились бы десятки поклонников и подхалимов, которые повсюду превозносили бы меня. Я получал бы официальные награды и другие знаки официального признания. Стали бы говорить о советской школе в логике. И кстати сказать, и на Западе ко мне стали бы относиться с таким же почтением – законы массовых явлений одинаковы как для Советского Союза, так и для Запада. Но я отказался пойти на компромисс, лишился защиты от моих коллег со стороны властей. Последние отдали меня на съедение самим ученым, и те сделали свое дело, соответствующее их социальной природе. Отмечу также кстати, что во всех случаях, когда мне отказывали в разрешении поехать за границу на профессиональные встречи, когда мою кандидатуру отклоняли при выборах в Академию наук и при выдвижении на Государственные премии, всегда так или иначе имело место участие моих коллег, которые либо считались друзьями, либо по видимости покровительствовали мне. Так, например, при разборе моего дела в КГБ и в ЦК КПСС в 1967 году мне рассказали, что мою поездку на международный конгресс сорвал академик Б.М. Кедров. Ему не нравилось то, что я на Западе был известен лучше, чем он, что мои книги там издавались, что ссылок на мои работы было больше, чем на его. Он знал о моей способности производить эффект на слушателей моими выступлениями. К тому же я имел персональные приглашения, а он – нет. И он сказал в ЦК, что не ручается за меня, и меня изъяли из делегации. И такого рода случаев в моей жизни было сотни. Мои коллеги использовали мою беззащитность, чтобы помешать мне выделиться за счет чисто научных достижений. И они преуспели в этом. Моя жизненная концепция была эффективна лишь в определенных пределах, а именно если ты не пытаешься реализовать свои способности сверх меры, допускаемой твоим всемогущим окружением.

Когда я уходил в литературу, я уже имел печальный опыт в моей профессии, знал положение в литературе и не рассчитывал на то, чтобы пробиться в среде советских писателей. Я знал, что советская литература – это десятки тысяч людей, объединенных в различные организации, имеющих сложную социальную структуру и иерархию, выполняющих разнообразные функции. Талантливые писатели, действующие во имя истины и красоты, являются среди них редким исключением. Подавляющее большинство писателей и прочих деятелей литературной индустрии выбрали эту сферу жизнедеятельности исключительно из эгоистических соображений. На роль писателей здесь отбираются люди особого рода, такие, для которых советский строй жизни есть их родной строй. Они получают специальную подготовку, как быть не писателем вообще, а писателем советским. Они живут в конкретных советских условиях, а не витают в облаках, т. е. зарабатывают деньги, приобретают квартиры, дачи и машины, делают карьеру, заслуживают чины, награды, звания. Они сами образуют лестницу социальных позиций с соответствующей лестницей распределения материальных и прочих благ. Многие из них занимают официальные посты и входят в органы власти. Многим достаточно написать одну книжку, чтобы всю жизнь считаться писателем и жить безбедно. Такие писатели являются высшей властью в литературе. Они решают, что следует писать и как писать, что разрешить печатать, а что нет, кого и как награждать, кого и как наказывать. Высшая власть в советской литературе – сами советские писатели. Главный враг талантливого советского писателя – другой писатель, но посредственный. А таковых подавляющее большинство. Их роль – низвести литературный талант одиночек до уровня посредственности массы писателей. Они всеми силами стремятся утвердить в литературе господство посредственности, т. е. свое собственное господство. Партийные и государственные органы заявляют о себе лишь после того, как сами писатели не могут справиться с непокорными одиночками своими силами. Если бы советские власти предоставили самим советским писателям решать печатать мою книгу в Советском Союзе, ни один член Союза советских писателей не высказался бы за публикацию. Вот в чем суть дела! Да и сейчас, через двенадцать лет после опубликования "Зияющих высот", советские писатели ни в коем случае не допустили бы печатание моих книг в России, если бы им было предоставлено право решать. Появление моих книг в России принесло бы мне неслыханный успех, и десятки тысяч посредственностей это знают. Это изменило бы литературный статус массы писателей. Мой случай тут не является исключительным. Основным врагом публикации в Советском Союзе лучших произведений литературного взрыва брежневского периода являются сами советские писатели, составляющие часть и орудие идеологического аппарата страны.

Приступая к написанию "Зияющих высот", я никогда даже в мыслях не допускал надежды на издание книги в Советском Союзе. Я не собирался даже пускать книгу в "самиздат" – для этого она по многим причинам не годилась, и в том числе по той причине, что "самиздат" сам был советским явлением и становился массовым явлением. Моей книге в нем не было места. Не случайно же русские издательства на Западе, охотно печатавшие "самиздат", отказались печатать мою книгу. Я вообще не имел надежды на опубликование книги. То, что она появилась, я считаю

чудом. И благодаря тому, что она появилась независимо от диссидентских кругов и "самиздата", она получила распространение в этих кругах, стала циркулировать нелегально в многочисленных копиях. Публикация книги кем-то, независимым от нелегальной, но все равно подверженной общим коммунальным законам среды, дало мне какую-то поддержку.

РОДСТВЕННИКИ

Показателем того, какие перемены произошли в советском обществе в послесталинские годы, может служить также поведение наших родственников в моей из ряда вон выходящей ситуации. Во-первых, моя жена Ольга стала соучастником в моем поведении и ближайшим помощником. Она прекрасно понимала, что мы в результате моих скандальных действий потеряем все наше материальное благополучие и что моя научная карьера оборвется. Эмигрировать на Запад она, как и я, не хотела – мы не видели там для нас никакой возможности жить так, как жили в России. Она понимала также то, что наша дочь из-за нас попадет с самого начала жизни в число изгоев общества. И все-таки принципиальное идейное и моральное отношение к положению в стране и к моему личному положению восторжествовало в ее умонастроениях. Она решила идти со мной до конца, чего бы это ни стоило.

Моя дочь Тамара за то, что отказалась порвать со мной отношения, была исключена из комсомола и уволена с работы. Потом она в течение многих лет не имела постоянной работы. Мой сын Валерий жил с семьей в г. Ульяновске. Он был офицером милиции, капитаном. Был прекрасным работником, был представлен к высокой правительственной награде, имел перспективу повышения в должности. Его предупредили, что, если он будет поддерживать со мной связи и будет встречаться со мной, его накажут по партийной линии и уволят с работы. Для человека с семьей, живущего в провинции в самых недрах русского общества, такая угроза есть угроза всей жизни. И все-таки Валерий не внял угрозе. Когда стало известно, что меня могут посадить в тюрьму или выслать на Запад, он все же приехал к нам в Москву. В результате его исключили из партии и уволили с работы. В течение ряда лет он работал простым рабочим. Одновременно учился в вечернем инженерном институте и стал инженером. Но положение инженера было все равно ниже прежнего положения офицера милиции. И никаких перспектив для карьеры не появилось.

В той или иной мере пострадали и другие мои родственники и родственники жены. Но больше всего пострадал мой брат Василий. Его поведение в моей ситуации вообще было беспрецедентным. Он был военным юристом, полковником. Служил в разных районах страны, в последнее время – в Киеве. Имел репутацию способного, смелого и неподкупного работника. Привлекался к проведению ряда важнейших операций по разоблачению преступных мафий на высоком уровне, участвовал в разоблачении мафии в Ворошиловградской области и в Азербайджане. Как человек с такой прекрасной репутацией, он был

выдвинут на высокий генеральский пост в военной прокуратуре – на пост начальника отдела, курировавшего КГБ от военной прокуратуры. Получил квартиру в Москве. Должен был получить звание генерал-майора. Его дочь переехала с ним в Москву и поступила на работу. Жена осталась в Киеве готовиться к перевозу имущества в Москву. И в этот решающий момент карьеры Василия появились "Зияющие высоты". Его немедленно вызвали к начальнику политуправления армии генералу Епишеву и предложили публично осудить мое поведение. Василий сказал, что не знал о книге, еще не видал ее и не знает, что в ней написано, но что он относится ко мне с величайшим уважением, что знает меня как человека, который не способен совершить недостойный поступок. Ему дали срок несколько дней подумать. На вторую беседу с Епишевым он шел, уже прочитав книгу. Она произвела на него сильнейшее впечатление. Он только пожалел, что я не говорил ему о моей работе над такой книгой ранее, так как он дал бы мне для нее потрясающий конкретный материал из его практики. Епишеву он сказал, что гордится мною, и осуждать меня ни в коем случае не будет. Его немедленно уволили с работы, выгнали из армии и выслали из Москвы. Его дочь тоже выслали из Москвы, взяв ее прямо на работе. С Василием так расправились потому, что он, как думали "вверху", мог оказать мне поддержку, используя свое высокое положение. А в армии в те годы антибрежневские настроения были очень ощутимы.

"ПРОСТЫЕ" ЛЮДИ

Поразительно то, что обнаружилось множество "простых" людей, одобрявших мое поведение и не порвавших со мною хорошие отношения. Это люди, находившиеся на самых низших ступенях социальной иерархии в нашей среде. Могу назвать в качестве примера моих близких друзей Инну Коржеву, работавшую рядовым редактором в журнале "Вопросы философии", Веру Малкову, бывшую научно-техническим сотрудником Института философии, Клару Ким, бывшую преподавателем эстетики в одном из вузов Москвы. Таких людей, однако, было не так уж много. И они не имели абсолютно никакого влияния на поведение коллектива моего учреждения и на решения властей. За время после выхода "Зияющих высот" и до эмиграции к нам приходили рабочие, мелкие служащие, учащиеся, офицеры, пенсионеры, учителя, врачи, адвокаты, которые выражали полное одобрение моему поступку, предлагали помощь, сообщали многочисленные факты для будущих книг. Думаю, что если бы "Зияющие высоты" были опубликованы в России, то моими главными читателями стали именно "простые" люди. Хотя моя книга и была рафинированно интеллигентской ("элитарной"), она соответствовала прежде всего менталитету этих "простых" людей, имевших на самом деле высокий образовательный уровень (высшее и по крайней мере среднее образование) и гораздо более развитые духовные интересы, чем в высших слоях общества. Впоследствии я подробнейшим образом описал этот феномен в книге "Желтый дом".

ВНУТРЕННЯЯ ЭМИГРАЦИЯ

Я с семьей оказался выброшенным из моей привычной среды обитания и оказался в положении внутреннего эмигранта, но не в смысле моего внутреннего (идейного, морального, психологического) состояния, а буквально был выброшен из общества, но удержан внутри страны. В нашем доме стали появляться другие люди. Мы вообще изменили сферу нашего общения. Нашей социальной средой теперь стали диссиденты и люди, вообще настроенные критически или неинтегрировавшиеся в слой преуспевающих карьеристов. С нами не порвали отношений наши родственники, что было новым явлением в реакции советских людей на "врагов", и лишь немногие из прежних друзей, в частности упоминавшиеся выше В. Марахотин, Г. Яковлев, А. Федина, К. Кантор, Ю. Левада.

Отношение к нам других людей чрезвычайно интересно с точки зрения состояния советского общества тех лет. Мои бывшие друзья, с некоторыми из которых я дружил по несколько десятков лет (с некоторыми – еще с довоенных лет), перебежали на другую сторону улицы при виде меня или моей жены. Некоторые заявили, что книгу не читали и читать не намерены. Их раздражало то, что такую книгу написал именно я, а не они. Один из них, как мне сообщили, разбил радиоприемник у знакомых, когда началась передача обо мне какой-то западной радиостанции. Зато многие другие люди, в том числе и незнакомые, демонстративно проявляли уважение ко мне и даже восхищение. Например, неподалеку от нашего дома жил генерал, работавший в Генеральном штабе Советской Армии. Он иногда гулял со своей внучкой на бульваре, где я гулял со своей дочерью того же возраста. Там мы и познакомились. Он регулярно слушал передачи западных радиостанций, где-то достал "Зияющие высоты" и, как он сказал мне, "зачитал их до дыр". Он при встрече со мной громко выражал свой восторг и поносил "наши порядки". Седьмого ноября мне неожиданно позвонили офицеры какой-то военной академии и сказали, что восхищаются мною и поют за мое здоровье. По телефону нам ежедневно звонили десятки людей. Некоторые – с угрозами. Но подавляющее большинство – с восторгами. Вскоре телефон отключили. На улицах ко мне иногда подходили незнакомые люди, узнававшие меня по фотографиям, которые нелегально циркулировали по Москве, и жали мне руку. При этом они видели сопровождавших меня агентов КГБ. Один такой молодой мужчина предложил моим "телохранителям" даже посмотреть его документы. Они отвернулись.

У нас дома каждый день стали бывать посторонние люди. Приносили еду и выпивку. Так что наша квартира превратилась в своего рода оппозиционный клуб. Некоторые посетители приезжали из других городов. Это были молодые люди, создававшие нелегальные группы и пропагандировавшие мои идеи. Бывали молодые офицеры. Два молодых лейтенанта, приехавшие в Москву в отпуск, рассказали мне о том, что в 1976 – 1977 годы в армии были образованы нелегальные политические группы, имевшие целью объективное понимание общества и критику существующего положения, что эти группы разоблачались, что многих

офицеров судили военным судом и даже приговорили к расстрелу. Я был склонен этому верить, помня о попытке лейтенанта Ильина в 1969 году и о восстании на эсминце в Балтийском море в 1975 году. Мне рассказывали также, что Ильин был не один, что он был членом целой группы заговорщиков, которые все были расстреляны. Рассказывали далее, будто КГБ внедрил своих людей в группу Ильина или завербовал кого-то из членов группы, чтобы взять ход заговора под свой контроль. Брежневу, как "Второму Ильичу", хотелось иметь в своей биографии безопасное для него покушение, которое повысило бы статус его персоны и которое можно было бы использовать как повод для усиления репрессий. Но Ильин ускользнул от людей КГБ, а Брежнев в последний момент испугался и на место покушения не явился. Я попытался передать эту информацию западным журналистам, но они в нее не поверили, хотя значительная часть их информации на Западе печаталась на основе слухов. И вообще этот аспект бунтарства совершенно не интересовал Запад.

Некоторые советские люди из нашего окружения в течение двух лет внутренней эмиграции оказывали нам существенную поддержку. Хочу особо упомянуть здесь мою бывшую ученицу и члена моей логической группы Анастасию Федину, потерявшую из-за этого работу и просто изгнанную из логических кругов, моих друзей с детства и юности В. Марахотина и Г. Яковлева, а также И. Щедровицкую, Д. Ханова, Н. Осьмакову, Н. Столярову. Последняя отсидела в сталинских лагерях 18 лет. Не оставляли нас вниманием и многие другие.

Несколько раз меня навещал Карл Кантор. Его суждения о моей книге были для меня особенно ценны. Его эстетический вкус был для меня надежным критерием оценки. Книгу он оценил очень высоко. Мне передавали также, что в восторге от книги был А. Ракитов. Когда ему прочитали книгу (он слепой), он воскликнул: "Так это же бессмертие!" Многие благодарили меня за то, что не стали прототипами героев книги, и хвалили книгу. С одним из них, однако, произошел курьез. Он был прототипом одного из персонажей пропавшей части книги. Когда эта часть была восстановлена, напечатана отдельной книгой ("Записки ночного сторожа") и попала в Москву, он резко изменил свое мнение о моей книге.

Д. Ханов навещал меня почти каждый день. Он ходил со мной на прогулки тогда мне одному на улицу было выходить небезопасно. Благодаря ему я усовершенствовал свой английский, он окончил английский факультет Института иностранных языков. Он послужил мне одним из прообразов для главного героя "Желтого дома". Хотя я приписал моему герою многое из моей жизненной истории, психологический его характер я изображал, имея в виду именно Д. Ханова.

Точно так же почти каждый день нас навещали В. Марахотин и Г. Яковлев. Они приносили еду, водили меня на прогулки в качестве телохранителей. Валентин каким-то чудом сохранил мои стихи военных и послевоенных лет, в том числе "Балладу о неудавшемся летчике". Жизнь этого дорогого мне человека сложилась в характерном русском трагическом духе. Как я уже писал, он в детстве потерял отца и мать, рано начал работать. Неудачно женился. Развелся. Сын фактически был

на его попечении. Когда сыну было шестнадцать или семнадцать лет, его убили хулиганы. Лишь отработав рабочим в одном и том же учреждении более тридцати лет, он получил комнату в 12 кв. м. Уже после моей эмиграции он женился вновь в возрасте около шестидесяти лет, у него родился сын.

Летом 1978 года я с семьей несколько недель провел у брата Василия в Киеве. В городе у меня было много знакомых. Я сюда приезжал на защиты диссертаций в качестве оппонента. Тут работали некоторые мои бывшие студенты и аспиранты. Я тут часто проводил отпуск. Киевские логики и философы относились ко мне с величайшим уважением, постоянно ссылаясь на мои работы. Когда началась на меня атака в Москве, то она захватила и Киев. Но дружеские отношения все же сохранились. А после моего заявления по поводу запрета на поездку в Финляндию и особенно после выхода "Зияющих высот" все мои киевские друзья поступили так же, как московские. Если мы сталкивались с ними на улицах города, они в панике убегали от нас. Причем делали это совершенно добровольно, не из страха наказания (им ничто не угрожало, если бы они поздоровались с нами хотя бы приличия ради), а как нормальные члены нормального советского общества. В сравнении с мужественным поведением моего брата Василия эти люди выглядели для нас особенно омерзительно. Наше отторжение от советского общества оказалось взаимным.

Мой очень близкий киевский друг М.П., узнав о том, что я приехал на лето в Киев, взял отпуск и уехал из города. Он вернулся, когда по его предположению я должен был покинуть Киев. Но он ошибся на один день. В день нашего отъезда из Киева мы случайно столкнулись с ним на улице. Импульсивно мы обнялись, забыв о моем новом статусе. В этот момент нас сфотографировали из машины КГБ, которая за нами повсюду следовала. Мой друг чуть не упал в обморок и сбежал, не попрощавшись. Эту историю наблюдали его сослуживцы и, конечно, разболтали о ней. Однако это не помешало тому, что мой бывший друг был все же избран в Академию наук Украины.

В диссидентской среде к моей книге отнеслись различно. С восторгом отнеслась к книге Р. Лерт. Хотя она была в преклонном возрасте, она приехала к нам высказать лично мне свое мнение. Она написала превосходную рецензию на книгу. Рецензия, однако, была опубликована на Западе в русскоязычной прессе лишь после смерти Лерт. У нас установились дружеские отношения, мы довольно часто встречались вплоть до моей эмиграции.

Точно так же в восторге была С. Каллистратова, одна из самых замечательных женщин, каких мне довелось встретить в жизни. Хорошо к книге отнеслись Р. Медведев, П. Егидес, Т. Самсонова, Ю. Гастев и многие другие диссиденты. Резко отрицательно отнесся к книге А. Сахаров. В интервью какой-то французской газете (или журналу) он назвал мою книгу декадентской. Из окружения Сахарова обо мне стали распространять слух, будто я экстремист. Западные журналисты мне не раз говорили, будто у Сахарова их предостерегали от посещения Зиновьева. При встрече на вечере у С. Каллистратовой Сахаров не обмолвился со мной ни единым словом, хотя мы сидели рядом. Очень странно отнесся к книге В. Турчин. Он лишь высказал удивление, хотя

я с ним был знаком до этого и имел дружеские отношения.

С Ю. Орловым я встретился лишь один раз. Он позвонил мне и предложил сделать какой-нибудь доклад на его научном семинаре у него дома. Я изложил мое доказательство недосказуемости великой теоремы Ферма. Боюсь, что мое доказательство осталось непонятым. После ареста Орлова у нас стал часто бывать его сын Дима. Мы его принимали охотно, и он привязался к нашей семье. Я относился и отношусь до сих пор к Ю. Орлову с огромным уважением. Я считал и считаю его одной из самых значительных фигур в диссидентском движении прошлого.

Однажды меня навестил А. Щаранский вместе с американским журналистом Тодом. Поговорили о каких-то пустяках. После этой встречи Тод оказался замешанным в какой-то истории, был задержан, дал компрометирующие Щаранского показания и был выслан из Союза. Вскоре в США появилась статья Тода (мне прислали ее копию), в которой было написано, будто я снабжал его секретной социологической информацией. Когда в 1979 году я был в США и встретил Тода в Вашингтоне, я спросил его, почему он так написал. Он сказал, что сделал это, чтобы отвлечь внимание КГБ от лиц, снабжавших его секретной информацией. Он якобы был уверен в том, что меня не арестуют. А между тем я тогда был весьма близок к аресту.

После ареста Щаранского меня вызвали на допрос в Лефортовскую тюрьму КГБ. Следователь показал мне материалы допроса Щаранского, в которых тот якобы говорил много по моему адресу такого, что можно было мне инкриминировать как преступление. Я отказался смотреть эти материалы, заявив, что ни к каким секретам доступа вообще никогда не имел. Через несколько дней меня вновь вызвали на допрос. Тогда меня доставили в Лефортово принудительным порядком, с милицией. Там оформили мой отказ разговаривать на тему о Щаранском и отпустили.

Мне сообщили, что мое появление в литературе резко отрицательно встретил А. Солженицын. А ведь я был первым, кто сделал диссидентов и критиков советского общества объектом художественной литературы. Мои литературные персонажи очень высоко оценивали деятельность Солженицына, Сахарова, Григоренко, Орлова, Турбина и других.

Настоящим праздником для меня была встреча с Надеждой Мандельштам. Когда я вошел к ней в квартиру, она встретила меня, обнимая "Зияющие высоты". Она сказала, что это ее книга, что она такую книгу ждала всю жизнь. Это была для меня самая высокая похвала. Мне было также приятно узнать, что мою книгу очень высоко оценила Евгения Гинзбург. Она ее прочитала незадолго до смерти. Если моя книга доставила какое-то удовольствие этим замечательным женщинам в последние месяцы и дни их жизни, то уже одно это оправдывало в моих глазах все те потери, которые я понес, написав ее.

Не порвала со мною дружеских отношений Е. Виноградова, автор известных книг по востоковедению. Она помогла мне в некоторых опасных для нее в то время делах. Ее мать Н. Завадская, работавшая много лет в журнале "Вопросы философии", член партии со времен революции, перечитала "Зияющие высоты" много раз. Ей было 84 года. Но она сохранила полную ясность ума. При встрече она поражала меня

тем, что помнила литературные и идейные тонкости книги. Вообще многие пожилые люди, пережившие революцию и годы сталинизма, приняли "Зияющие высоты" с поразительным для меня восторгом. Они звонили мне по телефону, пока телефон не был отключен, присылали письма, навещали меня только для того, чтобы пожать мне руку.

Появлялись у меня представители от отца Дудко. Они предупредили меня, чтобы я не писал ничего на религиозные темы. Зато много радости мне принес религиозный диссидент В. Бурцев. Я до сих пор храню ладанку, которую он подарил мне перед эмиграцией.

Мы познакомились также с писателями Г. Владимовым, В. Ерофеевым и В. Войновичем. Лишь в этот период я стал читать их сочинения. Мне особенно понравились книги "Верный Руслан" Владимова, "Москва – Петушки" Ерофеева и "Иванькиада" Войновича. "Москва – Петушки" произвела на меня сильнейшее впечатление. Я до сих пор считаю эту маленькую книжечку жемчужиной русской литературы. В это же время мой друг К. Кантор принес мне книгу молодого сибирского писателя Г. Николаева "Плеть о двух концах", изданную официально в Иркутске. Книга мне показалась замечательной. Я бы отнес ее, наряду с сочинениями запрещенных писателей, к числу лучших произведений русской послевоенной литературы. Несколько лет спустя мне удалось издать эту книгу по-французски.

Мы познакомились со многими западными журналистами и с некоторыми из них подружились. Это Э. Хуттер (Австрия), П. Остеллино (Италия), Э. Севборг (Швеция), Х. Пайпер (США), Р. Эванс (Англия) и другие. Западные журналисты в Советском Союзе в шестидесятые – семидесятые годы вообще играли огромную роль в поддержке бунтарских настроений в стране. Для меня и моей семьи они стали тогда основной связью с внешним миром. Они поддерживали нас морально. Через них мы получали мои книги с Запада и пересылали туда рукописи и информацию о своем положении. П. Остеллино переслал на Запад мою книгу "Желтый дом" и часть моего архива. Э. Хуттер переслал мои заготовки для книги "В преддверии рая", за что был изгнан из Советского Союза. П. Остеллино уехал сам, так как окончился срок его контракта, иначе его постигла бы та же участь. С этими людьми мы поддерживаем дружеские отношения до сих пор. Став редактором газеты "Коррьера делла сера", П. Остеллино предоставил мне возможность в течение ряда лет регулярно печатать в его газете мои публицистические статьи.

На какие средства мы жили? Я категорически отказался получать деньги за мои книги из-за границы, дабы меня не обвинили в том, что я получаю деньги от ЦРУ и других западных секретных служб. Мы продавали книги из своей библиотеки. У нас была прекрасная коллекция книг по искусству, которые дорого стоили на черном рынке. Например, мы целый месяц жили за счет одного альбома Сальвадора Дали, привезенного нам из-за границы нашими знакомыми. Продавали свою одежду. Некоторую помощь нам оказывали из диссидентских фондов. Присылали деньги читатели, обычно анонимно. Мы несколько раз находили конверты с небольшими суммами денег прямо в почтовом ящике. Тайком оставили деньги диссиденты П. Егидес и Т. Самсонова. Тайком не потому, что боялись властей, а потому, что не хотели нас обидеть этим. Мы лишь случайно узнали, что это сделали они. Вполне открыто

передал нам деньги академик П. Капица, на которые мы прожили чуть ли не целый месяц. Иногда я писал для кого-то философские статьи. Продал несколько рисунков. "Отредактировал" одному философу докторскую диссертацию. Короче говоря, мы могли существовать. Конечно, не на том профессорском уровне, как ранее, но все же терпимо. Как долго мы могли бы протянуть таким образом, мы не думали. Я еще надеялся найти какую-то подходящую работу. Начала искать работу и Ольга. Но безрезультатно. От нас все официальные лица сторонились, как от прокаженных, и предлагали работу в Омске и в Сыктывкаре. Но принятие таких предложений было равносильно самоубийству. Тем более у нас подрастала дочь, надо было подумать об ее образовании.

Мы стали получать рецензии на "Зияющие высоты" в западной прессе. Первой в Москве появилась рецензия в русской эмигрантской газете "Новое русское слово", издававшейся в Нью-Йорке. Рецензия была в высшей степени нелепой и погромной. Досужие люди охотно распространяли ее по Москве. Но злорадство моих бывших коллег, друзей и сослуживцев было недолгим. Поток пошел такие рецензии, о каких писатели и мечтать не смели. Одной из первых появилась рецензия А. Некрича, автора нашумевшей книги о начале войны, эмигрировавшего в США. Затем появились рецензии Ж. Нива, французского профессора, знатока русской литературы, а также М. Геллера, историка, прошедшего через ГУЛАГ и теперь жившего в Париже. Серию статей опубликовал В. Тарсис, автор книги "Палата №7", живший тогда в Швейцарии... Успех был очевиден, и это служило нам основной моральной поддержкой.

Моя книга называли первой книгой двадцать первого века. Меня сравнивали с Рабле, Свифтом, Данте, Франсом, Салтыковым-Щедринным и многими другими великими писателями прошлого. Я ворвался этой книгой в литературу совершенно неожиданно для всех, как метеор, сразу войдя в число крупнейших писателей века (так писали в газетах). Если бы книга была издана в России, мне был бы гарантирован беспрецедентный литературный успех. Но советские власти совместно с "либералами", контролировавшими культуру, украли у меня не только научную, но и литературную славу в России. Сфера распространения книги была локализована. За распространение ее преследовали, при обысках ее отбирали. Так, одно из обвинений С. Ходоровича при его аресте было то, что у него при обыске нашли "Зияющие высоты". И даже несколько лет спустя (уже в 1983 году) за распространение моих книг (в первую очередь "Зияющих высот") был арестован и осужден А. Шилков. А таких случаев было десятки...

На черном рынке "Зияющие высоты" (а затем и другие книги) продавались за огромные деньги. Один из моих поклонников переписал всю книгу от руки микроскопическим почерком, так что получилась книга размером с небольшую записную книжку. Он сам приносил ее показать мне. Короче говоря, несмотря ни на какие препоны, книга распространялась по стране, мнение западной прессы о ней просачивалось в Москву, нас постоянно навещали советские и западные люди. Наша квартира превращалась в своего рода оппозиционный центр. Это, естественно, вызывало тревогу у властей.

ЛИТЕРАТУРНАЯ РАБОТА

В эти годы я много писал, несмотря на крайне неблагоприятные условия. Иногда мне удавалось незамеченным агентами КГБ ускользнуть из дому. Я шел к моим знакомым, у которых по несколько часов писал и оставлял рукописи. В подавляющем большинстве случаев эти люди меня не выдавали, хотя с некоторыми из них я был знаком всего несколько месяцев и даже недель. Были, конечно, и "проколы". Так, один из очень близких мне людей, которому я доверил на хранение копию двух частей книги "Желтый дом", передал рукопись в КГБ. Уже находясь в Мюнхене, я случайно обнаружил, что рукопись основательно использовал писатель-эксперт КГБ. Он же использовал и рукопись книги "Иди на Голгофу", украденную уже на Западе. Об этом я в свое время сделал заявление для прессы и писал в предисловии к русскому изданию книги. Часть моих рукописей исчезла по той причине, что оборвались контакты с людьми, у которых они хранились. Мне неизвестно, что с ними стало.

Отослав на Запад "Светлое будущее" и "Записки ночного сторожа", примыкающие к "Зияющим высотам", я начал работу над большим социологическим романом. Я собрал довольно много материала для книги. Записал некоторые идеи моей общей социологии и теории коммунистического общества, критику официальной идеологии, идеи новой религии. Включил в книгу "Балладу о неудавшемся летчике", написанную еще в 1943 году. Короче говоря, материала для книги было в избытке. Но обработать ее на литературном уровне, который устроил бы меня, мне не довелось. Нависла угроза ареста. Хранить рукописи без риска их потери стало невозможно.

И я переслал их на Запад по различным каналам. Значительную часть рукописей переслал на Запад австрийский журналист Э. Хуттер. Как я уже писал выше, в КГБ как-то узнали об этом, и Хуттер под каким-то предлогом был выслан за это из Москвы. Хотя я предупредил моего издателя В. Димитриевича, что эти рукописи суть лишь литературный архив и черновой материал для будущего романа и что печатать их следует лишь в случае моего ареста, он решил опубликовать их как готовое произведение. Возможно, мое предупреждение до него не дошло. Когда я оказался на Западе, книга уже готовилась к печати, на нее уже были затрачены средства, уже делался перевод на французский. Я не стал задерживать ее издание, намереваясь со временем радикально переработать ее. Книга вышла по-русски в 1979 году с названием "В преддверии рая". Но жизнь сложилась так, что переработку ее мне не удалось осуществить до сих пор. Многие идеи и материалы книги я использовал в других книгах: "Коммунизм как реальность", "Иди на Голгофу", "Евангелие для Ивана". Так что если я когда-нибудь выберу время на ее переработку, это будет совсем новая книга. От замысла книги-симфонии мне пришлось потом отказаться, поскольку он не соответствовал литературной ситуации на Западе.

Поскольку меня все-таки не арестовали и у меня оказалось в запасе время, я начал писать "Желтый дом". Написанное я передавал сразу же итальянскому журналисту П. Остеллино, ставшему моим другом. Он

пересылал рукописи во Францию через Италию. Я смог получить их лишь в конце 1978 года.

Весной 1978 года в Швейцарии вышел в свет мой второй социологический роман – "Светлое будущее". В этом романе действие происходило в Москве, а не в Ибанске, причем в семидесятые годы. Основные темы романа диссидентское движение, эмиграция, соучастие во власти. В романе прямой критике подвергался брежневизм и лично Брежнев. О нем прямо говорилось как о "полководце, не выигравшем ни одного сражения, и о теоретике, не сделавшем ни одного открытия", как о "маразматике, кривляющемся на арене истории". Это был первый и пока еще единственный случай, чтобы советский человек осмелился в такой форме изображать находящегося у власти всеильного главу КПСС. Сейчас в Советском Союзе брежневский период и сам Брежнев подвергаются резкой критике. Многие бывшие брежневские холуи, процветавшие при нем, изображают из себя жертв некоего брежневского террора. Многие из них знали о моей критике Брежнева в "Светлом будущем". А вспомнил ли кто-либо вообще о том, что я делал это тогда, когда это было действительно опасно?! Именно "Светлое будущее", а не "Зияющие высоты" послужил непосредственным поводом к тому, что меня выслали из страны, а Брежнев поспешил подписать указ о лишении меня советского гражданства еще до того (по предположению Р. Медведева), как я покинул страну.

ЭМИГРАНТСКАЯ ВОЛНА

Одним из важных явлений брежневского периода была массовая эмиграция на Запад, получившая название "третьей волны". Первой эмигрантской волной считалась послереволюционная эмиграция. Во вторую волну включали советских граждан, попавших на Запад в связи с войной с Германией 1941 – 1945 годов и оставшихся там.

"Третью волну" на Западе называют русской. Но слово "русская" тут употребляется как синоним слова "советская", так как подавляющее большинство эмигрантов этой волны армяне, евреи, немцы. Число этнически русских людей (до революции их называли великороссами) в ней ничтожно мало. Их можно пересчитать на пальцах.

По своему социальному составу, по причинам, мотивам и целям "третья волна" была чрезвычайно разнообразной. Одни покинули страну с намерением лучше устроиться на Западе в материальном отношении, другие же вследствие неудовлетворенности своим положением в Советском Союзе. Одни эмигрировали добровольно, других спровоцировали на это или вытолкнули насильно. Как массовое явление "третья волна" явилась результатом совпадения многих причин. Она началась отчасти стихийно, отчасти была подогрета западной пропагандой, отчасти была сознательно спровоцирована советскими властями с целью очистить страну от неугодных людей. Но несмотря на все это, она все-таки была социально целостным феноменом. Чтобы понять ее целостность и ее характер в целом, нужно принять во внимание следующее методологическое обстоятельство.

"Третья волна" была типичным примером массового явления. В это явление были вовлечены многие миллионы людей. В нее были вовлечены прежде всего сами эмигрировавшие и желавшие эмигрировать. Их были сотни тысяч. Причем это были представители далеко не самых низших слоев населения. Во всяком случае, в еврейскую часть ее входили люди, занимавшие социальное положение на средних уровнях социальной иерархии и выше. Большинство имело высшее и специальное среднее образование. Многие были известными в стране людьми, занятыми в сфере культуры и науки. В "третью волну" далее были вовлечены миллионы людей из окружения фактических и потенциальных эмигрантов. Они так или иначе переживали эмигрантскую ситуацию и обсуждали ее. В нее, наконец, были вовлечены органы власти Советского Союза, а также средства массовой информации Запада и большое число людей, по тем или иным причинам занятых в эмигрантских делах. Короче говоря, это было явление большого социального масштаба, занимавшее внимание значительной части человечества в течение многих лет и оказавшее заметное влияние на идейную, моральную и психологическую атмосферу как в Советском Союзе, так и на Западе.

"Третья волна", повторяю и подчеркиваю, была несмотря ни на что целостным массовым явлением. Методологически ошибочно рассматривать ее просто как сумму отдельных эмигрантов. Ее свойства как целого не выведешь из свойств ее отдельных участников. Можно опросить абсолютно всех эмигрантов относительно причин, мотивов и целей их эмиграции. Но из результатов опроса нельзя сделать правильный вывод о целом явлении. Люди в таких ситуациях сами не способны объективно оценить свое положение. Их подход к нему субъективен, причем находится под влиянием конъюнктурных обстоятельств. При таком опросе, например, многие (если не большинство) "экономические" эмигранты выдают себя за эмигрантов "политических". Но если даже допустить, что люди дают совершенно объективные и точные ответы, свойства отдельных участников массового явления не совпадают со свойствами этого явления в целом. Если даже допустить, что все сто процентов эмигрантов покинули страну ради демократических свобод, отсутствующих в Советском Союзе и имеющихся на Западе, ошибочно объяснять этим явление в целом. Если даже допустить, что вся "третья волна" была организована советскими властями и западными секретными службами, ошибочно рассматривать ее просто как операцию КГБ и ЦРУ.

Какими бы мотивами ни руководствовались отдельные участники "третьей волны", последняя в целом возникла как часть первого в советской истории массового протеста против условий жизни советского общества. Она была неразрывно связана с диссидентским движением. Многие становились диссидентами вследствие отказов на эмиграцию или с намерением добиться эмиграции. Большинство диссидентов эмигрировало на Запад. Советские власти использовали эмиграцию как эффективное средство борьбы с диссидентским движением, а также для того, чтобы в больших масштабах внедрить советских людей в тело западного общества. Эмигранты так или иначе оставались людьми советскими и заражали советскостью Запад. Я уж не говорю об использовании эмиграции для агентурных целей.

Трудно сказать, оказался бы я в эмиграции или нет, если бы не было

эмигрантской волны. Скорее всего – нет. Скорее всего со мною расправились бы внутри страны. Средств для этого советское общество имеет достаточно. При всех вариантах расправы меня изолировали бы от общества и не дали бы мне никакой возможности продолжать литературную, публицистическую и научную деятельность.

Эмигрировать мы не собирались. Я знал заранее, что профессионально (как логик) я нисколько не выиграю от эмиграции. Наоборот, я знал, что теряю еще больше, чем в Советском Союзе. Я знал, что на Западе для меня в логике будет та же ситуация, что и в Советском Союзе, только еще более усиленная, ибо там число посредственностей еще больше, а против их организаций бессильно всякое иное покровительство, которого у меня тоже не предвиделось. На то, чтобы жить на Западе за счет моей профессии как логика, я не рассчитывал никогда. Я в это просто не верил. Не верил я и в возможность получить работу в социологии.

Намерения насовсем переходить в литературу у меня не было. Хотя я и написал довольно много, я не был уверен, что смогу жить и содержать семью за счет литературы. Мои опасения потом частично оправдались. Мне были известны слухи насчет миллионов, которые якобы получали Солженицын, Максимов, Синявский и другие писатели-эмигранты. Но эти слухи мне казались сомнительными. А главное – я знал, что я писатель нестандартный и что мне такое благополучие не светит. Я сам исследовал социальные законы, действие которых проверял на самом себе. Я был убежден в том, что и на Западе я буду в сфере их действия.

Несмотря на все это, мысль о том, чтобы выехать на Запад на несколько лет для работы в каком-либо университете, возникала в наших разговорах о будущем не раз. Это происходило по той причине, что нас часто посещали профессора из западных университетов и говорили о такой возможности. За два года после выхода "Зияющих высот" я получил около двадцати приглашений от западных университетов на различные сроки и даже на постоянную работу. Так что, несмотря на пессимизм в отношении перспектив работы в логике, какая-то надежда зарабатывать таким путем средства существования все же открывалась. Открывалась также надежда на то, чтобы продолжать заниматься литературой в качестве непрофессионального писателя. Но разговоры в этом направлении не имели действенной силы.

Возникла проблема с устройством дочери Полины в школу. Ей еще не было семи лет, но она уже умела хорошо читать, писать и считать. В школе ей устроили экзамен, чтобы убедиться в этом. Иначе ее не приняли бы. Полина была так хорошо подготовлена, что экзаменовавшая ее учительница хотела было записать ее сразу во второй класс. Потом ее попросили рассказать, что она знает про "дедушку Ленина", и прочитать наизусть какое-нибудь стихотворение о нем. Полина сказала, что она знает наизусть стихи про Винни-Пуха, а про "дедушку Ленина" нет. И вообще, у нее такого родственника нет. Это возмутило заслуженную учительницу. Тут стало ясно, что ее отец – тот самый Зиновьев, о котором сейчас говорят как о "самом злобном антисоветчике". Полину в школу все-таки приняли, но в первый класс. Опе же сказали, что в школе Полину воспитают так, как нужно, и что в

случае продолжения нашего дурного влияния будет поставлен вопрос о лишении нас родительских прав. Так к нашим общим тревогам прибавилась тревога за судьбу нашей дочери.

Советские люди в те годы реагировали на эмиграцию так, что это теперь кажется безумием. Причем массы реагировали хуже, чем власти. Почему? Рухнули массовые иллюзии насчет коммунизма. Эмигранты воспринимались как предатели, удиравшие на Запад, где якобы люди живут как в раю, и оставлявшие массы советских людей жить вечно в свинских коммунистических условиях. Эмиграция выступала как разоблачение бесперспективности коммунистического рая, и массы перенесли свой гнев по этому поводу на тех, кто разоблачал эту бесперспективность. Это коснулось также и "внутренних эмигрантов", включая и мою ситуацию. Люди в одну кучу сваливали разнородные явления. Мое поведение они тоже воспринимали как предательство по отношению к ним. И чем правдивее и успешнее были мои книги, тем сильнее была ненависть ко мне. Про нас распространяли слухи, будто Ольга, "злой гений", заставила меня написать "Зияющие высоты" с целью эмигрировать. Одним из аспектов реакции на мой поступок было то, что занизили и опошлили мотивы моего поведения и утопили в массе заурядных эмигрантов, удиравших на Запад за более жирным куском благ. Я это понимал и всячески уклонялся даже от самой мысли об эмиграции.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА РОДИНЕ

Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Я уже попал в неподконтрольный мне поток жизни, становился марионеткой обстоятельств. Это противоречило всем моим жизненным установкам и привычкам. Выход из этой тревожной ситуации нашелся сам собой, помимо нашей воли. Власти решили не создавать из меня нового великомученика наподобие Солженицына и Синявского. В конце июля нас навестил Р. Медведев (мы с ним встречались уже несколько раз до этого) и сказал, что, по его сведениям, меня решено лишить гражданства и выслать на Запад, но без скандала, который повысил бы интерес к моим книгам, а спокойно, под видом приглашения из какого-то западного университета. Я в это сообщение не очень-то поверил. Я уже подавал заявление о разрешении на поездку в США по приглашению Йельского университета, но мне отказали. И я решил больше никогда с аналогичными просьбами никуда не обращаться. Через день после визита Р. Медведева я получил открытку из ОВИРа – из организации, занимающейся оформлением документов на поездки за границу. Я ее выбросил. На другой день у нас "случайно" появился человек, который якобы сопровождал свою родственницу в ОВИР и ему якобы кто-то сказал, что мне дано разрешение на эмиграцию. Я сказал, что эмигрировать не хочу. Рано утром следующего дня к нам заявился посыльный с письменным предложением явиться в ОВИР в неприятный день с паспортом. Он доставил нас на своей машине туда. Там у нас отобрали паспорта и вручили "заграничные" с предложением в течение пяти дней выехать в ФРГ, в Мюнхен. Среди приглашений из западных университетов у меня было и приглашение из Мюнхенского.

Приказание покинуть страну застало нас врасплох и ввергло в шоковое состояние. Для нас высылка из страны была наказанием, которое было с какой-то точки зрения предпочтительнее тюрьмы и внутренней ссылки. Однако тюрьма и внутренняя ссылка должны были окончиться, и мы могли вернуться к нормальной жизни, пусть на более низком уровне. Высылка же на Запад была навечно, мы это понимали, и это пугало нас больше всего. К тому же я был далеко не молод, у нас была маленькая дочь. Оля знала, что с ее профессией найти работу на Западе будет практически невозможно. На Западе у нас не было никаких родных. Для нас как для глубоко русских людей жизнь вне России казалась просто невозможной. Но и оставаться было нельзя. Нас неоднократно по разным каналам предупреждали, что меня постигнет та же судьба, что и Ю. Орлова, что и в отношении Ольги будут приняты меры за соучастие в моей якобы антисоветской деятельности. Нам также "разъяснили", что высылка за границу приравнивается к тюремному заключению и что через несколько лет при условии "правильного поведения" мы сможем вернуться обратно и я смогу продолжать работать в логике в Академии наук или другом идеологически более нейтральном учреждении. Мы мало верили в такую перспективу. Но если уж приходилось выбирать из двух зол – высылка за границу или тюрьма, а в лучшем случае внутренняя ссылка, – то первое предпочтительнее. И мысли о судьбе дочери тут сыграли свою роль. Мы понимали, что в качестве моей дочери ее ожидает нелегкая судьба, если мы откажемся от выезда на Запад. И все-таки до последней минуты мы еще надеялись на то, что нас задержат в стране.

Мы раздали все оставшиеся наши вещи и мебель нашим родственникам и знакомым. Все эти дни наша квартира была открыта для посетителей почти круглые сутки. Спали мы урывками. Слухи о нашем отъезде распространились по Москве. Об этом сообщили и западные радиостанции. Срочно прилетели в Москву мой сын Валерий и брат Василий.

И вот в августе 1978 года мы с одним чемоданом, в котором были лишь русские книги для нашей дочери, покинули наш дом. Нас провожали родственники и друзья. На аэродроме нас провели какими-то внутренними коридорами, чтобы мы не могли показаться на виду у провожавших нас людей, – власти боялись каких-нибудь нежелательных демонстраций.

Мы были в шоковом состоянии. До последней минуты мы надеялись на то, что нас все-таки задержат под каким-либо предлогом. Но этого не случилось. Нас под конвоем провели в самолет западногерманской компании "Люфтганза". Мы бросили из окна самолета последний взгляд на Москву. И покинули нашу Родину.

Это было наказание за преступление, которое мы не совершали. Россия сама совершила очередное преступление против своего верного сына, ученого и писателя.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Вот моя исповедь закончена. И ко мне вновь вернулось сомнение, с которым я начал ее.

– Ты много месяцев мучительно переживал свое прошлое, которое, казалось, ты давно решил забыть. Написал сотни страниц. Какое людям дело до того, что ты мерз, голодал, скрывался от КГБ, стрелял во врагов, сам был мишенью для врагов, бросал бомбы, маневрировал в зенитных разрывах, ночи просиживал над книгами, изобретал теории, сочинял стихи и романы, страдал от клеветы, предательств и измен близких людей, жертвовал благополучием и успехом ради принципов, терял достигнутое, разочаровывался, делал открытия, набирался житейской мудрости?! Им на все это наплевать.

– Ну и что, – возражаю я сам себе. – Разве ты жил для того, чтобы эти люди знали о том, как ты жил и что сделал? Нет, конечно. Главное – ты сам знаешь, что ты прожил свою жизнь достойно человека, как ты сам себе это представлял. Написав эти страницы, ты очистил душу. Теперь осталось сделать одно: поставить безжалостную точку.

И вот я ставлю эту точку. Одно дело – совершить отдельный кратковременный поступок, требующий мужества, и пережить кратковременную трудность. И другое дело – прожить всю жизнь так, как будто она и есть твой единственный поступок, требующий мужества и терпения. Я всю свою жизнь воспринимаю как один поступок, растянувшийся на несколько десятков лет.

Подводя итоги прожитой жизни, я хочу обратить внимание на три обстоятельства моей жизненной судьбы: 1) со мной все важнейшие отдельные события случались с точностью до наоборот в сравнении с тем, для чего я вроде бы был предназначен; 2) я повсюду приходил с опозданием; 3) чем больших результатов я достигал и чем дальше уходил вперед, тем меньше я имел шансов быть услышанным, понятым и признанным.

В самом деле, посудите сами. Я был приготовлен с рождения к деревенской жизни, а прожил почти всю жизнь в городах. Я был приучен к семье, а обречен был долгие годы жить без нее. Я был воспитан в религиозном духе, а стал атеистом. Я был рожден для коллективной жизни и был идеальным коллективистом, а был обречен на одиночество и крайний индивидуализм. Я сформировался с психологией идеального коммуниста, а всю жизнь сражался с реальным коммунизмом. Я хотел стать писателем, а вынужден был оставить мысль об этом на многие годы. Когда я достиг зрелого (мягко говоря) возраста и уже не помышлял о литературе, я стал писателем. Я собирался стать социологом, а был вытолкнут в логику. Когда я достиг серьезных результатов в логике, я был вытолкнут из нее в социологию. Имея в юности хорошие данные в математике, я пошел в философию. Я не хотел быть летчиком и хотел остаться в танковом полку, обреченном на разгром, меня вырвали из него и заставили стать летчиком. Я всегда

стеснялся быть предметом внимания других и никогда не стремился к известности, а мои первые же публикации приносили мне известность. Я был рожден и приготовлен прожить примитивный жизненный цикл русского человека – одно место, одна любовь, одна семья, один выходной костюм, одна профессия, одна дружба, одна судьба. А стал рафинированным интеллигентом–космополитом, менял привязанности, места, профессии, вещи.

И при всем этом я приходил в новую сферу жизни и деятельности тогда, когда она теряла черты исключительности. Меня как лучшего ученика отправили учиться в Москву с надеждой на то, что из меня получится новый Ломоносов. Но там в это время появились тысячи будущих "Ломоносовых". Мои способности не дали мне никаких преимуществ. Скорее, наоборот, они много повредили мне. Я поступил в институт, когда это стало доступно сотням тысяч самых заурядных молодых людей. Я попал в авиацию опять–таки в массе других молодых людей, когда авиация стала терять ореол исключительности и привилегии. Меня приняли в аспирантуру, когда чуть ли не половина выпускников университета получила такую возможность. Я стал кандидатом, а затем доктором наук и профессором, когда это стало массовым явлением, и престиж этих рангов и титулов упал до среднего уровня. Я стал публиковаться, когда это стало заурядным делом. Я начал свой пересмотр логики, когда в ней устроились и укрепились десятки тысяч образованных посредственностей. Я даже со своей книгой "Зияющие высоты" выступил, когда мир был заполнен критическими и разоблачительными сочинениями. Я оказался в эмиграции, когда сотни тысяч советских эмигрантов уже захватили все источники существования и все средства публицити. Одних "писателей", писавших по–русски, тут оказалось много сотен. А число людей, заявивших свои претензии на понимание советского общества, невозможно было счесть.

Но что самое удивительное при этом, в целом я прошел путь, какой мне был предназначен судьбою и какой оказался адекватным моей натуре.

Я много думал о будущем моей страны и человечества, но никогда не задумывался над тем, как буду жить сам в более или менее отдаленном будущем, выходящем за рамки текущей жизни в данное время, и никогда не планировал его. Это не значит, что я был беззаботен в отношении него. Я часто его предвидел, особенно плохое будущее, и страдал из–за этого. Но я совершал поступки в соответствии с моими жизненными принципами, имеющими силу для поведения в данное время, а не в соответствии с расчетами на будущее. Так, например, я предвидел плохие последствия моего бунта в 1939 году, но они не остановили меня. Я знал, что мое поведение в армии и затем в моей профессиональной среде после войны вредило моему положению и жизненному успеху, но я игнорировал эти отрицательные последствия. В хрущевские и брежневские годы я долгое время воздерживался от бунта не потому, что предвидел плохие последствия и хотел их избежать, а потому, что бунт тогда не отвечал принципам моей системы жизни. Я пошел на открытый конфликт с советским обществом вовсе не из расчета на какие–то выгоды в будущем, а потому, что не мог поступить иначе в сложившихся для меня обстоятельствах.

Проблему личного будущего я принципиально исключил из проблем моей

концепции жития. Я сознательно отверг более или менее отдаленную цель жизни, к которой я шел бы преднамеренно и последовательно. Тем более я отверг такую цель для всей жизни. Я думаю, что, по крайней мере, во многих случаях, когда люди уверяют, будто они такую цель имели, они просто "переворачивают" свою жизнь во времени и результат жизни выдают за исходную цель. Но не буду подозревать их в преднамеренном обмане. Я же для себя заместил феномен цели жизни феноменом направления жизни, не предполагающим ясную и определенную цель. Я совершал множество целесообразных действий: бунтовал, учился, разрабатывал теории, решал задачи, думал, писал. Но я не могу сказать, что все это было подчинено какой-то единой цели. Все это укладывалось в одно направление моей личности и моего жизненного пути. А направление движения не есть цель. Я и сейчас иду в том же направлении, в каком шел всю прошлую жизнь. Куда в конце концов приведет этот путь, это не моя проблема. Я получил в детстве толчок к движению, приказ "Иди!". Затем я определил направление движения. И я иду в этом направлении несмотря ни на что, не считаясь с последствиями. Иди своим путем, и пусть другие говорят что угодно! Иди как можно дальше! Не можешь идти, ползи! Но так или иначе двигайся! Никакой конечной цели у тебя нет. Ты никогда не скажешь себе, что достиг того, чего хотел, и можешь успокоиться. Твой путь не имеет принципиального конца. Он может оборваться по независящим от тебя причинам. Это будет конец твоей жизни, но не конец твоего пути.

А. Зиновьев

Мюнхен, 1988